ISSN 0[illegible]-2545

3.1991

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ПАТРИК ЗЮСКИНД
Парфюмер

АЛЕН БОСКЕ
Стихи и афоризмы

[illegible]
Повесть

ЭЛИ ВИЗЕЛЬ
Стихи

ЭРВЕ ГИБЕР
Другу, который не спас мне жизнь

ЧЭНСИ РЕЙГАН
Мой черед

АЛЕКСАНДР ЯКИМОВИЧ
Утраченная Аркадия и разорванный Орфей

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ,
О. С. ВАСИЛЬЕВ (заместитель главного редактора),
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Т. В. ЛАНИНА,
Т. Л. МОТЫЛЕВА, Б. В. НИКОЛЬСКИЙ (ответственный секретарь),
В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ,
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ (заместитель главного редактора),
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

Международный общественный совет журнала «Иностранная литература»:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения), РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС
РЕТАМАР (Куба), СЕМБЕН УСМАН (Сенегал),
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

ИЮЛЬ **8** 1991

СОДЕРЖАНИЕ

ПАТРИК ЗЮСКИНД — Парфюмер. История одного убийцы *(Роман. Перевод с немецкого и послесловие Э. Венгеровой)* 5

АЛЕН БОСКЕ — Стихи и афоризмы *(Перевод с французского Мориса Ваксмахера)* 125

ЮХАН БАРГУМ — Новеллы *(Перевод со шведского Ирины Новицкой)* 130

Литературное наследие

ЭМИ ЛОУЭЛЛ — Стихи *(Перевод с английского Андрея Сергеева. Вступление А. З.)* 158

ЭРВЕ ГИБЕР — Другу, который не спас мне жизнь *(Роман. Перевод с французского М. Кожевниковой и В. Жуковой)* 165

Документальная проза и публицистика

НЭНСИ РЕЙГАН при участии Уильяма Новака — Мой черед *(Воспоминания. Перевод с английского Ирины Дорониной)* 196

Рубеж тысячелетий

АЛЕКСАНДР ЯКИМОВИЧ — Утраченная Аркадия и разорванный Орфей. Проблемы постмодернизма 229

Возвращаясь к напечатанному

ГЕНРИ МИЛЛЕР — Размышления о писательстве *(Перевод с английского и вступление А. Зверева)* 237

Новые книги, новые имена

Н. Котрелев.— Русские символисты — по-итальянски 244

Два мнения

Владимир Соловьев — Владимир Набоков. Автопортрет в эпистолах ■ Виктор Ерофеев — «My style is all I have» 246

Отклики, встречи, впечатления

Вольфганг Казак: терпимость — это начало любви 251

У книжной витрины 253

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1991

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ИЛ»

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ «Комната Джейкоба»
Это третий роман знаменитой английской писательницы и по сути дела начало ее поисков новых принципов построения прозы. С импрессионистической точностью стремясь как можно полнее запечатлеть «мгновения бытия», автор отстаивает уникальность и ценность жизни каждого отдельного человека.

МАРЕК ХЛАСКО «Рассказы»
Читатель впервые познакомится с творчеством польского писателя-эмигранта, хорошо известного в Европе не только по книгам, но и фильмам с участием популярных артистов З. Цыбульского и Сони Циманн.

ДЖОН ЛЕННОН и ПОЛ МАККАРТНИ
Песни «Битлз» заказала сама эпоха — они появились как ответ на запрос своего времени и остались на все времена.

МАТИ ТАВАРА
Популярнейшая поэтесса Японии видит мир глазами обыкновенной современной девушки и — глазами поэта, за спиной которого опыт многих поколений.

СВАМИ ВИВЕКАНАНДА «Четыре йоги»
Главы из книги знаменитого индийского проповедника, чье учение оказало влияние на многих писателей Запада; Ромен Роллан, Олдос Хаксли, Герман Гессе и др. считали себя его последователями.

«Эротика и литература» (материалы «круглого стола»)
Прошедшая в стенах редакции дискуссия вызвана публикацией в «ИЛ» романов Дж. Джойса, В. Набокова, Г. Миллера, Д. Г. Лоуренса. В ней приняли участие видные отечественные писатели и критики.

На обложке рисунок Макса Эрнста

По всем вопросам, связанным со сроками выхода и распространения журнала, а также по поводу полиграфического брака, редакция просит обращаться в издательство «Известия».

Главный художник **С. И. Мухин**
Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»,
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 06.05.91. Подписано в печать 07.08.91. Формат $70\times108^{1}/_{16}$.
Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,4. Уч.-изд. 25,956.

Тираж 167 200 экз. Цена 2 р. 95 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва И-473, Краснопролетарская, 16. Зак. 1989.

Отпечатано и изготовлен тираж в типографии издательства «Советская Сибирь». 630048, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 44. Зак. 68

ПАТРИК ЗЮСКИНД

Парфюмер

История одного убийцы

РОМАН

Перевод с немецкого Э. ВЕНГЕРОВОЙ

Часть первая

1

В восемнадцатом столетии во Франции жил человек, принадлежавший к самым гениальным и самым отвратительным фигурам этой эпохи, столь богатой гениальными и отвратительными фигурами. О нем и пойдет речь. Его звали Жан-Батист Грену́й, и если это имя, в отличие от других гениальных чудовищ вроде де Сада, Сен-Жюста, Фуше, Бонапарта и т. д., ныне предано забвению, то отнюдь не потому, что Грену́й уступал знаменитым исчадиям тьмы в высокомерии, презрении к людям, аморальности, короче, в безбожии, но потому, что его гениальность и его феноменальное тщеславие ограничивалось сферой, не оставляющей следов в истории,— ле́тучим царством запахов.

В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни — скверным углем и бараньим салом; непроветренные гостиные воняли слежавшейся пылью, спальни — грязными простынями, влажными перинами и остросладкими испарениями ночных горшков. Из каминов несло серой, из дубилен — едкими щелочами, со скотобоен — выпущенной кровью. Люди воняли по́том и нестираным платьем; изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов — луковым соком, а их тела, когда они старели, начинали пахнуть старым сыром, и кислым молоком, и болезненными опухолями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены мастеров, воняло все дворянское сословие, вонял даже сам король — он вонял, как хищный зверь, а королева — как старая коза, зимой и летом. Ибо в восемна́дцатом столетии еще не была поставлена преграда разлагающей активности бактерий, а потому всякая человеческая деятельность, как созидательная, так и разрушительная, всякое проявление зарождающейся или погибающей жизни сопровождалось вонью.

И разумеется, в Париже стояла самая большая вонь, ибо Париж был самым большим городом Франции. А в само́м Париже было такое место между улицами О-Фер и Ферронри под названием Кладбище невинных, где стояла совсем уж адская вонь. Восемьсот лет подряд сюда доставляли покойников из Отель-Дьё и близлежащих приходов, восемьсот лет подряд сюда на тачках дюжинами свозили трупы и вываливали в длинные ямы, восемьсот лет подряд их укладывали слоями, скелетик к

© 1985 by Diogenes Verlag AG, Zürich

скелетику, в семейные склепы и братские могилы. И лишь позже, накануне Французской революции, после того как некоторые из могил угрожающе обвалились и вонь переполненного кладбища побудила жителей предместья не только к протестам, но и к настоящим бунтам, кладбище было наконец закрыто и разорено, миллионы костей и черепов сброшены в катакомбы Монмартра, а на этом месте сооружен рынок. И вот здесь, в самом вонючем месте всего королевства, 17 июля 1738 года был произведен на свет Жан-Батист Гренуй. Это произошло в один из самых жарких дней года. Жара как свинец лежала над кладбищем, выдавливая в соседние переулки чад разложения, пропахший смесью гнилых арбузов и жженого рога. Мать Гренуя, когда начались схватки, стояла у рыбной лавки на улице О-Фер и чистила белянок, которых перед этим вынула из ведра. Рыба, якобы только утром выуженная из Сены, воняла уже так сильно, что ее запах перекрывал запах трупов. Однако мать Гренуя не воспринимала ни рыбного, ни трупного запаха, так как ее обоняние было в высшей степени нечувствительно к запахам, а кроме того, у нее болело нутро, и боль убивала всякую чувствительность к раздражителям извне. Ей хотелось одного — чтобы эта боль прекратилась и омерзительные роды как можно быстрее остались позади. Рожала она в пятый раз. Со всеми предыдущими она справилась здесь у рыбной лавки, все дети родились мертвыми или полумертвыми, ибо кровавая плоть, вылезшая тогда из нее, не намного отличалась от рыбных потрохов, уже лежавших перед ней, да и жила не намного дольше, и вечером все вместе сгребали лопатой и увозили на тачке к кладбищу или вниз к реке. Так должно было произойти и сегодня, и мать Гренуя, которая была еще молодой женщиной (ей как раз исполнилось двадцать пять), и еще довольно миловидной, и еще сохранила почти все зубы во рту и еще немного волос на голове, и кроме подагры, и сифилиса, и легких головокружений ничем серьезным не болела, и еще надеялась жить долго, может быть, пять или десять лет, и, может быть, даже когда-нибудь выйти замуж и родить настоящих детей в качестве уважаемой супруги овдовевшего ремесленника... мать Гренуя желала от всей души, чтобы все поскорее кончилось. И когда схватки усилились, она забралась под свой разделочный стол и родила там, где рожала уже четыре раза, и отрезала новорожденное создание от пуповины рыбным ножом. Но потом из-за жары и вони, которую она воспринимала не как таковую, а только как нечто невыносимое, оглушающее, разящее — как поле лилий или как тесную комнату, в которой стоит слишком много нарциссов,— она потеряла сознание, опрокинулась набок, вывалилась из-под стола на середину улицы и осталась лежать там с ножом в руке.

Крик, суматоха, толпа зевак окружает тело, приводят полицию. Женщина с ножом в руке все еще лежит на улице, медленно приходя в себя.

Спрашивают, что с ней?

«Ничего».

Что она делает ножом?

«Ничего».

Откуда кровь на ее юбках?

«Рыбная».

Она встает, отбрасывает нож и уходит, чтобы вымыться.

И тут, против ожидания, младенец под разделочным столом начинает орать. Люди оборачиваются на крик, обнаруживают под роем мух между требухой и отрезанными рыбными головами новорожденное дитя и вытаскивают его на свет божий. Полиция отдает ребенка некой кормилице, а мать берут под стражу. И так как она ничего не отрицает и без лишних слов признает, что собиралась бросить ублюдка подыхать с голоду, как она, впрочем, проделывала уже четыре раза, ее отдают под суд, признают виновной в многократном детоубийстве и через несколько недель на Гревской площади ей отрубают голову.

Ребенок к этому моменту уже трижды поменял кормилицу. Ни одна не соглашалась держать его у себя дольше нескольких дней. Они говорили, что он слишком жадный, что сосет за двоих и тем самым лишает молока других грудных детей, а их, мамок,— средств к существованию: ведь кормить одного-единственного младенца невыгодно. Офицер полиции, в чьи обязанности входило пристраивать подкидышей и сирот, некий Лафосс, скоро потерял терпение и решил было отнести ребенка в приют на улице Сент-Антуан, откуда ежедневно отправляли детей в Руан, в государственный приемник для подкидышей. Но поскольку транспортировка осуществлялась пешими носильщиками и детей переносили в лыковых коробах, куда из соображений экономии сажали сразу четырех младенцев; поскольку из-за этого чрезвычайно возрастал процент смертности; поскольку носильщики по этой причине соглашались брать только крещеных младенцев и только с выправленным по форме путевым листом, на коем в Руане им должны были поставить печать; и поскольку младенец Гренуй не получил ни крещения, ни имени, каковое можно было бы по всей форме занести в путевой лист; и поскольку, далее, со стороны полиции было бы неприлично высадить безымянного младенца у дверей сборного пункта, что было бы единственным способом избавиться от прочих формальностей... поскольку, стало быть, возник ряд трудностей бюрократического характера, связанных с эвакуацией младенца, и поскольку, кроме того, время поджимало, офицер полиции Лафосс отказался от первоначального решения и дал указание сдать мальчика под расписку в какое-нибудь церковное учреждение, чтобы там его окрестили и определили его дальнейшую судьбу. Его сдали в монастырь Сен-Мерри на улице Сен-Мартен.

Он получил при крещении имя Жан-Батист. И так как приор в тот день пребывал в хорошем настроении и его благотворительные фонды не были до конца исчерпаны, ребенка не отправили в Руан, но постановили воспитать за счет монастыря. С этой целью его передали кормилице по имени Жанна Бюсси, проживавшей на улице Сен-Дени, которой для начала в качестве платы за услуги предложили три франка в неделю.

2

Несколько недель спустя кормилица Жанна Бюсси с плетеной корзиной в руках явилась к воротам монастыря и заявила открывшему ей отцу Террье — лысому, слегка пахнущему уксусом монаху лет пятидесяти: «Вот!» — и поставила на порог корзину.

— Что это? — сказал Террье и, наклонившись над корзиной, обнюхал ее, ибо предполагал обнаружить в ней нечто съедобное.

— Ублюдок детоубийцы с улицы О-Фер!

Патер поворошил пальцем в корзине, пока не открыл лицо спящего младенца.

— Он хорошо выглядит. Розовый и упитанный...

— Потому что он обожрал меня. Высосал до дна. Но теперь с этим покончено. Теперь можете кормить его сами козьим молоком, кашей, реповым соком. Он жрет все, этот ублюдок.

Патер Террье был человеком покладистым. По долгу службы он распоряжался монастырским благотворительным фондом, раздавал деньги бедным и неимущим. И он ожидал, что за это ему скажут спасибо и не будут обременять другими делами. Технические подробности были ему неприятны, ибо подробности всегда означали трудности, а трудности всегда нарушали его душевный покой, а этого он совершенно не выносил. Он сердился на себя за то, что вообще открыл ворота. Он желал, чтобы эта особа забрала свою корзину и отправилась восвояси и оставила его в покое со своими младенцами и проблемами. Он медленно выпрямился и втянул в себя сильный запах молока и свалявшейся овечьей шерсти, источаемый кормилицей. Запах был приятный.

— Я не понимаю, чего ты хочешь. Я действительно не понимаю, чего ты добиваешься. Я могу лишь представить себе, что этому младенцу отнюдь не повредит, если ты еще некоторое время покормишь его грудью.

— Ему не повредит,— отбрила Жанна,— а мне вредно. Я похудела на десять фунтов, хотя ела за троих. А чего ради? За три франка в неделю!

— Ах, понимаю,— сказал Террье чуть ли не с облегчением,— я в курсе дела: стало быть, речь опять о деньгах.

— Нет! — сказала кормилица.

— Не возражай! Речь всегда идет о деньгах. Если стучат в эти ворота, речь идет о деньгах. Иной раз я мечтаю, чтобы за дверью оказался человек, которому нужно что-то другое. Который, например, идучи мимо, захотел бы оставить здесь маленький знак внимания. Например, немного фруктов или несколько орехов. Мало ли по осени вещей, которые можно было бы занести, идучи мимо. Может быть, цветы. Пусть бы кто-нибудь просто заглянул и дружески сказал: «Бог в помощь, отец Террье, доброго вам здоровья!» Но, видно, до этого мне уже не дожить. Если стучат — значит нищий, а если не нищий, так торговец, а если не торговец, то ремесленник, и если он не попросит милостыню — значит предъявит счет. Нельзя на улицу выйти. Не успеешь пройти по улице и трех шагов, как тебя уж осаждают субъекты, которым вынь да положь деньги.

— Это не про меня,— сказала кормилица.

— Вот что я тебе скажу: ты не единственная кормилица в приходе. Есть сотни превосходных приемных матерей, которые только и мечтают за три франка в месяц давать этому прелестному младенцу грудь, или кашу, или соки, или иное пропитание...

— Вот и отдайте его такой!

— ...Но, с другой стороны, нехорошо так швыряться ребенком. Кто знает, пойдет ли ему на пользу другое молоко? Дитя, знаешь ли, привыкло к запаху твоей груди и к биению твоего сердца.

И он снова глубоко втянул в себя аромат теплого пара, который распространяла кормилица, но, заметив, что слова его не возымели действия, прибавил:

— А теперь бери ребенка и отправляйся домой. Я обсужу это дело с приором. Я предложу ему платить тебе в дальнейшем четыре франка в неделю.

— Нет,— сказала кормилица.

— Ну, так и быть: пять!

— Нет.

— Так сколько же ты требуешь? — вскричал Террье.— Пять франков — это куча денег за такие пустяки, как кормление младенца!

— Я вообще не хочу никаких денег,— сказала кормилица.— Я не хочу держать ублюдка в своем доме.

— Но почему же, моя милая? — сказал Террье и снова поворошил пальцем в корзине.— Ведь дитя очаровательное. Такое розовое, не плачет, спит спокойно, и оно крещено.

— Он одержим дьяволом.

Террье быстро вытащил палец из корзины.

— Невозможно! Абсолютно невозможно, чтобы грудное дитя было одержимо дьяволом. Дитя не человек, но предчеловек и не обладает еще полностью сформированной душой. Следовательно, для дьявола оно не представляет интереса. Может, он уже говорит? Может, у него судороги? Может, он передвигает вещи в комнате? Может, от него исходит неприятный запах?

— От него вообще ничем не пахнет.

— Вот видишь! Вот оно, знамение. Будь он одержим дьяволом, от него бы воняло.

И, чтобы успокоить кормилицу и продемонстрировать свою собственную смелость, Террье приподнял корзину и принюхался.

— Ничего особенного,— сказал он, несколько раз втянув воздух носом,— действительно ничего особенного. Правда, мне кажется, что из пеленок чем-то попахивает,— и он протянул ей корзину, дабы она подтвердила его впечатление.

— Я не о том,— угрюмо возразила кормилица и отодвинула от себя корзину.— Я не о том, что в пеленках. Его грязные пеленки пахнут хорошо. Но сам он, сам ублюдок, не пахнет.

— Потому что он здоров,— вскричал Террье,— он здоров, вот и не пахнет! Пахнут только больные дети, это же всем известно. К примеру, если у ребенка оспа, он пахнет конским навозом, а если скарлатина, то старыми яблоками, а чахоточный ребенок пахнет луком. Этот здоров — вот и все, чем он болен. Так зачем ему вонять? Разве твои собственные дети воняют?

— Нет,— сказала кормилица.— Мои дети пахнут так, как положено человеческим детям.

Террье осторожно поставил корзину обратно на землю, потому что почувствовал, как в нем нарастают первые приливы ярости из-за упрямства этой особы. Нельзя было исключить вероятности того, что в ходе дальнейшей дискуссии ему понадобятся обе руки для более свободной жестикуляции, и он не хотел тем самым причинить вред младенцу. Впрочем, для начала он крепко сцепил руки за спиной, выпятил свой острый живот по направлению к кормилице и строго спросил:

— Стало быть, ты утверждаешь, что тебе известно, как должно пахнуть дитя человеческое, каковое в то же время всегда — позволь тебе об этом напомнить, тем более что оно крещено,— есть дитя божье?

— Да,— сказала кормилица.

— И ты утверждаешь далее, что если оно не пахнет так, как должно пахнуть по твоему разумению — по разумению кормилицы Жанны Бюсси с улицы Сен-Дени,— то это дитя дьявола?

Он выпростал из-за спины левую руку и угрожающе сунул ей под нос указательный палец, согнутый, как вопросительный знак. Кормилица задумалась. Ей было не по нутру, что разговор вдруг перешел в плоскость теологического диспута, где она была обречена на поражение.

— Я вроде бы так не говорила,— отвечала она уклончиво.— При чем здесь дьявол или ни при чем, решайте сами, отец Террье, это не по моей части. Я знаю только одно: на меня этот младенец наводит ужас, потому что он не пахнет, как положено детям.

— Ага,— сказал удовлетворенно Террье и снова заложил руки за спину.— Значит, свои слова насчет дьявола мы берем обратно. Хорошо. А теперь будь так любезна растолковать мне: как пахнут грудные младенцы, если они пахнут так, как, по твоему мнению, им положено пахнуть? Ну-с?

— Они хорошо пахнут,— сказала кормилица.

— Что значит «хорошо»? — зарычал на нее Террье.— Мало ли, что хорошо пахнет. Пучок лаванды хорошо пахнет. Мясо из супа хорошо пахнет. Аравийские сады хорошо пахнут. Я желаю знать, чем пахнут младенцы?

Кормилица медлила с ответом. Она, конечно, знала, как пахнут грудные младенцы, она знала это совершенно точно, через ее руки прошли дюжины малышей, она их кормила, выхаживала, укачивала, целовала... она могла учуять их ночью, даже сейчас она явственно помнила носом этот младенческий запах. Но она еще никогда не обозначала его словами.

— Ну-с? — ощетинился Террье и нетерпеливо щелкнул пальцами.

— Стало быть,— начала кормилица,— так сразу не скажешь, потому как... потому как они не везде пахнут одинаково, хотя они везде пахнут хорошо, понимаете, святой отец, ножки у них, к примеру, пахнут, как гладкие теплые камешки... нет, скорее, как горшочки... или как сли-

вочное масло, свежее масло, да, в точности: они пахнут, как свежее масло. А тельце у них пахнет... ну вроде галеты, размоченной в молоке. А голова, там, сверху, с затылка, где закручиваются волосы, ну вот тут, святой отец, где у вас ничего уже не осталось,— и она постучала Террье, остолбеневшего от этого шквала дурацких подробностей и покорно склонившего голову, по лысине,— вот здесь, точно, здесь, они пахнут лучше всего. Они пахнут карамелью, это такой чудный, такой сладкий запах, вы не представляете, святой отец! Как их тут понюхаешь, так и полюбишь, все одно — свои они или чужие. Вот так и должны пахнуть малые дети, а больше никак. А если они так не пахнут, если они там, сверху, совсем не пахнут, ровно как холодный воздух, вроде вот этого ублюдка, тогда... Вы можете объяснять это как угодно, святой отец, но я,— и она решительно скрестила руки на груди и с таким отвращением поглядела на корзину у своих ног, словно там сидела жаба,— я, Жанна Бюсси, больше не возьму это к себе!

Патер Террье медленно поднял опущенную голову и несколько раз провел пальцем по лысине, словно хотел пригладить там волосы, потом как бы случайно поднес палец к носу и задумчиво обнюхал.

— Как карамель?..— спросил он, пытаясь снова найти строгий тон.— Карамель! Что ты понимаешь в карамели? Ты хоть раз ее ела?

— Не то чтобы...— сказала кормилица.— Но я была однажды в большой гостинице на улице Сент-Оноре и видела, как ее готовят из жженого сахара и сливок. Это пахло так вкусно, что я век не забуду.

— Ну-ну. Будь по-твоему,— сказал Террье и убрал палец из-под носа.— Теперь помолчи, пожалуйста! Мне стоит чрезвычайного напряжения сил продолжать беседу с тобой на этом уровне. Я констатирую, что ты отказываешься по каким-то причинам впредь кормить грудью доверенного мне младенца Жан-Батиста Гренуя и в настоящий момент возвращаешь его временному опекуну — монастырю Сен-Мерри. Я нахожу это огорчительным, но, по-видимому, не могу ничего изменить. Ты уволена.

С этими словами он поднял корзину, еще раз вдохнул исчезающее тепло, шерстяное дуновение молока и захлопнул ворота. Засим он отправился в свой кабинет.

3

Патер Террье был человек образованный. Он изучал не только теологию, но читал и философов и попутно занимался ботаникой и алхимией. Он старался развивать в себе критичность ума. Правда, он не стал бы в этом отношении заходить так далеко, как те, кто ставит под вопрос чудеса, пророчества или истинность текстов Священного писания,— даже если они часто не поддавались разумному объяснению и даже прямо ему противоречили. Он предпочитал не касаться подобных проблем, они были ему слишком не по душе и могли бы повергнуть его в самую мучительную неуверенность и беспокойство, а ведь для того, чтобы пользоваться своим разумом, человек нуждается в уверенности и покое. Однако он самым решительным образом боролся с суевериями простого народа. Колдовство и гадание на картах, ношение амулетов, заговоры от дурного глаза, заклинания духов, фокусы в полнолуние... чем только эти люди не занимались!

Его глубоко удручало, что подобные языческие обычаи после более чем тысячелетнего существования христианской религии все еще не были искоренены. Да и большинство случаев так называемой одержимости дьяволом и связи с Сатаной при ближайшем рассмотрении оказывались суеверным спектаклем. Правда, отрицать само существование Сатаны, сомневаться в его власти — столь далеко отец Террьер не стал бы заходить; решать подобные проблемы, касающиеся основ теологии, не дело простого, скромного монаха, на это есть иные инстанции. С другой стороны, было ясно как день, что если такая недалекая особа, как эта кормилица, утверждает, что она обнаружила какую-то чертовщину, зна-

чит, Сатана никак не мог приложить руку к этому делу. Именно потому, что ей кажется, будто она его обнаружила. Ведь это верное доказательство, что никакой чертовщины нет и в помине,— Сатана не настолько глуп, чтобы позволять обнаружить себя кормилице Жанне Бюсси. Да еще нюхом! Этим самым примитивным, самым низменным из чувств! Как будто ад воняет серой, а рай — ладаном и миррой! Да это самое темное суеверие, достойное диких языческих времен, когда люди жили, как животные, когда зрение их было настолько слабым, что они не различали цветов, но считали, что слышат запах крови, что могут по запаху отличить врага от друга, что их чуют великаны-людоеды и оборотни-волки, что на них охотятся эринии,— и потому приносили своим омерзительным богам сжигаемые на кострах вонючие чадящие жертвы. Ужасно! «Дурак видит носом» — больше, чем глазами, и, вероятно, свет богоданного разума должен светить еще тысячу лет, пока последние остатки первобытных верований не рассеются, как призраки.

«При чем же здесь это бедное малое дитя! Это невинное создание! Лежит в своей корзине, и сладко спит, и не ведает о мерзких подозрениях, выдвинутых против него. А эта наглая особа дерзает утверждать, что ты, мол, не пахнешь, как положено пахнуть человеческим детям? Ну, и что мы на это скажем? У-тю-тю!»

И он тихонько покачал корзину на коленях, погладил младенца пальцем по голове и несколько раз повторил «у-тю-тю», поскольку полагал, что это восклицание благотворно и успокоительно действует на грудных младенцев.

«Так тебе, значит, положено пахнуть карамелью, что за чепуха, у-тю-тю!»

Через некоторое время он вытащил из корзины палец, сунул его себе под нос, принюхался, но услышал только запах кислой капусты, которую ел на обед.

Некоторое время он колебался, потом оглянулся — не наблюдает ли за ним кто-нибудь, поднял корзину с земли и погрузил в нее свой толстый нос, погрузил очень глубоко, так что тонкие рыжеватые волосики ребенка защекотали ему ноздри, и обнюхал голову младенца, ожидая втянуть некий запах. Он не слишком хорошо представлял себе, как должны пахнуть головы младенцев. Разумеется, не карамелью, это-то было ясно, ведь карамель — жженый сахар, а как же младенец, который до сих пор только пил молоко, может пахнуть жженым сахаром. Он мог бы пахнуть молоком, молоком кормилицы. Но молоком от него не пахло. Он мог бы пахнуть волосами, кожей и волосами и, может быть, немного детским потом. И Террье принюхался и затем уговорил себя, что слышит запах кожи, волос и, может быть, слабый запах детского пота. Но он не слышал ничего. Как ни старался. Вероятно, младенцы не пахнут, думал он. Наверное, в этом дело. В том-то и дело, что младенец, если его содержать в чистоте, вообще не может пахнуть, как не может говорить, бегать или писать. Эти вещи приходят только с возрастом. Строго говоря, человек начинает источать сильный запах только в период полового созревания. Да, так оно и есть. Так — а не иначе. Разве в свое время Гораций не написал: «Юноша пахнет козленком, а девушка благоухает, как белый нарцисса цветок...»? Уж римляне кое-что в этом понимали! Человеческий запах всегда — запах плоти, следовательно, запах греха. Так как же положено пахнуть младенцу, который еще ни сном ни духом не повинен в плотском грехе? Как ему положено пахнуть? У-тю-тю? Никак!

Он снова поставил корзину на колено и бережно покачал ее. Ребенок все еще крепко спал. Его правая рука, маленькая и красная, высовывалась из-под крышки и дергалась по направлению к щеке. Террье умиленно улыбнулся и вдруг почувствовал себя очень уютно. На какой-то момент он даже позволил себе фантастическую мысль, что будто бы он — отец этого ребенка. Будто бы он стал не монахом, а нормальным обывателем, может быть, честным ремесленником, нашел себе жену,

теплую такую бабу, пахнущую шерстью и молоком, и родили они сына, и вот он качает его на своих собственных коленях, своего собственного сына, у-тю-тю... Эта мысль доставляла удовольствие. В ней было что-то такое утешительное. Отец качает своего сына на коленях, у-тю-тю, картина была старой как мир и вечно новой и правильной картиной, с тех пор как свет стоит, вот именно!

У Террье потеплело на душе, он расчувствовался.

Тут ребенок проснулся. Сначала проснулся его нос. Крошечный нос задвигался, задрался кверху и принюхался. Он втянул воздух и стал выпускать его короткими толчками, как при несостоявшемся чихании. Потом нос сморщился, и ребенок открыл глаза. Глаза были неопределенного цвета — между устрично-серым и опалово-бело-кремовым, затянуты слизистой пленкой и явно еще не слишком приспособлены для зрения. У Террье было такое впечатление, что они его совершенно не воспринимали. Другое дело нос. Если тусклые глаза ребенка косились на нечто неопределенное, его нос, казалось, фиксировал определенную цель, и Террье испытал странное ощущение, словно этой целью был он лично, его особа, сам Террье. Крошечные крылья носа вокруг двух крошечных дырок на лице ребенка раздувались, как распускающийся бутон. Или скорее как чашечки тех маленьких, хищных растений, которые растут в королевском ботаническом саду. Кажется, что от них исходит какая-то жуткая втягивающая сила. Террье казалось, что ребенок видит его, смотрит на него своими ноздрями резко и испытующе, пронзительнее, чем мог бы смотреть глазами, словно глотает своим носом нечто, исходящее от него, Террье, нечто, чего он, Террье, не смог ни спрятать, ни удержать.

Ребенок, не имевший запаха, бесстыдно его обнюхивал, вот что. Ребенок его чуял! И вдруг Террье показался себе воняющим — по́том и уксусом, кислой капустой и нестираным платьем. Показался себе голым и уродливым, будто на него глазел некто, ничем себя не выдавший. Казалось, он пронюхивал его даже сквозь кожу, проникая внутрь, в самую глубь. Самые нежные чувства, самые грязные мысли обнажались перед этим маленьким алчным носом, который даже еще и не был настоящим носом, а всего лишь неким бугорком, ритмично морщившимся, и раздувающимся, и трепещущим крошечным дырчатым органом. Террье почувствовал озноб. Его мутило. Теперь и он тоже дернул носом, словно перед ним было что-то дурно пахнущее, с чем он не хотел иметь дела. Прощай, иллюзия, что тут его собственная плоть и кровь. Растоптана сентиментальная идиллия об отце, сыне и благоухающей матери. Словно оборван мягкий шлейф ласковых мыслей, который он нафантазировал вокруг самого себя и этого ребенка: чужое, холодное существо лежало на его коленях, враждебное животное, и если бы не самообладание и богобоязненность, если бы не разумный взгляд на вещи, свойственный характеру Террье, он бы в припадке отвращения стряхнул его с себя как какого-нибудь паука.

Одним рывком Террье встал и поставил корзину на стол. Он хотел избавиться от этого младенца и от этого дела как можно быстрей, сейчас, немедленно.

И тут младенец заорал. Он сощурил глаза, разверз свой красный зев и заверещал так пронзительно и противно, что у Террье кровь застыла в жилах. Он тряс корзину на вытянутой руке и кричал «у-тю-тю!», чтобы заставить ребенка замолчать, но тот ревел все громче, лицо его посинело, и он, казалось, готов был лопнуть от рева.

Убрать его прочь! — думал Террье, сей момент убрать прочь этого... «дьявола» хотел он сказать, но спохватился и прикусил язык... прочь это чудовище, этого невыносимого ребенка! Но куда? Он знал дюжину кормилиц и сиротских домов в квартале, но они были расположены слишком близко, слишком вплотную к нему, а это создание надо было убрать подальше, так далеко, чтобы его нельзя было в любой момент снова поставить под дверь, по возможности его следует отправить в дру-

гой приход, еще лучше — на другой берег Сены, лучше бы всего — за пределы города, в предместье Сент-Антуан, вот куда! Вот куда мы отправим этого крикуна, далеко на восток от города, по ту сторону Бастилии, где по ночам запирают ворота.

И, подобрав подол своей сутаны, он схватил ревущую корзину и бросился бежать, бежать по лабиринту переулков к Сент-Антуанскому предместью, бежать вдоль Сены, на восток, прочь из города, дальше до улицы Шаронн и вдоль этой улицы почти до конца, где он недалеко от монастыря Магдалины знал адрес некой мадам Гайар, которая брала на полный пансион детей любого возраста и любого происхождения, лишь бы ей платили, и там он отдал все еще оравшего младенца, заплатил за год вперед и бежал обратно в город, сбросил, добравшись до монастыря, свое платье, словно нечто замаранное, вымылся с головы до ног и забрался в своей келье в постель, где много раз перекрестился, долго молился и наконец уснул.

4

Мадам Гайар, хотя ей еще не было и тридцати лет, уже прожила свою жизнь. Внешность ее соответствовала ее действительному возрасту, но одновременно она выглядела вдвое, втрое, в сто раз старше, она выглядела как мумия девушки; но внутренне она давно была мертва. В детстве отец ударил ее кочергой по лбу, прямо над переносицей, и с тех пор она потеряла обоняние, и всякое ощущение человеческого тепла, и человеческого холода, и вообще всякие сильные чувства. Одним этим ударом в ней были убиты и нежность, и отвращение, и радость, и отчаяние. Позже, совокупляясь с мужчиной и рожая своих детей, она точно так же не испытывала ничего, ровно ничего. Не печалилась о тех, которые у нее умирали, и не радовалась тем, которые у нее остались. Когда муж избивал ее, она не вздрагивала, и она не испытала облегчения, когда он умер от холеры в Отель-Дьё. Единственные два известных ей ощущения были едва заметное помрачение души, когда приближалась ежемесячная мигрень, и едва заметное просветление души, когда мигрень проходила. И больше ничего не чувствовала эта умершая заживо женщина.

С другой стороны... а может быть, как раз из-за полного отсутствия эмоциональности мадам Гайар обладала беспощадным чувством порядка и справедливости. Она не отдавала предпочтения ни одному из порученных ее попечению детей и ни одного не ущемляла. Она кормила их три раза в день, и больше им не доставалось ни кусочка. Она пеленала маленьких три раза в день, и только до года. Кто после этого еще мочился в штаны, получал равнодушную пощечину и одной кормежкой меньше. Ровно половину получаемых денег она тратила на воспитанников, ровно половину удерживала для себя. В дешевые времена она не пыталась увеличить свой доход, но в тяжкие времена она не докладывала к затратам ни одного су, даже если дело шло о жизни и смерти. Иначе предприятие стало бы для нее убыточным. Ей нужны были деньги, она все рассчитала совершенно точно. В старости она собиралась купить себе ренту, а сверх нее иметь еще достаточно средств, чтобы позволить себе помереть дома, а не околевать в Отель-Дьё, как ее муж. Сама его смерть оставила ее равнодушной. Но ей было отвратительно это публичное совместное умирание сотен чужих друг другу людей. Она хотела позволить себе частную смерть, и для этого ей нужно было набрать необходимую сумму полностью. Правда, бывали зимы, когда у нее из двух дюжин маленьких постояльцев помирало трое или четверо. Но тем не менее этот результат был значительно лучше, чем у большинства частных воспитательниц, и намного превосходил результат больших государственных или церковных приютов, чьи потери часто составляли девять десятых подкидышей. Впрочем, заменить их не составляло труда. Париж производил ежегодно свыше десяти тысяч новых подки-

дышей, незаконнорожденных и сирот. Так что с некоторыми потерями легко мирились.

Для маленького Гренуя заведение мадам Гайар было благословением. Вероятно, нигде больше он бы не выжил. Но здесь, у этой бездушной женщины, он расцвел. Сложенья он был крепкого и обладал редкой выносливостью.

Тот, кто подобно ему пережил собственное рождение среди отбросов, уже не так-то легко позволит сжить себя со свету. Он мог целыми днями хлебать водянистые супы, он обходился самым жидким молоком, переваривал самые гнилые овощи и испорченное мясо. На протяжении своего детства он пережил корь, дизентерию, ветряную оспу, холеру, падение в колодец шестиметровой глубины и ожоги от кипятка, которым ошпарил себе грудь.

Хоть у него и остались от этого шрамы, и оспины, и струпья, и слегка изуродованная нога, из-за которой он прихрамывал, он жил. Он был вынослив, как приспособившаяся бактерия, и неприхотлив, как клещ, который сидит на дереве и живет крошечной каплей крови, раздобытой несколько лет назад.

Для тела ему нужно было минимальное количество пищи и платья. Для души ему не нужно было ничего. Безопасность, внимание, нежность, любовь и тому подобные вещи, в которых якобы нуждается ребенок, были совершенно лишними для Гренуя. Более того, нам кажется, что он сам лишил себя их, чтобы выжить,— с самого начала.

Крик, которым он заявил о своем рождении, крик из-под разделочного стола, приведший на эшафот его мать, не был инстинктивным криком о сострадании и любви. Это был взвешенный, мы чуть было не сказали, зрело взвешенный крик, которым новорожденный решительно голосовал против любви и все-таки за жизнь. Впрочем, при данных обстоятельствах одно было возможно только без другого, и потребуй ребенок всего, он без сомнения тут же погиб бы самым жалким образом. Хотя... он мог воспользоваться тогда предоставленной ему второй возможностью — молчать и выбрать путь от рождения до смерти без обходной дороги через жизнь, тем самым избавив мир и себя от огромного зла. Однако, чтобы столь скромно уйти в небытие, ему понадобился бы минимум врожденного дружелюбия, а им он не обладал. Он был с самого начала чудовищем. Он проголосовал за жизнь из чистого упрямства и из чистой злобности.

Разумеется, он решился на это не так, как решается взрослый человек, использующий свой более или менее сильный разум и опыт, чтобы выбрать между двумя различными перспективами. Но все же он сделал выбор — вегетативно, как делает выбор зерно: нужно ли ему пускать ростки или лучше оставаться непроросшим. Или как клещ на дереве, коему жизнь тоже не предлагает ничего иного, кроме перманентной зимовки. Маленький уродливый клещ скручивает свое свинцово-серое тело в шарик, дабы обратить к внешнему миру минимальную поверхность; он делает свою кожу гладкой и плотной, чтобы не испускать наружу ничего — ни малейшего излучения, ни легчайшего испарения. Клещ специально делает себя маленьким и неприметным, чтобы никто не заметил и не растоптал его. Одинокий клещ, сосредоточившись в себе, сидит на своем дереве, слепой, глухой и немой, и только вынюхивает, годами вынюхивает на расстоянии нескольких миль кровь проходящих мимо живых, которых он никогда не догонит. Клещ мог бы позволить себе упасть. Он мог бы позволить себе упасть на землю леса, проползти на своих крошечных ножках несколько миллиметров туда или сюда и зарыться в сухую листву — умирать, и никто бы о нем не пожалел, Богу известно, что никто. Но клещ, упрямый, упорный и мерзкий, притаился, и живет, и ждет. Ждет, пока в высшей степени невероятный случай подгонит прямо к нему под дерево кровь в виде какого-нибудь животного. И только тогда он отрешается от своей скрыт-

ности, срывается, и вцепляется, и ввинчивается, впивается в чужую плоть.

Таким клещом был маленький Гренуй. Он жил, замкнувшись в свою оболочку, и ждал лучших времен. Миру он не отдавал ничего, кроме своих нечистот: ни улыбки, ни крика, ни блеска глаз, ни даже запаха. Любая другая женщина оттолкнула бы этого ребенка. Но не мадам Гайар. У нее ведь не было обоняния, она не знала, что он не пахнет, и не ждала от него никакого душевного движения, потому что ее собственная душа была запечатана.

Зато другие дети тотчас почувствовали, что с Гренуем что-то не так. С первого дня новенький внушал им неосознанный ужас. Они обходили его колыбель и теснее прижимались друг к другу на своих лежанках, словно в комнате становилось холоднее. Те, что помладше, иногда плакали по ночам; им казалось, что в спальне дует. Другим снилось, что он как бы отбирает у них дыхание. Однажды старшие дети сговорились его задушить. Они навалили ему на лицо лохмотья, и одеяло, и солому. Когда мадам Гайар на следующее утро раскопала его из-под кучи тряпья, он был весь измочален, истерзан, весь в синяках, но не мертв. Они попытались проделать это еще пару раз — напрасно. Просто так, собственными руками сдавить ему глотку или зажать ему нос или рот, что было бы более надежным способом,— они боялись. Они не хотели к нему прикасаться. Он вызывал у них чувство омерзения, как огромный паук, которого не хочется, противно давить.

Когда он подрос, они отказались от покушений на его жизнь. Они, кажется, поняли, что уничтожить его невозможно. Вместо этого они стали чураться его, убегать прочь, во всяком случае избегать соприкосновения. Они его не ненавидели. Они его и не ревновали, и не завидовали ему. Для подобных чувств в заведении мадам Гайар не было ни малейшего повода. Им просто мешало его присутствие. Они не слышали его запаха. Они его боялись.

5

При этом, с объективной точки зрения, в нем не было ничего устрашающего. Подростком он был не слишком высок, не слишком силен, пусть уродлив, но не столь исключительно уродлив, чтобы пугаться при виде его. Он был не агрессивен, не хитер, не коварен, он никого не провоцировал. Он предпочитал держаться в стороне. Да и интеллект его, казалось, менее всего мог вызвать ужас. Он встал на обе ноги только в три года, первое слово произнес — в четыре, это было слово «рыбы» — оно вырвалось из него в момент внезапного возбуждения как эхо, когда на улицу Шаронн явился издалека какой-то торговец рыбой и стал громко расхваливать свой товар. Следующие слова, которые он выпустил из себя наружу, были: «пеларгония», «козий хлев», «савойская капуста» и «Жак Страхолюд» (прозвище помощника садовника из ближайшего монастыря Жен Мироносиц, мадам Гайар иногда нанимала его для самой тяжелой работы, и он отличался тем, что не мылся ни разу в жизни). Что касается глаголов, прилагательных и частиц, то их у Гренуя было и того меньше. Кроме «да» и «нет» — их, впрочем, он сказал впервые очень поздно — он произносил только основные слова, по сути, только имена собственные и названия конкретных вещей, растений, животных и людей, да и то лишь тогда, когда эти вещи, растения, животные или люди ненароком вторгались в его обоняние.

Сидя под мартовским солнцем на поленнице буковых дров, потрескивавших от тепла, он впервые произнес слово «дрова». До этого он уже сотни раз видел дрова, сотни раз слышал это слово. Он и понимал его: ведь зимой его часто посылали принести дров. Но самый предмет — дрова — не казался ему достаточно интересным, чтобы произносить его название. Это произошло только в тот мартовский день, когда он сидел на поленнице. Поленница была сложена в виде скамьи у южной стены сарая мадам Гайар под крышей, образующей навес. Верхние поленья

пахли горячо и сладко, из глубины поленницы поднимался легкий аромат моха, а от сосновой стены сарая шла теплая струя смоляных испарений.

Гренуй сидел на дровах, раздвинув ноги и опираясь спиной на стену сарая, он закрыл глаза и не двигался. Он ничего не видел, ничего не слышал и не ощущал. Он просто вдыхал запах дерева, клубившийся вокруг него и скапливавшийся под крышей, как под колпаком. Он пил этот запах, утопал в нем, напитывался им до самой последней внутренней по́ры, сам становился деревом, он лежал на груде дерева, как деревянная кукла, как пиноккио, как мертвый, пока, спустя долгое время, может быть через полчаса, он изрыгнул из себя слово «дрова». Так, будто он был до краев полон дровами, словно он был сыт дровами по горло, словно его живот, глотка, нос были забиты дровами,— вот как его вытошнило этим словом.

И это привело его в себя, спасло от пересиливающего присутствия самого дерева, от его аромата, угрожавшего ему удушьем. Он подобрался, свалился с поленницы и поковылял прочь на деревянных ногах. Еще несколько дней спустя он был совершенно не в себе от интенсивного обонятельного впечатления и когда воспоминание с новой силой всплывало в нем, бормотал про себя, словно заклиная: «Дрова, дрова».

Так он учился говорить. Со словами, которые не обозначали пахнущих предметов, то есть с абстрактными понятиями, прежде всего этическими и моральными, у него были самые большие затруднения. Он не мог их запомнить, путал их, употреблял их, даже уже будучи взрослым, неохотно и часто неправильно: право, совесть, Бог, радость, ответственность, смирение, благодарность и т. д.— то, что должно выражаться ими, было и осталось для него туманным. С другой стороны, обиходного языка вскоре оказалось недостаточно, чтобы обозначить все те вещи, которые он собрал в себе как обонятельные представления. Вскоре он различал по запаху уже не просто дрова, но их сорта: клен, дуб, сосна, вяз, груша, дрова старые, свежие, трухлявые, гнилые, замшелые, он различал на нюх даже отдельные чурки, щепки, опилки — и различал их так ясно, как другие люди не смогли бы различить на глаз. С другими вещами дело обстояло примерно так же.

То, что белый напиток, который мадам Гайар ежеутренне раздавала своим подопечным, всегда назывался молоком, хотя он каждое утро совершенно по-другому воспринимался Гренуем на запах и на вкус,— ведь оно было холодное или горячее, происходило от той или иной коровы, с него снимали больше или меньше сливок... то, что дым, ежеминутно, даже ежесекундно переливавшийся сотнями отдельных ароматов и образующий композицию запахов, смешивающихся в новое единство, и дым костра имели лишь одно, именно это, название: «дым»... то, что земля, ландшафт, воздух, которые на каждом шагу, с каждым вздохом наполнялись иным запахом и тем самым одушевлялись иной идентичностью, тем не менее должны были обозначаться всего тремя, именно этими, неуклюжими словами — все эти гротесковые расхождения между богатством обонятельно воспринимаемого мира и бедностью языка вообще заставили маленького Гренуя усомниться в самом языке; и он снисходил до его использования только если этого непременно требовало общение с другими людьми.

К шести годам он обонятельно полностью постиг свое окружение. В доме мадам Гайар не было ни одного предмета, в северной части улицы Шаронн не было ни одного места, ни одного человека, ни одного камня, дерева, куста или забора, ни одного даже самого маленького, закоулка, которого он не знал бы на нюх, не узнавал и прочно не сохранял бы в памяти во всей его неповторимости. Он собрал десять тысяч, сто тысяч специфических, единственных в своем роде запахов и держал их в своем распоряжении так отчетливо, так живо, что не только вспоминал о них, если слышал их снова, но и на самом деле их слышал, если снова вспоминал о них; более того — он даже умел в своем воображе-

нии по-новому сочетать их и таким образом создавал в себе такие запа хи, которых вообще не существовало в действительности.

Он как бы овладел огромным словарем, позволявшим ему составлять из запахов любое число новых фраз,— и это в том возрасте, когда другие дети, с трудом подбирая вколоченные в них слова, лепечут банальные короткие предложения, отнюдь не достаточные для описания мира. Пожалуй, точнее всего было бы сравнить его с музыкальным вундеркиндом, который из мелодий и гармоний извлек азбуку отдельных звуков и вот уже сам сочиняет совершенно новые мелодии и гармонии — правда, с той разницей, что алфавит запахов был несравненно больше и дифференцированней, чем звуковой, и еще с той, что творческая деятельность вундеркинда Гренуя разыгрывалась только внутри него и не могла быть замечена никем, кроме него самого.

Внешне он становился все более замкнутым. Ему нравилось бродяжничать в северной части Сент-Антуанского предместья, рыскать по огородам, полям, виноградникам. Иногда он не возвращался ночевать, пропадал из дому на несколько дней. Положенную за это экзекуцию он выносил безропотно. Домашний арест, лишение пищи, штрафная работа не могли изменить его поведения. Нерегулярное посещение (в течение полутора лет) приходской школы при церкви Нотр-Дам-де-Бон-Секур не оказало на него сколько-нибудь заметного влияния. Он научился немного читать по складам и писать свое имя, и ничему больше. Его учитель считал его слабоумным. Зато мадам Гайар заметила, что у него были определенные способности и свойства, весьма необычные, чтобы не сказать сверхъестественные. Так, ему, казалось, был совершенно неведом детский страх темноты и ночи. Его можно было в любое время за любым делом послать в подвал, куда другие дети едва решались входить с фонарем; или за дровами — в сарай на дворе, в самую непроглядную ночную тьму. И он никогда не брал с собой фонаря и все же точно находил и немедленно приносил требуемое, не сделав ни единого неверного движения, не споткнувшись и ничего не опрокинув. Но, конечно, еще более странным было то, что Гренуй, как неоднократно замечала мадам Гайар, умел видеть сквозь бумагу, ткань, дерево, и даже сквозь прочно замурованные каменные стены, и плотно закрытые двери. Он знал, кто именно из воспитанников находится в дортуаре, не входя туда. Он знал, что в цветной капусте притаилась улитка, прежде чем кочан успевали разрубить. А однажды, когда мадам Гайар так хорошо припрятала деньги, что и сама не могла их найти (она меняла свои тайники), он, ни секунды не сомневаясь, указал на место за стояком камина, и надо же — там-то они и нашлись! Он даже будущее мог предвидеть: случалось, он докладывал о визите какого-либо человека задолго до его прихода или безошибочно предсказывал приближение грозы, хотя на небе еще не появилось ни малейшего облачка.

О том, что всего этого он, конечно, не видел, не видел глазами, а все острее и точнее чуял носом: улитку в капусте, деньги за стояком, человека за стеной на расстоянии нескольких кварталов — об этом мадам Гайар не догадалась бы и во сне, даже если бы ее обоняние не пострадало от того удара кочергой. Она была убеждена, что у этого мальчика — слабоумный он или нет — есть второе лицо. А поскольку она знала, что двуличные приносят несчастье и смерть, ей стало жутко.

Еще более жуткой, прямо-таки невыносимой была мысль, что под одной с нею крышей живет некто, имеющий дар сквозь стены и балки видеть тщательно спрятанные деньги, и как только она открыла эту ужасную способность Гренуя, она постаралась от него избавиться, и так все удачно сложилось, что как раз в это время — Греную было восемь лет — монастырь Сент-Мерри, не объясняя причин, прекратил свои ежегодные выплаты. Мадам не стала напоминать монастырю о его задолженности. Ради приличия она подождала одну неделю, и когда недостающие деньги все еще не поступили, она взяла мальчика за руку и отправилась с ним в город.

На улице Мортельри недалеко от реки жил один ее знакомый — кожевник по фамилии Грималь, которому постоянно нужны были мальчишки для работы — не в качестве учеников или подмастерьев, а в качестве дешевых чернорабочих. Ведь в этом ремесле приходилось выполнять настолько опасные для жизни операции — мездрить гниющие звериные шкуры, смешивать ядовитые дубильные и красильные растворы, выводить едкие протравы,— что порядочный мастер, обычно жалея губить своих обученных помощников, нанимал безработный и бездомный сброд или беспризорных детей, чьей судьбой в случае несчастья никто не станет интересоваться. Разумеется, мадам Гайар знала, что в дубильне Грималя у Гренуя — по человеческим меркам — не было шанса остаться в живых. Но не такая она была женщина, чтобы задумываться о подобных вещах. Она же выполнила свой долг. Опека кончилась. Что бы ни случилось с воспитанником в будущем, ее это не касалось. Выживет он — хорошо, помрет — тоже хорошо, главное, чтоб все было по закону. И потому она попросила господина Грималя письменно подтвердить передачу мальчика, в свою очередь расписалась в получении пятнадцати франков комиссионных и отправилась домой на улицу Шаронн.

Она не испытывала ни малейших угрызений совести. Напротив, полагала, что поступила не только по закону, но и по справедливости, поскольку пребывание в приюте ребенка, за которого никто не платил, было возможно лишь за счет других детей или даже за ее собственный счет, а может быть, и угрожало будущему других детей или даже ее собственному будущему, и в итоге ее собственной огражденной, частной смерти — единственному, чего она еще желала в жизни.

Поскольку здесь мы расстаемся с мадам Гайар, да и позже уже не встретимся с нею, опишем в нескольких фразах ее последние дни. Хотя душой мадам умерла еще в детстве, она дожила, к несчастью, до глубокой, глубокой старости. В лето от Рождества Христова 1782-е, на семидесятом году жизни, она оставила свое ремесло, купила, как и намеревалась, ренту, сидела в своем домишке и ожидала смерти. Но смерть не приходила. Вместо смерти пришло нечто, на что не мог рассчитывать ни один человек на свете и чего еще никогда не бывало в стране, а именно революция, то есть происшедшее с бешеной скоростью коренное изменение всех общественных, моральных и трансцедентных отношений. Поначалу эта революция не оказывала влияния на личную судьбу мадам Гайар. Но потом — ей уже было под восемьдесят — выяснилось, что человек, плативший ей ренту, лишился собственности и вынужден был эмигрировать, а его имущество купил с аукциона фабрикант брюк. Некоторое время еще казалось, что и эта перемена обстоятельств не скажется роковым образом на судьбе мадам Гайар, потому что брючный фабрикант продолжал исправно выплачивать ренту. Но потом настал день, когда она получила свои деньги не монетой, а в форме маленьких бумажных листков, и это было началом ее материального конца.

Через два года ренты стало не хватать даже на оплату дров. Мадам была вынуждена продать свой дом по смехотворно низкой цене, потому что кроме нее внезапно объявились тысячи других людей, которым тоже пришлось продавать свои дома. И снова она получила взамен лишь эти нелепые бумажки, и снова через два года они почти ничего не стоили, и в 1797 году — ей тогда было под девяносто — она потеряла все свое скопленное по крохам, нажитое тяжким вековым трудом имущество и ютилась в крошечной меблированной каморке на улице Кокий. И только теперь с десяти-, с двадцатилетним опозданием подошла смерть — она пришла к ней в образе опухоли, болезнь схватила мадам за горло, лишила ее сначала аппетита, потом голоса, так что она не могла возразить ни слова, когда ее отправляли в богадельню Отель-Дьё. Там ее поместили в ту самую залу, битком набитую сотнями умирающих людей, где некогда умер ее муж, сунули в общую кровать к пяте-

рым другим совершенно посторонним старухам (они лежали, тесно прижатые телами друг к другу) и оставили там на три недели принародно умирать. Потом ее зашили в мешок, в четыре часа утра вместе с пятьюдесятью другими трупами швырнули на телегу и под тонкий перезвон колокольчика отвезли на новое кладбище в Кламар, что находится в миле от городских ворот, и там уложили на вечный покой в братской могиле под толстым слоем негашеной извести.

Это было в 1799 году. Но мадам, слава Богу, не предчувствовала своей судьбы, возвращаясь домой в тот день 1747 года, когда она покинула мальчика Гренуя — и наше повествование. Иначе она, вероятно, потеряла бы веру в справедливость и тем самым единственный доступный ей смысл жизни.

6

С первого взгляда, который он бросил на господина Грималя,— нет, с первого чуткого вдоха, которым он втянул в себя запах Грималя,— Гренуй понял, что этот человек в состоянии забить его насмерть за малейшую оплошность. Его жизнь стоила теперь ровно столько, сколько его работа, его жизнь равнялась лишь той пользе, которой измерял ее Грималь. И Гренуй покорно лег к ногам хозяина, ни разу не сделав ни единой попытки привстать. Изо дня в день он снова закупоривал внутрь себя всю энергию своего упрямства и строптивости, применяя ее лишь для того, чтобы, подобно клещу, пережить предстоявший ледниковый период: терпеливо, скромно, незаметно, сохраняя огонь жизненной надежды на самом маленьком, но тщательно оберегаемом костре. Теперь он стал образцом послушания, непритязательности и трудолюбия, ловил на лету каждое приказание, довольствовался любой пищей. По вечерам он послушно позволял запирать себя в пристроенный сбоку к мастерской чулан, где хранилась утварь, рабочие инструменты и висели просоленные сырые кожи. Здесь он спал на голом утрамбованном земляном полу. Целыми неделями он работал, пока было светло, зимой — восемь, летом — четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать часов: мездрил издававшие страшное зловоние шкуры, вымачивал их в воде, сгонял волос, обмазывал известью, протравливал квасцами, колол дрова, обдирал кору с берез и тисов, спускался в дубильные ямы, наполненные едкими испарениями, укладывал слоями, как приказывали ему подмастерья, кожи и шкуры, раскидывал раздавленные чернильные орешки, забрасывал этот жуткий костер ветками тиса и землей. Через несколько лет ему приходилось потом снова его раскапывать и извлекать из их могилы трупы шкур, мумифицированные до состояния дубленых кож. Если он не закапывал и не выкапывал шкуры, то таскал воду. Месяцами он таскал с реки наверх воду, всегда по два ведра, сотни ведер в день, ибо кожевенное дело требует огромного количества воды для мытья, вымачивания, кипячения, крашения. Месяцами он работал водоносом, промокая до нитки, вечерами его одежда сочилась водой, а кожа была холодной, мягкой и набухшей, как замша.

Через год такого — скорее животного, чем человеческого — существования он заболел сибирской язвой, этой страшной болезнью кожевников, которая обычно имеет смертельный исход. Грималь уже поставил на нем крест и начал подыскивать ему замену — впрочем, не без сожаленья, поскольку он еще никогда не имел более скромного и старательного работника, чем этот Гренуй. Однако, против всякого ожидания, Гренуй выздоровел. Только за ушами, на шее и на щеках у него остались шрамы от больших черных нарывов, которые уродовали его и делали еще безобразней, чем прежде. Зато у него остался — бесценное преимущество — иммунитет к сибирской язве, так что теперь он мог мездрить самые плохие шкуры даже кровоточащими, растрескавшимися руками, не подвергаясь опасности заразиться снова. Этим он выгодно отличался не только от других учеников и подмастерьев, но и от своих собственных потенциальных преемников. И поскольку теперь его ста-

ло не так легко заменить, стоимость его работы повысилась, а тем самым и цена его жизни. Ему вдруг разрешили не спать больше на голом полу, а сколотить себе деревянный лежак в сарае, застелить его соломой и укрываться одеялом. Его больше не запирали на ночь. Еда стала более сносной. Грималь обращался с ним теперь не просто как с животным, а как с полезным домашним животным.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, Грималь стал освобождать его от работы на полдня по воскресеньям, а с тринадцати ему даже в будни разрешалось на час после работы выходить из дому и делать, что он хотел. Он одержал победу, ибо остался в живых, и у него была некоторая свобода, чтобы жить дальше. Время зимовки прошло. Клещ Гренуй снова ожил. Он чуял утренний воздух. Его охватил охотничий азарт. Перед ним открылся величайший в мире заповедник запахов: город Париж.

7

Это было как в сказке. Уже близлежащий квартал Сен-Жак-де-ля-Бушри и улицы в районе церкви Св. Евстахия были сказкой. В переулках, ответвлявшихся от улицы Сен-Дени и Сен-Мартен, люди жили так плотно, дома в пять, шесть этажей стояли так тесно, что закрывали небо, и воздух был стоячим, как вода в канавах, и насквозь пропитан запахами. В нем мешались запахи людей и животных, испарения пищи и болезни, воды и камня, золы и кожи, мыла и свежеиспеченного хлеба и яиц, сваренных в уксусе, лапши и до блеска начищенной латуни, шалфея и пива и слез, жира и мокрой и сухой соломы. Тысячи и тысячи запахов создавали невидимую лаву, наполнявшую пропасти улиц, которая над крышами исчезала лишь изредка, а с мостовой — никогда. Люди, обитавшие там, давно принюхались к этой смеси: ведь она возникла из них и снова и снова пропитывала их, ведь это был воздух, которым они дышали и жили, он был как заношенная теплая одежда — ее не чувствуешь на теле, ее запаха не замечаешь. Но Гренуй все это слышал впервые. И он не только воспринимал мешанину ароматов во всей ее полноте — он расщеплял ее аналитически на мельчайшие и отдаленнейшие части и частицы. Его тонкий нюх распутывал узел из испарений и вони на отдельные нити основных, более неразложимых запахов. Ему доставляло невыразимое удовольствие распутывать и прясть эти нити.

Он часто останавливался, прислонившись к стене какого-нибудь дома или забившись в темный угол, и стоял там, закрыв глаза, полуоткрыв рот и раздувая ноздри, неподвижный, как хищная рыба в глубокой, темной, медленно текущей воде. И когда наконец дуновение воздуха подбрасывало ему кончик тончайшей ароматной нити, он набрасывался на этот один-единственный запах, не слыша больше ничего вокруг, хватал его, вцеплялся в него, втягивал его в себя и сохранял в себе навсегда. Это мог быть давно знакомый запах или его разновидность, но мог быть и совсем новый, почти или совсем не похожий на все, что ему до сих пор приходилось слышать, а тем более видеть; например, запах глаженого шелка; запах тимьянового чая, запах куска вышитой серебром парчи, запах пробки от бутылки с редким вином, запах черепахового гребня. Гренуй гонялся за такими еще незнакомыми ему запахами, ловил их со страстностью и терпением рыбака и собирал в себе.

Досыта нанюхавшись густого запаха переулков, он уходил в места, где запахи были тоньше, смешивались с ветром и разносились почти как духи: скажем, на рыночную площадь, где вечерами крепко держались запахи дня — незримые, но в то же время столь явственные, словно в толпе еще кишели торговцы, стояли корзины с овощами и яйцами, бочонки, полные вина и уксуса, мешки с пряностями и картофелем и мукой, ящики с гвоздями и гайками, рыбные столы, столы, заваленные тканями, и посудой, и подметками, и сотнями других вещей, которые продавались днем... вся эта сутолока и суета до мельчайшей подробности присутствовала в воздухе, который она оставляла после себя. Гре-

ный, так сказать, носом видел весь этот базар. И носом он видел его точнее, чем другой увидел бы глазами, поскольку Гренуй воспринимал его «вслед» и потому более возвышенно: как эссенцию, как дух чего-то прошлого, не нарушенного обычными атрибутами настоящего — такими, как шум, яркость, отвратительная толкотня живых людей.

Или он шел туда, где казнили его мать, на Гревскую площадь — которая подобно огромному языку высовывалась в реку. Здесь, вытащенные на берег или причаленные к тумбам, стояли корабли и лодки и пахло углем, и зерном, и сеном, и мокрой пенькой канатов.

А с запада, по той единственной просеке, которую река провела через город, проникал широкий поток ветра и приносил запахи полей, лугов под Нейи, лесов между Сен-Жерменом и Версалем, далеких городов вроде Руана и Каэна, а иногда даже и моря. Море пахло как надутый парус, в котором запутались вода, соль и холодное солнце. Оно пахло просто, это море, но запах был одновременно большим и своеобразным, так что Гренуй не решался расщепить его на рыбное, соленое, водянистое, водоросли, свежесть и так далее. Он предпочел не разбивать его, сохранил в памяти целиком и наслаждался им во всей полноте. Запах моря понравился ему настолько, что он захотел когда-нибудь получить его чистым, без примесей и в таком количестве, чтобы от него можно было опьянеть. И позже, когда из рассказов он узнал, что море большое и по нему можно целыми днями плыть на кораблях, не встречая суши, он обычно представлял, что сидит на таком корабле высоко наверху, в корзине на самой передней мачте, и летит куда-то вдаль по бесконечному запаху моря, который даже и не запах вовсе, а дыхание, выдох, конец всех запахов, и от удовольствия он словно растворяется в этом дыхании. Но этому не дано было сбыться, ибо Грenую, стоявшему на Гревской площади на берегу Сены и многократно вдыхавшему маленький обрывок морского ветра, попавший ему в нос, не суждено было никогда в жизни увидеть море, настоящее море, великий океан, лежащий на западе, не позволено было смешаться с его запахом.

Квартал между церковью Св. Евстахия и городской ратушей он скоро изучил на нюх так точно, что не заблудился бы там и самой темной ночью. И тогда он расширил поле своей охоты — сначала на запад к предместью Сент-Оноре, потом вверх по улице Сент-Антуан до Бастилии и, наконец, даже на другой берег реки до квартала Сорбонны и предместья Сен-Жермен, где жили богатые люди. Сквозь чугунные решетки ворот пахло кожей карет и пудрой в париках пажей, а через высокие стены из садов переливался аромат дрока и роз и только что подстриженных кустов бирючины. И здесь же Гренуй впервые услышал запах духов — в собственном смысле слова. Это была простая лавандовая или розовая вода, которую в торжественных случаях подмешивали в садовые фонтаны, но и более сложные, более драгоценные ароматы мускусной настойки, смешанной с маслом нарцисса и туберозы, жонкилий, жасмина или корицы, которые по вечерам, как тяжелый шлейф, тянулись за экипажами. Он запоминал эти ароматы, как запоминал вульгарные запахи, с любопытством, но без особого изумления. Впрочем, он заметил, что духи намеренно старались одурманить и привлечь его обоняние, и он признал достоинства отдельных эссенций, из которых они состояли. Но в целом они казались ему все же грубыми и пошлыми, разбавленными, а не скомпонованными, и он знал, что мог бы изготовить совершенно другие благовония, имей он в своем распоряжении такие же исходные материалы.

Многие из этих материалов он уже встречал прежде, на рынке — в цветочных рядах и рядах с пряностями, другие были для него новыми, и их он фильтровал из ароматических смесей и безымянными сохранял в памяти: амбру, цибетин, пачули, сандаловое дерево, бергамот, бензойную смолу, цвет хмеля, бобровую струю...

Он не был привередлив. Между тем, что́ повсеместно обозначалось как хороший запах или дурной запах, он не делал различий — пока не

делал. Он был алчен. Цель его охотничьих вылазок состояла в том, чтобы просто-напросто овладеть всеми запахами, которые мог предложить ему мир, и единственное условие заключалось в том, чтобы запахи были новыми. Запах конского пота значил для него столько же, сколько нежный аромат распускающегося розового бутона, острая вонь клопа — не меньше, чем пар жаркого из телятины, просачивавшийся из господских кухонь. Он поглощал, вбирал в себя все, все подряд. Но и в синтезирующей кухне его воображения, где он постоянно составлял новые комбинации запахов, еще не господствовал никакой эстетический принцип. Это были причудливые фантазии, он создавал и тут же разрушал их, как ребенок, играющий в кубики,— изобретательно и деструктивно, без различимого творческого принципа.

8

Первого сентября 1753 года, в годовщину восшествия на престол короля, город Париж устроил фейерверк на Королевском мосту. Зрелище не было таким роскошным, как фейерверк в честь бракосочетания короля или как легендарный фейерверк по случаю рождения дофина, но все же это был весьма впечатляющий фейерверк. На мачтах кораблей были укреплены золотые солнечные колеса. Так называемые огненные звери изрыгали с моста в реку пылающий звездный дождь. Повсюду с оглушительным шумом взрывались петарды и на мостовых лопались хлопушки, изготовленные в виде лягушек, а в небо поднимались ракеты и рисовали белые лилии на черном пологе небосвода. Многотысячная толпа, собравшаяся на мосту и на набережных с обеих сторон реки, сопровождала этот спектакль восторженными ахами и охами и криками «Браво!» и даже «Виват!» — хотя король вступил на трон тридцать восемь лет назад и пик народной любви давно уже остался позади. Вот что в состоянии совершить фейерверк.

Гренуй молча стоял в тени павильона Флоры, на правом берегу, напротив Королевского моста. Он не участвовал в ликовании, даже ни разу не взглянул на летящие вверх ракеты. Он пришел в надежде унюхать что-нибудь новое, но скоро выяснилось, что фейерверк в смысле запахов ничего ему не обещает. Все, что искрилось, и сияло, и трещало, и свистело там в расточительном многообразии, представляло собой в высшей степени однообразную смесь запахов серы, масла и селитры.

Он уже собрался покинуть это скучное мероприятие, чтобы, держась вдоль галереи Лувра, направиться домой, но тут ветер что-то донес до него, что-то крошечное, едва заметное, обрывок, атом нежного запаха — нет, еще того меньше: это было скорее предчувствие, чем действительный запах, и одновременно уверенная догадка, что ничего подобного он никогда не слышал. Он снова отпрянул к стене, закрыл глаза и раздул ноздри. Аромат был так нежен и тонок, что снова и снова ускользал от восприятия, его нельзя было удержать, его перекрывал пороховой дым петард, блокировали испарения человеческих масс, разрывали и стирали тысячи других запахов города. Но потом — вдруг — он снова появлялся, какую-то короткую секунду маленький лоскуток благоухал роскошным намеком... и тут же исчезал. Гренуй мучительно страдал. Впервые страдал не только его алчный характер, натолкнувшийся на оскорбление, но действительно страдало его сердце. У него появилось смутное ощущение, что этот аромат — ключ к порядку всех других ароматов, что нельзя ничего понять в запахах, если не понять этого единственного, и он, Гренуй, зря проживет жизнь, если ему не удастся овладеть им. Он должен заполучить его не просто для того, чтобы утолить жажду обладания, но ради спокойствия своего сердца.

Ему чуть не стало дурно от возбуждения. Он еще даже не установил, откуда вообще исходил этот аромат. Иногда интервалы между дуновениями длились минутами, и каждый раз на него нападал жуткий страх, что он потерял его навсегда. Наконец он пришел к спасительно-

му заключению, что аромат доносится с другого берега реки, откуда-то с юго-востока.

Оторвавшись от стены павильона Флоры, Грену́й нырнул в человеческую гущу и стал прокладывать себе путь через мост. Он то и дело останавливался, приподнимался на носках. чтобы принюхаться поверх голов, сперва от страшного возбуждения не слышал ничего, потом наконец что-то улавливал, вцеплялся в аромат даже крепче, чем прежде, убеждался, что движется к цели, снова нырял в толпу зевак и пиротехников, беспрестанно подносивших свои факелы к фитилям шутих, терял свой ориентир в едком пороховом дыму, впадал в панику, снова локтями и всем корпусом проталкивался вперед... Через несколько бесконечных минут он оказался на другом берегу, миновал особняк Майи, набережную Малакэ, то место, где подходит к реке улица Сены...

Здесь он остановился, перевел дух и принюхался. Он поймал его. Теперь он его не упустит. Аромат, словно лента, спускался по улице Сены, неповторимый и отчетливый, но все такой же очень нежный и очень тонкий. Грену́й почувствовал, как бьется его сердце, и понял, что бьется оно не от напряжения бега, а от вдруг возникшей беспомощности перед присутствием этого запаха. Он попытался вспомнить что-нибудь похожее, сравнимое с ним, но все сравнения не годились. В этом запахе была свежесть; но не свежесть лимонов или померанцев, не свежесть мирры, или коричного листа, или кудрявой мяты, или березового сока, или камфоры, или сосновых иголок, не свежесть майского дождя, или морозного ветра, или родниковой воды... и одновременно он источал тепло; но не так, как бергамот, кипарис или мускус, не как жасмин и нарцисс, не как розовое дерево и не как ирис... В этом запахе сливалось и то, и другое, летучее и тяжелое, но они не просто смешивались, а были чем-то единым и к тому же небольшим и слабым и в то же время прочным и крепким, как кусок тонкого переливчатого шелка... но нет, это было не как шелк, а как медовой сладости молоко, в котором растворяется пирожное,— но тогда одно с другим не вязалось при всем желании: молоко и шелк! Какой-то непостижимый аромат, неописуемый, он не помещался никуда, собственно, его вообще не должно было быть. И все-таки он был — в самой великолепной неоспоримости. Грену́й следовал за ним с колотящимся от страха сердцем, потому что смутно догадывался, что не он следует за ароматом, но что аромат захватил его в плен и теперь непреодолимо влечет к себе.

Он двинулся вверх по улице Сены. На улице не было ни души. Дома стояли пустые и тихие. Люди ушли вниз к реке любоваться фейерверком. Здесь ему не мешали ни лихорадочный запах толпы, ни пороховая вонь. Улица пахла как обычно — водой, помоями, крысами и овощными отбросами. Но над всем этим парила нежно и отчетливо та лента, которая привела сюда Грену́я. Через несколько шагов слабый свет ночного неба поглотили высокие дома, и Грену́й пошел дальше в темноте. Ему не нужно было ничего видеть. Запах надежно вел его за собой.

Через пятьдесят метров он свернул вправо на улицу Марэ, в совсем уже темный переулок, где, разведя в сторону руки, можно было коснуться домов на противоположных сторонах мостовой. Странным образом запах стал не намного сильнее. Он только становился чище и благодаря этому, благодаря этой все большей чистоте, приобретал все более мощную притягательность. Грену́й шел словно против воли. В одном месте запах твердо повернул его направо, ему показалось, что он сейчас упрется в стену какого-то дома. Но в середине стены обнаружилась низкая арка прохода. Словно лунатик Грену́й прошел через арку, ведшую во двор, завернул за угол, попал во второй дворик, поменьше, и здесь наконец был свет: освещен был квадрат двора всего в несколько шагов. К стене под косым углом был пристроен деревянный навес. На столе под навесом горела свеча. За столом сидела девушка и чистила мирабель. Она брала фрукты из стоящей слева от нее корзины, отрыва-

ла черенок, ножом извлекала косточку и бросала в ведро. Ей было лет тринадцать, четырнадцать. Гренуй остановился. Он сразу понял, что́ было источником аромата, который он учуял на расстоянии более полумили на другом берегу реки: не этот грязный двор, не мирабель. Источником была девушка.

Он был совершенно сбит с толку. На миг ему в самом деле показалось, что еще никогда в жизни он не вдыхал ничего столь прекрасного, как эта девушка. К тому же, стоя против света, он видел только ее силуэт. Он, конечно, имел в виду, что никогда не нюхал ничего столь прекрасного. Но так как он все же знал человеческие запахи, много тысяч запахов мужчин, женщин, детей, в его мозгу не укладывалось, что столь изысканный аромат мог струиться от человека. Обычно люди пахли пошло или убого. Дети пахли безвкусно, от мужчин несло мочой, острым потом и сыром, от женщин — прогорклым салом и гнилой рыбой. Люди пахли совершенно не интересно, отталкивающе... И вот впервые в жизни Гренуй не поверил своему носу, и ему пришлось призвать на помощь глаза, чтобы убедиться, что нюх его не обманул. Правда, это смятение чувств длилось недолго. Ему в самом деле понадобился один миг, чтобы оптически подтвердить свои обонятельные впечатления и тем безогляднее им предаться. Теперь он чуял, что она была — человек, чуял пот ее подмышек, жир ее волос, рыбный запах ее чресел и испытывал величайшее наслаждение. Ее пот благоухал, как свежий морской ветер, волосы — как ореховое масло, чресла — как букет водяных лилий, кожа — как абрикосовый цвет... и соединение всех этих компонентов создавало аромат столь роскошный, столь гармоничный, столь волшебный, что все ароматы, когда-либо прежде слышанные Гренуем, все сооружения из запахов, которые он, играя, когда-либо возводил внутри себя, вдруг просто разрушились, утеряв всякий смысл. Сто тысяч ароматов не стоили этого одного. Он один был высшим принципом, все прочие должны были строиться по его образцу. Он был — сама красота.

Гренуй понял: если он не овладеет этим ароматом, его жизнь лишится всякого смысла. Он должен познать его до мельчайшей подробности, до самого последнего нежнейшего оттенка; простого общего воспоминания о нем недостаточно. Он хотел как бы поставить личное клеймо на этом апофеозном аромате, впечатать его в сумятицу своей черной души, исследовать до тонкости и отныне впредь мыслить, жить, обонять мир в соответствии с внутренними структурами этой волшебной формулы.

Он медленно придвигался к девушке, ближе, еще ближе. Вот он вступил под навес и остановился у нее за спиной на расстоянии шага. Она его не слышала.

Волосы у нее были рыжие, серое платье без рукавов обнажало очень белые плечи и руки, желтые от сока разрезанных слив. Гренуй стоял, склонившись над ней и вдыхая ее аромат, теперь совершенно беспримесный, поднимавшийся от ее затылка, волос, выреза платья и вливавшийся в него как свежий ветер. Ему еще никогда не было так приятно. Но девушке стало холодно.

Она не видела Гренуя. Но ощутила безотчетный испуг, странный озноб, как будто ее вдруг охватил забытый, давно преодоленный страх. Ей показалось, будто за спиной у нее подул холодный сквозняк, будто кто-то распахнул настежь дверь в огромный подвал. И она отложила свой кухонный нож, прижала руки к груди и обернулась.

Она так оцепенела от ужаса при виде его, что ему вполне хватило времени, чтобы сжать руками ее шею. Она не вскрикнула, не пошевелилась, не попыталась защититься хотя бы жестом. А он и не взглянул на нее. Он не видел ни ее нежного, усыпанного веснушками лица, ни алого рта, ни больших ярко-зеленых глаз, ибо, пока он душил ее, глаза его были крепко зажмурены, и он боялся лишь одного — потерять хоть каплю ее аромата.

Когда она умерла, он положил ее на землю среди косточек мирабели, сорвал с нее платье, и струя аромата превратилась в поток, захлестнувший его своим благоуханием. Он приник лицом к ее коже и широко раздутыми ноздрями провел от ее живота к груди, к шее, по лицу и по волосам и назад к животу, вниз по бедрам, по икрам, по ее белым ногам. Он впитал ее запах с головы до ног, до кончиков пальцев, он собрал остатки ее запаха с подбородка, пупка и со сгибов ее локтей.

Когда он извлек все и она увяла, он еще некоторое время сидел рядом с ней на корточках, чтобы прийти в себя, ибо он пресытился ею. Он не хотел расплескать ничего из ее запаха. Для начала ему надо было плотно задраить внутренние переборки. Потом он встал и задул свечу.

9

В это время с песнями и криками «Виват!» начали возвращаться домой на улицу Сены участники гуляния. Гренуй нюхом нашел в темноте выход в переулок, а оттуда на параллельную улицу Птиз-Огюстен, которая тоже вела к реке. Чуть позже люди обнаружили мертвую. Поднялся крик. Зажглись факелы. Прибыла городская стража. Гренуй давно уже был на другом берегу.

В эту ночь его чулан показался ему дворцом, а дощатые нары — пышным альковом. До сих пор он никогда за всю свою жизнь не испытывал ощущения счастья. Хотя ему были знакомы редкие состояния тупой удовлетворенности. Но сейчас он дрожал от счастья, не мог заснуть от блаженства. Он словно во второй раз родился, нет, не во второй, в первый, ибо до сих пор он просто существовал, как животное, имея весьма туманное представление о самом себе. Но сегодня ему показалось, что он наконец узнал, кто он на самом деле: а именно не кто иной, как гений; и что его жизнь имеет смысл, и задачу, и цель, и высшее предопределение; а именно осуществить революцию, никак не меньше, в мире запахов; и что на всем свете только он один владеет всеми необходимыми для этого средствами; а именно своим изощренным обонянием, своей феноменальной памятью и — самое важное — запечатленным в ней ароматом этой девушки с улицы Марэ, в котором в виде волшебной формулы содержится все, из чего состоит благоухание: нежность, сила, прочность, многогранность и пугающая, непреоборимая красота. Он нашел компас для своей будущей жизни. И как все гениальные чудовища, устроенные так, что через внешнее событие прокладывается прямая колея в вихреобразный хаос их душ, Гренуй уже более не отклонялся от того, что он принимал и признавал за направление своей судьбы. Теперь ему стало ясно, почему он так упорно и ожесточенно цеплялся за жизнь: он должен был стать Творцом запахов. И не каким-то заурядным. Но величайшим парфюмером всех времен.

Уже той же ночью, сначала бодрствуя, потом во сне, он провел инспекцию огромного поля, где лежали руины его воспоминаний. Он перебрал миллионы и миллионы обломков, кубиков, кирпичиков, из которых строятся запахи, и привел их в систематический порядок: хорошее к хорошему, плохое к плохому, тонкое к тонкому, грубое к грубому, зловонное к зловонному, благоуханное к благоуханному. Через неделю этот порядок стал еще стройнее, каталог запахов еще содержательнее и дифференцированнее, иерархия еще четче, уже скоро он смог приступить к планомерному возведению зданий запахов: дома, стены, ступени, башни, подвалы, комнаты, тайные покои... с каждым днем расширявшаяся, с каждым днем становившаяся красивее и совершеннее внутренняя крепость великолепнейших композиций ароматов.

То обстоятельство, что в начале этого великолепия стояло убийство, было ему (если он вообще отдавал себе в этом отчет) глубоко безразлично. Облика девушки с улицы Марэ — ее лица, ее тела — он уже не мог припомнить. Ведь он же сохранил лучшее, что отобрал и присвоил себе: сущность ее аромата.

В то время в Париже насчитывалось более дюжины парфюмеров. Шестеро из них жили на правом берегу, шестеро — на левом, а один как раз посредине, а именно на мосту Менял, соединявшем правый берег с островом Сите. Этот мост с обеих сторон был так плотно застроен четырехэтажными домами, что с него ни в одном месте нельзя было увидеть реку, так что создавалось впечатление вполне нормальной, основательной, хорошо мощенной и к тому же чрезвычайно элегантной улицы. В самом деле, мост Менял считался одним из самых модных кварталов города. Здесь находились знаменитые лавки, где свой товар предлагали ювелиры, резчики по черному дереву, лучшие изготовители париков, чемоданов, сумок и кошельков, тончайшего нижнего белья и чулок, рамок для картин и сапог для верховой езды, вышивальщики эполет, литейщики золотых пуговиц и банкиры. И здесь же располагались магазин и жилой дом парфюмера и перчаточника Джузеппе Бальдини. Над его витриной был натянут роскошный зеленого цвета навес, рядом висел герб Бальдини, весь в золоте: золотой флакон, из коего вырастал букет золотых цветов, а перед дверьми лежал красный ковер, также с гербом Бальдини, вышитым золотом. Когда открывалась наружная дверь, раздавался звон колокольчика, исполнявшего персидскую мелодию, и две серебряные цапли начинали извергать фиалковую воду из своих клювов прямо в позолоченную чашу, которая в свою очередь имела форму герба Бальдини.

А за конторкой светлого бука стоял сам Бальдини, старый и неподвижный, как колонна, в парике, обсыпанном серебряной пудрой, и сюртуке, обшитом золотым галуном. Облако миндальной воды Франжипани, которой он опрыскивал себя каждое утро, прямо-таки зримо окружало его и отодвигало его особу в некую прозрачно-туманную даль. В своей неподвижности он был похож на свой собственный манекен. Только когда раздавался мелодичный звон колокольчика и цапли начинали фонтанировать — что случалось не слишком часто,— манекен мгновенно оживал, съеживался, становился маленьким и юрким и, отвешивая многочисленные поклоны, вылетал из-за конторки так стремительно, что пахучее облако едва успевало ринуться вслед; после чего покорнейше просил клиента присесть и насладиться выбором изысканнейших ароматов и косметических средств.

У Бальдини их были тысячи. Ассортимент простирался от чистых эссенций, цветочных масел, настоек, вытяжек, секреций, бальзамов, смол и прочих препаратов в сыпучей, жидкой и вязкой форме — через помады, пасты, все сорта пудры и мыла, сухие духи, фиксатуары, бриллиантины, эликсиры для ращения бороды, капли для сведения бородавок и крошечные пластыри для исправления изъянов внешности — вплоть до притираний, лосьонов, ароматических солей, туалетных жидкостей и бесконечного количества духов. Но Бальдини не довольствовался этими продуктами классической косметики. Он считал делом чести собирать в своей лавке все, что источало какой-либо аромат или как-либо служило для получения аромата. И потому наряду с курительными свечками, пастилками и ленточками там имелись все пряности — от семян аниса до палочек корицы, сиропы, ликеры и фруктовые воды, вина с Кипра, Малаги и из Коринфа, множество сортов меда, кофе, чая, сушеные и засахаренные фрукты, фиги, карамели, шоколадки, каштаны, даже консервированные каперсы, огурцы и лук и маринованный тунец. А кроме того, ароматизированный сургуч для печатей, надушенная писчая бумага, чернила для любовных писем, пахнущие розовым маслом, бювары из испанской кожи, футляры для перьев из белого сандалового дерева, горшочки и чашечки для цветочных лепестков, курительницы из латуни, флаконы и флакончики из хрусталя с притертыми янтарными пробками, пахучие перчатки, носовые платки, подушечки для иголок, набитые мускатным цветом, и пропитанные мускусом обои, которые могли более ста лет наполнять комнату ароматом.

Разумеется, для всех этих товаров не хватило бы места в помпез-

ной лавке, выходившей на улицу (то есть на мост), а поскольку подвала не было, то не только кладовая, но и второй и третий этажи, а также все обращенные к реке помещения первого служили складом. В результате в доме Бальдини царил неописуемый хаос запахов. Насколько изысканным было качество отдельных товаров — ибо Бальдини покупал товары только высшего качества,— настолько же невыносимым был одновременно исторгаемый ими запах, подобный звучанию оркестра, в котором каждый из тысячи музыкантов играет фортиссимо свою собственную мелодию. Сам Бальдини и его служащие давно принюхались к этому хаосу, как стареющие дирижеры, которые ведь все до единого тугоухи, и даже жена хозяина, жившая на четвертом этаже и отчаянно сопротивлявшаяся дальнейшему расширению складских помещений, почти уже притерпелась ко многим запахам. Другое дело — клиент, впервые посетивший лавку Бальдини. Царивший здесь коктейль ароматов действовал на него, как удар кулаком в лицо, вызывал, в зависимости от характера клиента, восхищение или смущение, во всяком случае сбивал его с толку до такой степени, что человек часто переставал соображать, зачем вообще он сюда пришел. Мальчишки-посыльные позабывали свои поручения. Нахальные господа тушевались. А некоторые дамы переживали не то истерику, не то приступ клаустрофобии, падали в обморок, и привести их в себя могли разве что самые резкие нюхательные соли из гвоздичного масла, нашатырь и камфарный спирт.

При таких обстоятельствах в общем неудивительно, что колокольчик у дверей лавки Джузеппе Бальдини все реже вызванивал персидскую мелодию, а серебряные цапли все реже фонтанировали фиалковой водой.

10

— Шенье! — позвал Бальдини из-за конторки, где он несколько часов простоял столбом, уставившись на закрытую дверь.— Надевайте ваш парик! — И между бочонком с оливковым маслом и подвешенными на крюки байоннскими окороками появился Шенье, подмастерье Бальдини, тоже уже старый человек, хотя и моложе хозяина, и прошел вперед, в более изящно обставленное помещение лавки. Он вытащил из кармана сюртука свой парик и нахлобучил его на голову.

— Вы уходите, господин Бальдини?

— Нет,— сказал Бальдини,— я удаляюсь на пару часов в мой рабочий кабинет и желаю, чтобы меня абсолютно никто не беспокоил.

— А, понимаю! Вы изобретаете новые духи.

Бальдини. Вот именно. По заказу графа Верамона. Он хочет ароматизировать кусок испанской кожи и требует чего-то совершенно нового. Требует чего-то вроде... вроде... кажется, это называется «Амур и Психея» — то, чего он требует, а изготовлено оно этим бездарным тупицей с улицы Сент-Андре-дез-Ар... как его бишь...

Шенье. Пелисье.

Бальдини. Да. Пелисье. Верно. Так его зовут, этого тупицу. «Амур и Психея» от Пелисье. Знаете эти духи?

Шенье. Еще бы не знать. Теперь их слышишь на каждом углу. Ими душится весь свет. Но если вас интересует мое мнение — ничего особенного! Они, разумеется, не идут ни в какое сравнение с вашими, господин Бальдини.

Бальдини. Конечно, не идут.

Шенье. В высшей степени банальный запах у этого «Амура».

Бальдини. Вульгарный?

Шенье. Чрезвычайно вульгарный, как у всех духов Пелисье. Я думаю, они на лиметине.

Бальдини. В самом деле? А что там еще?

Шенье. Померанцевая эссенция, кажется. И может быть, настойка розмарина.

Бальдини. Мне это совершенно безразлично.
Шенье. Конечно.
Бальдини. Мне глубоко наплевать, что там намешал в свои духи этот тупица Пелисье. Мне он не указ!
Шенье. Вы совершенно правы, сударь.
Бальдини. Как вам известно, мне никто не указ! Как вам известно, я сам разрабатываю свою парфюмерию.
Шенье. Я знаю, сударь.
Бальдини. Я сам рождаю все свои идеи!
Шенье. Я знаю.
Бальдини. И собираюсь создать для графа Верамона нечто такое, что произведет настоящий фурор.
Шенье. Я в этом убежден, господин Бальдини.
Бальдини. Оставляю лавку на вас, Шенье. Мне нужно работать. Не позволяйте никому беспокоить меня, Шенье.

И с этими словами старик, уже отнюдь не величественный, а сгорбленный, как и подобает в его возрасте, и даже как бы прибитый, заковылял прочь и медленно поднялся по лестнице на второй этаж, где находился его рабочий кабинет.

Шенье занял место за конторкой, принял точно ту же позу, в которой пребывал его хозяин, и неподвижным взглядом уставился на дверь. Он знал, что призойдет в ближайшие часы, а именно: в лавке — ровно ничего, а наверху, в рабочем кабинете Бальдини, обычная катастрофа. Бальдини снимет свой голубой сюртук, пропитанный водой Франжипани, сядет за письменный стол и будет ожидать вдохновения свыше. А вдохновение не придет. Потом он кинется к шкафу с флаконами проб и начнет смешивать что-то наобум. Смесь не получится. Он разразится проклятиями, распахнет окно и вышвырнет пробу в реку. Потом попытается смешать что-то другое, и у него опять ничего не получится, тогда он начнет вопить и бесноваться и, одурев от наполнивших кабинет запахов, разразится рыданиями. Часам к семи вечера он спустится вниз, жалкий, плачущий, дрожащий, и скажет: «Шенье, я потерял обоняние, я не могу родить эти духи, не могу родить эти духи, не могу изготовить бювар для графа, я погиб, внутри меня все мертво, я хочу умереть, пожалуйста, Шенье, помогите мне умереть!» И Шенье предложит послать к Пелисье за флаконом «Амура и Психеи», и Бальдини согласится при условии, что ни одна душа не узнает об этом позоре, Шенье поклянется, что ни одна, и ночью они тайно пропитают бювар графа Верамона чужими духами. Все будет именно так, а не иначе, и Шенье желал только одного — чтобы эта комедия побыстрее кончилась. Бальдини больше не был великим парфюмером. Да, прежде, в молодости, тридцать, сорок лет назад он изобрел «Розу юга» и «Галантный букет Бальдини» — два действительно великих аромата, которым он был обязан своим состоянием. Но теперь он стар, и изношен, и отстал от моды и от нового вкуса людей, и даже если ему вообще еще удавалось состряпать какой-нибудь запах, то получалась допотопная неходовая дрянь, которую они через год в десять раз разжижали и сплавляли в розницу как добавку к воде для фонтанов. Жаль его, подумал Шенье и взглянул в зеркало проверить, не съехал ли на сторону его парик, жаль старого Бальдини; жаль его прекрасной лавки, ведь он разорится; и меня жаль, ведь пока он разорится, я успею состариться и не смогу ее купить...

11

Джузеппе Бальдини хотя и снял свой пахучий сюртук, но только по старой привычке. Запах воды Франжипани давно уже не мешал его обонянию: ведь за несколько десятков лет он так привык к нему, что вообще уже больше его не замечал. Он и дверь в кабинет закрыл и тишины потребовал, но он не сел к письменному столу, чтобы размышлять и ожидать вдохновения, ибо знал куда лучше, чем Шенье, что вдохно-

вение его не посетит. Дело в том, что оно еще никогда его не посещало. Да, верно, он был стар, и изношен, и перестал быть великим парфюмером, но он знал, что никогда в жизни и не был им. «Розу юга» он получил в наследство от отца, а рецепт «Галантного букета Бальдини» купил у заезжего торговца пряностями из Генуи. Все прочие его духи были давно известными смесями. Он еще ничего никогда не изобрел. Он не был изобретателем. Он был педантичным изготовителем доброкачественных запахов — вроде повара, который превосходно готовит по хорошим рецептам, но никогда не выдумает собственного блюда. Всю эту комедию с лабораторией, и экспериментами, и вдохновением, и таинственностью он разыгрывал лишь потому, что она поддерживала его реноме мастера — парфюмера и перчаточника. Парфюмер создает чудеса, он наполовину алхимик, считают люди — тем лучше! О том, что его искусство — ремесло, как и любое другое, знал только он, и в этом была его гордость. Он и не хотел быть изобретателем. Изобретательство весьма подозрительно, полагал он, поскольку оно всегда означает нарушение правил. Он вовсе не собирался изобретать новые духи для графа Верамона. Во всяком случае, Шенье не придется ни уговаривать его, ни доставать «Амур и Психею» у Пелисье. Он уже достал эти духи. Вот они, на письменном столе у окна, в маленьком стеклянном флаконе с граненой пробкой. Он купил их несколько дней назад. Резумеется, не сам лично. Не может же он собственной персоной явиться к Пелисье за духами! Он действовал через посредника, а тот тоже через посредника... Осторожность никогда не помешает. Ибо Бальдини собирался не только использовать эти духи для ароматизации испанской кожи, да и не хватило бы ему одного флакона. Он задумал нечто худшее: скопировать их.

Впрочем, это и не было запрещено. Это было только в высшей степени неблагородно. Тайно воспроизвести духи конкурента и продавать под своим именем было ужасно неприлично. Но еще неприличнее, если тебя поймают с поличным, а потому Шенье не должен ничего знать, ибо Шенье любит болтать лишнее.

Ах, как это дурно, что порядочный человек должен так изворачиваться! Как тяжело жертвовать самым драгоценным, что имеешь — столь жалким образом пятнать собственную честь. Но что же делать? Как ни крути, а граф Верамон такой клиент, которого ни в коем случае нельзя терять. Кроме графа, и клиентов-то почти не осталось. Снова приходится бегать за заказчиками, как в начале двадцатых годов, когда он только начинал свою карьеру, таскаясь с лотком по улицам. Богу известно, что он, Джузеппе Бальдини, владелец самой большой и удачнее всех расположенной парфюмерной лавки в Париже, финансово возвратился на круги своя, посещая клиентов на дому с чемоданчиком в руках. А это ему совсем не нравилось: ведь ему было уже за шестьдесят, и он терпеть не мог ждать в холодных прихожих и расхваливать перед старыми маркизами туалетную воду, настоянную на тысячелистнике, уксус «Четыре разбойника» или мазь от мигреней. Кроме того, в прихожих царила совершенно омерзительная конкуренция. Например, этот выскочка Бурэ с улицы Дофина, утверждавший, что у него самый большой выбор помад в Европе; или Кальто с улицы Моконсей, пролезший в личные поставщики графини д'Артуа; или вот совершенно непредсказуемый Антуан Пелисье с улицы Сент-Андре-дез-Ар, каждый сезон вводивший в моду новые духи, от которых весь свет сходил с ума.

Такие духи от Пелисье могли повергнуть в хаос весь рынок. Если в каком-то сезоне в моду входила венгерская мода и Бальдини соответственно запасался лавандой, бергамотом и розмарином,— Пелисье выступал с «Истомой», сверхнасыщенным мускусным ароматом. Всех вдруг охватывало зверское желание пахнуть, и Бальдини ничего не оставалось, как перерабатывать свой розмарин на воду для мытья головы и зашивать лаванду в нюхательные мешочки. Зато когда на следующий год он заказывал соответственное количество мускуса, цибетина и касто-

реума, Пелисье ни с того ни с сего сочинял духи под названием «Лесной цветок», и они мгновенно завоевывали успех. Ценой долгих ночных опытов или подкупая за бешеные деньги шпионов, Бальдини наконец выяснял, из чего состоит «Лесной цветок»,— а Пелисье уже снова козырял «Турецкими ночами», или «Лиссабонским ароматом», или «Букетом королевского двора», или черт знает чем еще. Во всяком случае, этот человек со своей необузданной изобретательностью представлял опасность для всего ремесла. Как тут было не пожалеть, что суровые времена цехового права ушли в прошлое. К такому наглому выскочке, к такому рвачу, наживающемуся на инфляции запахов, стоило бы применить самые драконовские меры. Отнять бы у него патент, запретить соваться в парфюмерное дело... и вообще, пусть этот мошенник сперва кое-чему научится! Ведь он же не был обученным парфюмером и перчаточником, этот Пелисье! Его отец был не кем иным, как цедильщиком уксуса, и Пелисье был цедильщиком уксуса, никем иным. И просто потому, что цедильщики уксуса имеют право доступа к спиртным продуктам, ему удалось втереться в круг истинных парфюмеров, и теперь он бесчинствует там, как вонючий хорек. Зачем, скажите, каждый сезон вводить в моду новые духи? Какая в этом надобность? Раньше публика вполне довольствовалась фиалковой водой и простыми цветочными смесями, которые разве что слегка изменялись раз в десять лет. Тысячелетиями люди обходились ладаном и миррой, несколькими бальзамами, маслами и сушеными пряностями. И даже после того, как они научились с помощью колб и перегонных кубов получать дистиллированную воду, с помощью водяного пара отбирать у трав, цветов и различных сортов древесины их благоухающую суть в виде эфирного масла, с помощью дубовых прессов выжимать ее из семян, и косточек, и кожуры фруктов или с помощью тщательно профильтрованных жиров извлекать ее из цветочных лепестков, число запахов было еще ограниченным. В те времена такой тип, как Пелисье, вообще не мог бы возникнуть: ведь в те времена даже для изготовления простой помады требовались способности, о которых этот уксусник не смел бы мечтать. Нужно было не только уметь дистиллировать, нужно было быть изготовителем мазей и аптекарем, алхимиком и ремесленником, торговцем, гуманистом и садовником одновременно. Нужно было уметь отличить жир бараньей почки от телячьего жира, а фиалку «виктория» от пармской фиалки. Нужно было знать, когда созревают гелиотропы и когда цветет пеларгония и что цветок жасмина с восходом солнца теряет свой аромат. Об этих вещах субъект вроде Пелисье, разумеется, не имел понятия. Вероятно, он никогда еще не уезжал из Парижа, никогда еще в жизни не видел цветущего жасмина. Ему и во сне не снилось, какая нужна гигантская черная работа, чтобы из ста тысяч жасминовых лепестков извлечь маленький комочек конкреции или несколько капель чистой эссенции. Вероятно, он знал только ее, знал жасмин только в виде концентрированной темно-коричневой жидкости в маленьком флаконе, стоявшем у него в несгораемом шкафу рядом со многими другими флакончиками, из которых он смешивал свои модные духи. Нет, в добрые старые времена, когда уважали ремесло, такой хлыщ, как этот Пелисье, не посмел бы соваться в парфюмеры. У него для этого нет никаких данных: ни характера, ни образования, ни скромности, ни понятия о цеховой субординации. Всеми своими успехами он обязан исключительно открытию, сделанному двести лет назад гениальным Маурицио Франжипани — кстати, итальянцем! — и состоявшему в том, что ароматические вещества растворимы в винном спирте. Смешав свои пахучие порошки с алкоголем и перенеся тем самым их запах на летучую жидкость, он освободил запах от материи, одухотворил его, изобрел запах как чистый запах, короче: создал духи. Какое великое деяние! Какой эпохальный подвиг! Его действительно можно сравнить только с величайшими достижениями человеческого рода, с изобретением письма ассирийцами, с евклидовой геометрией, с идеями Платона и превращением винограда в [illegible]

греками. Поистине, прометеев подвиг! Но поскольку все великие подвиги духа отбрасывают не только свет, но и тени и приносят человечеству наряду с благодеяниями также и горести и печали, постольку великолепное открытие Франжипани имело, к сожалению, дурные последствия. Ибо с тех пор, как люди научились зачаровывать дух цветов и трав, деревьев, смол и секреций животных и удерживать его в закрытых флаконах, искусство ароматизации постепенно ускользало от немногих универсально владевших ремеслом мастеров и открылось шарлатанам, которые только и умели что держать нос по ветру,— вроде этого вонючего хорька Пелисье. Не заботясь о том, как и когда возникло волшебное содержимое его флаконов, он может теперь просто исполнять капризы своего обоняния и смешивать все, что вдруг взбредет на ум ему или публике.

Этот ублюдок Пелисье в свои тридцать пять лет наверняка уже нажил большее состояние, чем он, Бальдини, накопил, наконец, благодаря тяжелому упорному труду трех поколений. И состояние Пелисье с каждым днем увеличивалось, а его, Бальдини, с каждым днем таяло. В прежние времена такого вообще не могло быть! Чтобы почтенный ремесленник и уважаемый коммерсант был вынужден буквально бороться за существование — такое началось всего несколько десятилетий назад! С тех пор как везде и всюду разразилась эта лихорадка нововведений, этот безудержный понос предприимчивости, это зверское бешенство экспериментирования, эта мания величия в торговле, в путешествиях и науках!

Или взять это помешательство на скорости! Зачем понадобилось копать такое множество новых дорог? К чему эти новые мосты? К чему? Чтобы за неделю можно было доехать до Лиона? А какой в этом толк? Кому от этого польза? Зачем сломя голову нестись через Атлантику? Чтобы через месяц очутиться в Америке? А ведь люди тысячелетиями прекрасно обходились без этого континента! Что потерял цивилизованный человек в первобытном лесу у индейцев или негров? Или в Лапландии, на Севере, где вечные льды и где живут дикари, которые жрут сырую рыбу? Мало этого — пожелали открыть еще один континент, где-то в южных морях, говорят. А к чему это безумие? Другие, видите ли, тоже так делали, испанцы, проклятые англичане, нахальные голландцы, с которыми потом пришлось сражаться, чего вообще нельзя было себе позволять. 300 000 ливров чистоганом — вот во что обходится один военный корабль, а потом он тонет за пять минут от единственного пушечного выстрела, и прощайте навек, денежки налогоплательщиков. Господин министр финансов требует теперь отчислять ему десятую часть всех доходов, сплошное разорение, даже если не платить ему этой части, раз уж кругом царит такое падение нравов.

Все несчастья человека происходят оттого, что он не желает спокойно сидеть у себя дома — там, где ему положено. Так говорит Паскаль. Но Паскаль был великий человек, Франжипани духа, собственно, мастер в своем ремесле, а на таких нынче спроса нет. Теперь они читают подстрекательские книги гугенотов или англичан. Или пишут трактаты, или так называемые великие научные сочинения, в коих все и вся ставится под вопрос. Будто бы нет больше ничего достоверного, и все вдруг изменилось. В стакане воды, дескать, плавают малюсенькие зверушки, которых раньше никто не видел; сифилис теперь вроде бы нормальная болезнь, а не божья кара; Господь, мол, создал мир не за семь дней, а за миллионы лет, если это вообще был Господь; дикари такие же люди, как мы; детей мы воспитываем неправильно; земля больше не круглая, как была до сих пор, а сплюснутая сверху и снизу, наподобие дыни — как будто в этом дело! Все кому не лень задают вопросы, и роют, и исследуют, и вынюхивают, и над чем только не экспериментируют. Теперь мало сказать что и как — изволь еще это доказать, представить свидетелей, привести цифры, провести какие-то там смехотворные опыты. Всякие дидро, и даламберы, и вольтеры, и руссо, и прочие писаки, как

бы их ни звали — среди них есть даже духовные особы и благородные господа! — своего добились: собственное коварное беспокойство, развратную привычку к неудовлетворенности и недовольству всем на свете, короче, безграничный хаос, царящий в их головах, они умудрились распространить на все общество!

Куда ни погляди, всех лихорадит. Люди читают книги, даже женщины. Священники торчат в кофейнях. А когда однажды вмешалась полиция и засадила в тюрьму одного из этих прожженных негодяев, издатели подняли несусветный крик, а высокопоставленные господа и дамы пустили в ход свое влияние, так что через пару недель его снова освободили или выпустили за границу, где он потом беспрепятственно продолжал строчить свои памфлеты. В салонах болтают исключительно о траекториях комет и экспедициях, о силе рычага и Ньютоне, о строительстве каналов, кровообращении и диаметре земного шара.

И даже король позволил продемонстрировать при нем новомодную ерунду, что-то вроде искусственной грозы под названием электричество: в присутствии всего двора какой-то человек потер какую-то бутылку, и посыпались искры, и на его величество, как говорят, это произвело глубокое впечатление. Невозможно себе представить, что его прадед, тот истинно великий Людовик, чье победоносное правление Бальдини еще имел счастье застать, потерпел бы столь смехотворную демонстрацию в своем присутствии! Но таков был дух нового времени, и добром все это не кончится.

Ибо если уже позволительно самым бесстыдным и дерзким образом ставить под сомнение авторитет божьей церкви; если о не менее богоданной монархии и священной особе короля говорится просто как о сменяемых позициях в целом каталоге других форм правления, которые можно выбирать по собственному вкусу; если, наконец, докатились до того, что самого Бога, лично Всемогущего Господа объявляют излишним и совершенно всерьез утверждают, что порядок, нравственность и счастье на земле мыслимы без Него, просто благодаря врожденной морали и разуму самих людей... о Боже, Боже! — тогда во всяком случае не стоит удивляться, если все идет вверх дном, и нравы вконец развратились, и человечество навлекло на себя кару того, кого оно отрицает. Это плохо кончится. Великая комета 1681 года, над которой они потешались, которую они считают просто кучей звезд, была предупреждающим знамением Господа, ибо она — теперь-то мы знаем — предсказала век распущенности, разложения духовного, политического и религиозного болота, которое человечество само создало для себя и в котором оно когда-нибудь погрязнет и где пышно расцветают только такие махровые и вонючие болотные цветы, как этот Пелисье!

Старик Бальдини стоял у окна и ненавидящим взглядом смотрел на реку под косыми лучами солнца. Под ним выныривали грузовые лодки и медленно скользили на запад к Новому мосту и к пристани у галерей Лувра. Ни одна из них не поднималась здесь вверх против течения, они сворачивали в рукав реки на другой стороне острова. Здесь же все стремилось только мимо, порожние и груженые суда, гребные лодки и плоские челноки рыбаков, коричневая от грязи вода и вода, отливающая золотом,— все стремилось прочь, медленно, широко и неудержимо. А когда Бальдини смотрел вниз прямо под собой, вдоль стены дома, ему казалось, что поток воды втягивает в себя опоры моста, и у него кружилась голова.

Покупать дом на мосту было ошибкой, и вдвойне ошибкой было покупать дом на западной стороне. И вот теперь у него постоянно перед глазами стремящаяся прочь река, и ему казалось, что он сам, и его дом, и его нажитое за многие десятилетия богатство уплывают прочь, как эта река, а он слишком стар и слаб, чтобы устоять против мощного потока. Иногда, отправляясь по делам на левый берег в квартал около Сорбонны или у церкви Св. Сульпиция, он шел через остров и не по мосту Сен-Мишель, а более длинным путем — через Новый мост, пото-

му что этот мост не был застроен. И тогда он останавливался у восточного парапета и смотрел вверх по течению, чтобы хоть раз увидеть, как все стремится ему навстречу; и на несколько мгновений предавался сладким грезам о том, что дело его процветает, семейство благоденствует, женщины не дают ему проходу и его состояние, вместо того чтобы таять, все растет и растет.

Но потом, когда он поднимал глаза совсем немного кверху, он видел на расстоянии каких-нибудь ста метров свой собственный дом, стоящий высоко на мосту Менял, покосившийся и тесный; он видел окна своего кабинета на втором этаже и самого себя, стоящего там у окна и смотрящего вниз на реку и провожающего взглядом стремящуюся прочь воду, как вот теперь. И на этом прекрасный сон кончался, и Бальдини, стоящий на Новом мосту, отворачивался, более подавленный, чем прежде, более подавленный, чем теперь, когда он отвернулся от окна, подошел к письменному столу и сел.

12

Перед ним стоял флакон с духами Пелисье. Золотисто-коричневая жидкость, мерцавшая в солнечном свете, была прозрачной, без малейшей мути. Она выглядела совершенно невинно, как светлый чай,— и все же кроме четырех пятых частей спирта она содержала одну пятую часть таинственной смеси, которая могла привести в возбуждение целый город. Эта смесь в свою очередь состояла, вероятно, из трех или тридцати различных веществ, находившихся в некоем вполне определенном (из бесконечного числа возможных) объемном соотношении друг с другом. Это была душа духов — если, говоря о духах этого холодного как лед предпринимателя Пелисье, уместно упоминать о душе,— и ее строение нужно было сейчас выяснить.

Бальдини тщательно высморкался и немного спустил жалюзи на окне, так как прямой солнечный свет вредит любому пахучему веществу и любой более или менее изящной концентрации запахов. Из ящика письменного стола он достал свежий белый кружевной носовой платок и расправил его. При этом он откинул голову далеко назад и сжал крылья носа — не дай бог поймать опрометчивое обонятельное впечатление прямо из бутылки. Духи следует нюхать в свободном, летучем состоянии и никогда — в концентрированном. Он смочил несколькими каплями носовой платок, помахал им в воздухе, чтобы убрать алкоголь, а потом приблизил к носу. Тремя очень короткими резкими толчками он втянул в себя запах, как будто это был порошок, тут же выдохнул его, помахал рукой, приближая к себе воздух, еще раз принюхался и в заключение сделал глубокий вдох и медленно, с многократными задержками, выдохнул воздух, словно выпуская его скользить по длинной плоской лестнице. Он бросил платок на стол и откинулся на спинку кресла.

Духи были отвратительно хороши. Этот убогий Пелисье, к сожалению, знал толк в своем деле. Боже, какой мастер, пусть он тысячу раз ничему не учился! Бальдини хотел бы, чтобы это были его духи — «Амур и Психея». В них не было ни тени вульгарности. Абсолютно классический запах, завершенный и гармоничный. И в то же время восхитительно новый. Он был свежим, но не назойливым. Он был цветочным, но не слащавым. Он обладал глубиной, великолепной, притягательной, роскошной, темно-коричневой глубиной — и при этом в нем не было ни перегруженности, ни высокопарности.

Бальдини почти благоговейно встал и еще раз поднес к лицу платок. «Чудесно, чудесно... — бормотал он, жадно принюхиваясь.— В нем есть веселость, он прелестен, как мелодия, он прямо-таки поднимает настроение... Какая чепуха!» И он в ярости швырнул платок обратно на стол, отвернулся и отошел в самый дальний угол кабинета, словно устыдился своей восторженности. Смешно впадать в столь неуместное красноречие. «Мелодия. Веселость. Прелесть. Поднимает настрое-

ние» — вздор! Детский вздор. Минутное впечатление. Старый грех. Вопрос темперамента. По всей вероятности, итальянская наследственность. Никогда не суди по первому впечатлению! Это же золотое правило, Бальдини, старый ты осел! Когда нюхаешь — нюхай, а суди потом! «Амур и Психея» — духи незаурядные. Весьма удачное изделие. Ловко состряпанная халтура. Чтобы не сказать фальшивка. А чего иного, кроме фальшивки, можно ожидать от человека вроде Пелисье. Разумеется, такой тип, как Пелисье, не станет фабриковать заурядные духи. Мошенник умеет пустить пыль в глаза, сбить с толку обоняние совершенной гармоничностью запаха, волк в овечьей шкуре классического искусства, вот кто эта бестия,— словом, чудовище с талантом. А это хуже, чем какой-нибудь бездарный неумеха, не осознающий своего невежества.

Но ты, Бальдини, не дашь себя провести. Тебя только в первую минуту сбило с толку ложное впечатление. Но разве известно, что станется с этим запахом через час, когда летучие субстанции испарятся и обнаружится его сердцевина? Или сегодня вечером, когда будут слышны только те тяжелые, темные компоненты, которые сейчас как бы скрываются в полумраке под приятными цветочными покровами? Подожди, не горопись, Бальдини!

Второе правило гласит: духи живут во времени; у них есть своя молодость, своя зрелость и своя старость. И только если они во всех трех возрастах источают одинаково приятный аромат, их можно считать удачными. Ведь сколько уж раз бывало так, что изготовленная нами смесь при первой пробе пахла великолепной свежестью, спустя короткое время — гнилыми фруктами и, наконец, совсем уже отвратительно — чистым цибетином, потому что мы превысили его дозу. Вообще с цибетином надо соблюдать осторожность! Одна лишняя капля может привести к катастрофическим последствиям. Вечная ошибка. Кто знает — может быть, Пелисье переложил цибетина? Может быть, к вечеру от его амбициозных «Амура и Психеи» останется лишь след кошачьей мочи? Поживем — увидим.

А для начала понюхаем. Как острый топор раскалывает деревянную чурку на мельчайшие щепки, так наш нос раздробит его духи на составные части. И тогда окажется, что этот якобы волшебный аромат получен вполне обычным, хорошо известным путем. Мы, Бальдини, потомственные парфюмеры, мы поймаем с поличным этого уксусника Пелисье. Мы сорвем маску с его мерзкой рожи и докажем этому новатору, на что способно старое ремесло. Мы сварганим его модные духи заново, скопируем их нашими руками с такой совершенной точностью, что этот ветрогон сам не отличит их от своих собственных. Нет! Нам этого мало! Мы сделаем их еще лучше! Мы обнаружим его ошибки и устраним их и таким образом утрем ему нос. Ты халтурщик, Пелисье! Вонючий хорек! В парфюмерном деле ты выскочка, и больше ничего!

Теперь за работу, Бальдини! Прочисти нос и нюхай без всяких сантиментов! Надо разложить этот запах по всем правилам искусства! Сегодня к вечеру ты должен получить эту формулу!

И он бросился обратно к письменному столу, вытащил бумагу, чернила и свежий носовой платок, разложил все это у себя под руками и приступил к аналитической работе. Она заключалась в том, что он быстро проносил под носом смоченный духами платок и пытался из пролетавшего мимо ароматного облака выхватить обонянием ту или иную составную часть, стараясь при этом по возможности отвлечься от целостного восприятия, чтобы потом, держа платок подальше от себя в вытянутой руке, быстро написать название обнаруженного ингредиента, после чего снова провести платком под носом, подцепить следующий фрагмент запаха и так далее...

Он работал без перерыва два часа. И его движения становились все лихорадочней, скрип его пера по бумаге все энергичней, дозы духов, которые он вытряхивал из флакона на свой платок и подносил к носу,— все больше.

Теперь он почти не узнавал запахов, он давно был одурманен эфирными субстанциями, которые вдыхал, но уже не мог различать,— а ведь в начале своих проб он полагал, что безошибочно их проанализировал. Он знал, что внюхиваться дольше было бесполезно. Он никогда не узнает, из чего состоят эти новомодные духи, сегодня-то уж наверняка не узнает ничего, да и завтра ничего, если даже его нос с Божьей помощью снова придет в себя. Он так и не научился этому вынюхиванию. Ему всегда было глубоко противно это занятие — разложение аромата. Расчленять целое, более или менее удачно скомпонованное целое, на его простые фрагменты? Это неинтересно. С него хватит.

Но рука его механически продолжала тысячекратно отрепетированным изящным жестом смачивать духами кружевной платок, встряхивать его и быстро проносить мимо лица, и каждый раз он механически втягивал в себя порцию пронизанного ароматом воздуха, чтобы, задержав дыхание по всем правилам искусства, сделать продолжительный выдох. Наконец нос сам избавил его от этой муки: аллергически распухнув изнутри, он как бы закупорился восковой пробкой. Теперь он вообще ничего больше не слышал и едва мог дышать. Нос был забит как при тяжелом насморке, а в уголках глаз стояли слезинки. Слава Богу! Теперь с чистой совестью можно было прекратить работу. Теперь он исполнил свой долг, сделал все, что было в его силах, согласно всем правилам искусства и, как бывало уже не раз, потерпел поражение. Ultra posse nemo obligatur [1]. Баста. Завтра утром он пошлет к Пелисье за большим флаконом «Амура и Психеи», надушит его содержимым бювар графа Верамона и выполнит заказ. А потом возьмет свой чемоданчик со старомодными помадами, притираниями, саше и кусочками мыла и отправится в обход по салонам своих древних старух герцогинь. И однажды последняя старуха герцогиня умрет, и тем самым он лишится своей последней клиентки. И сам он тогда станет древним стариком, и ему придется продать свой дом — Пелисье или кому-то еще из этих новоявленных торгашей, может, он и выручит за него пару тысяч ливров. И возьмет он с собой пару чемоданов и свою старую жену, если она к тому времени не помрет, и отправится в Италию. И если переживет это путешествие, то купит маленький домик в деревне под Мессиной, где жизнь дешевле, чем здесь. И там он, Джузеппе Бальдини, некогда величайший парфюмер Парижа, умрет в отчаянной нищете, когда будет на то воля Господня. Так что все к лучшему.

Он закупорил флакон, отложил перо и последний раз отер лоб смоченным платком. Он почувствовал прохладу испаряющегося алкоголя, и больше ничего. Потом наступил закат.

Бальдини встал. Он поднял жалюзи, и его фигура по колени погрузилась в вечерний свет и засверкала как обгоревший факел, по которому пробегают последние искры огня. Он смотрел на багровую полосу заката за Лувром и его мягкий отсвет на шиферных крышах города. Под ним сверкала золотом река, корабли исчезли. И похоже, поднялся ветер, потому что водная поверхность зарябила, словно покрылась чешуей, там и тут засверкало, все ближе, ближе, казалось, огромная рука рассыпала по воде миллионы луидоров, и река на миг как бы повернула вспять: сияющий поток чистого золота скользил по направлению к Бальдини.

Глаза Бальдини были влажны и печальны. Некоторое время он стоял тихо и наблюдал эту великолепную картину. Потом вдруг распах-

---

[1] Никого нельзя обязать сверх его возможностей *(лат.)*.

нул окно, широко растворил ставни и с размаху выбросил флакон с духами Пелисье. Он видел, как флакон шмякнулся об воду и на какое-то мгновение разорвал сверкающий водный ковер.

В комнату проник свежий воздух. Бальдини перевел дух и подождал, пока распухший нос не пришел в норму. Тогда он закрыл окно. Почти в ту же минуту настала ночь, совершенно внезапно. Сверкающая золотом картина города и реки застыла в пепельно-серый силуэт. В комнате сразу стало мрачно. Бальдини снова стоял в той же позе, устремив неподвижный взор в окно. «Не буду я завтра посылать к Пелисье,— сказал он, вцепившись двумя руками в спинку своего стула.— Не буду. И не пойду в обход по салонам. Завтра я отправлюсь к нотариусу и продам дом и лавку. Вот что я сделаю».

На его лице появилось упрямое, озорное выражение, и он вдруг почувствовал себя очень счастливым. Он снова был молодым Бальдини, отважно бросающим вызов судьбе — даже если вызов судьбе в данном случае был всего лишь отступлением. А хотя бы и так! Ему ведь больше ничего не осталось. Дурацкое время не оставляло ему другого выбора. Господь посылает добрые и худые времена, но Он желает, чтобы в плохие времена мы не жаловались, не причитали, а вели себя как настоящие мужчины. А Он послал знамение. Кроваво-красно-золотой мираж города был предупреждением: действуй, Бальдини, пока не поздно! Еще прочен твой дом, еще полны твои кладовые, ты еще получишь хорошую цену за твое приходящее в упадок дело. Решения еще зависят от тебя. Правда, скромная старость в Мессине не была целью твоей жизни — но все же она достойнее и богоугоднее помпезного разорения в Париже. Пусть они празднуют свой триумф, все эти бруэ, кальто и пелисье. Джузеппе Бальдини оставляет поле битвы. Но он делает это по своей воле и не склоняя головы!

Теперь он был прямо горд собой. И чувствовал бесконечное облегчение. Впервые за много лет судорога услужливости, напрягавшая его затылок и все униженнее сгибавшая его спину, оставила в покое его позвоночник, и он выпрямился без напряжения, освобожденный, и свободный, и обрадованный. Его дыхание легко проходило через нос. Он отчетливо воспринимал запах «Амура и Психеи», заполнивший комнату, но теперь он был неуязвим для него. Бальдини изменил свою жизнь и чувствовал себя чудесно. Теперь он поднимется к жене и поставит ее в известность о своих решениях, а потом отправится на другую сторону реки в собор Парижской Богоматери и поставит свечку, чтобы поблагодарить Бога за милостивое знамение и за невероятную силу характера, которой Он одарил его, Джузеппе Бальдини. С почти юношеским шиком он небрежно надвинул на лысый череп парик, надел голубой сюртук, схватил подсвечник, стоявший на письменном столе, и покинул кабинет. Он как раз успел зажечь свечу от сальной свечки на лестничной клетке, чтобы осветить себе путь наверх в жилое помещение, когда внизу, на первом этаже, раздался звонок. Это не был красивый персидский колокольчик у входа в лавку, а дребезжание у черного входа для посыльных, омерзительное звяканье, которое всегда действовало ему на нервы. Он все собирался убрать эту дрянь и заказать звонок с более приятным звуком, но каждый раз ему жалко было тратиться, а теперь, подумал он вдруг и захихикал при этой мысли, теперь ему было все равно; он продаст назойливое дребезжание вместе с домом. Пусть по этому поводу злится его преемник.

Звонок задребезжал снова. Бальдини прислушался. Шенье, конечно, уже ушел из лавки. А служанка, верно, не собиралась спускаться вниз. Поэтому он решил открыть сам.

Он отбросил задвижку, распахнул тяжелую дверь — и не увидел ничего. Темнота полностью поглотила свет свечи. Потом он постепенно различил маленькую фигуру, ребенка или мальчика-подростка с какой-то ношей, перекинутой через руку.

— Что тебе надо?

— Меня прислал мэтр Грималь, я принес козловые кожи,— сказала фигура, и подошла ближе, и протянула Бальдини согнутую в локте руку, на которой висело несколько сложенных в стопку кож. В свете свечи Бальдини увидел лицо мальчика с боязливо-настороженными глазами. Его поза была склоненной. Казалось, он прячется за своей вытянутой рукой как человек, ожидающий побоев. Это был Гренуй.

14

Козловые кожи! Бальдини вспомнил. Несколько дней назад он сделал заказ у Грималя, тончайшая, мягчайшая лайка для бювара графа Верамона, по пятнадцать франков кусок. Но теперь она ему, собственно говоря, ни к чему, можно было бы сэкономить деньги. С другой стороны, если он просто отошлет посыльного?.. Кто знает — это может произвести неблагоприятное впечатление, начнут болтать, распускать слухи: Бальдини, мол, стал ненадежен, у Бальдини больше нет заказов... а это нехорошо, нет, нет, такие вещи страшно сбивают продажную цену магазина. Лучше уж принять эту бесполезную кожу. Никто не должен раньше времени узнать, что Джузеппе Бальдини изменил свою жизнь.

— Войди!

Он впустил мальчика, и они направились на другую половину дома, впереди — Бальдини с зажженной свечой, за ним — Гренуй со своими кожами. Гренуй впервые входил в парфюмерную лавку — в такое место, где запахи не были чем-то побочным, но совершенно откровенно занимали центральное место. Разумеется, он знал все парфюмерные и аптекарские лавки города, он целыми ночами простаивал перед их витринами, прижимая нос к щелям в дверях. Он знал все запахи, которыми здесь торговали, и часто про себя сочинял из них великолепнейшие духи. Так что ничего нового его здесь не ожидало. Но точно так же, как музыкально одаренный ребенок горит желанием увидеть оркестр вблизи или как-нибудь подняться в церкви на хоры, к скрытой клавиатуре органа, так Гренуй горел желанием увидеть парфюмерную лавку изнутри, и, едва услышав, что к Бальдини надо доставить кожи, он всячески постарался взять на себя это поручение.

И вот он стоял в лавке у Бальдини, в том месте Парижа, где на самом тесном пространстве было собрано самое большое количество профессиональных запахов. В неверном свете свечи он увидел немного, да и то мельком: тень конторки с весами, цапель над фонтаном, кресло для заказчиков, темные полки на стенах, поблескивание латунных инструментов и белые этикетки на стаканах и тиглях; и запахов он уловил не больше, чем слышал с улицы. Но он сразу же ощутил царившую в этих стенах серьезность, мы чуть было не сказали, священную серьезность, если бы слово «священный» имело хоть какое-то значение для Гренуя; он ощутил холодную серьезность, трезвость ремесла, сухую деловитость, исходившие от каждого предмета мебели, от утвари, от пузырьков, и бутылок, и горшков. И пока он шел вслед за Бальдини, в тени Бальдини, ибо Бальдини не давал себе труда посветить ему, его захватила мысль, что его место — здесь, и больше нигде, что он останется здесь, и больше нигде, что он останется здесь и отсюда перевернет мир вверх дном.

Разумеется, эта мысль была прямо-таки до нелепого нескромной. Не было ничего, действительно ровно ничего, что бы позволяло случайно попавшему сюда подмастерью кожевника, сомнительного происхождения, без связей, без протекции, без всякого положения в сословии, прочно закрепиться в самом почетном парфюмерном торговом заведении Парижа; тем более что, как мы знаем, ликвидация фирмы была делом решенным. Но ведь и речь шла даже не о надежде, выражавшейся в нескромных мыслях Гренуя, а об уверенности. Он знал, что покинет эту лавку только еще один раз, чтобы забрать у Грималя свою одежду, не больше. Клещ почуял кровь. Годами он таился, замкнувшись в себе,

и ждал. Теперь он отцепился и упадет — пусть без всякой надежды. Но тем больше была его уверенность.

Они пересекли лавку. Бальдини открыл заднее помещение, расположенное со стороны реки и служившее одновременно кладовой, и мастерской, и лабораторией, где варилось мыло и взбивались помады и в пузатых бутылях смешивались нюхательные жидкости.

— Сюда! — сказал он и указал на большой стол, стоявший под окном.— Клади их сюда!

Гренуй вышел из тени Бальдини, положил шкурки на стол, потом быстро снова отпрыгнул назад и встал между Бальдини и дверью. Бальдини некоторое время стоял неподвижно, отведя свечу немного в сторону, чтобы ни одна капля воска не упала на стол, и скользил костяшкой пальца по гладкой лицевой стороне. Потом перевернул верхнюю шкурку и погладил бархатную, грубую и в то же время мягкую изнанку. Она была очень хороша, эта кожа. Прямо создана для лайки. При сушке она почти не сядет, а если ее правильно разгладить, она снова станет податливой, он почувствовал это сразу, как только зажал ее между большим и указательным пальцами; она смогла бы удерживать аромат пять или десять лет, это была очень, очень хорошая кожа — может быть, он сделает из нее перчатки, три пары себе, три пары жене, для поездки в Мессину.

Он отвел руку и с умилением взглянул на свой рабочий стол — все лежало наготове: стеклянная кювета для ароматизации, стеклянная пластина для сушки, ступки для подмешивания тинктуры, пестик и шпатель, кисть, и гладилка, и ножницы. Казалось, вещи только заснули, потому что было темно, а утром они снова оживут. Может, забрать этот стол с собой в Мессину? И кое-что из инструментов, самое основное?.. За этим столом очень хорошо работалось. Он был изготовлен из дубовых досок — и крышка, и рама с косым крепежом, на этом столе ничего не шаталось и не опрокидывалось, он не боялся никакой кислоты, никакого масла, никакого пореза ножом... Перевезти его в Мессину? Это обойдется в целое состояние! Даже если отправить морем! И поэтому он будет продан, этот стол, завтра он будет продан, и все, что на нем, под ним и рядом с ним точно так же будет продано! Ибо хотя сердце у него, Бальдини, мягкое, но характер — твердый, а посему он исполнит свое решение, как бы тяжело ему ни было, он отрешится ото всего со слезами на глазах, но он все же сделает это, ибо знает, что это правильно, ему было дано знамение.

Он повернулся, чтобы уйти. Тут он заметил в дверях этого маленького скрюченного человечка, о котором чуть не забыл.

— Хорошо,— сказал Бальдини.— Передай своему мастеру, что кожа хорошая. В ближайшие дни я зайду расплатиться.

— Я передам,— сказал Гренуй и не двинулся с места, загородив дорогу Бальдини, собиравшемуся покинуть свою мастерскую. Бальдини несколько опешил, но, ни о чем не подозревая, усмотрел в поведении мальчика не дерзость, а робость.

— В чем дело? — спросил он.— Ты должен еще что-то мне передать? Ну? Выкладывай!

Гренуй стоял потупившись и глядел на Бальдини тем взглядом, который якобы выдает боязливость, но на самом деле скрывает настороженность и напряженность.

— Я хочу у вас работать, мэтр Бальдини. У вас, в вашем магазине я хочу работать.

Это было высказано не как просьба, но как требование, и, собственно говоря, не высказано, а выдавлено, как шипение змеи. И снова Бальдини принял чудовищную самоуверенность Гренуя за детскую беспомощность. Он ласково ему улыбнулся.

— Ты ученик дубильщика, сын мой,— сказал он.— У меня нет работы для ученика дубильщика. У меня есть свой подмастерье, и мне ученик не нужен.

— Вы хотите надушить эти козловые шкурки, мэтр Бальдини? Эти шкурки, которые я вам принес, вы их хотите надушить? — прошелестел Гренуй, словно не приняв к сведению ответа Бальдини.

— Именно так,— сказал Бальдини.

— «Амуром и Психеей» Пелисье? — спросил Гренуй и склонился еще ниже.

По телу Бальдини пробежала слабая судорога ужаса. Не потому, что он спросил себя, откуда этому парню все известно с такой точностью, но просто потому, что название ненавистных духов, состав которых он сегодня, к своему позору, не смог разгадать, было произнесено вслух.

— Как тебе пришла в голову абсурдная идея, что я использую чужие духи, чтобы...

— От вас ими пахнет,— шелестел Гренуй.— Они у вас на лбу, и в правом кармане сюртука у вас лежит смоченный ими платок. Они нехорошие, эти «Амур и Психея», они плохие, в них слишком много бергамота, и слишком много розмарина, и слишком мало розового масла.

— Ага,— сказал Бальдини, который был совершенно потрясен таким поворотом разговора в область точных знаний.— Что еще?

— Апельсиновый цвет, сладкий лимон, гвоздика, мускус, жасмин, винный спирт и еще одна вещь, не знаю, как она называется, вот она, здесь, смотрите! В этой бутылке! — И он показал пальцем в темноту.

Бальдини переместил подсвечник в заданном направлении, его взгляд последовал за указательным пальцем мальчика к полке, где стояла бутыль с серо-желтым бальзамом.

— Стираксовое масло?

Гренуй кивнул.

— Да. Оно там, внутри. Стираксовое масло.— И он скорчился, как от судороги, и по меньшей мере десять раз пробормотал про себя слово «стиракс»: «стиракс-стиракс-стиракс-стиракс-стиракс»...

Бальдини поднес свечу к этому человекоподобному существу, бормотавшему «стиракс», и подумал: либо он одержимый, либо мошенник и шут гороховый, либо природный талант. Ибо вполне возможно и даже вероятно, что названные им вещества в правильном сочетании могли составить духи «Амур и Психея». Розовое масло, гвоздика и стиракс — эти-то три компонента он так отчаянно искал сегодня целый день; остальные части композиции — ему казалось, что он их тоже угадал,— сочетались с ними как сегменты прелестного круглого торта. Оставалось только выяснить, в каком точном отношении друг к другу следовало их сочетать. Чтобы выяснить это, ему, Бальдини, пришлось бы экспериментировать несколько дней кряду — ужасная работа, пожалуй, еще хуже, чем простая идентификация частей, ведь надо было измерять, и взвешивать, и записывать, и при этом быть дьявольски внимательным, ибо малейшая неосторожность — дрожание пипетки, ошибка в счете капель — могла все погубить. А каждый неудавшийся опыт обходился чудовищно дорого. Каждая испорченная смесь стоила небольшое состояние... Ему захотелось испытать маленького человека, захотелось спросить его о точной формуле «Амура и Психеи». Если он знает ее с точностью до грамма и до капли — тогда он явно мошенник, который каким-то образом выманил рецепт у Пелисье, чтобы втереться в доверие и получить место у Бальдини. Но если он разгадает ее приблизительно, значит, он гений обоняния и как таковой заслуживает профессионального интереса Бальдини. Не то чтобы Бальдини ставил под вопрос принятое им решение удалиться от дел! Даже если этот парень раздобудет их целые литры, Бальдини и не подумает ароматизировать ими лайку графа Верамона, но... Но не для того же человек становится на всю жизнь парфюмером, не для того же он целую жизнь занимается составлением запахов, чтоб в один момент потерять всю свою профессиональную страсть! Теперь его интересовала формула проклятых духов, и более того, он желал исследовать талант странного мальчика, который

прочел запах с его лба. Он желал знать, что за этим скрывается. Простая любознательность, не больше.

— У тебя, кажется, тонкий нюх, юноша,— сказал он после того, как Гренуй прекратил свое кряхтение. Он вернулся назад в мастерскую, чтобы осторожно поставить подсвечник на рабочий стол.

— У меня лучший нюх в Париже, мэтр Бальдини,— зашепелявил Гренуй.— Я знаю все запахи на свете, все, какие есть в Париже, только не знаю некоторых названий, но я могу их выучить, все названия, их немного, всего несколько тысяч, я их все выучу, я никогда не забуду названия этого бальзама, стиракс, бальзам называется стиракс, стиракс...

— Замолчи! — закричал Бальдини.— Не перебивай, когда я говорю! Ты дерзок и самонадеян. Ни один человек не знает тысячи запахов по названиям. Даже я не знаю тысячи названий, а всего несколько сотен, ибо в нашем ремесле их не больше, чем несколько сотен, все прочее не запах, а вонь!

Гренуй, который во время неожиданной вспышки собственного красноречия почти распрямился физически и в возбуждении даже в какой-то момент замахал руками, описывая в воздухе круги, чтобы показать, как он знает «все, все», услышав отповедь Бальдини, мгновенно сник, обернулся маленьким черным лягушонком и неподвижно застыл на пороге, скрывая нетерпение.

— Я,— продолжал Бальдини,— разумеется, давно понял, что «Амур и Психея» состоят из стиракса, розового масла и гвоздики, а также бергамота и розмаринового экстракта et cetera. Чтобы установить это, нужно, как говорится, иметь довольно тонкий нюх, и вполне может быть, что Бог дал тебе довольно тонкий нюх, как и многим, многим другим людям — особенно в твоем возрасте. Однако парфюмеру,— и тут он поднял вверх палец и выпятил грудь,— однако парфюмеру мало иметь просто тонкий нюх. Ему необходим обученный за многие десятилетия, неподкупно работающий орган обоняния, позволяющий уверенно разгадывать даже самые сложные запахи — их состав и пропорции, а также создавать новые, неизвестные смеси ароматов. Такой нос,— и он постучал пальцем по своему,— так просто не дается, молодой человек! Такой нос зарабатывают прилежанием и терпением. Или ты смог бы прямо так, с ходу, назвать точную формулу «Амура и Психеи»? Ну, смог бы?

Гренуй не отвечал.

— Может быть, ты скажешь ее мне хотя бы приблизительно? — сказал Бальдини и слегка наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть притаившегося в дверях лягушонка.— Хотя бы примерно в общем виде? Ну? А еще лучший нос в Париже!

Но Гренуй молчал.

— Вот видишь,— промолвил Бальдини в равной мере удовлетворенно и разочарованно.— Ты не знаешь. Конечно, не знаешь. Откуда тебе знать. Ты из тех, кто за едой определяет, есть ли в супе петрушка или купырь. Ну что ж — это уже кое-что. Но до повара тебе еще далеко. В каждом искусстве, а также в каждом ремесле — заруби себе это на носу, прежде чем уйти,— талант почти ничего не значит, главное — опыт, приобретаемый благодаря скромности и прилежанию.

Он уже протянул руку, чтобы взять со стола подсвечник, когда со стороны двери прошелестел сдавленный голос Гренуя:

— Я не знаю, что такое формула, мэтр, этого я не знаю, а так — знаю все.

— Формула — это альфа и омега любых духов,— строго ответствовал Бальдини, ибо собирался положить конец разговору.— Она есть тщательное предписание, в каком соотношении следует смешивать отдельные ингредиенты, дабы возник желаемый единственный и неповторимый аромат; вот что есть формула. Она есть рецепт — если ты лучше понимаешь это слово.

— Формула, формула,— хрипло проговорил Гренуй, и его фигура в дверной раме обозначилась более отчетливо.— Не нужно мне никакой формулы. Рецепт у меня в носу. Смешать их для вас, мэтр, смешать? Смешать?

— Как это? — вскричал Бальдини более громко, чем ему пристало, и поднес свечу к лицу гнома.— Как это — смешать?

Гренуй впервые не отпрянул назад.

— Да ведь они все здесь, эти запахи, которые нужны, они все здесь есть в этой комнате,— сказал он и снова ткнул пальцем в темноту.— Розовое масло вон там! А там апельсиновый цвет! А там гвоздика! А там розмарин!..

— Разумеется, они там,— возопил Бальдини.— Все они там! Но говорю же тебе, дурья башка, от них нет проку, если не знать формулы!

— Вон там жасмин! Вон там винный спирт! Вон там стиракс! — продолжал хрипло перечислять Гренуй, указывая при каждом названии на то или иное место в помещении, где было так темно, что едва можно было различить полки с бутылями.

— Ты, похоже, умеешь видеть в темноте, а? — продолжал Бальдини.— У тебя не только самый тонких нюх, но и самое острое зрение в Париже, не так ли? Если у тебя к тому же хороший слух, то раскрой уши пошире, и я тебе скажу: ты маленький обманщик. Наверное, ты кое-что слямзил у Пелисье, подсмотрел что-нибудь, а? И считаешь, что можешь обвести меня вокруг пальца?

Гренуй стоял теперь в дверях совершенно распрямившись, так сказать, в полный рост, слегка расставив ноги и слегка растопырив руки, так что напоминал черного паука, цеплявшегося за порог и раму.

— Дайте мне десять минут,— довольно серьезно произнес он,— и я изготовлю вам духи «Амур и Психея». Прямо сейчас и здесь, в этом помещении.

— Ты полагаешь, что я разрешу тебе хозяйничать в моей мастерской? Прикасаться к эссенциям, которые стоят целое состояние?

— Да,— сказал Гренуй.

— Ну и ну! — Бальдини чуть не задохнулся от неожиданности. Потом набрал в легкие воздуха, перевел дыхание и устремил на шутника долгий, задумчивый взгляд. В сущности, не все ли равно, думал он, ведь завтра так или иначе все кончится. Я, конечно, знаю, что он не может сделать того, что обещает, и даже не может этого мочь, этого не смог бы и сам великий Франжипани. Но почему бы мне собственными глазами не убедиться в том, что я знаю? А вдруг в один прекрасный день в Мессине мне взбредет в голову (у стариков иногда бывают странности и самые сумасшедшие идеи), что я не узнал гения, вундеркинда, существа, щедро одаренного милостью Божьей... Это совершенно исключено. По всему, что мне говорит разум, это исключено... Но бывают же чудеса? Бесспорно. И вот, когда я буду умирать в Мессине, на смертном одре меня посетит мысль: в тот вечер в Париже тебе было явлено чудо, а ты закрыл глаза!.. Это было бы не слишком приятно, Бальдини! Пусть уж этот дурак прольет на стол пару капель розового масла и мускусной настойки, ты бы тоже их пролил, если б тебя еще действительно интересовали духи от Пелисье. И что значит несколько капель — да, дорогих, весьма, весьма дорогих — по сравнению с надежностью знаний и спокойной старостью?

— Послушай! — сказал он нарочито строгим тоном.— Послушай! Я... кстати, как тебя зовут?

— Гренуй,— сказал Гренуй.— Жан-Батист Гренуй.

— Ага,— сказал Бальдини.— Итак, послушай, Жан-Батист Гренуй! Я передумал. Ты получишь возможность теперь же, немедленно, на деле доказать свое утверждение. Одновременно тебе тем самым предоставится случай путем скандального провала научиться скромности, каковая добродетель в твоем юном возрасте — и это простительно — еще вряд ли развитая — есть непременная предпосылка твоего дальнейшего

преуспеяния как члена цеха, как человека и как доброго христианина. Я готов за свой счет преподать тебе сей урок, ибо в силу определенных причин настроен сегодня на проявление щедрости, и, кто знает, когда-нибудь воспоминание об этой сцене, возможно, развеселит меня. Но не воображай, что тебе удастся меня провести! У Джузеппе Бальдини нос старый, но нюх острый, достаточно острый, чтобы немедленно обнаружить самомалейшее различие между твоей микстурой и вот этим продуктом! — И он вытащил из кармана пропитанный «Амуром и Психеей» платочек и помахал им перед носом у Гренуя.— Подойди-ка сюда, ты, лучший нос Парижа! Подойди-ка сюда, к столу, и покажи, на что ты способен! Но смотри, ничего мне тут не разбей и не опрокинь! Не смей ничего трогать! Сначала я зажгу побольше света. Мы устроим иллюминацию в честь этого маленького эксперимента, не так ли?

И с этими словами он взял два других светильника, стоявшие на краю большого дубового стола, и зажег их. Он поставил все три свечи рядом друг с другом на задней длинной стороне, отодвинул кожи и освободил середину стола. Потом спокойными и в то же время быстрыми движениями снял с маленькой этажерки и принес необходимую для опыта утварь: большую пузатую молочную бутылку, стеклянную воронку, пипетку, маленькую и большую мензурки — и в образцовом порядке расположил все это перед собой на дубовой крышке.

Гренуй тем временем оторвался от дверной рамы. Уже во время высокопарной речи Бальдини с него сошли вся окаменелость, настороженность, подавленность. Он слышал только согласие, только «да» с внутренним ликованием ребенка, который упрямством добился какой-то уступки и которому плевать на связанные с ней ограничения, условия и моральные предостережения. Его поза стала свободной, впервые он походил на человека больше, чем на животное. Он пропустил мимо ушей конец тирады Бальдини, зная, что пересилил этого человека, и тому уже не справиться с ним.

Пока Бальдини возился у стола с подсвечниками, Гренуй проскользнул в боковую тьму мастерской, где стояли стеллажи с драгоценными эссенциями, маслами и тинктурами, и, следуя за уверенным чутьем своего носа, быстро похватал с полок нужные ему флаконы. Числом их было девять: эссенция апельсинового цвета, лимонное масло, гвоздичное масло и розовое масло, экстракт жасмина, бергамота и розмарина и бальзам стиракса, который он быстро сцапал с верхней полки и водрузил на край стола. Напоследок он приволок баллон высокопроцентного винного спирта. Потом встал за спиной у Бальдини (тот все еще со степенной педантичностью расставлял свои смесительные сосуды — немного сдвигал один стакан, слегка придвигал другой, дабы все имело свой добрый, исстари заведенный порядок и эффектнейшим образом сияло в свете свечей) и стал ждать, дрожа от нетерпения, пока старик отойдет и уступит ему место.

— Так! — сказал наконец Бальдини, отступая в сторону.— Здесь расставлено все, что нужно тебе для твоего.... назовем его из любезности «экспериментом». Ничего мне тут не разбей, ничего мне тут не пролей! Имей в виду: эти жидкости, которыми тебе будет сейчас позволено заниматься пять минут, обладают такой ценностью и редкостностью, что ты больше никогда в жизни не заполучишь их в руки в столь концентрированной форме.

— Сколько вам сделать, мэтр? — спросил Гренуй.

— Сколько — чего? — спросил Бальдини, который еще не закончил свою речь.

— Сколько этих духов? — хрипло ответил Гренуй.— Вам их сколько надо? Хотите, я заполню до краев вон ту толстую флягу? — И он указал на смеситель емкостью в добрых три литра.

— Нет, не надо! — в ужасе вскричал Бальдини, и в крике этом был страх, столь же глубоко укоренившийся, сколь и стихийный страх перед расточительностью, страх за свою собственность. Но, словно устыдив-

шись этого разоблачительного крика, он тут же прорычал: — И не смей меня перебивать! — затем несколько успокоился и продолжал уже с легкой иронией в голосе: — К чему нам три литра духов, которые мы оба не ценим? В сущности, достаточно и половины мензурки. Поелику, однако, столь малые количества трудно смешивать точно, я позволю тебе заполнить смеситель на треть.

— Ладно,— сказал Гренуй.— Я наполню эту флягу на треть «Амуром и Психеей». Только, мэтр Бальдини, я сделаю это по-своему. Я не знаю, как надо по правилам искусства, я этому способу не обучен, а по-своему сделаю.

— Пожалуйста! — сказал Бальдини, которому было известно, что в этом деле не бывает «по-своему» или «по-твоему», а есть только один, единственно возможный и правильный способ: зная формулу и исходя из заданного количества духов, необходимо произвести соответствующие вычисления и из различных эссенций изготовить строго определенное количество концентрата, каковой, в свою очередь, в точной пропорции, обычно колеблющейся от одного к десяти до одного к двадцати, следует развести алкоголем до конечного продукта. Другого способа, он это знал, не существовало. И поэтому то, что он теперь увидел и за чем наблюдал сперва с насмешкой и недоверием, потом в смятении и наконец только еще с беспомощным изумлением, показалось ему самым настоящим чудом. И сцена эта так врезалась в его память, что он не забывал ее до конца своих дней.

15

Малыш Гренуй первым делом откупорил баллон с винным спиртом. С большим трудом ему удалось приподнять тяжелый сосуд почти на высоту своего роста, потому что именно так высоко стоял смеситель с насаженной на него стеклянной воронкой, куда он без помощи мензурки влил алкоголь прямо из баллона. Бальдини содрогнулся при виде столь вопиющей беспомощности: мало того что парень перевернул с ног на голову весь парфюмерный миропорядок, начав с растворяющего средства и не имея при этом подлежащего растворению концентрата,— у него и физических сил-то для этого не было! Он дрожал от напряжения, и Бальдини обреченно ждал, что тяжелый баллон вот-вот грохнется и вдребезги разнесет все, что было на столе. Свечи, думал он, господи, только бы не опрокинуть свечи! Произойдет взрыв, он мне сожжет весь дом!.. И он уже хотел броситься к столу, чтобы вырвать у самасшедшего баллон, но тут Гренуй сам поставил его на место, благополучно спустил на пол и снова закупорил. В смесителе колыхалась легкая прозрачная жидкость — ни одна капля не пролилась мимо. Несколько мгновений Гренуй переводил дух с таким довольным лицом, словно самая тяжкая работа осталась позади. И в самом деле, все последующее происходило с такой быстротой, что Бальдини едва успевал замечать последовательность или хотя бы порядок операций, не говоря уж о том, чтобы понимать процесс.

Казалось, Гренуй наобум хватал тот или иной флакон с ароматической эссенцией, выдергивал из него стеклянную пробку, на секунду подносил содержимое к носу, а потом вытряхивал из одной, капал из другой, выплескивал из третьей бутылочки в воронку и так далее. К пипетке, пробирке, ложечке и мешалке — приспособлениям, позволяющим парфюмеру овладеть сложным процессом смешивания, Гренуй не прикоснулся ни разу. Он словно забавлялся, как ребенок, который хлюпает, шлепает и плескается, возясь с водой, травой и грязью; стряпает ужасное варево, а потом заявляет, что это суп. Да, как ребенок, думал Бальдини, и выглядит прямо как ребенок, несмотря на узловатые руки, рябое, все в шрамах и оспинах, лицо и старческий нос картошкой. Он показался мне старше, чем он есть, а теперь он мне кажется младше; он словно двоится или троится, как те недоступные, непостижимые, капризные маленькие недочеловеки, которые вроде бы невинно думают

только о себе, хотят все в мире деспотически подчинить и вполне могут сделать это, если не обуздать их манию величия, не применять к ним строжайших воспитательных мер и не приучать их к дисциплинированному существованию полноценных людей. Такой вот маленький фанатик гнездится в этом молодом человеке; с горящими глазами, он стоит у стола, забыв обо всем вокруг, явно не сознавая, что в мастерской есть что-то еще кроме него и этих флаконов, которые он с проворной неуклюжестью подносит к воронке, чтобы смешать свою идиотскую бурду, а потом категорически утверждать — да еще и верить в это! — что он составил изысканные духи «Амур и Психея». В мерцающем свете свечей Бальдини видел, как цинично и самоуверенно действовал человек у стола,— и содрогался от омерзения! Таких, как этот, подумал он и на какое-то мгновение испытал ту же печаль, и отчаяние, и ярость, что и раньше, в сумерках, когда глядел на пылавший красным заревом город,— таких прежде не бывало; это совершенно новый экземпляр человеческой породы, он мог возникнуть только в эпоху расхлябанного, распущенного безвременья... Но его следует проучить, этого самонадеянного парня! Пусть только он окончит свое смехотворное представление, уж ему достанется на орехи, он выползет отсюда на карачках, ничтожество этакое! Дрянь! Нынче вообще ни с кем нельзя связываться, столько кишит кругом смехотворной дряни! Бальдини был так занят своим возмущением и отвращением к эпохе безвременья, что не сразу сообразил, почему Грену́й вдруг заткнул все флаконы, вытащил воронку из смесителя, а саму бутыль схватил за горлышко, прикрыл ладонью левой руки и сильно встряхнул. Только когда бутыль несколько раз крутанулась в воздухе, а ее драгоценное содержимое рванулось как лимонад из живота в горло и обратно, Бальдини исторг вопль гнева и ужаса: «Стой! — хрипло застонал он.— Хватит! Немедленно прекрати! Баста! Немедленно поставь бутыль на стол и больше ничего не трогай, понятно? Больше ничего! Видно, я лишился рассудка, если вообще стал слушать твою дурацкую болтовню. Твоя манера обращаться с вещами, твоя грубость, твоя примитивная тупость показывают, что ты ничего не смыслишь, ты варвар и невежа и к тому же паршивый наглый сопляк. Ты не в состоянии смешать лимонад, тебе нельзя доверить торговать простой лакричной водой, а ты лезешь в парфюмеры! Будь доволен, радуйся и благодари, если твой хозяин еще подпускает тебя к дубильному раствору! И не смей, слышишь, никогда не смей переступать порог парфюмера!»

Так говорил Бальдини. И пока он говорил, пространство вокруг него наполнилось ароматом «Амура и Психеи». В аромате есть убедительность, которая сильнее слов, очевидности, чувства и воли. Убедительность аромата неопровержима, необорима, она входит в нас подобно тому, как входит в наши легкие воздух, которым мы дышим, она наполняет, заполняет нас до отказа, против нее нет средства.

Грену́й отставил бутыль, снял с горлышка руку, мокрую от духов, и вытер ее о подол своей куртки. Один, два шага назад, неуклюжий поклон всем телом под градом назиданий Бальдини достаточно всколыхнули воздух, чтобы распространить только что созданный аромат. Хотя Бальдини еще бушевал, и сетовал, и бранился, с каждым вдохом его выставленное напоказ бешенство находило все меньше пищи в глубине его души. Он догадывался, что побежден, отчего финал его речи смог лишь взвинтиться до пустопорожнего пафоса. И когда он умолк, он довольно долго молчал, и ему уже больше не понадобилось замечание Грену́я: «Готово». Он и так это знал.

Но несмотря на это, хотя его со всех сторон окатывал пряный запах «Амура и Психеи», он подошел к старому дубовому столу, чтобы взять пробу. Вытащил из кармана сюртука, из левого, свежий белоснежный кружевной платок, расправил его и смочил несколькими каплями, которые высосал длинной пипеткой из смесителя. Помахав платочком в протянутой руке, дабы его проветрить, он затем привычным

изящным жестом провел им у себя под носом, втягивая аромат. Во время длинного, производимого толчками выдоха он вынужден был присесть на табурет. Еще минуту назад его лицо было багровым от бешенства — теперь он вдруг побледнел как полотно.

— Невероятно,— тихо пробормотал он,— ей-богу невероятно.— Он снова и снова прижимал платочек к носу, и принюхивался, и качал головой, и бормотал: «Невероятно». Это были «Амур и Психея», без всякого сомнения «Амур и Психея», ненавистно гениальная смесь ароматов, скопированная с такой точностью, что и сам Пелисье не смог бы отличить ее от своего продукта. «Невероятно...»

Маленький и бледный, сидел великий Бальдини на табурете и выглядел смехотворно со своим платочком в руке, который он то и дело прижимал к носу, как девица, страдающая насморком. Он просто потерял дар речи. Он даже не мог выговорить «Невероятно!», а только тихо кивал и кивал головой, неотрывно глядя на содержимое смесителя, и монотонно лепетал: «Гм, гм, гм... гм, гм, гм... гм, гм, гм...» Через некоторое время Гренуй приблизился и беззвучно как тень подошел к столу.

— Это нехорошие духи,— сказал он,— они очень плохо составлены, эти духи.

— Гм, гм, гм,— сказал Бальдини, и Гренуй продолжал:

— Если вы позволите, мэтр, я сделаю их лучше. Дайте мне одну минутку, и я составлю вам из них пристойные духи!

— Гм, гм, гм,— сказал Бальдини и кивнул. Не потому что он согласился, а потому что находился в таком беспомощно апатичном состоянии, что только и мог сказать «гм, гм, гм» и кивнуть. И он продолжал кивать, и бормотать «гм, гм, гм», и даже не попытался вмешаться, когда Гренуй во второй раз приступил к делу, во второй раз вылил спирт из баллона в смеситель — в те духи, что уже в нем находились, во второй раз как бы наобум, не соблюдая ни порядка, ни пропорции, опрокинул в воронку содержимое флаконов. Только к концу всей процедуры — на этот раз Гренуй не встряхивал бутыль, а только осторожно покачал ее, как фужер с коньяком, возможно из уважения к чувствительности Бальдини, возможно потому, что на этот раз содержимое казалось ему более ценным,— итак, только теперь, когда уже готовая жидкость колыхалась в бутыли, Бальдини очнулся из шокового состояния и поднялся с табурета, разумеется все еще прижимая к носу платочек, словно хотел закрыться щитом от новой атаки на его душу.

— Готово, мэтр,— сказал Гренуй.— Теперь получился совсем неплохой запах.

— Да, да, хорошо,— отвечал Бальдини, отмахиваясь свободной рукой.

— Вы не хотите взять пробу? — снова прокурлыкал Гренуй.— Неужели не хотите, мэтр? Неужели не попробуете?

— Потом, сейчас я не расположен брать пробы... мне не до них. Теперь иди! Иди сюда!

И он взял подсвечник и пошел к двери, ведущей в лавку. Гренуй последовал за ним. Узким коридором они прошли к черному ходу для посыльных. Старик, шаркая, подошел к низкой дверце, откинул задвижку и открыл створку. Он отошел в сторону, чтобы выпустить мальчика.

— А теперь мне можно будет работать у вас, мэтр, можно? — спросил Гренуй, уже стоя на пороге, снова сгорбившись, снова насторожившись.

— Не знаю,— сказал Бальдини,— я подумаю об этом. Ступай!

И тогда Гренуй вдруг исчез, пропал, проглоченный темнотой. Бальдини стоял и пялился в ночь. В правой руке он держал подсвечник, в левой — платочек, как человек, у которого идет носом кровь, а чувствовал все-таки только страх. Он быстро закрыл дверь на задвижку. Потом отнял от лица платок, сунул его в карман и через лавку вернулся в мастерскую.

Аромат был так божественно хорош, что Бальдини внезапно прослезился. Ему не надо было брать пробы, он только стоял у рабочего стола перед смесителем и дышал. Духи были великолепны. По сравнению с «Амуром и Психеей» они были как симфония по сравнению с одиноким пиликаньем скрипки. И еще чем-то бóльшим. Бальдини прикрыл глаза, и в нем проснулись самые возвышенные воспоминания. Он увидел себя молодым человеком на прогулке по садам вечернего Неаполя; он увидел себя лежащим в объятиях чернокудрой женщины, увидел силуэт букета роз на подоконнике под порывами ночного ветра; он услышал пение вспугнутых птиц и далекую музыку из портовой таверны; он услышал совсем близко, над ухом, шепот: «Я люблю тебя» и почувствовал, как у него от наслаждения волосы встали дыбом, теперь! теперь, сию минуту, в этот самый миг! Он открыл глаза и застонал от удовольствия. Эти духи не были духами, какие были известны до сих пор. Это был не аромат, который улучшает ваш запах, не притирание, не предмет туалета. Это была совершенно своеобразная, новая вещь, которая могла извлечь из себя целый мир, волшебный богатый мир, и вы сразу забывали все омерзительное, что было вокруг, и чувствовали себя таким богатым, таким благополучным, таким хорошим...

Вставшие дыбом волосы на голове Бальдини улеглись, и его охватило одуряющее душевное спокойствие. Он взял кожу, козловые шкурки, лежавшие на краю стола, и взял нож, и раскроил кожу. Затем уложил куски в стеклянную кювету и залил их новыми духами. Затем закрыл кювету стеклянной пластиной, перелил остаток аромата в два флакончика, наклеил на них этикетки, а на них написал название «Неаполитанская ночь». Потом погасил свет и удалился.

Наверху, за ужином, он ничего не сказал жене. Прежде всего он ничего не сказал жене о торжественно-праведном решении, которое он принял днем. Жена его тоже ничего не сказала, потому что заметила, что он повеселел, и была этим весьма довольна. Не пошел он и в Нотр-Дам благодарить Бога за силу своего характера. Ба, в этот день он впервые позабыл помолиться на ночь.

16

На следующее утро он прямиком направился к Грималю. Для начала заплатил за лайку, причем заплатил сполна, не ворча и нисколько не торгуясь. А потом пригласил Грималя в «Серебряную башню» на бутылку белого и выкупил у него ученика Гренуя. Разумеется, он не сказал, почему и для чего он ему понадобился. Он наврал что-то о крупном заказе на душистую лайку, для выполнения которого ему требуется необученный подсобный рабочий. Нужен, дескать, скромный парень, чтобы исполнять простейшие поручения, резать кожи и так далее. Он заказал еще одну бутылку вина и предложил двадцать ливров в качестве возмещения неудобства, причиняемого Грималю уходом Гренуя. Двадцать ливров были огромной суммой. Грималь сразу же согласился. Они вернулись в дубильную мастерскую, где Гренуй, как ни странно, уже ждал с собранным узлом, Бальдини уплатил свои двадцать ливров и тут же, сознавая, что заключил лучшую сделку своей жизни, забрал его с собой.

Грималь, который со своей стороны был убежден, что заключил лучшую сделку своей жизни, вернулся в «Серебряную башню», выпил там еще две бутылки вина, потом около полудня перебрался в «Золотой лев» на другом берегу и напился там так безудержно, что, когда поздно вечером попытался снова перебраться в «Серебряную башню», перепутал улицы Жоффруа Л'Аннье и Нонендьер и потому, вместо того чтобы, как он надеялся, очутиться прямо на мосту Мари, роковым образом попал на набережную Вязов, откуда сверзился в воду, как в мягкую постель. Он умер мгновенно. Однако реке понадобилось еще некоторое время, чтобы стащить его с мелководья, мимо пришвартованных грузо-

вых лодок, на более быстрое течение, и только рано утром кожевник Грималь, или скорее его мокрый труп, тихо отплыл вниз по реке, на запад.

Когда он проплывал мимо моста Менял, бесшумно, не задевая за опоры моста, Жан-Батист Гренуй в двадцати метрах над ним как раз ложился спать. Для него был поставлен топчан в заднем углу мастерской Бальдини, и теперь он собирался лечь, в то время как его бывший хозяин, распластавшись, плыл вниз по холодной Сене. Гренуй с удовольствием свернулся и сделался маленьким, как клещ. Засыпая, он все глубже погружался в самого себя и совершал триумфальный въезд в свою внутреннюю крепость, где он праздновал в мечтах некую победу обоняния, гигантскую оргию с густым дымом ладана и парами мирры в свою честь.

17

Приобретение Гренуя положило начало восхождению фирмы Джузеппе Бальдини к национальной и даже европейской известности. Перезвон персидских колокольчиков больше не умолкал, и цапли не переставали фонтанировать в лавке на мосту Менял.

В первый же вечер Греную пришлось составить большой баллон «Неаполитанской ночи», из которого в течение следующего дня было продано восемьдесят флаконов. Слава этого аромата распространялась с бешеной скоростью. У Шенье началась резь в глазах: столько ему пришлось пересчитывать денег, и заболела спина от глубоких поклонов. А однажды дверь распахнулась настежь, и вошел лакей графа д'Аржансона и заорал, как могут орать только лакеи, что он желает получить пять бутылок новых духов, и Шенье еще четверть часа после его ухода трепетал от почтительного страха, потому что граф д'Аржансон был Интендант и Военный министр Его Величества и самый влиятельный человек в Париже.

Пока Шенье один отражал в лавке атаки покупателей, Бальдини со своим новым учеником заперся в мастерской. В оправдание этого обстоятельства он преподнес Шенье некую фантастическую теорию, каковую обозначил как «рационализацию и разделение труда». По его словам, он долгие годы терпеливо наблюдал, как Пелисье и ему подобные субъекты, презирающие цеховые традиции, отбивали у него клиентуру и марали репутацию фирмы. Но теперь его терпение лопнуло. Теперь он примет их наглый вызов и нанесет этим выскочкам, этим парвеню ответный удар, отплатит им той же монетой. Каждый сезон, каждый месяц, а если понадобится, и каждую неделю он будет козырять новыми духами — и какими духами! Он вскроет золотоносную жилу своего творчества. А для этого нужно, чтобы он — используя только необученного подсобника — целиком и полностью занялся производством ароматов, в то время как Шенье должен посвятить себя исключительно их продаже. Эта современная метода, внушал он Шенье, откроет новую главу в истории парфюмерного искусства, сметет конкурентов и сделает нас неизмеримо богатыми — да, он сознательно и подчеркнуто говорил «нас», ибо собирался уделить своему старому преданному подмастерью определенный процент от этих неизмеримых богатств.

Еще несколько дней назад Шенье истолковал бы такие речи своего хозяина как признак начинающегося старческого маразма. «Ну вот, он созрел для «Шаритэ»,— подумал бы он.— Еще немного, и он окончательно свихнется».

Однако теперь он больше ничего не думал. Он просто больше не успевал думать — слишком много было работы. Работы было так много, что по вечерам он едва находил силы опустошить битком набитую кассу и отсчитать себе свою долю. Он ни на миг не усомнился в праведности этих доходов: ведь Бальдини чуть ли не каждый день выходил из мастерской с каким-нибудь новым ароматом.

И какие это были ароматы! Не только духи высочайшей, самой высочайшей пробы, но и кремы, и пудра, и мыло, и лосьоны для волос, и притирания... Все, что должно было благоухать, благоухало теперь по-новому, и по-другому, и великолепнее, чем когда-либо прежде. И на все, ну действительно на все, даже на ароматизированные повязки для волос, которые однажды создало капризное настроение Бальдини, публика кидалась как околдованная, и цены не играли никакой роли. Все, что изготовлял Бальдини, пользовалось успехом. И успех этот был настолько потрясающим, что Шенье воспринимал его как явление природы и больше не исследовал его причин. А в то, например, что новый ученик, неуклюжий гном, ютившийся, как собака, в мастерской, которого иногда, когда мастер выходил из дому, можно было видеть в глубине помещения за мытьем стаканов и чисткой ступ, в то, что это совершенное ничтожество имеет касательство к сказочному процветанию фирмы,— Шенье не поверил бы, даже если бы ему об этом сказали.

Разумеется, гном имел к нему самое прямое касательство. То, что Бальдини приносил в лавку и оставлял Шенье для продажи, было лишь небольшой частью того, что Гренуй смешивал за закрытыми дверями. Бальдини давно уже изменило обоняние. Подчас он испытывал настоящую муку, стараясь выбрать какое-то одно из тех великолепных роскошеств, которые изготовлял Гренуй. Этот волшебный ученик мог бы снабдить рецептами всех парфюмеров Франции, ни разу не повторившись, ни разу не изготовив ничего хотя бы неполноценного, не говоря уже о посредственном. То есть рецептами, иначе говоря формулами, он как раз не смог бы их снабдить, потому что сначала Гренуй сочинял свои ароматические композиции тем же хаотическим и совершенно непрофессиональным способом, который был уже известен Бальдини, а именно смешивая ингредиенты, казалось бы, наобум, в диком беспорядке. Чтобы не то что контролировать, но хотя бы понять это безумие, Бальдини однажды потребовал от Гренуя при составлении смесей пользоваться, пусть без всякой надобности, весами, пипеткой и мензуркой; пусть он впредь привыкает считать винный спирт не ароматическим веществом, а растворителем, который следует добавлять в последнюю очередь; и наконец, пусть он, Бога ради, действует медленно, обстоятельно и медленно, как принято среди парфюмеров.

Гренуй выполнил приказание. И впервые Бальдини смог проследить и задокументировать отдельные операции этого колдовства. Он усаживался рядом с Гренуем, вооружившись пером и бумагой, и записывал, постоянно призывая к неторопливости, сколько граммов того, сколько щепоток этого, сколько капель какого-то третьего ингредиента отправлялись в смеситель. Таким вот странным образом, а именно задним числом анализируя процесс с помощью тех средств, без применения которых он, собственно, вообще не мог иметь места, Бальдини, в конце концов, добивался обладания синтетическим рецептом. Как мог Гренуй без такого рецепта смешивать свои ароматические составы, оставалось для Бальдини загадкой и даже чудом, но теперь он по крайней мере свел чудо к формуле и тем самым несколько утолил свою жажду к классификациям и предохранил свое парфюмеристическое мировоззрение от полного краха.

Он все выманивал и выманивал у Гренуя рецептуры ароматов, которые тот изобретал, и наконец даже запретил ему смешивать новые благовония, пока он, Бальдини, не явится с пером и бумагой, чтобы, как Аргус, следить за процессом и шаг за шагом документировать его.

Свои заметки — скоро набралось много десятков формул — он потом педантично переписывал четким почерком в две разные книжечки, из коих одну запер в своем несгораемом шкафу, а другую постоянно носил с собой, а на ночь клал под подушку. Это придавало ему уверенности. Ибо теперь он смог бы, если бы захотел, сам воспроизвести чудеса Гренуя, которые так глубоко потрясли его, когда он впервые стал их свидетелем. Он полагал, что коллекция записанных им формул смо-

жет поставить преграду ужасающему творческому хаосу, потоком извергавшемуся из самого нутра его ученика. А то обстоятельство, что он больше не просто записывал в тупом изумлении, но, наблюдая и регистрируя, принимал участие в творческих актах, действовало на Бальдини успокоительно и укрепляло его самоуверенность. Спустя некоторое время он даже сам поверил, что внес весьма существенный вклад в создание изысканных ароматов. И, сначала занося их в свои книжечки, а потом пряча в сейфе и на груди, он уже вообще не сомневался, что теперь они полностью его собственные.

Но и Гренуй извлекал выгоду из дисциплинирующей процедуры, навязанной ему Бальдини. Сам-то он, правда, в ней не нуждался. Ему никогда не требовалось сверяться со старой формулой, чтобы через несколько недель или месяцев реконструировать состав духов, потому что он никогда не забывал запахов. Но благодаря обязательному применению мензурок и весов он изучил язык парфюмерии и инстинктивно чувствовал, что знание этого языка могло ему пригодиться. Через пару недель Гренуй не только овладел названиями всех ароматических веществ, имевшихся в мастерской Бальдини, но и научился самостоятельно записывать формулы своих духов и, наоборот, превращать чужие формулы и инструкции в духи и прочие пахучие изделия. Более того! Научившись выражать свои парфюмерные замыслы в граммах и каплях, он стал обходиться без всяких промежуточных проб. Когда Бальдини поручал ему составить новый запах, скажем, для ароматизации носовых платков, для сухих духов или румян, Гренуй больше не хватался за флаконы и порошки, а просто садился за стол и тут же записывал формулу. Он научился удлинять путь от своего внутреннего обонятельного представления к готовому продукту за счет изготовления формулы. Для него это был окольный путь. С общепринятой точки зрения, то есть с точки зрения Бальдини, это, однако, был прогресс. Чудеса Гренуя оставались чудесами. Но рецептура, которой он их теперь снабжал, лишала их пугающего ореола, и это имело свои преимущества. Чем лучше Гренуй овладевал профессиональными приемами и методами, чем нормальнее он умел изъясняться на условном языке парфюмерии, тем меньше опасался и гневался на него хозяин. Вскоре Бальдини стал считать его человеком хоть и весьма одаренным в отношении обоняния, но отнюдь не вторым Франжипани и, уж конечно, не каким-то жутким колдуном, а Грену́ю это было только на́ руку. Ремесленные навыки и жаргон служили ему великолепной маскировкой. Он прямо-таки убаюкивал Бальдини своим примерным соблюдением правил для взвешивания добавок, при встряхивании смесителя, при смачивании белого пробного платочка. Он умел расправлять его почти так же манерно, проводить под носом почти так же элегантно, как сам хозяин. А при случае, осторожно дозируя интервалы времени, он совершал ошибки, рассчитанные на то, чтобы Бальдини их заметил: забывал что-то профильтровать, неправильно устанавливал весы, вписывал в формулу нелепо высокий процент амбры и давал повод указать себе на ошибку, чтобы потом исправить ее тщательнейшим образом. Так ему удалось убаюкать Бальдини в иллюзии, что, в конце концов, все идет по правилам и праведным путем. Он же не хотел отпугнуть старика. Он же хотел действительно у него научиться. Не составлению духов, не правильной композиции того или иного аромата, отнюдь! В этой области не было никого в мире, кто мог бы обучить его чему бы то ни было. Ингредиентов, имевшихся в лавке у Бальдини, далеко не хватило бы для реализации его представлений о действительно великом благовонии. Те запахи, которые он мог осуществить у Бальдини, были детской забавой по сравнению с теми, которые он носил в себе и собирался реализовать когда-нибудь в будущем. Но для этого, он знал, требовалось два непременных условия. Во-первых, видимость сносного существования, хотя бы положение подмастерья, под прикрытием которого он мог бы безудержно предаваться своим собственным страстям

и без помех преследовать свои собственные цели. Во-вторых, знание тех приемов ремесла, которые позволяли бы изготовлять, выделять, концентрировать, консервировать ароматические вещества и тем самым в принципе предоставлять их в его распоряжение для некого высшего применения. Ибо хотя Гренуй действительно обладал лучшим в мире носом, хотя его обоняние было настолько же аналитичным, насколько визионерским, он еще не умел физически овладевать запахами.

18

Итак, он с готовностью подчинялся инструкциям, осваивая искусство варки мыла из свиного сала, шитья перчаток из замши, смешивания пудры из пшеничной муки, и миндальной крошки, и толченого фиалкового корня. Он катал ароматные свечи из древесного угля, селитры и стружки сандалового дерева. Он прессовал восточные пастилки из мирры, бензойной смолы и янтарного порошка. Он замешивал в тесто ладан, шеллак, ветиверию и корицу и скатывал из него курительные шарики. Он просеивал и растирал шпателем Poudre imperiale из размельченных розовых лепестков, цветков лаванды и коры каскары. Он варил грим, белый и венозно-голубой, и формовал жирные палочки, карминно-красные, для губ. Он разводил водой мельчайшие порошки для ногтей и сорта мела для зубов, с привкусом мяты. Он составлял жидкость для завивки париков, капли для сведения бородавок и мозолей, отбеливатель для кожи и вытяжку белладонны для глаз, мазь из шпанских мушек для кавалеров и гигиенический уксус для дам... Гренуй научился изготовлению всех лосьончиков и порошочков, туалетных и косметических составчиков, а кроме того, чайных смесей, смесей пряностей, ликеров, маринадов и прочего; короче, он усвоил всю традиционную премудрость, которую смог преподать ему Бальдини, хотя и без особого интереса, но безропотно и вполне успешно. Зато он проявлял особенное рвение, когда Бальдини инструктировал его по части приготовления тинктур, вытяжек и эссенций. Не зная усталости, он давил в винтовом прессе ядра горького миндаля, толок зерна муската, или рубил сечкой серый комок амбры, или расщеплял фиалковый корень, чтобы затем настаивать стружку на чистейшем спирту. Он научился пользоваться разделительной воронкой, чтобы отделять чистое масло выжатых лимонных корок от мутного остатка. Он научился высушивать травы и цветы — на решетках в тени и тепле — и консервировать шуршащую листву в запечатанных воском горшках и шкатулках. Он овладел искусством выварivать помады, изготовлять настои, фильтровать, концентрировать, осветлять и делать вытяжки.

Правда, мастерская Бальдини не была рассчитана на оптовое производство цветочных и травяных масел. Да и в Париже вряд ли нашлось бы необходимое количество свежих растений. Но иногда, когда розмарин, шалфей, мяту или семена аниса можно было дешево купить на рынке или когда поступали довольно крупные партии клубней ириса, или балдрианова корня, тмина, мускатного ореха, или сухих цветов гвоздики, в Бальдини просыпался азарт алхимика, и он вытаскивал свой большой медный перегонный куб с насаженным на него конденсаторным ковшом. Он называл это «головой мавра» и гордился тем, что сорок лет назад на южных склонах Лигурии и высотах Люберона он в чистом поле дистиллировал с его помощью лаванду. И пока Гренуй размельчал предназначенный для перегонки товар, Бальдини в лихорадочной спешке — ибо быстрота обработки есть альфа и омега этого дела — разводил огонь в каменной печи, куда ставил медный котел с довольно большим количеством воды. Он бросал туда разрубленные на части растения, насаживал на патрубок двустенную крышку — «голову мавра» — и подключал два небольших шланга для вытекающей и втекающей воды. Эта изощренная конструкция для охлаждения конденсата, объяснял он, была встроена им позже, ибо в свое время, работая

в поле, он, разумеется, добивался охлаждения просто с помощью ветра. Затем он раздувал огонь.

Содержимое куба постепенно закипало. И через некоторое время, сперва колеблющимися каплями, потом нитеобразной струйкой дистиллят вытекал из третьей трубки «головы мавра» во флорентийскую флягу, подставленную Бальдини. Сначала он выглядел весьма невзрачно, как жидкий мутный суп. Но постепенно, особенно после того, как наполненная фляга заменялась на новую и спокойно отставлялась в сторону, эта гуща разделялась на две различные жидкости: внизу отстаивалась цветочная или травяная вода, а сверху плавал толстый слой масла. Теперь оставалось только осторожно, через нижнее горлышко флорентийской фляги, слить нежно-благоухающую цветочную воду и получить в остатке чистое масло, эссенцию, сильно пахнущую сущность растения.

Грену́й был восхищен этим процессом. Если когда-нибудь в жизни что-нибудь вызывало в нем восторг — конечно, внешне никак не проявляемый, но скрытый, горящий холодным пламенем восторг,— то именно этот способ при помощи огня, воды и пара и хитроумной аппаратуры вырывать у вещей их благоуханную душу. Ведь благоуханная душа, эфирное масло, было самым лучшим в них, единственным, что его в них интересовало. Пошлый остаток: цветы, листья, кожура, плоды, краски, красота, живость и прочий лишний хлам его не заботили. Это была только оболочка, балласт. Это шло на выброс.

Время от времени, по мере того как дистиллят становился водянисто-прозрачным, они снимали чан с огня, открывали его и вытряхивали жижу. Она была бесформенной и бесцветной как размягченная солома, как кости маленьких птиц, как переваренные овощи, блеклой и волокнистой, слякотной, едва узнаваемой, омерзительно-трупной и почти совершенно лишенной собственного запаха. Они выбрасывали ее через окно в реку. Затем доставали новые свежие растения, доливали воду и снова ставили перегонный куб на огонь. И снова в нем начинало кипеть, и снова жизненный сок растений стекал во флорентийские фляги. Часто это продолжалось всю ночь напролет. Бальдини следил за печью, Грену́й не спускал глаз со струи — больше ему нечего было делать до момента смены фляг.

Они сидели у огня на табуретах, в плену у неуклюжего агрегата, оба привороженные, хоть и по совершенно разным причинам. Бальдини наслаждался горением огня и красными отблесками пламени на меди, ему нравилось потрескивание дров и бульканье перегонного куба, потому что это было как прежде. И можно было предаваться грезам! Он приносил из лавки бутылку вина, так как жара вызывала у него жажду, а пить вино — это тоже было как прежде. И он начинал рассказывать истории, бесконечные истории о том, что было прежде. О войне за испанское наследство, на исход которой он существенно повлиял, сражаясь против австрияков, о партизанах, с которыми он наводил страх на Севенны, о дочери одного гугенота в Эстерле, которая отдалась ему, опьянившись ароматом лаванды; о лесном пожаре, который он чуть было тогда не устроил и который охватил бы весь Прованс, ей-богу, ей-богу охватил бы, тем более что дул сильнейший мистраль; и он рассказывал о дистилляции, снова и снова о том, что было тогда, ночью, в чистом поле, при свете луны, о вине и стрекоте цикад, о лавандовом масле, которое он тогда изготовил, таком изысканном и пахучем, что его брали у него на вес серебра; о своей учебе в Генуе, о годах странствий и о городе Грасе, где парфюмеров столько, сколько в других местах сапожников, а среди них есть такие богатые, что они живут как князья, в роскошных домах с тенистыми садами и террасами и едят в столовых, обшитых деревянными панелями, едят с фарфоровых тарелок золотыми вилками и ножами и так далее...

Такие-то истории рассказывал старый Бальдини за бокалом вина, и от вина, и от пламени, и от упоения своими собственными историями

его щеки начинали пылать, как огонь. Но Гренуй, который больше держался в тени, совсем его не слушал. Его не интересовали никакие старые истории, его интересовало лишь то, что происходило у него на глазах. Он не отрываясь глядел на трубочку в пробке перегонного куба, из которой тонкой струйкой бежал дистиллят. И, глядя на него, он воображал самого себя таким вот перегонным кубом, где все кипит, и клокочет, и откуда тоже вытекает дистиллят, только еще лучше, новее, необычнее, дистиллят тех изысканных растений, которые он сам вывел внутри себя, которые цвели там, доступные лишь его обонянию, и которые могли бы своим дивным ароматом преобразить весь мир в благоуханный Эдем, где его пребывание стало бы — обонятельно — в какой-то мере сносным. Быть большим перегонным кубом, откуда изливались бы на весь мир созданные им дистилляты,— вот каким грезам предавался Гренуй.

Но если Бальдини, разгоряченный вином, все больше увязал в пространных историях о том, как оно было раньше, и все безоглядnее погружался в туманные грезы, Гренуй скоро запретил себе предаваться своей необузданной фантазии. Для начала он выбросил из головы образ большого перегонного куба, а вместо этого стал размышлять, каким образом использовать свои недавно приобретенные познания для ближайших целей.

19

Прошло немного времени, и он стал специалистом в ремесле перегонки. Он обнаружил — и его нос помог ему в этом больше, чем правила и наставления Бальдини,— что жар огня оказывает решающее влияние на качество получаемого дистиллята. Каждое растение, каждый цветок, каждый сорт древесины и каждый плод требовал особой процедуры. Иногда приходится создавать мощнейшее парообразование, иногда — лишь умеренно сильное кипение, а некоторые цветы отдают свой лучший аромат только если заставить их потеть на самом маленьком пламени.

Не менее важным был и сам процесс приготовления. Мяту и лаванду можно было обрабатывать целыми охапками. Андрес нужно было тщательно перебрать, растрепать, порубить, нашинковать, растолочь и даже измельчить в муку, прежде чем положить в медный чан. Но кое-что вообще не поддавалось перегонке, и это вызывало у Гренуя чрезвычайную досаду.

Увидев, как уверенно Гренуй обращается с аппаратурой, Бальдини предоставил перегонный куб в его полное распоряжение, и Гренуй не замедлил воспользоваться этой свободой. Целыми днями он составлял духи и изготавливал прочие ароматные и пряные продукты, а по ночам занимался исключительно таинственным искусством перегонки. Его план заключался в том, чтобы изготовить совершенно новые пахучие вещества, и с их помощью создать хотя бы некоторые из тех ароматов, которые он носил в своем воображении. Поначалу он добился кое-каких успехов. Ему удалось изготовить масло из крапивы и семян кресс-салата и туалетную воду из свежесодранной коры бузины и ветвей тиса.

Правда, дистилляты по своему аромату почти не напоминали исходных веществ, но все же были достаточно интересны для дальнейшей переработки. Впрочем, потом попадались вещества, для которых этот способ совершенно не годился. Например, Гренуй попытался дистиллировать запах стекла, глинисто-прохладный запах гладкого стекла, который обычный человек совершенно не воспринимает. Гренуй раздобыл оконное стекло и обрабатывал его в больших кусках, в обломках, в осколках, в виде пыли — без малейшего успеха. Он дистиллировал латунь, фарфор и кожу, зерно и гравий. Просто землю. Кровь, и дерево, и свежую рыбу. Свои собственные волосы. Наконец, он дистиллировал даже воду, воду из Сены, потому что ему казалось, что ее своеобразный запах стоит сохранить. Он думал, что с помощью перегонного куба

он мог бы извлечь из этих веществ их особый аромат, как извлекал его из чабреца, лаванды и семян тмина. Ведь он не знал, что возгонка есть не что иное, как способ разложения смешанных субстанций на их летучие и нелетучие составные части и что для парфюмерии она полезна лишь постольку, поскольку может отделить летучие эфирные масла некоторых растений от их не имеющих запаха или слабо пахнущих остатков. Для субстанций, лишенных этих эфирных масел, подобный метод дистилляции, разумеется, бессмыслен. Нам, современным людям, изучавшим физику, это сразу ясно. Однако Гренуй пришел к этому выводу ценой огромных усилий после длинного ряда разочаровывающих опытов. Месяцами он просиживал у куба ночи напролет и всеми мыслимыми способами пытался путем перегонки произвести абсолютно новые ароматы, ароматы, которых до сих пор не бывало на земле в концентрированном виде. И ничего из этого не получилось, кроме нескольких жалких растительных масел. Из глубокого, неизмеримо богатого колодца своего воображения он не извлек ни единой капли конкретной ароматической эссенции, из всего, что мерещилось его фантастическому обонянию, он не смог реализовать ни единого атома.

Когда он осознал, что потерпел полное поражение, он прекратил опыты и заболел так, что чуть не умер.

У него начался сильный жар, который в первые дни сопровождался испариной, а потом, когда отказали кожные поры, по всему телу пошли бесчисленные нарывы. Эти красные волдыри усыпали его с ног до головы. Некоторые из них лопались и извергали свое водянистое содержимое, чтобы затем вздуться снова. Другие распухали до размеров настоящих фурункулов, набухали, багровели и разверзались, как кратеры, сочась мерзким гноем и источая расцвеченную желтыми потеками кровь. Вскоре Гренуй стал похож на мученика, продырявленного камнями изнутри и изнемогающего от сотни гноящихся ран.

Бальдини, конечно, встревожился. Ему было бы весьма неприятно потерять своего драгоценного ученика как раз в тот момент, когда он собрался расширить свою торговлю за пределы города и даже всей страны. И то сказать, не только из провинции, но и из-за границы, от лиц, приближенных ко двору, все чаще поступали заказы на те новомодные ароматы, которые сводили с ума Париж; и Бальдини носился с мыслью для удовлетворения этого спроса основать филиал в Сент-Антуанском предместье, настоящую маленькую мануфактуру, откуда самые ходовые ароматы, смешанные en gros [1], разлитые в прелестные маленькие флакончики и упакованные прелестными маленькими девочками, будут рассылаться в Голландию, Англию и Германскую империю. Правда, подобное предприятие было бы не вполне законным для осевшего в Париже ремесленника, но ведь с недавних пор Бальдини пользовался высоким покровительством, каковым он был обязан своим рафинированным духам; покровительствовал Бальдини не только Интендант, но и столь влиятельные особы, как господин Смотритель таможни Парижа или Член королевского финансового кабинета и поощритель экономически процветающих предприятий г-н Фейдо де Бру. Этот последний даже намекал на возможность получения королевской привилегии — лучшее, о чем вообще можно было мечтать: ведь она позволяла обходить все государственные и цеховые препоны, означала конец всем затруднениям в делах и заботам и вечную гарантию надежного, неуязвимого благосостояния.

А кроме того, был и еще один план, который вынашивал Бальдини, его любимая идея, некий антипод проекту мануфактуры в Сент-Антуанском предместье, производство товара пусть не массового, но все же доступного в лавке для любого и каждого.

---

[1] Оптом *(франц.)*.

Он хотел бы создать персональные духи для избранного числа высокой и высочайшей клиентуры: духи, как сшитые по мерке платья, подходили бы только к одной особе, только эта особа имела бы право пользоваться ими и давать им свое светлейшее имя. Он представлял себе духи «Маркиза де Серней», «Маршал де Вийар», «Герцог д'Эгийон» и т. д. Он мечтал о духах «Мадам маркиза де Помпадур» и даже о духах «Его Величество Король» в изящном граненом агатовом флаконе и оправе золотой чеканки, а на внутренней стороне донышка будет выгравирована скромная подпись: «Джузеппе Бальдини, парфюмер». Королевское имя и его собственное имя на одном и том же предмете. Вот в какие великолепные высоты воспарила фантазия Бальдини! И вдруг Гренуй заболевает. А ведь Грималь, царство ему небесное, клялся и божился, что парень никогда не болеет, что ему все нипочем, что даже черная чума его не берет. А он взял и ни с того ни с сего захворал чуть ли не смертельно. А если он помрет? Ужасно! Тогда с ним вместе погибнут все мечты о мануфактуре, прелестных маленьких девочках, привилегии и духах Короля.

Поэтому Бальдини решил предпринять все возможное для спасения дорогой жизни своего ученика. Он велел переселить его с нар в мастерской на верхний этаж дома, в чистую постель. Он приказал обтянуть постель дамастином. Он собственноручно помогал заносить наверх узкий топчан, хотя его невыносимо тошнило при виде волдырей и гноящихся чирьев. Он приказал жене готовить для больного куриный бульон с вином. Он пригласил самого лучшего в квартале врача, некоего Прокопа, которому полагалось платить вперед — двадцать франков! — только за согласие на визит.

Доктор пришел, приподнял острыми пальцами простыню, бросил один-единственный взгляд на тело Гренуя, действительно выглядевшее так, словно его прострелили сто пуль, и покинул комнату, даже не открыв своей сумки, которую неотступно таскал за ним помощник. Случай совершенно ясен, заявил он Бальдини. Речь идет о сифилитической разновидности черной оспы с примесью гнойной кори in stadio ultimo[1]. Лечение бесполезно уже потому, что нельзя как положено произвести кровопускание: отсос не удержится в разлагающемся теле, похожем скорее на труп, чем на живой организм. И хотя характерный для течения этой болезни чумной запах еще не ощущается — что само по себе удивительно и с научной точки зрения представляет некоторый курьез,— нет ни малейшего сомнения в смертельном исходе в течение ближайших сорока восьми часов. Это столь же несомненно, как то, что его зовут доктор Прокоп. Затем он еще раз потребовал гонорар в двадцать франков за нанесенный визит и составленный прогноз — из них он обещал вернуть пять франков в случае, если ему отдадут труп с классической симптоматикой для демонстрационных целей,— и откланялся.

Бальдини был вне себя. Он вопил и стенал от отчаяния. В гневе на судьбу он кусал себе пальцы. Опять пошли насмарку все планы очень, очень крупного успеха, а цель была так близка. В свое время ему помешал Пелисье и слишком уж изобретательные собратья по цеху. А теперь вот этот парень с его неисчерпаемым запасом новых запахов, этот маленький говнюк, которого нельзя оценить даже на вес золота, вздумал как раз сейчас, когда дело так удачно расширяется, подцепить сифилитическую оспу и гнойную корь in stadio ultimo! Почему не через два года? Почему не через год? До тех пор его можно было бы вычерпать до дна, как серебряный рудник, как золотого осла. И пусть себе спокойно помирает. Так нет же! Он помирает теперь, будь он трижды неладен, помрет через сорок восемь часов!

Какой-то короткий момент Бальдини подумывал о том, чтобы отправиться в паломничество через реку, в Нотр-Дам поставить свечу и вымолить у Святой Божьей Матери выздоровление для Гренуя. Но по-

---

[1] В крайней стадии (*лат.*).

том он отказался от этой мысли, потому что времени было в обрез. Он сбегал за чернилами и бумагой и прогнал жену из комнаты больного. Он сказал, что подежурит сам. Потом уселся на стул у кровати, с листками для записей на коленях и обмакнутым в чернила пером в руке и попытался подвигнуть Гренуя на парфюмерическую исповедь. Пусть он Бога ради не молчит, не забирает в могилу сокровища, которые носит в себе! Пусть не молчит. Теперь, в последние часы, он должен передать в надежные руки завещание, дабы не лишать потомков лучших ароматов всех времен! Он, Бальдини, надежно распорядится этим завещанием, этим каноном формул всех самых возвышенных ароматов, которые когда-либо существовали на свете, он добьется их процветания. Он доставит имени Гренуя бессмертную славу, он клянется всеми святыми, что лучший из этих ароматов он положит к ногам самого короля, в агатовом флаконе и чеканном золоте с выгравированным посвящением «От Жан-Батиста Гренуя, парфюмера в Париже». Так говорил или скорее так шептал Бальдини в ухо Грену́ю, неутомимо заклиная, умоляя и льстя.

Но все было напрасно. Грену́й не выдавал ничего, кроме разве что беловатой секреции и кровавого гноя. Он молча лежал на дамастовом полотне и извергал из себя эти отвратительные соки, но отнюдь не свои сокровища, не свои знания, он не назвал ни единой формулы какого-то аромата. Бальдини хотелось задушить его, избить, он готов был вышибить из тщедушного тела драгоценные тайны, если б имел хоть малейшие шансы на успех... и если б это столь вопиющим образом не противоречило его представлению о христианской любви к ближнему.

И так он всю ночь напролет сюсюкал и сладко разливался соловьем. Преодолевая ужасное отвращение, он суетился вокруг больного, обкладывал мокрыми полотенцами его покрытый испариной лоб и воспаленные вулканы язв и поил с ложечки вином, чтобы заставить его ворочать языком,— напрасно. К рассвету он изнемог и сдался. Сидя в кресле на другом конце комнаты, испытывая даже не гнев, а тихое отчаяние, он не отрываясь глядел на постель, где умирало маленькое тело Гренуя, которого он не мог ни спасти, ни ограбить: из него нельзя было больше ничего выкачать и можно было лишь бессильно наблюдать его гибель. Бальдини чувствовал себя капитаном, на глазах которого терпит крушение корабль, увлекая с собой в бездну все его богатство.

И тут вдруг губы смертельно больного открылись и он спросил ясным и твердым голосом, в котором почти не ощущалось предстоящей гибели:

— Скажите, мэтр, есть ли другие средства, кроме выжимки и перегонки, чтобы получить аромат из какого-то тела?

Бальдини показалось, что этот голос прозвучал в его воображении или из потустороннего мира, и он ответил механически:

— Да, есть.

— Какие? — снова прозвучал вопрос, и на этот раз Бальдини заметил движение губ Гренуя. «Вот и все,— подумал он.— Теперь всему конец, это горячка или агония». И он встал, подошел к кровати и наклонился над больным. Тот лежал с открытыми глазами и глядел на Бальдини таким же настороженным, неподвижным взглядом, как и в первую их встречу.

— Какие? — спросил он.

Бальдини очнулся, подавил свое раздражение — нельзя же отказывать умирающему в исполнении предсмертной просьбы — и ответил: — Есть три таких способа, сын мой: enfleurage à chaud, enfleurage à froid и enfleurage a l'huile[1]. Они во многом превосходят дистилляцию, и их используют для получения самых тонких ароматов: жасмина, розы и апельсинового цвета.

— Где? — спросил Грену́й.

---

[1] Горячий, холодный и масляный анфлераж *(франц.)*.

— На юге,— ответил Бальдини.— Прежде всего в городе Грасе.
— Хорошо,— сказал Гренуй.

И с этими словами он закрыл глаза. Бальдини медленно поднялся. Он собрал свои листки для записей, на которых не было написано ни строчки, и задул свечу. На улице уже рассвело. Бальдини еле держался на ногах от усталости. Надо было позвать священника, подумал он. Потом машинально перекрестился и вышел.

Гренуй, однако, не умер. Он только очень крепко спал, погрузившись в грезы и втягивая в себя назад свои соки. Волдыри на его коже уже начали подсыхать, гнойные кратеры затягиваться пленкой, язвы закрываться. Через неделю он выздоровел.

21

Больше всего ему хотелось бы уехать на юг, туда, где можно изучить новые технические приемы, о которых рассказал старик. Но об этом, конечно, не стоило и мечтать. Ведь он всего лишь ученик, то есть никто. Строго говоря, объяснил ему Бальдини, преодолев первый приступ радости по поводу воскресения Гренуя, строго говоря, он был даже меньше, чем ничто, ибо порядочный ученик должен иметь безупречное происхождение, а именно состоящих в законном браке родителей, родственников в сословии и договор с мастером об обучении. А Гренуй ничем таким не обладал. И если он, Бальдини, все-таки соглашается помочь ему в один прекрасный день стать подмастерьем, то сделает это лишь при условии безупречного поведения Гренуя в будущем и из снисхождения к его незаурядному дарованию. Хотя он, Бальдини, часто страдал из-за своей бесконечной доброты, которую не в силах был превозмочь.

Разумеется, чтобы выполнить обещание, его доброте потребовался изрядный срок — а именно целых три года. За это время Бальдини с помощью Гренуя осуществил свои возвышенные грезы. Он основал мануфактуру в Сент-Антуанском предместье, пробился со своими изысканными духами в придворные парфюмеры, получил королевскую привилегию. Его тонкие благовония нашли сбыт повсюду, вплоть до Петербурга, до Палермо, до Копенгагена. Один сорт, с мускусным оттенком, шел нарасхват в Константинополе, а там и собственных ароматических изделий, видит Бог, хватало. В элегантных конторах лондонского Сити запах бальдиниевых духов держался так же стойко, как и при пармском дворе, варшавский Замок пропитался ими так же, как и усадьба графа фон-унд-цу Липпе-Детмольда. Семидесятилетний Бальдини, смирившийся было с перспективой провести свою старость в горькой нищете под Мессиной, возвысился до положения бесспорно величайшего парфюмера Европы и одного из самых богатых буржуа в Париже.

В начале 1756 года — к тому времени он обставил еще один дом рядом со старым на мосту Менял, предназначив его только для жилья, потому что старый буквально до чердака был битком набит ароматическими веществами и специями,— он сообщил Грену́ю, что теперь согласен отпустить его, впрочем, при трех условиях: во-первых, тот не имел права впредь ни изготовлять никаких духов, возникших под кровом Бальдини, ни передавать их формул третьим лицам; во-вторых, он должен покинуть Париж и не возвращаться туда, пока жив Бальдини; и, в-третьих, он должен хранить абсолютное молчание о двух первых условиях. Пусть он поклянется в этом всеми святыми, бедной душой своей матери и собственной честью.

Гренуй, который не имел никакой чести, не верил в святых, а уж тем более в бедную душу своей матери, поклялся. Он поклялся бы всем. Он принял бы любое условие Бальдини, так как ему необходима была грамота подмастерья — она давала ему возможность незаметно жить, путешествовать без помех и устроиться на работу. Остальное было ему безразлично. Да и что это за условия! Не возвращаться в Париж? Зачем ему Париж! Он знал его наизусть до самого последнего вонючего

угла, он повсюду носил его с собой, он владел Парижем уже много лет подряд. Не изготовлять бальдиниевых модных духов? Не передавать формул? Как будто он не может изобрести тысячу других, таких же хороших, еще лучших — стоит лишь захотеть! Но он же вовсе этого не хотел. Он же не собирался конкурировать с Бальдини или с любым другим из буржуазных парфюмеров. Он и не думал делать большие деньги на своем искусстве, он даже не хотел зарабатывать им на жизнь, если сможет жить по-другому. Он хотел выразить вовне свое внутреннее «я», не что иное, как свое внутреннее «я», которое считал более стоящим, чем все, что мог предложить внешний мир. И потому условия Бальдини для Гренуя не значили ничего.

Весной, ранним майским утром, он отправился в путь. Он получил от Бальдини маленький рюкзак, вторую рубашку, пару чулок, большое кольцо колбасы, конскую попону и двадцать пять франков. Это значительно больше, чем положено, сказал Бальдини, поскольку Гренуй приобрел у него глубокое образование, за которое не уплатил ни гроша. Положено давать два франка на дорогу, больше ничего. Но он, Бальдини, не в силах справиться со своей добротой и с той глубокой симпатией, которая за эти годы накопилась в его сердце к славному Жан-Батисту. Он желает ему удачи в его странствиях и еще раз настоятельно призывает не забывать своей клятвы. С этими словами он проводил его до черного входа, где некогда его встретил, и отпустил на все четыре стороны.

Руки́ он ему не подал, так далеко его симпатия не простиралась. Он ему никогда так и не протянул руки. Он вообще всегда избегал прикасаться к нему, испытывая нечто вроде благоговейного отвращения, словно боялся заразиться, осквернить себя. Он лишь коротко попрощался. А Гренуй кивнул, и отвернулся, и пошел прочь. На улице не было ни души.

22

Бальдини смотрел ему вслед, пока он ковылял вниз по мосту к Острову, маленький, скрюченный, с рюкзаком, похожим на горб; со спины он выглядел как старик. На той стороне реки, у здания Парламента, где переулок делает поворот, Бальдини потерял его из виду и испытал чрезвычайное облегчение.

Этот парень никогда ему не нравился, никогда, теперь он мог наконец себе в этом признаться. Все время, пока он терпел его под своей крышей, пока он его грабил, у него было нехорошо на душе. Он чувствовал себя человеком безупречной нравственности, который впервые совершает нечто запретное, играет в какую-то игру недозволенными средствами. Конечно, риск разоблачения был ничтожным, а шансы на успех — огромными; но столь же велика была и нервозность, и муки совести. И в самом деле, в течение всех этих лет не проходило дня, когда бы его не преследовала неприятная мысль, что каким-то образом ему придется расплачиваться за то, что он связался с этим человеком. «Только бы пронесло! — снова и снова боязливо молился он.— Только бы мне удалось воспользоваться успехом этой отчаянной авантюры, не оплачивая ее непомерными процентами с барыша! Только бы удалось! Вообще-то я поступаю дурно, но Господь посмотрит на это сквозь пальцы, конечно, Он так и сделает! В течение всей моей жизни Он достаточно часто испытывал меня, без всякого права, так что будет только справедливо, если на сей раз Он проявит снисходительность. Да и в чем мое преступление, если это вообще преступление? Самое большее — в том, что я несколько нарушил устав цеха, эксплуатируя чудесную одаренность какого-то неуча и выдавая его способности за мои собственные. Самое большее — в том, что я слегка сбился с пути традиционной ремесленной добродетели. Самое большее — в том, что сегодня я совершаю то, что вчера еще проклинал. Разве это преступление? Другие всю жизнь обманывают. А я немного жульничал всего несколько лет.

Да и то потому, что подвернулся такой небывалый случай. Может, и случая не было, может, сам Господь послал ко мне в дом этого волшебника, чтобы вознаградить меня за унижения, которые я претерпел от Пелисье и его сообщников. Может, кара Божья ожидает вовсе не меня, а Пелисье! Это весьма и весьма возможно! А чем же еще Господь сумел бы покарать Пелисье, как не моим возвышением? Следовательно, мое счастье есть орудие промысла Божия, и я не только имею право, я обязан его принять как таковое, без стыда и раскаяния...»

Так зачастую размышлял Бальдини в прошедшие годы, по утрам, спускаясь по узкой лестнице в лавку, по вечерам, поднимаясь наверх с содержимым кассы и пересчитывая тяжелые золотые и серебряные монеты в своем сундуке, и по ночам, лежа рядом с храпящим скелетом супруги и не будучи в силах уснуть просто от страха за свое счастье.

Но теперь наконец мрачные мысли исчезнут. Жуткий гость ушел и не вернется никогда. А богатство осталось, и будущее было обеспечено. Бальдини положил руку на грудь и под тканью сюртука нащупал на сердце маленькую книжицу. В ней были записаны шестьсот формул — больше, чем когда-либо смогли бы реализовать целые поколения парфюмеров. Если сегодня он потеряет все, то только с помощью этой чудесной книжицы в течение одного года он снова разбогатеет. Воистину, можно ли требовать большего!

Утреннее солнце, отражаясь в черепичных крышах домов на противоположной стороне, бросало теплый желтый свет на его лицо. Бальдини все еще смотрел на улицу, ведущую на юг, к дворцу Парламента — как все-таки приятно, что Гренуя и след простыл! — и его переполняло чувство благодарности. Он решил, что сегодня же совершит паломничество на другой берег, в Нотр-Дам бросит золотую монету в церковную кружку, затеплит три свечи и на коленях возблагодарит Господа, пославшего ему столько счастья и избавившего от возмездия.

Но потом ему что-то опять глупейшим образом помешало, потому что пополудни, когда он совсем уж собрался идти в церковь, разнесся слух, что англичане объявили войну Франции. Само по себе это не слишком его обеспокоило. Но поскольку как раз на днях он хотел отправить в Лондон партию духов, он отложил посещение храма, вместо этого он пошел в город разузнать новости, а оттуда на свою мануфактуру в Сент-Антуанском предместье, чтобы пока что задержать отправку лондонской партии товара. Ночью в постели перед сном ему пришла в голову гениальная идея: ввиду предстоящих боевых действий в войне за колонии Нового Света ввести в моду духи под названием «Гордость Квебека» с терпким героическим ароматом, успех которых — он ничуть в этом не сомневался — возместит ему убытки от несостоявшейся английской сделки. С такими сладкими мыслями в своей старой глупой голове, которую он с облегчением откинул на подушку, с удовольствием ощущая под ней твердость книжицы с формулами, мэтр Бальдини заснул, чтобы никогда больше не проснуться.

Дело в том, что ночью произошла небольшая катастрофа, каковая спустя приличествующее случаю время дала повод королю издать приказ о постепенном сносе всех домов на всех мостах города Парижа; без видимой причины обвалился мост Менял — с западной стороны между третьей и четвертой опорой. Два дома обрушились в реку так стремительно и внезапно, что никого из обитателей нельзя было спасти. К счастью, погибло всего два человека, а именно Джузеппе Бальдини и его жена Тереза. Прислуга дома не ночевала — кого отпустили, а кто отлучился самовольно. Шенье, который лишь под утро в легком подпитии явился домой — точнее, хотел явиться, потому что дома-то уже не было,— пережил нервный шок. Он тридцать лет подряд лелеял надежду, что Бальдини, не имевший ни детей, ни родственников, составит завещание в его пользу. И вот все исчезло в один миг — все наследство целиком, дом, фирма, сырье, мастерская, сам Бальдини — и даже само

завещание, в котором, вероятно, был пункт о собственности на мануфактуру!

Найти не удалось ничего — ни трупов, ни сундука с деньгами, ни книжицы с шестьюстами формулами. Единственное, что осталось от Джузеппе Бальдини, лучшего парфюмера Европы, был смешанный запах мускуса, тмина, уксуса, лаванды и тысячи других веществ, который еще много недель плыл по течению Сены от Парижа до Гавра.

Часть вторая

23

В то время, когда обрушился дом Джузеппе Бальдини, Гренуй находился на пути в Орлеан. Он оставил за собой кольцо испарений большого города, и с каждым шагом, по мере удаления от Парижа, воздух вокруг него становился яснее, свежее и чище. Одновременно он терял насыщенность. В нем перестали с бешеной скоростью на каждом метре вытеснять друг друга сотни, тысячи различных запахов, но те немногие, которые были — запахи дорожной пыли, лугов, почвы, растений, воды,— длинными полотнищами тянулись над землей, медленно вздуваясь, медленно колыхаясь, почти нигде резко не обрываясь.

Гренуй воспринимал эту деревенскую простоту как избавление. Эти безмятежные ароматы ласкали его обоняние. Впервые он не должен был следить за каждым своим вдохом, чтобы не учуять нечто новое, неожиданное, враждебное или не упустить что-то приятное. Впервые он мог дышать почти свободно и при этом не принюхиваться настороженно каждую минуту. «Почти» — сказали мы, ибо по-настоящему свободно ничто, конечно, не проникало через нос Гренуя. Даже если у него не было к тому ни малейшего повода, в нем всегда бодрствовала инстинктивная холодная сдержанность по отношению ко всему, что шло извне и что приходилось впускать внутрь себя. Всю свою жизнь, даже в те немногие моменты, когда он испытывал отзвуки чего-то вроде удовлетворения, довольства, может быть счастья, он предпочитал выдыхать: ведь он же и начал жизнь не полным надежды вдохом, а убийственным криком. Но кроме этого неудобства — ограничения, составлявшего суть его натуры,— Гренуй по мере удаления от Парижа чувствовал себя все лучше, дышал все легче, шел все более стремительным шагом и даже иногда подбирался, стараясь держаться прямо, так что издали он выглядел почти как обычный подмастерье, то есть как вполне нормальный человек. Больше всего его раскрепощало удаление от людей. В Париже люди жили скученней, чем в любом другом городе мира. Шестьсот, семьсот тысяч человек жили в Париже. Они кишмя кишели на улицах и площадях, а дома были набиты ими битком, с подвалов до чердаков. Любой закоулок был скопищем людей, любой камень, любой клочок земли вонял человечиной.

Только теперь, постепенно удаляясь от человеческого чада, Гренуй понял, что был комком этого месива, что оно восемнадцать лет кряду давило на него, как душный предгрозовой воздух. До сих пор он всегда думал, что мир вообще таков и от него нужно закрываться, забираться в себя, уползать прочь. Но то был не мир, то были люди. Теперь ему показалось, что с миром — с миром, где не было ни души,— можно было примириться.

На третий день своего путешествия он попал в поле притяжения запахов Орлеана. Еще задолго до каких-либо видимых признаков близости большого города Гренуй ощутил уплотнение человеческого элемента в воздухе и решил изменить свое первоначальное намерение и обойти Орлеан стороной. Ему не хотелось так быстро лишаться только что обретенной свободы дыхания, погружаясь в тяжелое зловоние человеческого окружения. Он сделал большой крюк, миновал город, около Шатонёф вышел к Луаре и переправился через нее у Сюлли. До Сюлли

ему хватило колбасы. Он купил себе еще одно кольцо и, покинув русло реки, свернул в глубь страны.

Он избегал не только городов, он избегал и деревень. Он был как пьяный от все более прозрачного, все более далекого от людей воздуха. Только чтобы запастись новой порцией провианта, он приближался к какому-либо селению или одинокому хутору, покупал хлеб и снова исчезал в лесах. Через несколько недель ему стали неприятны даже встречи с редкими путешественниками на проселочных дорогах, он больше не переносил возникавшего иногда запаха крестьян, косивших первую траву на лугах. Он боязливо избегал каждого овечьего стада, не из-за овец, а чтобы обойти запах пастухов. Он шагал не разбирая дороги прямо через поля, делал многомильные крюки, стоило ему лишь учуять эскадрон рейтар на расстоянии нескольких часов верховой езды. Не потому, что он, как другие подмастерья и бродяги боялся проверки бумаг и отправки при первой же оказии на военную службу,— он даже не знал, что шла война,— а только и единственно потому, что ему был отвратителен человеческий запах всадников. И так сам собой и без особого решения его план — как можно скорее достичь Граса — постепенно поблек; этот план, так сказать, растворился в свободе, как все прочие планы и намерения. Гренуй не стремился больше никуда, а единственно прочь, прочь от людей.

В конце концов он стал перемещаться только по ночам. Днем он заползал в подлесок, спал под кустами, прятался в зарослях, в самых недоступных местах, свернувшись клубком, как животное, натянув на тело и голову конскую попону, уткнувшись носом в сгиб локтя и отвернувшись к земле, чтобы ни малейший чужой запах не мешал его грезам. На закате он просыпался, принюхивался ко всему вокруг себя и только тогда, когда обоняние убеждало его, что самый последний крестьянин покинул поле и что самый отчаянный путник с наступлением темноты нашел себе кров и приют, только тогда, когда ночь с ее мнимыми опасностями загоняла под крыши людей, Гренуй выползал из своего убежища и продолжал свое путешествие. Чтобы видеть, ему не нужно было света. Уже раньше, когда он еще двигался днем, он часто часами шел с закрытыми глазами только по нюху. Яркая картина ландшафта, ослепительность, внезапность и острота зрения причиняли ему боль. Ему нравился только лунный свет. Лунный свет не давал красок и лишь слабо очерчивал контуры пейзажа. Он затягивал землю грязной серостью и на целую ночь удушал жизнь. Этот словно отлитый из чугуна мир, где все было неподвижно, кроме ветра, тенью падавшего подчас на серые леса, и где не жило ничего, кроме ароматов голой земли, был единственным миром, имевшим для него значение, ибо он походил на мир его души.

Так двигался он в южном направлении. Приблизительно в южном направлении, потому что шел не по магнитному компасу, а только по компасу своего обоняния, а оно позволяло ему обходить каждый город, каждую деревню, каждое селение. Неделями он не встречал ни души. Он мог бы убаюкать себя успокоительной верой, что он — один в темном или залитом холодным лунным светом мире, если бы его точный компас не подсказал ему, что есть нечто лучшее.

Даже ночью в мире были люди. Даже в самых удаленных местах были люди. Только они прятались по своим укромным норам, как крысы, и спали. Земля не очищалась от них, потому что даже во сне они источали свой запах, проникавший сквозь открытые окна и щели их обиталищ наружу и отравляли природу, предоставленную, казалось бы, самой себе. Чем больше привыкал Гренуй к более чистому воздуху, тем чувствительнее терзал его человеческий запах, который внезапно, совершенно неожиданно возникал в воздухе, ужасный, как козлиное зловоние, и выдавал присутствие какого-то пастушьего приюта, или хижины углежога, или разбойничьей пещеры. И Гренуй бежал все дальше прочь, реагируя все чувствительнее на встречающийся все реже за-

пах человечины. Так его нос уводил его во все более отдаленные местности страны, все более удалял его от людей и все энергичнее притягивал его к магнитному полюсу максимально возможного одиночества.

24

Этот полюс, то есть самая удаленная от людей точка во всем королевстве, находился в центральном массиве Оверни, примерно в пяти днях пути от Клермона, на высоте двух тысяч метров, на вершине вулкана Плон-дю-Канталь.

Вулкан представлял собой огромный конус, сложенный из свинцово-серых пород и окруженный бесконечным унылым плоскогорьем, лишь кое-где поросшим серым мхом и серым стелющимся кустарником. Там и сям из него торчали, как гнилые зубы, коричневые скалы и несколько деревьев, обугленных от пожаров. В самые светлые дни местность выглядела столь унылой и безжизненной, что даже беднейший из пастухов этой беднейшей из провинций не стал бы перегонять сюда своих овец. А уж по ночам, в бледном свете луны, эта забытая Богом пустыня казалась чем-то потусторонним. Даже разыскиваемый по всей стране бандит Лебрен предпочел пробиваться в Севенны, где его схватили и четвертовали, чем скрываться на Плон-дю-Канталь, где его, правда, никто не нашел бы, но где его ждала верная смерть пожизненного одиночества, а она казалась ему еще более ужасной.

На много миль вокруг не было ни людей, ни обычных теплокровных животных — только несколько летучих мышей, жуков и гадюк. Десятилетиями никто не поднимался на вершину.

Гренуй достиг горы августовской ночью 1756 года. К рассвету добрался до вершины. Он еще не знал, что его путешествие закончилось. Он думал, что это лишь этап на пути к еще более чистому воздуху и, обшаривая нюхом грандиозную панораму вулканической пустыни, крутился волчком: к востоку, где расстилалось широкое плоскогорье Сен-Флур и болотистые берега речки Риу, к северу, откуда он пришел, много дней подряд перебираясь через карстовые хребты, к западу, откуда легкий утренний ветер доносил до него лишь запах камня и жестких трав; к югу, наконец, где на многие мили протянулись отроги Плон-дю-Канталь вплоть до темных пропастей Трюйера.

Везде, во всех направлениях, царило то же безлюдье, но каждый шаг в любую сторону означал приближение к человеку. Стрелку компаса зашкалило, она вертелась по кругу. Ориентиров больше не было. Гренуй достиг цели. Но в то же время он попал в ловушку.

Когда взошло солнце, он все еще стоял на том же месте и ловил носом ветер. С отчаянным напряжением он пытался определить направление, откуда ему грозила человечина, и противоположное направление, куда ему следовало бы бежать дальше. Отовсюду до него долетали едва уловимые обрывки человечьих запахов, приводившие его в ярость. А здесь, где он стоял, не было ничего. Здесь был только покой, спокойствие запахов, если можно так сказать. Кругом царило лишь подобное тихому шороху однородное веяние мертвых камней, серых ползучих растений и сухой травы.

Греную понадобилось очень много времени, чтобы поверить в отсутствие человечьих запахов. Счастье застало его врасплох. Его недоверие долго сопротивлялось благоразумию. Он даже, когда поднялось солнце, призвал на помощь зрение и глазами обследовал горизонт, ища малейший признак человеческого присутствия — крышу хижины, дым огня, забор, мост, стадо. Он приставил ладонь к ушам и постарался расслышать звон косы, или лай собаки, или плач ребенка. Целый день он просидел под палящим солнцем на вершине Плон-дю-Канталь, тщетно ожидая малейшего знака. Только на закате его недоверие постепенно отступило перед нарастающим чувством эйфории: он ушел от ненавистного зловония! Он действительно остался совершенно один! Он был единственным человеком в мире!

В нем разразилась буря ликования. Как потерпевший кораблекрушение после многих недель блуждания по морю в экстазе приветствует первый обитаемый остров, так Грену́й праздновал свое прибытие на гору одиночества. Он кричал от счастья. Отбросив рюкзак, попону, палку, он топал по земле ногами, вздымал вверх руки, кружился в диком танце, с рычанием выкрикивал на все четыре стороны собственное имя, сжимал кулаки, победоносно грозил ими всей лежавшей под ним стране и заходящему солнцу, празднуя свой триумф. Он бесновался как безумный до глубокой ночи.

25

Следующие несколько дней он потратил на то, чтобы обосноваться на горе — ибо ему было ясно, что он не скоро покинет это дивное место. Для начала он поискал нюхом воду и нашел ее в расселине под вершиной, где она тонкой пленкой сбегала по скале. Ее было немного, но если он терпеливо лакал ее в течение часа, он утолял свою дневную потребность в жидкости. Он разыскал и пищу, то есть маленьких саламандр и змей, которым отрывал головы и проглатывал целиком, с кожей и костями. Он заедал их сухим лишайником, и травой, и клюквой. Этот рацион, совершенно немыслимый с обывательской точки зрения, не смущал его ни в малейшей степени. В последние недели и месяцы он уже больше не питался приготовленной человеком пищей вроде хлеба, и колбасы, и сыра, но, ощутив голод, пожирал подряд все съедобное, что попадалось ему под руку. Менее всего он был гурманом. Он вообще не знал никакого наслаждения, кроме наслаждения чистым бестелесным запахом. Он и о комфорте не имел никакого понятия и удовлетворился бы голым камнем в качестве ложа. Но он нашел кое-что получше.

Недалеко от родника от открыл естественную узкую штольню, которая, образуя множество изгибов, вела внутрь горы и метров через тридцать заканчивалась завалом. Там, в конце штольни, было так тесно, что плечи Грену́я едва вмещались в проем, и так низко, что стоять он мог, лишь согнувшись. Но он мог сидеть, а если сворачивался клубком, то и лежать. Это полностью удовлетворяло его потребность в комфорте. Ибо такое место имело неоценимые преимущества: в конце тунне́ля даже днем царила непроглядная ночь, стояла мертвая тишина, и воздух дышал влажной солоноватой прохладой. Грену́й сразу учуял, что здесь никогда не бывало ни одного живого существа. Когда он завладел этим местом, его охватило чувство, близкое к священному трепету. Он аккуратно расстелил на земле свою конскую попону, словно покрывал алтарь, и улегся. Он чувствовал небесное блаженство. Он лежал в самой одинокой горе Франции, в пятидесяти метрах под землей, как в собственном гробу. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя в такой безопасности — разве что в чреве своей матери. Если б даже снаружи сгорел весь мир, здесь он ничего бы не заметил. Он тихо заплакал. Он не знал, кого благодарить за такое непомерное счастье.

В последующее время он выходил наружу только для того, чтобы лакать воду из родника, быстро освобождаться от мочи и экскрементов и охотиться за ящерицами и змеями. По ночам они ловились легко, потому что забирались под камни или в мелкие норы, где он находил их по запаху.

В первые недели он еще несколько раз поднимался на вершину, чтобы обшарить нюхом горизонт. Но вскоре это стало больше обременительной привычкой, чем необходимостью, потому что он ни разу не почуял ничего угрожающего. И тогда он прекратил экскурсии; он стремился лишь к тому, чтобы, совершив отправления, необходимые для элементарного выживания, как можно скорее вернуться в свой склеп. Ибо здесь, в склепе, он, собственно, и жил. Это значит, что двадцать часов в сутки он в полной темноте и полной тишине сидел на своей попоне в конце каменного коридора, прислонившись спиной к куче ссы-

павшейся породы, втиснув плечи между скалами, и довольствовался самим собой.

Бывают люди, ищущие одиночества: кающиеся грешники, неудачники, святые или пророки. Они предпочитают удаляться в пустыню, где питаются акридами и диким медом. Некоторые даже живут в пещерах и ущельях на пустынных островах или сидят — немного кокетничая — в клетках, подвешенных на ветвях или укрепленных на столбах. Они делают это ради того, чтобы приблизиться к Богу. Одиночество нужно им для умерщвления плоти и покаяния. Они поступают таким образом в убеждении, что ведут богоугодную жизнь. Или же они месяцами и годами ждут, что в одиночестве им будет ниспослано божественное откровение, дабы они срочно сообщили о нем людям.

Ничего похожего не происходило с Гренуем. О Боге он не имел ни малейшего понятия. Он не каялся и не ждал никакого откровения свыше. Он ушел от людей единственно для собственного удовольствия, лишь для того, чтобы быть близко к самому себе. Он купался в собственном, ни на что не отвлекаемом существовании и находил это великолепным. Как труп, лежал он в каменном склепе, почти не дыша, почти не слыша ударов своего сердца — и все же жил такой интенсивной и извращенной жизнью, как никто иной из живущих в мире.

Ареной этих извращений была — а как же иначе — его внутренняя империя, куда он с самого рождения закапывал контуры всех запахов, которые когда-либо встречал. Чтобы настроиться, он сначала вызывал в памяти самые ранние, самые отдаленные из них: враждебные душные испарения спальни мадам Гайар; вонь иссохшей кожи ее рук; уксуснокислое дыхание патера Террье, истерический, горячий материнский пот кормилицы Бюсси, трупное зловоние Кладбища невинных, убийственный запах своей матери. И он упивался отвращением и ненавистью, и у него вставали дыбом волосы от сладострастного ужаса.

Иногда этот аперитив мерзостей оказывался недостаточным, и чтобы разогнаться, он позволял себе небольшой обонятельный экскурс к Грималю и отведывал зловонья сырых, покрытых мясом кож и дубильных смесей или воображал чадные испарения шестисот тысяч парижан в душной, порочной жаре разгара лета.

И тогда вдруг — в том и состоял смысл упражнения — накопленная ненависть с оргиастической мощью прорывалась наружу. Как гроза, он собирался над этими запахами, посмевшими оскорбить его светлейший нос. Как град на пшеничное поле, он обрушивался на эту пакость, как ураган, он обращал ее в прах и топил в огромном очищающем половодье дистиллированной воды. Столь праведным был его гнев. Столь величественной была его месть. А! Какой возвышенный миг! Гренуй, этот маленький человек, дрожал от возбуждения, его тело судорожно сжималось в сладострастном удовольствии и извивалось так, что в какой-то момент он ударялся о потолок штольни, затем медленно расслаблялся и оставался лежать, опустошенный и глубоко удовлетворенный. Этот акт извержения всех отвратительных запахов был действительно слишком приятен, слишком... В сценарии его воображаемого мирового театра этот номер был, кажется, самым любимым, ибо доставлял чудесное чувство заслуженного изнеможения, которым вознаграждаются лишь истинно великие, героические деяния.

Теперь он имел право некоторое время отдыхать. Он вытягивался на своем каменном ложе: физически — настолько, насколько хватало места в темной штольне. Однако внутренне, на чисто выметенной территории своей души, он с комфортом вытягивался во весь рост и предавался сладким грезам об изысканных ароматах. Например, он вызывал в своем обонянии пряное дуновение весенних лугов; тепловатый майский ветер, играющий в зеленой листве буков; морской бриз, терпкий, как подсоленный миндаль.

Он поднимался под вечер — так сказать, под вечер, потому что, конечно, не было никакого вечера, или утра, или полудня, не было ни тьмы, ни света, и не было ни весенних лугов, ни зеленой буковой листвы... вообще во внутреннем универсуме Гренуя не было никаких вещей, а были только ароматы вещей. (Потому-то единственно адекватная, но и единственно возможная facon de parle[1] об этом универсуме — говорить о нем как о ландшафте, ибо наш язык не годится для описания мира, воспринимаемого обонянием.) Итак, под вечер в душе Гренуя возникало состояние и наступал момент, подобный окончанию сиесты на юге, когда полуденное оцепенение медленно спадает с ландшафта и приостановленная жизнь опять готова начаться. Воспламененная яростью жара — враг тонких ароматов — отступала, сонм мерзких демонов был уничтожен. Поля внутренних битв, гладкие и мягкие, предавались ленивому покою пробуждения и ожидали, что на них снизойдет воля хозяина. И Гренуй поднимался — как было сказано — и стряхивал с себя сон. Он вставал, великий внутренний Гренуй, он воздвигался как великан, во всем своем блеске и великолепии, упоительно было глядеть на него — почти жаль, что никто его не видел! — и озирал свои владения, гордо и высокомерно.

Да! Это было его царство! Бесподобная империя Гренуя! Созданная и покоренная им, бесподобным Гренуем, опустошенная, разрушенная и вновь возведенная по его прихоти, расширенная им до неизмеримости и защищенная огненным мечом от любого посягательства. Здесь не имело значения ничего, кроме его воли, воли великого, великолепного, бесподобного Гренуя. И после того как были истреблены, дотла сожжены скверные миазмы прошлого, он желал, чтобы его империя благоухала. И он властно шагал по распаханной целине и сеял разнообразнейшие ароматы, где — расточительно, где — скупо; на бесконечно широких плантациях и на маленьких интимных клумбах, разбрасывая семена горстями или опуская по одному в укромных местах. В самые отдаленные провинции своей империи проникал Великий Гренуй, неистовый садовник, и скоро не осталось угла, куда бы он ни бросил зерно аромата.

И когда он видел, что это хорошо и что вся страна пропитана его божественным гренуевым семенем, Великий Гренуй ниспосылал на нее дождь винного спирта, легкий и постоянный, и семена прорастали, радуя его сердце. На плантациях пышно колосились всходы, и в укромных садах наливались соком стебли. Бутоны просто лопались, торопясь выпустить цветы из оболочки. Тогда Великий Гренуй повелевал дождю прекратиться. И дождь прекращался. А Гренуй посылал стране солнце своей улыбки, и в ответ на нее миллионы роскошных цветов в едином порыве распускались, расстилаясь от края до края империи сплошным ярким ковром, сотканным из мириадов флаконов с драгоценными ароматами. И Великий Гренуй видел, что это хорошо, весьма, весьма хорошо. И он ниспосылал на страну ветер своего дыхания. И под этой лаской цветы источали аромат и смешивали мириады своих ароматов в один, переливающийся всеми оттенками, но все же единый в постоянной изменчивости универсальный аромат, воскуряемый во славу Его, Великого, Единственного, Великолепного Гренуя, и, восседая на троне золотого ароматного облака, он снова втягивал в себя это благоухание, и запах жертвы был ему приятен. И Он спускался с высоты, дабы многократно благословить свое творение, а творение благодарило его ликованием, и восторгом, и все новыми взрывами благоухания. Тем временем вечерело, и ароматы расходились все шире, сливаясь с синевой ночи во все более фантастические знамения. Предстояла настоящая бальная ночь ароматов с гигантским фейерверком, пахнущим бриллиантами.

Однако Великий Гренуй испытывал некоторое утомление, он зевал

---

[1] Манера говорить *(франц.)*.

и говорил: «Вот, Я сотворил великое дело, и Я вполне доволен. Но как все совершенное, оно начинает наводить скуку. Я желаю удалиться и завершить сей богатый трудами день, доставив себе еще одну радость».

Так говорил Великий Гренуй, и в то время когда простой пахучий народ внизу радостно ликовал и танцевал, Он, спустившись с золотого облака, плавно парил на широко распростертых крыльях над ночной страной своей души, устремляясь домой — в свое сердце.

27

Ах, это было приятно — возвращаться к себе! Двойной сан — Мстителя и Производителя миров — изрядно утомлял, и выдерживать потом часами восторги собственных созданий тоже было слегка обременительно. В изнеможении от божественных обязанностей творения и представительства Великий Гренуй предвкушал домашние радости.

Его сердце было пурпурным замком в каменной пустыне. Его скрывали дюны, окружал оазис болот и семь каменных стен. Добраться до него можно было только по воздуху. В нем имелась тысяча кладовых, и тысяча подвалов, и тысяча роскошных салонов, в том числе один с простым пурпурным канапе, на котором Гренуй, теперь уже больше не Великий Гренуй, а вполне частное лицо Гренуй или просто дорогой Жан-Батист, любил отдыхать после дневных трудов.

А в кладовых замках стояли высокие, до самого потолка, стеллажи, и на них располагались все запахи, собранные Гренуем за его жизнь, несколько миллионов запахов. И в подвалах замка хранились бочки лучших благовоний его жизни. Когда они настаивались до готовности, их разливали по бутылкам и километрами укладывали в прохладных влажных проходах, в соответствии с годом и местом производства, и было их столько, что не хватило бы жизни, чтобы отведать каждую бутылку.

И когда наш дорогой Жан-Батист, возвратившись наконец chez soi [1], ложился в пурпурном салоне на свою уютную софу — если угодно, стянув наконец сапоги,— он хлопал в ладоши и призывал своих слуг, которые были невидимы, неощутимы, неслышны и прежде всего неуловимы на нюх, то есть были полностью воображаемыми слугами, и посылал их в кладовые, дабы из великой библиотеки запахов доставить ему тот или иной том, и приказывал им спуститься в подвал, дабы принести ему питье. И воображаемые слуги спешили исполнить повеления, и желудок Гренуя сжимался в судороге мучительного ожидания. Он внезапно испытывал ощущение пьяницы у стойки, которого охватывал страх, что по каким-либо причинам ему откажутся подать заказанную водку. А вдруг подвалы и кладовые сразу опустели? Вдруг вино в бочках испортилось? Почему его заставили ждать? Почему не идут? Зелье требовалось ему сейчас, немедленно, он погибает от жажды, он умрет на месте, если не получит его.

Ну что ты, Жан-Батист! Успокойся, дорогой! Они же придут, они принесут то, чего ты так жаждешь. Вон они, слуги, летят на всех парах, держа на невидимом подносе эту книгу запахов. Невидимые руки в белых перчатках подносят драгоценные бутылки, очень осторожно снимают их с подноса; слуги кланяются и исчезают.

И, оставшись в одиночестве — наконец-то снова в одиночестве! — Жан-Батист хватает вожделенные запахи, открывает первую бутыль, наливает себе бокал до краев, подносит к губам и пьет. Одним глотком он осушает бокал прохладного запаха, и это восхитительно! Это так спасительно хорошо, что от блаженства у нашего дорогого Жан-Батиста наворачиваются на глаза слезы, и он тут же наливает себе второй бокал этого аромата: аромата 1752 года, уловленного весной, в сумерках на Королевском мосту, когда с запада дул легкий ветер, в котором смешались запах моря, запах леса и немного смолистого запаха прича-

---

[1] В свой угол (*франц.*).

ленных к берегу лодок. Это был запах первой, клонившейся к концу ночи, которую он провел, шатаясь по Парижу без разрешения Грималя. Это был свежий запах наступавшего дня, первого рассвета, пережитого им на свободе. Он был предвестием какой-то другой жизни. Запах того утра был для Гренуя запахом надежды. Он бережно хранил его. И каждый день отведывал понемногу.

После второго бокала вся нервозность и неуверенность, все сомнения исчезали и его наполнял величественный покой. Он откидывался на мягкие подушки дивана, раскрывал книгу и начинал читать о запахах своего детства, о школьных запахах, о запахах улиц и закоулков города, о человеческих запахах. И его пронизывала приятная дрожь ужаса, ибо тут он заклинал сплошь ненавистные, истребленные запахи. С отвращением и интересом Грену́й читал книгу мерзких запахов, и когда отвращение пересиливало интерес, он просто захлопывал ее, откладывал прочь и брал другую.

Попутно он беспрерывно пригубливал благородные ароматы. После бутылки с ароматом надежды он раскупоривал бутыль 1744 года, наполненную теплым запахом дров перед домом мадам Гайар. А затем выпивал флягу вечернего аромата, насыщенного духами и терпкой тяжестью цветов, подобранного на окраине парка в Сен-Жермен-де-Пре летом 1753 года.

Теперь он был уже сильно наполнен ароматами. Тело его все тяжелее давило на подушки, а дух волшебно затуманивался. И все же на этом его пиршество не кончалось. Правда, глаза его больше не могли читать, книга давно выскользнула из рук — но он не хотел заканчивать вечер, не осушив еще одной, последней, фляги, самой роскошной: это был аромат девушки с улицы Марэ...

Он выпивал его благоговейно и для этого выпрямлялся на своем канапе, хотя ему это было тяжело, так как пурпурный салон качался и кружился вокруг него при каждом движении. В позе примерного ученика, сжав колени и плотно сдвинув ступни, положив левую руку на левое бедро,— вот как пил маленький Грену́й драгоценнейший аромат из подвалов своего сердца, пил бокал за бокалом и при этом становился все печальнее. Он знал, что выпил слишком много. Он знал, что такого количества удовольствий ему не перенести. И все же пил до дна. Он шел по темному проходу с улицы во двор. Шел на свет. А в круге света сидела девушка и разрезала сливы. Изредка доносился треск ракет и петард фейерверка...

Он отставлял бокал и оставался сидеть, словно окаменев от сентиментальности и опьянения, еще несколько минут, пока с его языка не исчезал последний привкус выпитого. Он неподвижно глядел перед собой. В его мозгу вдруг становилось так же пусто, как в бутылках. Тогда он опрокидывался на бок, на пурпурное канапе и мгновенно погружался в отупляющий сон.

В то же время внешний Грену́й тоже засыпал на своей попоне. И сон его был столь же бездонно-глубоким, как сон внутреннего Гренуя, ибо геркулесовы подвиги и эксцессы одного не менее изнуряли и другого — ведь оба они, в конце концов, были одним и тем же лицом.

Правда, когда он просыпался, он просыпался не в пурпурном салоне пурпурного замка за семью стенами и даже не на весенних лугах своей души, а всего лишь в каменном убежище в конце туннеля на жестком полу в кромешной тьме. И его мутило от голода и жажды, и мучил озноб и похмелье, как запойного пьяницу после разгульной ночи. На карачках он выползал из своей штольни.

Снаружи было какое-то время суток, начало или конец ночи, но даже в полночь свет звезд резал ему глаза. Воздух казался пыльным, едким, сжигающим легкие, ландшафт — жестким, он натыкался на камни. И даже нежнейшие запахи терзали и жалили его отвыкший от мира нос. Грену́й, этот клещ, стал чувствительным как рак, который вылез из своего панциря и нагишом странствует по морю.

Он шел к роднику, слизывал со скалы влагу — час, два часа подряд, это была мука, время не кончалось, то время, когда его настигал реальный мир. Он срывал с камней несколько клочков мха, давясь, впихивал их в себя, приседал на камни, испражнялся и пожирал одновременно — все должно было совершаться быстро, быстро, быстро — и сломя голову, как маленький мягкотелый зверь, над которым в небе уже кружат ястребы, бежал назад в свою пещеру, в конец туннеля, где лежала попона. Здесь он наконец снова был в безопасности.

Он прислонялся спиной к груде щебня, вытягивал ноги и ждал. Теперь ему надо было успокоить свое тело, совсем успокоить, как сосуд, который грозит расплескаться, если его слишком сильно трясти. Постепенно ему удавалось усмирить дыхание. Его возбужденное сердце начинало биться ровнее, шторм внутри него медленно стихал. И внезапно одиночество, как черная гладь штиля, падало на его душу. Он закрывал глаза. Темная дверь в его «я» открывалась, и он входил. В театре гренуевой души начинался очередной спектакль.

28

Так проходил день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Так прошли целых семь лет.

Тем временем во внешнем мире царила война. Дрались в Силезии и в Саксонии, в Ганновере и в Бельгии, в Богемии и Померании. Солдаты короля погибали в Гессене и Вестфалии, на Балеарских островах, в Индии, на Миссисипи и в Канаде, если они не умирали от тифа еще по пути туда. Миллиону человек война стоила жизни, королю Франции — его колониальных владений, а всем странам, участвовавшим в ней,— столько денег, что они наконец скрепя сердце решили ее окончить.

Однажды в это время, зимой, Гренуй чуть не замерз, сам не заметив этого. Пять дней он пролежал в пурпурном салоне, а очнувшись в штольне, не мог шевельнуться от холода. Он сейчас же снова закрыл глаза, чтобы умереть во сне. Но тут наступила оттепель, разморозила его и спасла.

Один раз навалило столько снегу, что у него не хватило сил прорыть его, чтобы докопаться до лишайников. И он питался замерзшими летучими мышами.

Как-то перед пещерой он обнаружил и съел мертвого ворона. Это были единственные события, воспринятые им за эти семь лет из внешнего мира. В остальном он жил только в своей крепости, только в самодержавном царстве своей души. И он оставался бы там до смерти (ведь он ни в чем не испытывал недостатка), если бы не случилась катастрофа, которая прогнала его из горы и выплюнула во внешний мир.

29

Эта катастрофа была не землетрясение, не лесной пожар, не горная лавина и не обвал штольни. Она вообще была не внешней катастрофой, но внутренней, а потому особенно мучительной, так как она блокировала предпочитаемый Гренуем путь к бегству. Она произошла во сне. Точнее сказать, в мечтах. Еще точнее, в мечтах, во сне, в сердце, в его воображении.

Он возлежал на канапе в пурпурном салоне и спал. Вокруг него стояли пустые бутылки. Он ужасно много выпил, под конец целые две бутылки аромата рыжеволосой девушки. Вероятно, это было слишком, потому что в его сон, хотя и глубокий, как смерть, на этот раз проникла рябь каких-то призрачных сновидений. В этой ряби были явно различимы обрывки некого запаха. Сначала они только тонкими волокнами проплывали мимо носа Гренуя, потом становились плотнее, превращались в облако. И ему начинало казаться, что он стоит посреди гнилого болота, а из топи поднимается туман. Туман медленно поднимался все выше, вскоре он полностью окутал Гренуя, пропитал его насквозь, и

среди туманного смрада больше не оставалось ни капли свежего воздуха. Если он не хотел задохнуться, ему пришлось бы вдохнуть этот туман. А туман этот был, как сказано, запахом. И Грену́й знал также, чей это был запах. Этот туман был его собственным запахом — вот чем был этот туман.

А ужасным было то, что Грену́й, хотя и знал, что это его запах, не мог его вынести. Полностью утопая в самом себе, он ни за что на свете не мог себя обонять!

Осознав это, он закричал так страшно, словно его сжигали живьем. Крик разбил стены пурпурного салона, разрушил стены замка, вырвавшись из сердца, он пролетел над рвами, и болотами, и пустынями, пронесся над ночным ландшафтом его души, как огненная буря, он выплеснулся из его глотки и стремительно ринулся по изгибам штольни наружу, в мир, растекаясь по плоскогорью Сен-Флур,— казалось, кричала сама гора. Проснувшись, он стал отбиваться, словно стараясь прогнать невыносимый смрад, который грозил задушить его. Он был до смерти перепуган, трясся всем телом просто от смертельного страха. Если бы его крик не разорвал этого смрада, он захлебнулся бы самим собой — жуткая смерть. Вспоминая об этом, он содрогался. И пока он сидел, все еще сотрясаясь от ужаса и пытаясь привести в порядок свои перепуганные, сумбурные мысли, он твердо понял одно: он изменит свою жизнь хотя бы для того, чтобы не увидать во второй раз такой чудовищный сон. Второй раз ему этого не перенести.

Он набросил на плечи попону и вылез наружу. Там как раз было утро, позднее утро конца февраля. Солнце светило. Земля пахла влажным камнем, мохом и водой. Ветер уже доносил слабый аромат анемонов. Он присел на землю у входа в пещеру, согреваясь на солнце и вдыхая свежий воздух. Его все еще знобило при воспоминании о смраде, от которого он бежал, и знобило от блаженного тепла, разливавшегося по спине. Все-таки хорошо, что этот внешний мир еще существовал, хотя бы как цель побега. Было бы невообразимо жутко не обнаружить при выходе из туннеля никакого мира! Ни света, ни запаха — только этот ужасный смрад, внутри, снаружи, везде...

Шок постепенно проходил. Тиски страха постепенно разжались, и Грену́й почувствовал себя уверенней. К полудню он снова обрел свое хладнокровие. Поднеся тыльной стороной к носу указательный и средний пальцы левой руки, он дышал сквозь пальцы, вдыхая влажный, приправленный анемонами аромат весеннего воздуха. Пальцы ничуть не пахли. Он повернул ладонь и обнюхал внутреннюю сторону. Он почувствовал тепло руки, но ничего не учуял. Тогда он завернул обтрепанный рукав рубашки и уткнулся носом в сгиб локтя. Он знал, что это — то место, где все люди пахнут сами собой. Однако он не учуял ничего. Не учуял ничего под мышками, ничего на ногах, ничего на половом органе, к которому пригнулся насколько смог. Это было чудно! Он, Грену́й, способный за несколько миль обнаружить по запаху другого человека, не мог учуять свой собственный половой орган на расстоянии ладони! Несмотря на это, он не поддался панике, но, холодно поразмыслив, сказал себе следующее: «Дело не в том, что я не пахну, ведь пахнет все. Дело, наверное, в том, что я не слышу, как я пахну, потому что с самого рождения изо дня в день нюхал себя, и поэтому мой нос не воспринимает моего собственного запаха. Если бы я мог отделить от себя свой запах или хотя бы его часть, немного отвыкнуть и через некоторое время вернуться к нему, то очень даже смог бы услышать свой запах, а значит — себя».

Он снял с себя попону и одежду или то, что еще осталось от его одежды, снял эти отрепья, эти лохмотья. Он не снимал их с тела семь лет. Они должны были насквозь пропитаться его запахом. Он побросал их в кучу перед пещерой и удалился. И вот, впервые за семь лет, он снова поднялся на вершину горы. Там он встал на то же место, где стоял тогда, в день своего прибытия, повернулся носом к западу и позво-

лил ветру обвевать свое обнаженное тело. Его цель была настолько проветриться, настолько накачаться западным ветром — то есть запахом моря и влажных лугов,— чтобы этот ветер пересилил запах его собственного тела, чтобы возникла ловушка для запаха между ним, Гренуем, и его одеждой, и тогда он смог бы ясно расслышать, как она пахнет. И чтобы к нему в нос попало как можно меньше собственного запаха, он наклонился вперед, изо всех сил вытянул шею против ветра, а руки — назад. Он выглядел как пловец перед прыжком в воду.

В этом чрезвычайно смешном положении он пребывал несколько часов подряд, так что его отвыкшая от света, белая, как у червя, кожа стала красноватой, как у лангусты, хотя солнце грело еще слабо. Под вечер он снова спустился к пещере. Он уже издали увидел кучу своей одежды. За несколько метров он зажал нос и разжал его снова лишь тогда, когда приблизил его вплотную к одежде. Он хотел снять пробу, как научился у Бальдини: втянул в себя воздух, а потом толчками стал выпускать его из себя. Чтобы поймать запах, он обеими руками образовал некий колокол над одеждой, в который, как язык, всунул свой нос. Он сделал все возможное, чтобы извлечь из одежды свой собственный запах. Но этого запаха в ней не было. В ней была тысяча других запахов. Запахи камня, песка, мха, смолы, вороньей крови — даже запах колбасы, которую он много лет назад покупал недалеко от Сюлли, все еще были ясно слышны. Одежда была обонятельным дневником последних семи-восьми лет. И только его собственного запаха, запаха того, кто носил ее, не снимая, все это время, у одежды не было.

И тут он все же немного испугался. Солнце зашло. Он стоял голый у входа в штольню, где в темном конце прожил в темноте семь лет. Дул холодный ветер, и он замерз, но не замечал, что замерз, потому что в нем был встречный холод, а именно страх. Это был не тот страх, который он испытал во сне, омерзительный страх задохнуться от самого себя, который надо было стряхнуть любой ценой и от которого можно было убежать. То, что он испытывал теперь, был страх не узнать ничего о самом себе. Он был противоположен тому страху. От него нельзя было убежать, нужно было идти ему навстречу. Нужно было — даже если это открытие станет ужасным — узнать наверняка, есть у него запах или нет. И узнать теперь же. Сейчас.

Он вернулся в штольню. Уже через несколько метров его охватила полная темнота, но он ориентировался, как при самом ярком свете. Много тысяч раз он проходил этот путь, знал каждый шаг и каждый поворот, чуял каждый сталактит, каждый крошечный выступ. Найти дорогу было нетрудно. Трудно было бороться с воспоминанием о клаустрофобическом сновидении, которое, подобно приливу, накатывало на него все более высокими волнами. Но он не отступал. То есть страхом не знать он боролся со страхом узнать и одержал победу, потому что знал, что выбора у него не было. Когда он дошел до конца штольни, где возвышалась груда щебня, оба страха оставили его. Он почувствовал, что спокоен, что голова у него ясная, а нос — отточен, как скальпель. Он присел на корточки, закрыл глаза руками и принюхался. В этом месте, в этой удаленной от мира каменной могиле, он пролежал семь лет. Если уж где-нибудь на свете должен быть его запах, то здесь. Он дышал медленно. Он проверял тщательно. Он просидел на корточках четверть часа. У него была безошибочная память, и он точно помнил, как пахло на этом месте семь лет назад: камнем и влажной солоноватой прохладой, и эта чистота означала, что ни одно живое существо никогда сюда не ступало... Точно так же здесь пахло и теперь.

Он просидел еще некоторое время, совсем спокойно, только тихо качая головой. Потом повернулся и пошел к выходу, сперва согнувшись, а когда позволила высота штольни, выпрямившись,— на волю.

Выйдя из штольни, он надел свои лохмотья (башмаки его сгнили еще много лет назад), взвалил на плечи попону и в ту же ночь, покинув Плон-дю-Канталь, ушел на юг.

Он выглядел чудовищно. Волосы отросли по колено, жидкая борода — до пупа. Ногти стали похожи на птичьи когти, а на руках и на ногах, там, где тело не прикрывали лохмотья, клочьями облезла кожа.

Первые встреченные им люди — крестьяне, работавшие на поле недалеко от города Пьерфор,— при виде его с криками бросились прочь. В самом городе он произвел сенсацию. Люди сбегались сотнями, чтобы поглазеть на него. Некоторые принимали его за беглого галерника. Другие говорили, что он не настоящий человек, а помесь из человека и медведя, какое-то лесное чудище. Один бывший моряк утверждал, что он похож на дикаря-индейца из Кайенны, которая находится по ту сторону океана. Его привели к мэру. Там он, к изумлению собравшихся, предъявил свою грамоту, раскрыл рот и в довольно сбивчивых и неуклюжих выражениях — ведь это были первые слова, произнесенные им после семилетнего перерыва,— но вполне понятно рассказал, что он странствующий подмастерье, что на него напали разбойники, утащили в пещеру и держали там в плену семь лет. За это время он не видел ни солнечного света, ни людей, кормился из корзины, которую спускала в темноту невидимая рука, и, в конце концов, был освобожден с помощью лестницы, так ничего и не узнав о своих похитителях и спасителях. Эту историю он выдумал потому, что она казалась ему убедительней, чем правда, она и была убедительней, поскольку такие разбойничьи нападения то и дело случались в горах Оверни, Лангедока или в Севеннах. Во всяком случае мэр доверчиво занес это происшествие в протокол и доложил о нем маркизу де ла Тайад-Эспинассу, ленному владетелю города и члену парламента в Тулузе.

Этот маркиз уже в сорок лет потерял интерес к придворной жизни, покинул Версаль, удалился в свои владения и посвятил себя наукам. Его перу принадлежал значительный труд о динамической национальной экономике, в коем он предлагал отменить все налоги на землевладение и сельскохозяйственные продукты, а также ввести обратно пропорциональный подоходный налог, который сильнее всего ударял бы по бедным и тем самым вынудил бы их более энергично развивать свою экономическую активность. Вдохновленный успехом своей брошюры, он сочинил трактат о воспитании мальчиков и девочек в возрасте от пяти до десяти лет, затем увлекся экспериментальным сельским хозяйством и попытался путем переноса бычьего семени на различные сорта трав вывести животно-растительный продукт скрещивания для получения молока, что-то вроде дойного цветка. Поначалу он достиг некоторых успехов, позволивших ему изготовлять из травяного молока сыр, который Академия наук в Лионе определила как «близкий по вкусу к козьему, хотя несколько более горький». Однако ему пришлось приостановить опыты ввиду огромных расходов на бычье семя, которое гектолитрами разбрызгивалось по полям. Тем не менее занятия аграрно-биологическими проблемами пробудили у него интерес не только к так называемой почве, но и к земле вообще, и ее отношению к биосфере.

Едва успев закончить опыты по выведению молочно-дойного цветка, он с несокрушимым рвением принялся за большое сочинение о зависимостях между близостью к земле и витальностью. Его тезис гласил, что жизнь может развиваться только на определенном удалении от земли, поскольку сама земля постоянно испускает некий газ разложения, так называемый fluidum letale, каковой подавляет витальные силы и рано или поздно полностью их парализует. Поэтому все живые существа стремятся путем роста удалиться от земли, то есть как бы растут от нее прочь, а не врастают в нее; по той же причине они направляют вверх самые ценные свои части: пшеница — колос, цветок — свой бутон, человек — голову; и потому же, когда старость согнет их и снова склонит к земле, они неизбежно попадают под влияние летального газа, в

который благодаря процессу разложения в конце концов сами и превращаются после своей смерти.

Услышав о том, что в Пьерфоре объявился индивидуум, проведший семь лет в пещере, где его полностью окружал элемент разложения — земля, маркиз де ла Тайад-Эспинасс пришел в восторг, и приказал немедленно доставить Гренуя к себе в лабораторию, и там подверг тщательному обследованию. Он нашел, что теория витальности подтверждается самым наглядным образом. Fluidum letale настолько повлиял на Гренуя, что его двадцатипятилетнее тело обнаружило признаки старческого разложения. Единственно то обстоятельство — так объяснял Тайад-Эспинасс,— что Гренуй во время своего нахождения в плену питался удаленными от земли растениями, предположительно хлебом и фруктами, предотвратило его смерть. Теперь, считал маркиз, можно было восстановить прежнее состояние здоровья Гренуя лишь путем радикального удаления флюида с помощью изобретенного им, Тайад-Эспинассом, аппарата для вентиляции витального воздуха. Такой аппарат стоит в чулане его городского замка в Монпелье, и если Грену угодно предоставить себя в распоряжение маркиза в качестве демонстрационного объекта, то маркиз не только избавит его от безнадежного отравления земляным газом, но и наградит изрядной суммой денег...

Два часа спустя они сидели в карете. Хотя дороги в то время были скверные, шестьдесят четыре мили до Монпелье они преодолели всего за два дня, ибо маркиз, несмотря на преклонный возраст, не упускал случая собственноручно подхлестнуть кучера и лошадей, а при многочисленных поломках дышла и рессор лично участвовал в их починке,— в таком восторге он был от своего Найденыша, так жаждал как можно скорее представить его образованной публике. Зато Грену ни разу не было позволено сойти с козел кареты. Он должен был восседать рядом с кучером в своих лохмотьях, завернувшись с головой в попону, насквозь пропитанную влажной землей и глиной. Кормили его во время путешествия сырыми корнеплодами. Маркиз надеялся таким образом еще некоторое время законсервировать в идеальном состоянии отравление земляным флюидом.

По приезде в Монпелье он приказал немедленно поместить Гренуя в подвал своего дворца и разослал приглашения всем членам Медицинского факультета, Ботанического общества, Сельскохозяйственной школы, Химико-Физического объединения, Масонской ложи и прочих научных обществ, коих в городе было не менее дюжины.

И несколько дней спустя — ровно через неделю после того, как он покинул убежище в горах,— Гренуй оказался на помосте в актовом зале университета Монпелье перед многочисленной публикой, которой он был представлен как сенсация года.

В своем докладе Тайад-Эспинасс охарактеризовал его как живое доказательство правильности теории летального земляного флюида. Методически срывая с Гренуя лохмотья, маркиз пояснял, какой ужасающий эффект произвело воздействие гнилостного газа на тело демонстрируемого субъекта: обратите внимание на язвы и шрамы от газового поражения; а вот тут, на груди, огромная ярко-красная газовая карцинома; вся кожа растрескалась; налицо также явное флюидальное искривление скелета в виде горба и сросшихся пальцев ноги. Внутренние органы: селезенка, печень, легкие, желчный пузырь и пищеварительный тракт — тяжело заражены, о чем убедительно свидетельствует анализ пробы стула; проба собрана в тазике, стоящем на помосте рядом с демострируемым субъектом, и доступна для обозрения любому желающему. Отсюда следует вывод, что паралич витальных сил, причиной которого является семилетнее отравление fluidum letale Taillade уже настолько прогрессировал, что субъект — чей внешний вид, впрочем, уже обнаруживает заметные признаки вырождения — должен быть определен как существо, обращенное скорее к смерти, чем к жизни. Тем не менее докладчик попытается посредством вентиляционной терапии

в сочетании с витальной диетой в течение восьми дней добиться очевидных признаков полного выздоровления. Присутствующих приглашают собраться здесь через неделю, дабы убедиться в успехе данного прогноза и получить бесспорное доказательство правильности теории земляного флюида.

Доклад имел огромный успех. Ученая публика наградила докладчика бурными аплодисментами, а затем продефилировала мимо помоста, на котором стоял Гренуй. Его страшная запущенность, заскорузлые шрамы и следы переломов производили столь ужасающее впечатление, что все сочли его полусгнившим заживо и обреченным, хотя он чувствовал себя вполне здоровым и сильным. Некоторые из ученых господ со знанием дела выстукивали его, измеряли, заглядывали ему в рот, оттягивали веки. Другие заговаривали с ним, интересуясь жизнью в пещере и теперешним самочувствием. Но он, строго придерживаясь полученной от маркиза инструкции, отвечал на вопросы только сдавленным хрипом и при этом обеими руками беспомощно указывал на горло, давая понять, что fluidum letale Taillade уже глубоко поразил его гортань.

Когда демонстрация закончилась, Тайад-Эспинасс снова упаковал его и отправил домой, в кладовую своего дворца. Там он в присутствии нескольких избранных докторов медицинского факультета поместил его в аппарат для вентиляции витальным воздухом — то есть в чулан из тесно пригнанных друг к другу сосновых досок. Через высоченную всасывающую трубу на крыше чулан проветривался очищенным от летального газа воздухом, а отработанный воздух удалялся через кожаный вентиль в полу. Все это сооружение приводилось в действие командой слуг, которые денно и нощно заботились о том, чтобы встроенные в трубу вентиляторы находились в непрерывном движении. Таким образом Гренуй постоянно был окружен очищающим воздушным потоком, а через вырезанную в стене двустворчатую дверцу для пропускания воздуха ему каждый час подавали диетические блюда из удаленных от земли продуктов: голубиный бульон, паштет из жаворонков, рагу из диких уток, варенье из растущих на деревьях фруктов, хлеб из специальных высоких сортов пшеницы, пиренейское вино, молоко горной серны и крем из взбитых яиц кур, содержавшихся на чердаке дворца.

Пять дней продолжался этот лечебный курс дезинфекции и ревитализации. После чего маркиз приказал остановить вентиляторы и перевел Гренуя в ванную комнату, где его несколько часов отмачивали в ваннах с теплой дождевой водой и наконец вымыли с головы до ног мылом с примесью орехового масла, доставленного из города Потоси в Андах. Ему обстригли ногти на руках и ногах, тонким порошком из доломитовой извести вычистили зубы, его побрили, постригли и причесали, а волосы завили и напудрили. Пригласили портного, сапожника, и Гренуй получил сшитую по мерке сорочку с белым жабо и белым рюшем на манжетах, шелковые чулки, камзол, панталоны, и голубой бархатный жилет, и красивые туфли с пряжками из черной кожи, из коих правая искусно маскировала его изувеченную ногу. Маркиз собственноручно припудрил белым тальком рябое лицо Гренуя, тронул кармином губы и щеки и придал бровям с помощью мягкого карандаша из угля жженой липы поистине благородный изгиб. Затем он опрыскал его своими личными духами с простоватым запахом фиалок, отступил на несколько шагов и долго не мог найти слов, чтобы выразить свое восхищение.

— Сударь,— начал он наконец,— я в восторге от самого себя. Я потрясен своею гениальностью. Разумеется, я никогда не сомневался в правильности моей флюидальной теории; никоим образом; но то обстоятельство, что она находит столь блестящее подтверждение в практической терапии, потрясает меня. Вы были животным, а я сделал из вас человека. Это прямо-таки божественное деяние. Позвольте же мне умилиться! — Подойдите вон к тому зеркалу и взгляните на себя! Вы впервые в жизни узнаете, что вы человек; не то чтобы особенный, или иск-

лючительный, или чем-то выдающийся, но все же вполне нормальный человек. Да подойдите же к зеркалу, сударь! Взгляните на себя и изумитесь чуду, которое я с вами совершил!

Впервые в жизни Грену сказали «сударь». Он подошел к зеркалу и всмотрелся в него. До сих пор он еще никогда не смотрелся в зеркало. Он увидел господина в изящном голубом одеянии, в белой сорочке и шелковых чулках и совершенно инстинктивно согнулся в три погибели, как всегда сгибался перед такими нарядными господами. Но нарядный господин тоже согнулся, а когда Грену снова выпрямился, нарядный господин сделал то же самое, и потом оба застыли, в упор разглядывая друг друга.

Больше всего Гренуя поразил тот факт, что он выглядел так неправдоподобно нормально. Маркиз был прав: в нем не было ничего особенного — не хорош собой, но и не слишком уродлив: низковат ростом, немного кособок, лицо невыразительное, короче, он выглядел как тысячи других людей. Если он теперь пойдет по улице, ни один человек не обернется ему вслед. Он и сам бы не обратил внимания на такого, каким он стал теперь, попадись он ему по дороге. Разве что в том случае, если бы учуял, что этот встречный ничем кроме фиалок не пахнет, как господин в зеркале и как он сам, стоящий перед зеркалом.

А всего десять дней назад крестьяне с криком разбегались при виде его. Тогда он чувствовал себя не иначе, чем теперь, а теперь, закрывая глаза, он чувствовал себя ничуть не иначе, чем тогда. Он втянул воздух, который окружал его тело, и услышал запах плохих духов, и бархата, и новой кожи своих туфель; он обонял шелк, пудру, растертую помаду, слабый аромат мыла из Потоси. И вдруг он понял, что не голубиный бульон, не трюк с вентиляцией сделали из него нормального человека, а единственно эти модные тряпки, прическа и небольшие косметические ухищрения.

Заморгав, он открыл глаза и увидел, что господин в зеркале подмигнул ему и тень улыбки коснулась его подкрашенных кармином губ, словно он хотел дать ему знак, что находит его не слишком противным. И Грену тоже нашел, что господин в зеркале, эта одетая как человек, замаскированная, не имеющая запаха фигура тоже вполне ему симпатична; по крайней мере ему показалось, что, если только довести маску до совершенства, она могла бы оказать такое воздействие на внешний мир, на которое он, Грену, никогда бы не осмелился. Он кивнул фигуре и увидел, что, отвечая ему кивком, она украдкой раздувает ноздри...

31

На следующий день — маркиз как раз обучал его необходимейшим позам, жестам и танцевальным па — Грену разыграл припадок головокружения и, якобы совершенно обессилев в приступе удушья, повалился на диван.

Маркиз был вне себя. Он наорал на слуг, требуя немедленно принести опахала и переносные вентиляторы, и едва слуги кинулись исполнять приказание, как маркиз, опустившись на колени рядом с Гренуем, начал обмахивать его своим носовым платком, благоухавшим фиалками, и заклинать, прямо-таки молить все-таки снова подняться, все-таки не испускать дух сейчас, но если возможно, потерпеть до послезавтра, иначе будущее летальной флюидальной теории окажется в серьезной опасности.

Грену корчился и извивался, кашлял, кряхтел, обеими руками отмахивался от платка, и, наконец, весьма драматически свалился с дивана, и забился в самый удаленный угол комнаты.

— Не эти духи! — воскликнул он, как бы лишаясь последних сил.— Не эти духи! Они убьют меня!

И только когда Тайад-Эспинасс выбросил в окно не только платок, но и камзол, точно так же пахнувший фиалками, Грену дал своему

приступу ослабнуть и более спокойным голосом рассказал, что он как парфюмер обладает свойственным людям его профессии чувствительным обонянием и всегда, но особенно во время выздоровления, весьма остро реагирует на некоторые ароматы. То обстоятельство, что именно аромат фиалки, в общем-то приятного цветка, так ему невыносим, он может объяснить тем, что духи маркиза содержат высокий процент фиалкового корня, а тот вследствие своего подземного происхождения оказывает вредное воздействие на такую подверженную летальному флюиду особу, как он, Гренуй. Уже вчера при первом опрыскивании духами он почувствовал себя совершенно одурманенным, а сегодня, услышав запах корня во второй раз, он почувствовал себя так, словно его столкнули назад, в ужасную душную земляную яму, где он пребывал семь лет. Наверное, его природа возмутилась против насилия, он не умеет этого выразить как-то иначе, ибо после того, как искусство маркиза подарило ему жизнь в очищенном от флюида воздухе, он лучше умрет на месте, чем еще раз поддастся воздействию ненавистного флюида. Еще и сейчас внутри у него все сжимается при одном воспоминании о духах из корня. Однако он совершенно уверен, что силы мгновенно вернутся к нему, если маркиз для полного удаления запаха фиалки позволит ему изготовить собственные духи. Ему представляется очень легкий воздушный аромат, состоящий из удаленных от земли ингредиентов — миндальной и апельсиновой воды, эвкалипта, масла сосновых игл и кипарисового масла. Всего несколько брызг на платье, всего несколько капель на шее и щеках — и он навсегда будет застрахован от повторения мучительного припадка, только что накатившего на него...

То, что мы для удобочитаемости передали косвенной речью, было на самом деле получасовым косноязычным словоизвержением, которое прерывалось множеством хрипов, всхлипов и приступов удушья, сопровождалось дрожью, взмахами рук и красноречивым закатыванием глаз. Маркиз был глубоко потрясен. Еще больше, чем симптомы страдания, его убедила изощренная аргументация подопечного. Конечно же, это фиалковые духи! Отвратительно близкий к земле, даже подземный продукт! Вероятно, он сам, употреблявший его много лет, уже заражен им. Он не имел понятия, что этот аромат с каждым днем приближал его к смерти. И подагра, и онемение затылка, и вялость члена, и геморрой, и шум в ушах, и гнилой зуб — несомненно результаты отравления зловонным фиалковым корнем. А этот глупый человечек, это убожество, забившееся в угол комнаты, открывает ему истину. Маркиз растрогался. Ему захотелось подойти, поднять его, прижать к своему просветленному сердцу. Но он боялся, что еще пахнет фиалками, а потому еще раз кликнул слуг и приказал убрать из дома все фиалковые духи, проветрить дворец, продезинфицировать свою одежду в аппарате витального воздуха и в носилках доставить Гренуя к лучшему парфюмеру города. Именно этого добивался Гренуй, разыгрывая свой припадок.

Производство ароматов имело в Монпелье старую традицию, и хотя за последнее время по сравнению с городом-конкурентом Грасом оно пришло в некоторый упадок, все же в городе жили несколько хороших мастеров — парфюмеров и перчаточников. Самый почтенный среди них, некто Рунель, приняв в расчет деловые связи с семейством маркиза де ла Тайад-Эспинасса, которому он поставлял мыло, притирания и благовония, согласился на чрезвычайный шаг — уступить на час свое ателье доставленному в носилках странному парижскому подмастерью. Этот последний не выслушал никаких объяснений, не пожелал узнать, где что стоит, сказал, что сам разберется и сообразит, что к чему; и заперся в мастерской, и провел там целый час, а тем временем Рунель с управляющим маркиза отправился в кабачок, где, пропустив несколько стаканов вина, был вынужден узнать, почему его фиалковая вода более не имеет права на существование.

Мастерская и лавка Рунеля были оборудованы далеко не так роскошно, как в свое время магазин ароматических товаров Бальдини в

Париже. Несколько сортов цветочных масел, воды и пряностей не давали простора для фантазии обычному парфюмеру. Однако Гренуй, едва втянув воздух, сразу же понял, что имеющихся материалов для его целей вполне достаточно. Он не собирался создавать никакого великого аромата; не хотел он смешивать, как в свое время у Бальдини, и престижных духов, которые выделялись бы из моря посредственности и сводили бы людей с ума. И даже простой запах цветов апельсинового дерева, обещанный маркизу, не был его целью. Расхожие эссенции эвкалипта и кипарисового листа должны были только замаскировать настоящий аромат, который он решил изготовить,— а этим ароматом был человеческий запах. Он хотел присвоить себе, пусть даже сперва в качестве плохого суррогата, запах человека, которым сам он не обладал. Конечно, запаха человека вообще не бывает, так же как не бывает человеческого лица вообще. Каждый человек пахнет по-своему, никто не понимал этого лучше, чем Гренуй, который знал тысячи индивидуальных запахов и с рождения различал людей на нюх. И все же, с точки зрения парфюмерии, была некая основная тема человеческого запаха, впрочем довольно простая: потливо-жирная, сырно-кисловатая, в общем достаточно противная основная тема, свойственная в равной степени всем людям, а уж над ней в более тонкой градации колышутся облачка индивидуальной ауры.

Однако эта аура, чрезвычайно сложный, неповторимый шифр личного запаха, для большинства людей все равно неуловима. Большинство людей не знает, что обладает им, а кроме того, всячески старается упрятать его под платьем или под модными искусственными запахами. Им хорошо знаком лишь тот — основной — запах, то — первичное и примитивное — человеческое испарение; только в нем они и живут и чувствуют себя в безопасности, и всякий, кто источает из себя этот противный всеобщий смрад, воспринимается ими уже как им подобный.

В этот день Гренуй сотворил странные духи. Более странных до сих пор в мире еще не бывало. Он присвоил себе не просто запах, а запах человека, который пахнет. Услышав эти духи в темном помещении, любой подумал бы, что там стоит второй человек. А если бы ими надушился человек, который сам пахнет как человек, то он по запаху показался бы нам двумя людьми или, еще хуже, чудовищным двойным существом, как образ, который нельзя больше однозначно фиксировать, потому что его очертания нечетки и расплываются, как рисунок на дне озера, искаженный рябью на воде.

Для имитации этого человеческого запаха — пусть недостаточной, по его мнению, но вполне достаточной, чтобы обмануть других,— Гренуй подобрал самые незаметные ингредиенты в мастерской Рунеля.

Горстку кошачьего дерьма, еще довольно свежего, он нашел за порогом ведущей во двор двери. Он взял его пол-ложечки и положил в смеситель с несколькими каплями уксуса и толченой соли. Под столом он обнаружил кусочек сыра величиной с ноготь большого пальца, явно оставшийся от какой-то трапезы Рунеля. Сыр был уже достаточно старый, начал разлагаться и источал пронзительно-острый запах. С крышки бочонка с сардинами, стоявшего в задней части лавки, он соскреб нечто, пахнувшее рыбными потрохами, перемешал это с тухлым яйцом и касторкой, нашатырем, мускатом, жженым рогом и пригоревшей свиной шкваркой. К этому он добавил довольно большое количество цибетина, разбавил эти ужасные приправы спиртом, дал настояться и профильтровал во вторую бутылку. Запах смеси был чудовищен. Она воняла клоакой, разложением, гнилью, а когда взмах веера примешивал к этому испарению чистый воздух, возникало впечатление, что вы стоите в жаркий летний день в Париже на пересечении улиц О-Фер и Ленжери, где сливаются запахи рыбных рядов, Кладбища невинных и переполненных домов.

На эту жуткую основу, которая сама по себе издавала скорее трупный, чем человеческий запах, Гренуй наложил всего один слой арома-

тов эфирных масел: перца, лаванды, терпентина, лимона, эвкалипта, а их он смягчил и одновременно скрыл букетом тонких цветочных масел герани, розы, апельсинового цвета и жасмина. После повторного разбавления спиртом и небольшим количеством уксуса отвратительный фундамент, на котором зиждилась вся смесь, стал совершенно неуловимым для обоняния. Свежие ингредиенты сделали незаметным латентное зловоние, аромат цветов украсил омерзительную суть, даже почти придал ей интерес, и, странным образом, нельзя было больше уловить запаха гнили и разложения, он совершенно не ощущался. Напротив, казалось, что эти духи источают энергичный, окрыляющий аромат жизни.

Гренуй разлил их в два флакона, которые плотно закрыл пробками, и спрятал в своих карманах. Затем он тщательно вымыл водой смесители, ступы, воронки и ложки, протер их маслом горького миндаля, чтобы удалить все следы запахов, и взял второй смеситель. В нем он быстро скомпоновал другие духи, нечто вроде копии первых, которые тоже состояли из эфирных масел и из цветочных элементов, но основа не содержала колдовского варева, а включала вполне обычный мускус, амбру, немного цибетина и кипарисового масла. В общем-то они пахли совершенно иначе, чем первые,— не так загадочно, более безупречно, менее агрессивно,— ибо им не хватало элементов, имитирующих человеческий запах. Но если ими душился обычный человек и они смешивались с его собственным запахом, то их нельзя было совершенно отличить от тех, которые Гренуй изготовил исключительно для себя.

Наполнив флакон вторыми духами, он разделся донага и опрыскал свое платье теми, первыми. Потом надушился под мышками, между пальцами на ногах, в паху и за ушами; надушил шею и волосы, оделся и покинул мастерскую.

32

Выйдя на улицу, он вдруг испугался, так как знал, что впервые в своей жизни распространяет человеческий запах. Сам же он считал, что воняет, отвратительно воняет. И он не мог себе представить, что другие люди вовсе не воспринимают его запах как зловоние, и не решился зайти в пивную, где его ждали Рунель и мажордом маркиза. Ему казалось менее рискованным испробовать новую ауру в анонимной среде.

По самым узким и темным переулкам он прокрался к реке, где дубильщики и красильщики держали мастерские и где они занимались своим зловонным ремеслом. Встречая кого-нибудь или проходя мимо двери дома, где играли дети или сидели старухи, он заставлял себя замедлять шаг и нести свой запах вокруг себя как большое плотное облако.

С юности он привык, что люди, проходя мимо, совершенно не обращают на него внимания; не из презрения — как он когда-то думал,— а потому, что совсем не замечают его существования. Вокруг него не было пространства, в отличие от других людей он не создавал волнения атмосферы, не отбрасывал, так сказать, тени на других людей. Только когда он лицом к лицу сталкивался с кем-нибудь, в толпе или внезапно на углу улицы, тогда возникал короткий момент восприятия, и обычно встречный в ужасе отшатывался, несколько секунд глядел на него, Гренуя, так, словно видел существо, не имевшее, собственно говоря, права на существование, существо, которое, хотя несомненно и было здесь, каким-то образом не присутствовало,— а потом быстро удалялся и мгновенно забывал о нем...

Но теперь в переулках Монпелье Гренуй снова чувствовал и видел — и на этот раз, когда он снова это увидел, его пронизало острое чувство гордости,— что он оказывал воздействие на людей. Проходя мимо какой-то женщины, склонившейся над краем колодца, он заметил, как она на мгновение подняла голову, посмотрела на него и потом, явно успокоившись, снова занялась своим ведром. Какой-то мужчина, стояв-

ший спиной к нему, обернулся и довольно долго с любопытством глядел ему вслед. Дети, которых он встречал, уступали ему дорогу — не из боязни, а из вежливости; и даже если они выбегали из дверей домов и нечаянно наталкивались на него, они не пугались, а просто прошмыгивали мимо, как будто старались не задеть приближавшуюся особу.

Благодаря нескольким таким встречам он точнее ощутил силу своей новой ауры и стал увереннее в себе и наглее. Он быстрее подходил к людям, старался пройти как можно ближе к ним, даже немного размахивал левой рукой и как бы невзначай касался руки прохожего. Один раз он будто нечаянно толкнул мужчину, которого хотел обогнать. Он задержался, извинился, и человек, который еще вчера при внезапном появлении Гренуя остановился бы как громом пораженный, сделал вид, что ничего не произошло, принял извинение, даже слегка улыбнулся и хлопнул Гренуя по плечу.

Он вышел из переулков и вступил на площадь перед собором Св. Петра. Звонили колокола. С обеих сторон портала толпились люди. Только что закончился обряд венчания. Все хотели увидеть невесту. Грену́й побежал туда и вмешался в толпу. Он толкался, ввинчивался в человеческую массу, в самую гущу народа, пусть они стоят вокруг него вплотную, пусть пропитаются его собственным запахом. И он расталкивал напирающую тесноту руками, и шире расставлял ноги, и разодрал ворот рубашки, чтобы запах мог беспрепятственно стекать с его тела... и радость его была безграничной, когда он заметил, что другие ничего не заметили, совершенно ничего, что все эти мужчины, и женщины, и дети, стоявшие вплотную вокруг него, так легко дали себя обмануть и вдыхали его зловоние, сварганенное из кошачьего дерьма, сыра и уксуса, как запах себе подобного, а его, Гренуя, подкидыша и ублюдка, принимали в свою среду на равных.

У своих колен он почувствовал ребенка, маленькую девочку, заклиненную между взрослыми. Он поднял ее, ханжески изображая заботу, и взял на руки, чтобы ей было лучше видно. Мать не только стерпела это, она поблагодарила его, а малышка радостно заверещала от удовольствия.

Так Грену́й, в экстазе ложной святости прижимая к груди чужого ребенка, простоял в лоне толпы примерно четверть часа. И пока свадебная процессия, сопровождаемая оглушительным звоном колоколов и ликованием людей, двигалась мимо, а над ней звенел дождь монет, в Гренуе бушевало другое ликование, черное ликование, злобное чувство триумфа, вызывавшее дрожь и дурманившее его как приступ похоти, и он с трудом сдерживался, чтобы не выплеснуть его как яд и желчь на всех этих людей и не закричать, торжествуя, им в лицо: что он их не боится, даже почти не ненавидит, но что он со всей страстью презирает их за их вонючую глупость, ибо они позволили ему обмануть и одурачить себя; ибо они суть ничто, а он — все! И, словно издеваясь, он теснее прижал к себе ребенка, набрал в легкие воздуха и вместе с хором прочих закричал: «Ура невесте! Да здравствует невеста! Да здравствует великолепная пара!»

Когда свадебная процессия удалилась и толпа начала рассеиваться, он отдал ребенка матери и пошел в церковь, чтобы оправиться от возбуждения и отдохнуть. Воздух внутри собора был насыщен ладаном, который холодными клубами поднимался из двух кадильниц по обеим сторонам алтаря и как душное одеяло расстилался над более слабыми запахами людей, только что сидевших здесь. Грену́й присел на скамейку под хорами.

Внезапно на него снизошла великая удовлетворенность. Не та пьяная удовлетворенность, которую он испытывал тогда, в чреве горы во время своих одиноких оргий, но очень холодная и трезвая удовлетворенность, какую рождает сознание собственной мощи. Теперь он знал, на что он способен. С помощью самых ничтожных средств он благодаря своему собственному гению имитировал запах человека и сразу же

добился такой точности попадания, что даже ребенок дал себя обмануть. Теперь он знал, что способен достичь еще большего. Знал, что сможет улучшить этот запах. Он смог бы создать не только человеческий, но сверхчеловеческий аромат, ангельский аромат, столь неописуемо прекрасный и живительный, что, услышав его, каждый будет околдован и должен будет всем сердцем возлюбить его, Гренуя, носителя этого аромата.

Да, он заставит их полюбить себя. Оказавшись в сфере воздействия его аромата, они будут вынуждены не только принять его как себе подобного, но полюбить его до безумия, до самозабвения, он заставит их дрожать от восторга, кричать, рыдать от блаженства, едва почуяв его, Гренуя, они будут опускаться на колени, как под холодным ладаном Бога! Он хотел стать всемогущим богом аромата, каким он был в своих фантазиях, но теперь — в действительном мире и над реальными людьми. И он знал, что это было в его власти. Ибо люди могут закрыть глаза и не видеть величия, ужаса, красоты, и заткнуть уши, и не слышать людей или слов. Но они не могут не поддаться аромату. Ибо аромат — это брат дыхания. С ароматом он войдет в людей, и они не смогут от него защититься, если захотят жить. А аромат проникает в самую глубину, прямо в сердце, и там выносит категорическое суждение о симпатии и презрении, об отвращении и влечении, о любви и ненависти. Кто владеет запахом, тот владеет сердцами людей.

Совершенно спокойно сидел Гренуй на скамье и усмехался. Принимая решение покорить людей, он не испытывал эйфорического подъема. В его глазах не было безумного огня, сумасшедшая гримаса не искажала его лица. Он не бесновался. Он был преисполнен такой ясности и веселья, что спрашивал себя: зачем вообще хочет этого. И он сказал себе, что хочет этого потому, что он насквозь пропитан злом. И при этом он усмехался и был очень доволен. Он выглядел вполне невинно, как какой-нибудь человек, который счастлив.

Некоторое время он оставался сидеть в задумчивом спокойствии и глубокими затяжками вдыхал насыщенный ладаном воздух. И снова самодовольная ухмылка прошла по его лицу. Какой все-таки жалкий аромат у этого Бога! Какой смехотворно-дурной запах он распространяет. То, что клубилось в кадильницах — даже и не настоящий ладан. Это был плохой суррогат, с примесью липового угля, и корицы, и селитры. Бог вонял. Бог был маленькой жалкой вонючкой. Его обманывали, этого Бога, или сам он был обманщиком, точно так же как Гренуй,— только намного худшим!

33

Маркиз де ла Тайад-Эспинасс был в восторге от новых духов. Поразительно, сказал он, даже для него, открывателя летального флюида, наблюдать потрясающее воздействие столь второстепенной и летучей субстанции как духи на общее состояние индивида: все зависит от того, насколько связаны с землей или отдалены от земли ингредиенты этой субстанции. Гренуй, который всего несколько часов назад лежал здесь бледный и близкий к обмороку, выглядит таким же свежим и цветущим, как любой здоровый человек его возраста; можно даже сказать, что он — при всех недостатках, свойственных людям его сословия, и при всей его необразованности — почти приобрел нечто вроде личной индивидуальности. Во всяком случае он, Тайад-Эспинасс, в главе о витальной диететике своего приготовляемого к печати трактата «К вопросу о теории летального флюида» непременно опишет этот случай. А для начала он сам использует новые духи по назначению.

Гренуй вручил ему оба флакона с обычными цветочными духами, и маркиз надушился. Он был вполне доволен эффектом. Ему кажется, признался он, что ужасный фиалковый запах годами давил на него свинцовою тяжестью, а теперь у него выросли цветущие крылья, и отпустила ужасная боль в колене, и ослаб шум в ушах; в общем, он чувству-

ет себя окрыленным, бодрым и помолодевшим на несколько лет. Он подошел к Грену́ю, обнял его и назвал своим «флюидальным братом», присовокупив, что при этом имеет в виду отнюдь не социальное, но чисто умозрительное обращение in conspectu universalitatis fluidi letalis, перед коим — и только перед ним! — все люди равны; кроме того, он планирует — а это он говорил, отрываясь от Гренуя, причем весьма дружески, без малейшего отвращения, почти как от равного — в ближайшее время учредить сверхсословную ложу с целью полного преодоления fluidum letale, дабы как можно скорее заменить его чистым fluidum vitale, и он уже сейчас обещает Грену́ю, что тот будет первым прозелитом этой ложи. Затем он приказал записать рецептуру цветочных духов, спрятал записку в карман и подарил Грену́ю пятьдесят луидоров.

Ровно через неделю после первого доклада маркиз де ла Тайад-Эспинасс вторично представил своего подопечного в актовом зале университета. Наплыв публики был огромный. Пришел весь цвет общества не только научного, но и прежде всего светского, в том числе много дам, которые желали увидеть сказочного пещерного человека. И хотя противники Тайад-Эспинасса — в основном представители «Дружеского круга университетских ботанических садов» и члены «Объединения для поощрения агрикультуры» — мобилизовали всех своих приверженцев, мероприятие имело феноменальный успех. Чтобы напомнить публике о состоянии Гренуя неделю назад, Тайад-Эспинасс сначала передал в зал рисунки, на которых пещерный человек был изображен во всей мерзкой запущенности. Затем он приказал ввести нового Гренуя — в красивом сюртуке синего бархата и шелковой сорочке, нарумяненного, напудренного и причесанного; и уже то, как он шел, то есть держась прямо, мелкими шагами, изящно покачивая бедрами, как он без посторонней помощи взобрался на помост, низко поклонился, с улыбкой покивал головой туда-сюда, заставило умолкнуть всех скептиков и критиков. Даже друзья университетских ботанических садов подавленно молчали. Слишком красноречивым было изменение, слишком ошеломляющим чудо, которое здесь явно произошло: если неделю назад они видели перед собой затравленное, одичавшее животное на четвереньках, то теперь на том же месте стоял поистине цивилизованный, хорошо сложенный человек. В зале распространилось почти благоговейное настроение, и когда Тайад-Эспинасс поднялся на кафедру для доклада, воцарилась полная тишина. Он в очередной раз изложил свою достаточно известную теорию летального земляного флюида, затем объяснил, какими механическими и диетическими средствами он удалил флюид из тела демонстрируемого субъекта и заменил его витальным флюидом, и в заключение призвал всех присутствующих, как друзей, так и противников, перед лицом столь убедительной очевидности отказаться от сопротивления новому учению и вместе с ним, Тайад-Эспинассом, встать на борьбу с дурным флюидом и признать положительный витальный флюид. При этом он распростер руки и возвел глаза к небу, и многие из ученых мужей повторили за ним этот жест, а женщины заплакали.

Грену́й стоял на помосте и не прислушивался. Он с величайшим удовлетворением наблюдал за воздействием совершенно другого, много более реального флюида: своего собственного. Учитывая размеры актового зала, он надушился очень сильно, и едва он поднялся на помост, аура его запаха начала мощно излучаться в зал. Он видел — в самом деле, он видел даже глазами! — как она захватила сначала первые ряды, затем переместилась дальше, к центру зала, и наконец достигла последних рядов и растеклась по галерее. И тот, кого она захватила — у Гренуя от радости запрыгало сердце,— тот менялся на глазах. В полосе его аромата люди, сами того не сознавая, изменяли выражение лица, изменяли свое поведение, свои чувства. Тот, кто сначала глазел на него только со сдержанным изумлением, теперь смотрел с умилением, тот, кто неподвижно и прямо сидел на стуле, критически хмуря лоб и многозначительно кривя рот, теперь свободнее подался вперед, а лицо

его приняло детски доверчивое выражение; и даже на лицах боязливых, испуганных, самых чувствительных — тех, кто прежде не мог смотреть на него без ужаса, а потом без подобающего скепсиса, появился налет дружелюбия, даже симпатии, как только их настиг его запах.

По окончании доклада все собрание поднялось с мест, охваченное бурным ликованием. «Да здравствует витальный флюид! Да здравствует Тайад-Эспинасс! Ура — флюидальной теории! Долой ортодоксальную медицину!» — кричал ученый народ Монпелье, самого значительного университетского города на юге Франции, и маркиз де ла Тайад-Эспинасс пережил самый великий час своей жизни.

А Грену́й, который спустился с помоста и смешался с толпой, понял, что эти бешеные овации, собственно говоря, предназначались ему, ему одному, Жан-Батисту Грену́ю, хотя никто из ликующих в зале этого не подозревал.

34

Он еще несколько недель оставался в Монпелье. Он приобрел некоторую известность, и его приглашали в салоны, где расспрашивали о пещерной жизни и исцелении с помощью маркиза. Снова и снова ему приходилось повторять историю о похитивших его разбойниках, о корзине и о лестнице. И каждый раз он расписывал ее все красочнее и придумывал все новые подробности. Так он снова натренировался в умении разговаривать — правда, не очень хорошо, так как с языком у него всю жизнь не ладилось — и, что было для него важнее, приобрел привычку ко лжи. В сущности, понял он, он может рассказывать людям что угодно. Доверившись однажды — а к нему они проникались доверием с первого вдоха, которым вбирали в себя его запах,— они потом верили ему. Далее он приобрел некоторую уверенность в светском обхождении, которой никогда прежде не обладал. Она выражалась даже физически. Он как бы стал выше ростом. Его горб, казалось, исчез. Он держался почти прямо. И когда к нему обращались, он больше не сгибался в поклоне, но оставался стоять, выдерживая направленные на него взгляды. Конечно, за это время он не стал ни светским человеком, ни завсегдатаем салонов, ни суверенным членом общества. Но угрюмая неуклюжесть сошла с него, уступив место манере, которую можно было истолковать как естественную скромность или во всяком случае врожденную робость и которая производила трогательное впечатление на некоторых господ и некоторых дам — в ту эпоху в светских кругах питали слабость к «естественному» и к чему-то вроде неотесанного шарма.

В начале марта он собрал свои вещи и ушел, тайно, ранним утром, едва открылись ворота, одетый в неброский коричневый сюртук, приобретенный накануне у старьевщика, и потрепанную шляпу, которая наполовину скрывала его лицо. Никто его не узнал, никто его не увидел, не заметил, потому что он намеренно в этот день отказался от духов. И когда маркиз около полудня приказал начать розыски, сторожа клялись и божились, что хоть они и видели разных людей, выходящих из города, но никак не того всем известного пещерного человека, который наверняка бросился бы им в глаза. Тогда маркиз распустил слух, что Грену́й покинул Монпелье с его согласия, чтобы съездить в Париж по семейным делам. Однако втайне он ужасно разозлился, ибо намеревался предпринять с Грену́ем турне по всему королевству, чтобы завербовать сторонников своей флюидальной теории.

Спустя некоторое время он успокоился, поскольку его слава распространилась и без турне, почти без усилий с его стороны. В «Журналь де саван» и даже в «Курьер де л'Эрон» появились длинные статьи о fluidum letale Taillade, и со всех концов страны начали приезжать страдающие летальным отравлением пациенты в надежде обрести у него исцеление. Летом 1764 года он основал первую «Ложу витального флюида», которая в Монпелье насчитывала 12 членов и учредила фили-

алы в Марселе и Лионе. Потом он решился рвануть в Париж, чтобы оттуда завоевать для своей теории весь цивилизованный мир, но еще прежде ради пропагандистской поддержки своего похода совершить некий флюидальный подвиг, который бы затмил исцеление пещерного человека и все прочие эксперименты, а именно в начале декабря сопроводить группу бесстрашных адептов, отправлявшихся на пик Канигу. Пик находился на долготе Парижа и считался высочайшей вершиной Пиренеев. Этот ученый муж, стоявший на пороге старости, приказал доставить себя на вершину высотой 2800 метров и там в течение трех недель подвергнуть воздействию самого настоящего, самого свежего витального воздуха, дабы, как он объявил во всеуслышание, точно к Рождеству снова спуститься вниз в качестве крепкого двадцатилетнего юноши.

Адепты сдались уже сразу за Верне, последним человеческим поселением у подножия ужасной горы. Однако маркиза ничто не могло остановить. На ледяном холоде он сбросил с себя одежду и, исторгая громкие вопли ликования, начал восхождение один. Последнее воспоминание о нем — это его силуэт с экстатически воздетыми к небу руками, исчезающий с песней в снежной буре.

В ночь под Рождество ученики напрасно ожидали возвращения маркиза де ла Тайад-Эспинасса. Он не вернулся ни старцем, ни юношей. И весной следующего года, когда самые отважные отправились на поиски и взобрались на все еще заснеженную вершину пика Канигу, не нашлось никакого следа — ни обрывка одежды, ни кусочка тела, ни косточки.

Разумеется, это не повредило его учению. Напротив. Вскоре разошлась легенда, что на самом пике горы он слился с вечным витальным флюидом, растворил в нем себя и с тех пор невидимый, но вечно юный парит над вершинами Пиренеев, и тот, кто туда поднимется, причастится к нему и в течение года будет избавлен от болезней и процесса старения. Вплоть до конца XIX века несколько медицинских кафедр отстаивали флюидальную теорию Тайада, а многие оккультные общества применяли ее терапевтически. И в наши дни по обе стороны Пиренеев, а именно в Перпиньяне и Фигерасе имеются тайные тайадовские ложи, которые встречаются раз в год для восхождения на пик Канигу.

Там они разжигают большой костер якобы по поводу солнцеворота или в честь святого Иоанна, на самом же деле для того, чтобы воздать божественные почести своему Мастеру Тайад-Эспинассу и его великому флюиду и достичь вечной жизни.

Часть третья

Если для первого этапа путешествия по Франции Грену потребовалось семь лет, то второй этап он проделал менее чем за семь дней. Он больше не избегал оживленных дорог и городов, не делал обходов. У него был запах, он имел деньги, он верил в себя, и он торопился.

Уже к вечеру того дня, когда он покинул Монпелье, он пришел в Гро-дю-Руа, портовый городок к юго-западу от Эг-Морта, откуда на грузовом паруснике отплыл в Марсель. В марсельском порту он сразу же подыскал корабль, который отправлялся дальше вдоль побережья, на восток. Через два дня он был в Тулоне, еще через три дня — в Канне. Остаток дороги он шел пешком. Он следовал по тропе, ведущей в глубину страны, к северу, на холмы.

Через два часа он стоял на вершине плоскогорья, а перед ним на много миль вокруг расстилался бассейн реки, нечто вроде гигантской ландшафтной чаши, края которой составляли мягко возвышающиеся холмы и крутые горные цепи, а далекое устье покрывали свежевспаханные поля, возделанные сады и оливковые рощи. Совершенно особая, интимная атмосфера заполняла эту чашу. Хотя море было так близко,

что его можно было видеть с вершин холмов, в ней не было ничего морского, ничего солоновато-песчаного, ничего открытого — лишь тихая отъединенность, словно побережье находилось на расстоянии нескольких дней пути. И хотя к северу возвышались большие горы, на которых еще лежал и еще долго будет лежать снег, здесь не ощущалось никакой дикости или скудости, никакого холодного ветра. Весна здесь продвинулась дальше, чем в Монпелье. Мягкая дымка укрывала поля, как стеклянный колокол. Абрикосовые и миндальные деревья стояли в цвету, и теплый воздух был пронизан ароматом нарциссов.

На другом конце этой большой чаши, примерно в двух милях, лежал или, лучше сказать, лепился к крутизне гор некий город. На расстоянии он не производил слишком помпезного впечатления. Там не было мощного, возвышающегося над домами собора, а только пупырышек церковной колокольни, не было доминирующей над пейзажем крепости, не было какого-нибудь великолепного здания. Стены отнюдь не казались неприступными, тут и там дома выпрастывались из-за своих оград, как бы стремясь к ровной поверхности, и придавали этой мягкой картине слегка растрепанный вид. Казалось, этот город слишком часто подвергался захвату и снова высвобождался, он как бы устал оказывать серьезное сопротивление будущим вторжениям — но не по слабости, а по небрежности или даже из-за ощущения своей силы. Он как будто не желал тщеславиться. Он владел большой ароматной чашей, благоухавшей у его ног, и, казалось, этим довольствовался.

Этот одновременно невзрачный и самоуверенный городок назывался Грас и вот уже несколько десятилетий считался бесспорной столицей торговли и производства ароматических веществ, парфюмерных товаров, туалетных сортов мыла и масел. Джузеппе Бальдини всегда произносил его название с мечтательным восхищением. Он утверждал, что этот город — Рим ароматов, обетованная страна парфюмеров, и тот, кто не прошел здешней школы, не имеет права на звание парфюмера.

Гренуй смотрел на город Грас весьма трезвым взглядом. Он не искал обетованной страны парфюмерии, и сердце его не забилось при виде гнезда, прилепившегося к высоким склонам. Он пришел, потому что знал, что там лучше, чем где бы то ни было, можно изучить некоторые технические приемы извлечения ароматов. Их-то он и хотел освоить, ибо нуждался в них для своих целей. Он вытащил из кармана флакон со своими духами, экономно надушился и отправился в путь. Через полтора часа, к полудню, он был в Грасе.

Он поел на постоялом дворе в верхнем конце города на площади Оз-Эр. Площадь по всей длине пересекал ручей, в котором дубильщики мыли кожи, чтобы потом растянуть их для просушки. Воняло здесь так убийственно, что некоторые постояльцы теряли аппетит. Но не Гренуй. Ему этот запах был знаком, ему он придавал уверенности. Во всех городах он первым делом разыскивал квартал дубильщиков. Потом, выходя из среды зловония и наводя справки о других местах в городе, он уже не чувствовал себя чужаком.

Весь день, от полудня до вечера, он шнырял по городу. Город был невероятно грязным, несмотря или скорее благодаря большому количеству воды, которая струилась из дюжины источников и фонтанов, ворковала в неухоженных ручьях и сточных канавах и подмывала или наводняла илом переулки. Дома в некоторых кварталах стояли так тесно, что для проходов и лестничек оставалось место всего в локоть шириной и пробиравшиеся по грязи прохожие тесно прижимались друг к другу, если им нужно было обогнать идущего впереди. И даже на площадях и на немногих широких улицах кареты едва могли разминуться. И, однако, при всей грязи, при всей скученности и тесноте город распирала предприимчивость ремесленников. Совершая свой обход, Гренуй насчитал не менее семи мыловарен, дюжину парфюмерных и перчаточных ателье, бесчисленное множество мелких мастерских по изготовлению дистилля-

тов, помад и специй и, наконец, около семи оптовых лавок, где торговали ароматическими изделиями.

Во всяком случае, тут имелись торговцы, владевшие настоящими крупными конторами по продаже ароматических веществ. По их домам это часто не было заметно. Выходящие на улицу фасады выглядели по-буржуазному скромно. Но то, что лежало за фасадами — на складах, в кладовых и в огромных подвалах — бочонки с маслом, штабели душистого лавандового мыла, баллоны с цветочными эссенциями, вина, настойки, рулоны пахучих кож, мешки, и сундуки, и ящики, полные пряностей...— Гренуй улавливал их запахи во всех подробностях сквозь самые толстые стены — было богатством, какого не имели и князья. А когда он принюхивался сильнее, сквозь выходящие на улицу прозаические торговые и складские помещения, он обнаруживал, что на задней стороне этих непритязательных буржуазных домов находились строения самого роскошного типа. Вокруг маленьких, но очаровательных садов, где росли олеандры и пальмы и где плескались фонтаны, окруженные клумбами, располагались выстроенные «покоем», открытым на южную сторону, жилые флигели усадеб: залитые солнцем, обтянутые шелковыми обоями спальни в верхних этажах, великолепные гостиные с панелями из экзотических сортов дерева в нижнем этаже и столовые, иногда пристроенные в виде террас, выходящих в сад; здесь в самом деле, как рассказывал Бальдини, ели с фарфоровых тарелок, пользуясь золотыми вилками, и ножами, и ложками. Господа, которые жили за этими скромными кулисами, пахли золотом и властью, тяжелым надежным богатством, и они пахли всем этим сильнее, чем все в этом роде, что до сих пор обонял Гренуй во время своего путешествия по провинции.

Перед одним из таких закамуфлированных палаццо он простоял довольно долго. Дом находился в начале улицы Друат — главной улицы, пересекавшей город по всей длине с запада на восток. На вид в нем не было ничего особенного, разве что с фасада он казался шире и солиднее, чем соседние здания, но вовсе не импозантнее. Перед воротами стояла телега с бочками; ее разгружали, скатывая бочки по приставной широкой доске. Вторая телега ожидала своей очереди. Какой-то человек с бумагами вошел в контору, потом вышел из нее с другим человеком, и оба исчезли в арке ворот. Гренуй стоял на противоположной стороне улицы и наблюдал за этой суетой. То, что там происходило, его не интересовало. И все-таки он не уходил. Что-то удерживало его на месте.

Он закрыл глаза и сконцентрировался на запахах, долетавших до него от здания. Тут были запахи бочек уксуса и вина, потом сотни тяжелых запахов склада, потом запахи богатства, проникавшие сквозь стены, как испарина золотого пота, и, наконец, запахи сада, по-видимому, расположенного с другой стороны дома. Было нелегко уловить эти нежные запахи сада, потому что они лишь тонкими полосками перетекали через крышу дома вниз на улицу. Гренуй учуял магнолию, гиацинты, шелковницу и рододендрон...— но, казалось, там было еще что-то, какое-то убийственно прекрасное благоухание. Он никогда в жизни — или нет, лишь один-единственный раз в жизни воспринимал обонянием столь изысканный аромат. Его потянуло приблизиться.

Он подумал, нельзя ли попытаться проникнуть в усадьбу просто через арку ворот. Но там столько людей занималось разгрузкой и проверкой бочек, что он наверняка привлек бы к себе внимание. Он решил вернуться назад по улице, чтобы найти проулок или проход, который вел бы вдоль поперечной стороны дома. Пройдя несколько метров, он остановился у городских ворот в начале улицы Друат. Он пересек ее, взял круто влево и вдоль городской стены стал спускаться вниз. Еще немного — и он учуял запах сада, сначала слабый, смешанный с воздухом полей, потом все более сильный. Наконец он понял, сад, примыкавший к городской стене, находится совсем близко, прямо перед ним. Слегка отступив назад, он мог видеть верхние ветки деревьев, росших за стеной.

Он снова закрыл глаза. На него обрушились ароматы этого сада, прочерченные отчетливо и ясно, как цветные ленты радуги. И тот, драгоценный, тот, к которому его влекло, был среди них. Гренуй почувствовал жар блаженства и похолодел от ужаса. Кровь бросилась ему в голову, как пойманному мошеннику, и отхлынула в середину тела, и снова поднялась, и снова отхлынула, и он ничего не мог с этим поделать. Слишком внезапной была эта атака запаха. На один миг — на мгновение одного вдоха, на целую вечность — ему показалось, что время удвоилось или, напротив, исчезло, ибо он перестал понимать, было ли теперь — теперь и здесь — здесь или теперь было — тогда, а здесь — там, то есть на улице Марэ, в Париже, в сентябре 1753 года: аромат, струившийся из сада, был ароматом рыжеволосой девушки, которую он тогда умертвил. То, что он снова нашел в мире этот аромат, наполнило его глаза слезами блаженного счастья,— а то, что этого могло не быть, испугало его до смерти.

У него кружилась голова, его немного шатало, и ему пришлось опереться на стену и медленно соскользнуть в ров. Там, собираясь с силами и укрощая свой дух, он начал вдыхать роковой аромат короткими, менее рискованными затяжками. И он обнаружил, что аромат за стеной хотя и невероятно похож на аромат рыжеволосой девушки, но не совершенно такой же. Разумеется, он также исходил от рыжеволосой девушки, в этом не было сомнения. Воображением своего обоняния Гренуй видел эту девушку перед собой как на картине. Она не сидела тихо, а прыгала и скакала, ей было жарко, потом она снова остывала, она явно играла в какую-то игру, во время которой нужно было быстро двигаться и замирать на месте — с каким-то вторым человеком, чей запах, впрочем, совершенно не имел значения. У нее была ослепительно белая кожа. У нее были зеленые глаза. У нее были веснушки на лице, на шее и на груди... то есть — Гренуй на момент задохнулся, потом энергичнее шмыгнул носом и попытался оттеснить воспоминания о запахе девушки с улицы Марэ — то есть у здешней девушки вообще еще не было груди в истинном смысле слова! У нее были едва наметившиеся зачатки груди. У нее были бесконечно нежно и слабо благоухающие, обсыпанные веснушками, может быть, всего несколько дней, может быть, всего несколько часов... только сию минуту начавшие набухать колпачки грудок. Одним словом, эта девушка была еще ребенкам. Но каким ребенком!

У Гренуя выступил пот на лбу. Он знал, что дети пахнут не особенно сильно — так же как зеленые, нераспустившиеся бутоны цветов. Но этот цветок, этот почти еще закрытый бутон за стеной, еще никем кроме Гренуя не замеченный, только еще выпускающий первые душистые острия лепестков, благоухал уже теперь так божественно, что волосы вставали дыбом. А если он распустился во всем своем великолепии, он будет источать аромат, какого никогда еще не обонял мир. Она уже сейчас пахнет лучше, подумал Гренуй, чем тогдашняя девушка с улицы Марэ, не так крепко, не так роскошно, но тоньше, многограннее и одновременно естественней. А за два-три года этот запах созреет и приобретет такую власть, что ни один человек — ни мужчина, ни женщина — не сможет не подчиниться ей. И люди будут покорены, обезоружены, беспомощны перед волшебством этой девушки, и они не будут знать почему. И поскольку они глупы и могут использовать свои носы только для чихания и думают, что могут познавать все и вся глазами, они скажут, что покорены красотой, и грацией, и обаянием этой девушки. В своей ограниченности они прославят ее заурядные черты — стройную фигуру, безупречный овал лица. У нее глаза, скажут они, как изумруды, а зубы — как жемчуг, а кожа — гладкая, как слоновая кость, каких только нет идиотских сравнений. И они провозгласят ее Жасминовой Королевой, и болван-художник напишет ее портрет, и все скажут, что она — самая красивая женщина Франции. И юнцы будут под бренчание мандолины просиживать ночи под ее окном... толстые богатые мужчины, ползая на коленях, клянчить у ее отца руку дочери... и женщины любого возраста

при виде ее вздыхать и во сне грезить о том, чтобы хоть один день выглядеть столь же соблазнительно, как она. И все они не узна́ют, что в действительности очарованы не ее внешностью, не ее якобы не имеющей изъянов красотой, но единственно ее несравненным, царственным ароматом! Только он будет это знать, он, Грену́й, он один. Он ведь и сейчас уже знал это.

Ах! Он хотел завладеть этим ароматом! Завладеть не так безрассудно, как тогда на улице Марэ. Запах той девушки он просто выпил, опрокинул в себя и тем разрушил. Нет, аромат девушки за стеной он хотел присвоить по-настоящему: снять с нее, как кожу, и сделать своим собственным. Как это должно произойти, он не знал. Но у него было два года в запасе, чтобы научиться. В сущности, это не должно было быть труднее, чем ограбить редкий цветок, отняв у него запах. Он встал. Почти благоговейно, словно покидая святую или спящую, он удалился, сгорбившись, тихо, чтобы никто его не увидел, никто не услышал, никто не обратил внимания на его драгоценную находку. Так он добежал вдоль городской стены до противоположного конца города, где душистый аромат девушки наконец затерялся. Его впустили обратно через заставу Фенеан. Он остановился в тени домов. Зловонный чад переулков придал ему уверенности и помог укротить охватившую его страсть. Через полчаса он снова был совершенно спокоен. Во-первых, думал он, он больше не приблизится к саду за стеной. Этого делать не надо. Это слишком сильно возбуждает его. Цветок расцветет там, без его участия, а каким образом он будет расцветать, ему все равно известно. Он не позволит себе раньше времени опьяняться ароматом. Он должен ринуться в работу. Он должен расширить свои знания и усовершенствовать свои ремесленные навыки, чтобы быть во всеоружии, когда придет время жатвы. У него было еще два года в запасе.

36

Недалеко от заставы Фенеан, на улице де-ла-Лув, Грену́й обнаружил маленькое парфюмерное ателье и спросил, нет ли работы.

Оказалось, что хозяин, мастер парфюмерных дел Оноре Арнульфи, прошлой зимой скончался и его вдова, бойкая черноволосая женщина лет тридцати, ведет дело одна с помощью подмастерья.

Мадам Арнульфи долго жаловалась на плохие времена и свое тяжелое материальное положение, но потом заявила, что хотя она и не может позволить себе держать второго подмастерья, но весьма в нем нуждается, так как на нее навалилось много работы; кроме того, она никак не может пустить второго подмастерья к себе в дом, однако, с другой стороны, у нее имеется небольшая хижина в масличном саду за францисканским монастырем — всего в десяти минутах отсюда,— где непритязательный молодой человек смог бы, если понадобится, ночевать; конечно, продолжала мадам, она честная хозяйка и готова нести ответственность за телесное здоровье своих подмастерьев, но, с другой стороны, она не в состоянии обеспечить им две горячие трапезы в день; одним словом, мадам Арнульфи — и это Грену́й сразу учуял — была женщиной благополучной, здравомыслящей и деловой. И поскольку его самого деньги не интересовали и он удовлетворился двумя франками недельного жалованья и прочими скудными условиями, они быстро ударили по рукам. Позвали первого подмастерья, огромного парня по имени Дрюо, и Грену́й сразу догадался, что мадам привыкла делить с ним постель и не принимает без него деловых решений. Тот встал перед Грену́ем (выглядевшим прямо-таки смехотворно крошечным по сравнению с этим гунном), расставив ноги и распространяя облако запаха спермы, окинул его придирчивым взглядом, словно хотел таким образом обнаружить какие-то темные намерения или возможного соперника, наконец, снисходительно ухмыльнулся и кивком головы выразил свое согласие.

Таким образом, все было улажено. Грену́й получил рукопожатие, холодный ужин, одеяло и ключ от хижины, представлявшей собой сара́й

без окон, где приятно пахло старым овечьим пометом и сеном и где он худо-бедно устроился. На следующий день он приступил к работе у мадам Арнульфи.

Стояла пора нарциссов. Мадам Арнульфи разводила цветы на собственных маленьких участках в пределах города или покупала их у крестьян, с которыми бешено торговалась за каждую корзинку. Цветы доставлялись в ателье рано утром, их высыпали из корзин десятками тысяч, сгребали в огромные, но легкие, как перья, душистые груды. Тем временем Дрюо распускал в большом котле свиное и говяжье сало; в это сметанообразное варево, которое Гренуй должен был непрерывно помешивать длинным, как метла, шпателем, Дрюо швырял лопатами свежие цветы. Как смертельно испуганные глаза, они всего секунду лежали на поверхности и моментально бледнели, когда их подхватывал шпатель и погружал в горячий жир. И почти в тот же миг они уже размякали и увядали, и, очевидно, смерть их наступала так быстро, что им не оставалось никакого другого выбора, кроме как передать свой последний благоухающий вздох как раз той среде, в которой они тонули, ибо — Гренуй понял это, к своему неописуемому восхищению,— чем больше цветов он перемешивал в своем котле, тем сильнее благоухал жир. И ведь не мертвые цветы продолжали источать аромат в жиру, нет, это был сам жир, присвоивший себе аромат цветов.

Между тем варево густело, и им приходилось быстро выливать его на большое решето, чтобы освободить от влажных трупов и подготовить для свежих цветов. Так они продолжали засыпать, мешать и фильтровать весь день без перерыва, потому что процесс не допускал замедления, так что к вечеру вся груда цветов пропускалась через котел с жиром. Отходы — чтобы ничего не пропадало — заливались кипящей водой и до последней капли выжимались на шпиндельном прессе, что к тому же давало еще и нежно пахнувшее масло. Но основа аромата, душа целого моря цветов, оставалась в котле, запертая и охраняемая в невзрачном, серо-белом, теперь медленно застывающем жиру.

На следующий день мацерация, так называлась эта процедура, продолжалась, котел снова подогревали, жир распускали и загружали новыми цветами. Так оно шло несколько дней с утра до вечера. Работа была напряженной. У Гренуя свинцом наливались руки, на ладонях вздувались волдыри и болела спина. Вечерами, шатаясь от усталости, он еле добирался до своей хижины. Дрюо был, наверное, втрое его сильнее, но он ни разу не сменил его при размешивании, а только подбрасывал в котел легкие, как пух, цветы, следил за огнем и при удобном случае, ссылаясь на жару, уходил промочить горло. Но Гренуй не жаловался. Он безропотно с утра до вечера перемешивал цветы в жиру и во время размешивания почти не чувствовал напряжения, так как снова и снова восхищался процессом, разыгрывавшимся у него на глазах и под его носом: быстрым увяданием цветов и поглощением их аромата.

Через некоторое время Дрюо решал, что жир стал насыщенным и не сможет больше абсорбировать аромат. Они гасили огонь, последний раз процеживали сквозь решето тяжелое варево и наполняли им каменный тигель, где оно тут же застывало в великолепную благоухающую помаду.

Это был час мадам Арнульфи, которая являлась проверить работу, надписать драгоценный продукт и точнейшим образом занести в свои книги его качество и количество. Она самолично закрывала тигель, запечатывала и относила в холодные глубины своего подвала, потом надевала черное платье и вдовью шаль и обходила купцов и парфюмерные фирмы города. Взывая к состраданию, она описывала этим господам свое положение одинокой женщины, выслушивала предложения, сравнивала цены, вздыхала и, наконец, продавала или не продавала свой товар. Парфюмерная помада долго сохраняется в холоде. И если теперь цены оставляют желать лучшего, кто знает, может быть, зимой или следующей весной они поползут вверх. И надо подумать, стоит ли прода-

вать товар этим выжигам или, как это делают другие мелкие производители, отправить груз помады кораблем в Геную или, например, принять участие в осенней ярмарке в Бокере — рискованные предприятия, конечно, но в случае успеха в высшей степени прибыльные. Мадам тщательно взвешивала эти различные возможности, сопоставляла их, а иногда и сочетала друг с другом или использовала их все, часть своих сокровищ продавала, другую часть припрятывала, а третьей торговала на свой риск. И если по наведении справок у нее складывалось впечатление, что рынок перенасыщен помадами и в обозримое время спрос на ее товар не возрастет, она в своей развевающейся шали спешила домой и приказывала Дрюо переработать всю продукцию в Essence Absolue.

И тогда помаду снова выносили из подвала, осторожнейшим образом подогревали в закрытых горшках, добавляли чистейший винный спирт и с помощью встроенной мешалки, которую приводил в действие Гренуй, основательно перемешивали и вымывали. Возвратившись в подвал, эта смесь быстро охлаждалась, спирт отделялся от застывшего жира помады, и его можно было слить в бутыль. Теперь он представлял собой нечто вроде духов, но огромной интенсивности, в то время как оставшаяся помада теряла большую часть своего аромата. Таким образом, цветочный аромат еще раз переходил в другую среду. Но на этом операция не кончалась. После основательной фильтрации через марлю, где застревали даже мельчайшие комочки жира. Дрюо наполнял ароматизированным спиртом маленький перегонный куб и медленно дистиллировал его на самом слабом огне. После испарения спирта в емкости оставалось крошечное количество бледно-окрашенной жидкости, хорошо знакомой Греную; однако в таком качестве и чистоте он не обонял ее ни у Бальдини, ни, скажем, у Рунеля: это было сплошное, чистейшее сияющее цветочное масло, голый аромат, тысячекратно сконцентрированный в лужице Essence Absolue. Эта эссенция уже не имела приятного запаха. Она пахла почти с болезненной интенсивностью, остро и едко. И все же достаточно было одной ее капли, растворенной в литре алкоголя, чтобы снова обонятельно воскресить целое поле цветов.

Конечно, продукта было ужасно мало. Жидкости из дистиллятора хватало ровно на три маленьких флакона. Всего три флакона аромата оставалось от сотен тысяч цветов. Но они стоили целое состояние даже здесь, в Грасе. И во сколько же раз еще дороже, если их отправляли в Лион, в Гренобль, в Геную или в Марсель! При виде этих флакончиков взгляд мадам Арнульфи затуманивался красивой поволокой, она ласкала их глазами и, беря их в руки и закупоривая искусно притертой граненой стеклянной пробкой, задерживала дыхание, чтобы не пропало ничего из драгоценного содержимого. И чтобы после закупоривания не ускользнул, не испарился ни малейший атом, она запечатывала пробки жирным воском и заворачивала в рыбий пузырь, который крепко перевязывала на горлышке флакона. Потом она ставила флаконы в ящички с ватной прокладкой, относила в подвал и запирала на ключ и задвижку.

37

В апреле они мацерировали черемуху и апельсиновый цвет, в мае — море роз, чей аромат на целый месяц погрузил город в невидимый сладкий, как крем, туман. Гренуй работал как лошадь. Скромно, с почти рабской готовностью он выполнял все подсобные операции, которые поручал ему Дрюо. Но пока он, казалось бы, тупо размешивал и сгребал цветы, мыл бутылки, подметал мастерскую или таскал дрова, от его внимания не ускользала ни одна из существенных сторон ремесла, ни одна из метаморфоз ароматов. Исправней, чем когда-либо мог это сделать Дрюо, благодаря своему носу, Гренуй сопровождал и охранял передвижение ароматов от цветочных лепестков через жир и спирт в драгоценные маленькие флаконы. Он намного раньше, чем замечал Дрюо, чуял, когда жир начинал перегреваться, чуял, когда цветочная масса выды-

халась, когда варево насыщалось ароматом, он чуял, что происходило внутри смесителей и в какой точно момент процесс дистилляции должен был прекратиться. И каждый раз давал это понять, разумеется, как бы ненароком, не снимая маски угодливости. Ему кажется, говорил он, что сейчас жир, наверное, стал слишком горячим; он почти уверен, что пора вроде бы заливать сита; у него такое чувство, как будто спирт в перегонном кубе вот-вот начнет испаряться... Дрюо хоть и не был семи пядей во лбу, но и полным тупицей тоже не был и со временем сообразил, что принимал наилучшие решения как раз тогда, когда делал или приказывал сделать так, как «казалось» Грену́ю, у которого «было такое чувство». И так как Грену́й никогда не важничал и не кичился тем, что у него «было такое чувство», и никогда — тем более в присутствии мадам Арнульфи! — даже в шутку не ставил под сомнение авторитет Дрюо и привилегированность его положения, Дрюо не видел причины, почему бы ему не следовать советам Гренуя; более того: с течением времени он совершенно открыто стал перекладывать на него принятие решений.

Все чаще случалось так, что Грену́й не только мешал в котле, но еще и закладывал цветочную массу, топил печь и процеживал помаду, а Дрюо тем временем отправлялся пропустить стакан вина в «Четыре Дофина» или поднимался наверх к мадам поглядеть, что и как. Он знал, что на Гренуя можно было положиться. А Грену́й, хоть и выполнял двойную работу, наслаждался одиночеством, совершенствовался в новом искусстве и при случае немного экспериментировал. И с воровской радостью он обнаружил, что приготовленная им помада несравненно тоньше, а его Essence Absolue на порядок чище, чем изготовленная вместе с Дрюо.

В конце июня началось время жасмина, в августе — ночных гиацинтов. Оба растения обладали столь изысканным и одновременно хрупким благоуханием, что нужно было не только срывать их цветы до восхода солнца, но и подвергать их особенной, самой бережной обработке. Тепло уменьшало их аромат, внезапное погружение в горячий мацерационный жир полностью разрушило бы его. Эти благороднейшие из всех цветов не позволяли так просто вырвать у себя душу, и ее приходилось прямо-таки выманивать хитростью. В особом помещении их рассыпали на смазанные жиром гладкие доски или не прессуя заворачивали в пропитанные маслом холсты, где их медленно усыпляли до смерти. Только спустя три или четыре дня они увядали, выдыхая свой аромат на соседствующий жир или масло. Потом их осторожно выбирали и рассыпали свежие цветки. Процесс повторялся десять — двадцать раз, и к тому времени, когда помада насыщалась и можно было выжимать из холстов ароматическое масло, наступал сентябрь. Здесь добычи было еще меньше, чем при мацерации. Однако качество полученной путем холодного анфлеража жасминной пасты или изготовленного по старинному рецепту туберозового мыла превосходило по своей изысканности и верности оригиналу любой другой продукт парфюмерного искусства. Казалось, что на жирных пластинах, как в зеркале, был запечатлен сладостно-стойкий эротический аромат жасмина и отражался вполне естественно — cum grano salis [1] конечно. Ибо нюх Грену́я, разумеется, еще обнаруживал различие между запахом цветов и их консервированным ароматом: словно тонкое покрывало лежал на нем собственный запах жира (сколь угодно чистого), сглаживая ароматический образ оригинала, умеряя его пронзительность, может, даже вообще делая его красоту выносимой для обычных людей... Во всяком случае, холодный анфлераж был самым изощренным и действенным средством улавливания нежных запахов. Лучшего не было. И хотя даже этот метод не мог полностью обмануть нос Гренуя, он знал, что для оболванивания мира лишенных нюха тупиц его тысячу раз достаточно.

Уже очень скоро он превзошел своего учителя Дрюо как в мацери-

---

[1] С крупинкой соли, с приправой *(лат.)*.

ровании, так и в искусстве холодной ароматизации и дал ему это понять проверенным угодливо-тактичным образом. Дрюо охотно поручал ему выходить в город, на бойню, и покупать там самые подходящие сорта жира, очищать их, распускать, фильтровать и определять пропорции смесей. Сам Дрюо всегда боялся этой работы и выполнял ее с величайшим трудом, потому что нечистый, прогорклый или слишком отдающий свининой, говядиной или бараниной жир мог разрушить драгоценную помаду. Он передоверил Грену определять промежутки между жирными пластинами в помещении для ароматизации, время смены цветов, степень насыщения помады, он вскоре передоверил ему все рискованные решения, которые он, Дрюо, так же, как некогда Бальдини, мог принимать лишь наобум, по выученным правилам, а Гренуй — со знанием дела, чем был обязан своему носу, о чем Дрюо, конечно, не подозревал.

«У него легкая рука,— говорил Дрюо.— Он нутром чувствует, что к чему». А иногда он думал: «Да он просто много способнее меня, из него выйдет парфюмер, в сто раз лучший, чем я». И при этом он считал его законченным болваном, поскольку Гренуй, по его мнению, не извлекал ни малейшего капитала из своего дарования, а он, Дрюо, с меньшими способностями тем временем уже успел стать мастером. А Гренуй укреплял его в этом мнении, старательно притворялся глупым, не обнаруживал ни малейших признаков тщеславия, делал вид, что не догадывается о собственной гениальности и действует только по приказанию многоопытного Дрюо, без коего он, Гренуй, ничто.

Потом наступили осень и зима. В мастерской стало спокойней. Цветочные ароматы, запертые в тигли и флаконы, лежали в подвале. Время от времени мадам приказывала проверить ту или иную помаду или дистиллировать какой-нибудь мешок сухих трав, но в общем дел было не слишком много. Поступали еще оливки, неделя за неделей, полными корзинами (из них выжимали девичье масло, а остатки сдавали на маслобойню) и вино, часть которого Гренуй перегонял в очищенный спирт.

Дрюо все реже заглядывал в мастерскую. Он выполнял свои обязанности в постели мадам, а если и появлялся, воняя по́том и семенем, то лишь для того, чтобы исчезнуть в «Четырех Дофинах». Мадам тоже стала реже спускаться вниз. Она занималась своими имущественными делами и переделкой гардероба к тому моменту, когда кончится год траура. Часто Гренуй целыми днями не видел никого кроме служанки, приносившей ему на обед суп, а на ужин — хлеб и маслины. Он почти не выходил в город. В корпоративной жизни, а именно в регулярных встречах подмастерьев и шествиях он участвовал ровно настолько, чтобы не бросалось в глаза ни его отсутствие, ни его присутствие. Ни друзей, ни знакомых он не имел, но тщательно следил за тем, чтобы его не сочли ни наглецом, ни отщепенцем. Он предоставил другим подмастерьям находить его общество пресным и унылым. Он был мастером в искусстве распространять скуку и выдавать себя за неотесанного болвана — разумеется, не перебарщивая настолько, чтобы над ним можно было злорадно насмехаться или превращать его в жертву грубых цеховых шуток. Ему удалось казаться совершенно неинтересным. Его оставили в покое. А он больше ничего и не желал.

38

Он проводил свое время в мастерской. Дрюо он объяснял это тем, что изобретает рецепт одеколона. На самом деле он экспериментировал совсем с другими запахами. Его духи, которые он изготовил в Монпелье, хоть он и расходовал их очень экономно, уже кончились. Он сочинил новые. Но на этот раз он не удовольствовался имитацией на скорую руку из случайно подвернувшихся материалов основного человеческого запаха, но вложил все свое тщеславие в создание личного аромата и даже множества личных ароматов.

Сначала он сделал для себя запах незаметности, мышино-серое будничное платье, в котором кисловато-сырный человеческий аромат хотя и присутствовал, но пробивался лишь слегка, словно сквозь толстый слой плотной шерстяной одежды, натянутой на сухую старческую кожу. С таким запахом ему было удобно находиться среди людей. Духи были достаточно сильные, чтобы обонятельно обосновать существование некой особы, и одновременно настолько скромные, что никто их не замечал. С их помощью Гренуй обонятельно как бы не присутствовал и все же самым скромным образом всегда оправдывал свое наличие. Это было ему очень кстати как в доме мадам Арнульфи, так и во время его случайных вылазок в город.

Правда, в некоторых обстоятельствах этот скромный аромат оказался помехой. Когда ему по заданию Дрюо приходилось делать покупки или когда он хотел у какого-нибудь торговца купить немного цибетина или несколько зерен мускуса, могло произойти так, что при его совершенной невзрачности его либо совсем не замечали и не обслуживали, либо хотя и замечали, но давали не то или забывали обслужить. Для таких случаев он сотворил себе более породистые, слегка потливые духи, с некоторыми обонятельными углами и кантами, придававшие ему более грубую внешность и заставлявшие людей думать, что он спешит по неотложным делам. Кроме того, с помощью имитации свойственной Дрюо aura seminalis, которую он сумел воссоздать путем ароматизации жирного полотняного платка пастой из свежих утиных яиц и обжаренной пшеничной муки, он добивался хороших результатов, когда надо было в какой-то мере привлечь к себе внимание.

Следующими духами из его арсенала был запах, возбуждавший сострадание, безотказно действовавший на женщин среднего и пожилого возраста. Это был запах жидкого молока и чистого мягкого дерева. В нем Гренуй — даже если он входил небритым, с кислой миной, не снимая плаща — производил впечатление бедного бледного паренька в рваной куртке, которому нужно было помочь. Рыночные торговки, услышав этот запах, совали ему орехи и сушеные груши — таким голодным и беспомощным он им казался. А жена мясника, известная своей неумолимостью и скупостью, позволила ему выбрать и взять задаром старые вонючие остатки мяса и костей, ибо его аромат невинности растрогал ее материнское сердце. Из этих остатков он, в свою очередь, путем прямой пропитки алкоголем извлек главные компоненты запаха, которым пользовался, если непременно хотел остаться в одиночестве. Этот запах создавал вокруг него атмосферу тихого отвращения, дуновение гнили, которое шибает по утрам из старых неухоженных ртов. Эффект был так силен, что даже не слишком брезгливый Дрюо непроизвольно отворачивался и выходил на свежий воздух, разумеется не вполне отдавая себе отчет, что на самом деле вытолкало его из дома. А нескольких капель этого репеллента, пролитых на порог хижины, оказалось достаточно, чтобы держать на расстоянии любого непрошеного гостя, будь то человек или зверь.

Теперь, под защитой различных запахов, которые он в зависимости от внешних обстоятельств менял, как платья, и которые позволяли ему не выделяться в мире людей и скрывать свою сущность, Гренуй отдался своей подлинной страсти — изощренной охоте за ароматами. И поскольку перед ним была великая цель и он имел в запасе больше года времени, он не только с лихорадочным рвением, но и необычайно планомерно и систематически стал оттачивать оружие, отрабатывать изощренные приемы, упорно доводить до совершенства методы. Он начал с того, на чем остановился у Бальдини,— с извлечения ароматов из неодушевленных предметов: из камня, металла, дерева, соли, воды, воздуха...

То, что тогда из-за применения грубого метода дистилляции окончилось жалкой неудачей, теперь удалось благодаря мощной абсорбирующей силе жира. Ему понравился холодный заплесневелый запах латунной дверной задвижки, и он на несколько дней обмазал ее говяжьим

салом. И надо же — после того как он соскреб сало и проверил результат, оно хоть и очень в малой степени, но все-таки однозначно пахло именно латунью. И даже после отмывания алкоголем запах еще оставался, беконечно слабый, далекий, затененный испарением винного спирта и доступный, вероятно, во всем мире только тонкому нюху Гренуя, но все-таки он был, и это значило, что хотя бы в принципе он был в его распоряжении. Имей он десять тысяч задвижек, которые он смог бы тысячу дней подряд покрывать салом, он сумел бы получить крошечную каплю Essence Absolue, аромата такой силы, что у любого и всякого возникла бы иллюзия, что у него прямо перед носом — латунный оригинал задвижки.

То же самое удалось ему с ароматом пористого известняка, кусок которого он нашел на оливковой плантации перед хижиной. Он его мацерировал и получил маленький шарик каменной помады, чей неизъяснимый запах восхищал его неописуемо. Он скомбинировал его с другими запахами, извлеченными из всех возможных предметов, подобранных вокруг его хижины, и мало-помалу смастерил миниатюрную модель оливковой плантации за францисканским монастырем, которую, заперев в крошечном флакончике, мог носить при себе и, если захочется, оживлять из мертвых. Конечно, виртуозные кунштюки, чудесные забавы, которые он устраивал с ароматами, тешили его одного и были известны только ему. Но сам он был в восхищении от этих бессмысленных трюков, и в его жизни ни прежде, ни потом не было моментов такого поистине невыносимого счастья, какое он испытывал, сотворяя в азарте игры благоухающие ландшафты, натюрморты и портреты отдельных предметов. А вскоре он перешел на живые объекты.

Он стал ловить зимних мух, личинок, крыс, мелких кошек и топить их в горячем жире. По ночам он залезал в сараи к коровам, козам и поросятам, чтобы на несколько часов завернуть их в обмазанные жиром холсты или обмотать промасленными бинтами. Или прокрадывался в овечий хлев, чтобы обстричь ягненка, чью душистую шерсть он стирал в винном спирте. Поначалу результаты были не слишком вдохновляющими. Ибо в отличие от таких терпеливых предметов, как латунная задвижка или камень, животные не хотели отдавать свой запах. Свиньи терлись боками о края кормушек, сдирая с себя бинты. Овцы блеяли, когда он ночью приближался к ним с ножом. Коровы упорно стряхивали с вымени жирные тряпки. Некоторые из пойманных им жуков, когда он пытался их переработать, выбрасывали отвратительно воняющие секреции, а крысы, наверное от страха, испражнялись в его высокочувствительные помады. Животные, которых он хотел мацерировать, в отличие от цветов, не отдавали свой аромат безропотно, с молчаливым вздохом, но отчянно сопротивлялись умерщвлению, ни за что не давали себя утопить, брыкались, и боролись, и выделяли непропорционально большие количества смертного пота, вызванного страхом, так что горячий жир портился от перенасыщения кислотами. Это, конечно, мешало разумной работе. Объекты следовало успокоить, и так внезапно, чтобы они еще не успели испугаться или оказать сопротивление. Ему пришлось их убивать.

Сначала он попробовал это на каком-то щенке. Из конуры перед бойней он выманил его от матери куском мяса и привел в мастерскую, и, когда животное с радостным возбужденным тявканьем запрыгало, пытаясь выхватить мясо из левой руки Гренуя, он поленом, которое держал в правой, нанес ему короткий и резкий удар по затылку. Смерть щенка наступила так внезапно, что выражение счастья еще долго сохранялось в его глазах и лапах, когда Гренуй в помещении для ароматизации осторожно укладывал его на решетку между жирными пластинами, где он теперь испускал свой чистый, не замутненный пóтом страха аромат. Разумеется, нужно было все время быть начеку! Трупы, так же как сорванные цветы, быстро портились. И потому Гренуй сторожил свою жертву примерно двенадцать часов, пока не заметил, что из тела

собаки потекли струйки хотя и приятного, но здесь не уместного трупного запаха. Он тут же прервал анфлераж, убрал труп и спрятал кусочек ароматизированного жира в котел, где его тщательно промыл. Он дистиллировал алкоголь, пока его не осталось с наперсток, и этот остаток вылил в крошечную стеклянную пробирку. Духи отчетливо пахли влажной, свежей, блестящей собачьей шкурой; запах был резким, даже поразительно резким. И когда Гренуй дал его понюхать старой суке с бойни, она разразилась лаем, и завизжала, и не хотела отрывать ноздри от стеклянной пробирки. Но Гренуй плотно закрыл ее, положил в карман и еще долго носил при себе как воспоминание о том дне триумфа, когда ему впервые удалось отобрать благоухающую душу у живого существа.

Потом, очень постепенно и с величайшей осторожностью, он приступил к людям. Под прикрытием своего легкого запаха невзрачности он по вечерам толкался среди завсегдатаев «Четырех Дофинов» и под столами, и скамьями, и в укромных закутках прицеплял обрывки пропитанной маслом или жиром материи. Через несколько дней он собирал их и исследовал. Действительно, они наряду со всеми возможными кухонными испарениями и запахами табачного дыма и вина выдыхали немного человеческого аромата. Но он оставался очень расплывчатым и завуалированным — скорее общим ощущением смрада, чем личным запахом. Ту же ауру человеческой массы, но более чистую и сублимированную в возвышенно-потливое качество, можно было получить в соборе, где Гренуй 24 декабря развесил под скамьями свои пробные флажки и откуда забрал их 26 декабря, после того как над ними было отсижено не меньше семи обеден. На этих обрывках ткани, впитавшей атмосферу собора, запечатлелся жуткий конгломерат запахов прогорклого пота, менструальной крови, влажных впадин под коленами и сведенных судорогой рук, смешанных с отработанным воздухом дыхания тысяч поющих хором и шепчущих молитвы глоток, и с тяжелыми вязкими парами ладана и мирры, жуткий в своей облачной бесформенности, вызывающей тошноту сгущенности и все-таки уже узнаваемо человечий. Первый индивидуальный запах Гренуй раздобыл в богадельне. Ему удалось украсть предназначенные, собственно, для сожжения простыни одного только что умершего от чахотки подмастерья кожевенника, в которых он пролежал завернутым два месяца. Полотно так сильно пропиталось сальными выделениями кожевенника, что впитало его испарения, как паста для анфлеража, и его можно было прямо подвергнуть отмывке. Результат был кошмарный: под носом Гренуя из раствора винного спирта кожевенник восстал из мертвых, и его индивидуальный обонятельный портрет, пусть схематический, искаженный своеобразным методом репродуцирования и многочисленными миазмами болезни, но все же вполне узнаваемый, проступил в воздухе помещения: маленький человек лет тридцати, блондин с широким тупым носом, с короткими руками, плоскими сырными ступнями, набухшим членом, желчным темпераментом и дурным запахом изо рта, этот кожевенник не отличался красотой, не стоило сохранять его, как того маленького щенка. Но все-таки Гренуй целую ночь позволил привидению носиться по своей хижине и то и дело подцеплял его нюхом, счастливый и глубоко удовлетворенный чувством власти, которую он обрел над аурой другого человека. На следующий день он вытряхнул его вон.

В эти зимние дни он поставил еще один опыт. Одной немой нищенке, бродившей по городу, он платил франк, чтобы она в течение дня носила на голом теле тряпки, обработанные различными смесями жира и масла. Выяснилось, что комбинация жира ягнячьих почек и беспримесного свиного и коровьего сала в соотношении два к пяти к трем при добавлении небольших количеств девичьего масла лучше всего подходит для усвоения человеческого запаха. На этом Гренуй остановился. Он отказался от того, чтобы овладеть целиком каким-то живым человеком и переработать его по правилам парфюмерии. Это было бы всегда связано

с риском и не дало бы новых результатов. Он знал, что теперь он владеет техническими приемами, которые позволяют насильно отобрать у человека его аромат, и это не нуждалось в новых доказательствах.

Запах человека сам по себе был ему тоже безразличен. Запах человека он мог достаточно хорошо имитировать суррогатами. То, чего он страстно желал, был запах определенных людей: а именно тех чрезвычайно редких людей, которые внушают любовь. Они-то и стали его жертвами.

39

В январе вдова Арнульфи сочеталась законным браком со своим первым подмастерьем Домиником Дрюо, который, таким образом, стал мэтром Дрюо, мастером перчаточных и парфюмерных дел. Был дан большой обед для мастеров гильдии, обед поскромнее для подмастерьев, мадам купила новый матрац для постели, которую она отныне официально делила с Дрюо, и вынула из шкафа свои яркие платья. В остальном все осталось по-старому. Она сохранила за собой доброе старое имя Арнульфи, сохранила неразделенное имущество, финансовое руководство делами и ключи от подвала; Дрюо ежедневно исполнял свои сексуальные обязанности, а потом освежался вином; а Гренуй, хотя и оказался первым и единственным подмастерьем, выполнял основную часть навалившейся работы за неизменно маленькое жалованье, скромное питание и убогое жилье.

Год начался желтым потоком кассий, гиацинтами, фиалками и наркотическими нарциссами. Однажды мартовским воскресным днем — прошел примерно год с момента его прихода в Грас — Гренуй отправился на другой конец города посмотреть, как обстоят дела в саду за каменной стеной. На этот раз он был подготовлен к запаху и довольно точно представлял, что его ожидает... и все же, когда он ее учуял, уже у Нового моста, на полпути к тому месту за стеной, сердце его забилось громче, и он почувствовал, как кровь в его жилах вскипела пузырьками от счастья. Она была еще там — несравненно прекрасное растение невредимо перезимовало, налилось соком, подросло, расправилось, выпустило роскошнейшие побеги! Ее аромат, как он и ожидал, стал сильнее, не потеряв своей изысканности. То, что еще год назад искрилось брызгами и каплями, теперь струилось плавным, слегка пастозным потоком аромата, сверкало тысячью красок, и каждая краска была цельной и прочной и больше не обрывалась. И этот поток, блаженно констатировал Гренуй, питался из все более сильного источника. Еще один год, еще только год, еще только двенадцать месяцев, и источник забьет в полную силу, и он сможет прийти, захватить его и приручить дикое изверженье его аромата.

Он пробежал вдоль стены до знакомого места, за которым находился сад. Хотя девушка явно была не в саду, а в доме, в горнице за закрытыми окнами, ее аромат веял, как ровный мягкий бриз. Гренуй стоял совсем тихо. Он не был оглушен или опьянен, как в первый раз. Он был полон счастливым чувством любовника, который издалека подстерегает или наблюдает за своей боготворимой возлюбленной и знает, что через год уведет ее к себе. В самом деле, Гренуй, этот одинокий клещ, это чудовище, эта нелюдь Гренуй, который никогда не испытывал любви и никогда не мог внушить любви, стоял в тот мартовский день у городской стены Граса, и любил, и был глубоко счастлив своей любовью.

Правда, он любил не человека, не девушку в доме, там, за стеной. Он любил аромат. Только его, и ничто другое, и любил его как будущий собственный аромат. Через год он завладеет им, в этом он поклялся себе своей жизнью. И, принеся этот своеобразный обет или заключив эту помолвку, присягнув сохранять верность своему будущему аромату, он в радостном настроении покинул место присяги и через заставу Дю-Кур вернулся в город.

Лежа ночью в своей хижине, он еще раз извлек ее аромат из воспоминания — не смог противостоять искушению — и погрузился в него, он ласкал его и позволял ему ласкать себя, он ощущал его совсем рядом, так близко, словно во сне, словно он уже действительно обладал им, своим ароматом, своим собственным ароматом, и, пока длилось это опьяняюще-дивное мгновение, он любил его в себе и себя благодаря ему. Он хотел заснуть с этим чувством влюбленности в себя. Но как раз в тот момент, когда он закрыл глаза и ему осталось сделать всего один вдох, чтобы погрузиться в грезу, аромат покинул его, внезапно исчез, и его место заполнил холодный запах козлиного хлева.

Гренуй ужаснулся. «А если,— подумал он,— а если этот аромат, которым я овладею, кончится? Ведь это не как в воспоминаниях, где все запахи непреходящи. Реальный запах изнашивается, соприкасаясь с миром. Он летуч. И когда он износится, не будет больше источника, откуда я его взял. И я останусь голым, как прежде, и мне придется снова помогать себе моими суррогатами. Нет, будет хуже, чем прежде! Ведь я уже узна́ю его и овладею им, моим собственным царственным ароматом, и не смогу его забыть, так как я никогда не забываю запахов. И значит, я всю жизнь буду терзаться воспоминанием о нем, как терзаюсь уже сейчас, в момент моего предвкушения... Тогда зачем я вообще хочу овладеть им, зачем он мне?»

Эта мысль была чрезвычайно неприятной. Гренуй безмерно испугался, что, овладев ароматом, которым он еще не владел, неизбежно снова его потеряет. Как долго он удержит его? Несколько дней? Несколько недель? Может быть, целый месяц, если будет душиться очень экономно? А потом? Он уже видел, как вытряхивает из флакона последнюю каплю, споласкивает флакон винным спиртом, чтобы не пропало ни малейшего остатка, и видит, обоняет, как его любимый аромат навсегда и безвозвратно улетучивается. Это будет медленным умиранием, он как бы задохнется, наоборот, постепенно, в муках испарит себя наружу, в омерзительный, жуткий мир.

Его знобило. Его охватило желание отказаться от своих планов, выйти в ночь и уйти куда глаза глядят. Ему захотелось перевалить заснеженные горы, и пройти без остановки сто миль до Оверни, и там заползти в свою старую пещеру, и заснуть, и умереть во сне. Но он не сделал этого. Он остался на месте и не поддался желанию, хоть оно и было сильным. Он не поддался, ибо это было его старое желание уйти куда глаза глядят и заползти в пещеру. Он уже испытал это. А то, чего он еще не испытал, было обладание человеческим ароматом, ароматом, столь же царственным, как аромат девушки за каменной стеной. И хотя он понимал, что за обладание и последующую потерю аромата ему придется заплатить ужасную цену, все-таки обладание и потеря казались ему желаннее, чем простой отказ от того и другого. Ибо он отказывался всю свою жизнь. Но никогда еще не обладал и не терял.

Постепенно сомнения отступили и с ними озноб. Он почувствовал, как его снова оживила теплая кровь и воля к свершению задуманного снова овладела им. И овладела им сильнее, чем прежде, ибо теперь эта воля диктовалась не чистым вожделением, но еще и взвешенным решением. Клещ Гренуй, поставленный перед выбором — засохнуть ли в самом себе или дать себе упасть, решился на второе, вполне сознавая, что это падение будет последним. Он снова улегся на нары, зарылся в солому, накрылся одеялом и почувствовал себя героем.

Но Гренуй не был бы Гренуем, если бы надолго удовлетворился фаталистическо-героическим чувством. Для этого его воля к самоутверждению была слишком непреклонной, тело слишком закаленным, ум — слишком изощренным. Итак, он решился овладеть ароматом девушки из сада за каменной стеной. Пусть через несколько недель он его потеряет и умрет от этой потери, пусть так. Но было бы лучше не умирать и все-таки владеть ее ароматом или по крайней мере оттянуть на как можно более долгий срок эту потерю. Аромат надо сделать стойким. Нужно

устранить летучесть аромата, не нарушив его характера,— проблема из области парфюмерии.

Есть запахи, которые держатся десятилетиями. Сундук, натертый мускусом, кусок кожи, пропитанный коричным маслом, комок амбры, шкатулка кедрового дерева в обонятельном смысле живут почти вечно. А другие — лиметиновое масло, бергамот, экстракты нарцисса и тубероз и многие цветочные ароматы — выдыхаются уже через несколько часов, если выставить их на воздух в чистом виде. Парфюмер борется с этим роковым обстоятельством, связывая излишне летучие ароматы — стойкими, как бы накладывая на них оковы, укрощающие их стремление к свободе, а искусство состоит в том, чтобы наложить оковы не жестко, а как бы предоставляя свободу связанному запаху, но все же удерживая его достаточно близко, чтобы он не мог убежать. Этот трюк дважды великолепно удался Грену́ю с туберозным маслом, чей эфемерный аромат он сковал крошечными количествами цибетина, ванили, лабданума и кипариса и именно тем выявил его прелесть. Нельзя ли сделать нечто похожее с ароматом девушки? Разве непременно нужно расточать драгоценнейший и самый хрупкий из ароматов, употребляя его в чистом виде? Как нелепо! Как ужасающе бездарно! Разве алмазы оставляют неограненными? Разве золото носят на шее самородками? Неужто он, Грену́й,— всего лишь примитивный грабитель запахов вроде Дрюо и прочих мацераторов, дистилляторов и выжимателей цветов? Не он ли — величайший парфюмер мира?

Он стукнул себя по лбу с досады, что не додумался до этого раньше. Конечно, этот единственный в своем роде аромат нельзя применять в натуральном виде. Ему, как драгоценному камню, нужна оправа. Он вычеканит ароматическую диадему, и *его* аромат будет сверкать в ней на самом верху, одновременно и вплетенный в другие запахи, и царящий над ними. Он изготовит духи по всем правилам искусства, и аромат девушки за каменной стеной будет их сердцем. Разумеется, для аранжировки, для опорной средней и разрешающей ноты, для заострения и фиксации звучания не подходят ни мускус, ни цибетин, ни розовое масло, ни амбра, это ясно. Для таких духов, для такого человеческого благоухания ему нужны другие ингредиенты.

40

В мае того же года на розовом поле, на полпути от Граса к расположенному восточнее местечку Опио, был найден обнаженный труп пятнадцатилетней девушки. Она была убита ударом дубинки по затылку. Крестьянин, обнаруживший труп, был так потрясен ужасной находкой, что чуть не навлек подозрений на себя, когда дрожащим голосом сообщил лейтенанту полиции, что никогда еще не видел такой красоты — хотя, в сущности, он хотел сказать, что никогда еще не видел ничего ужаснее.

Девушка в самом деле отличалась изысканной красотой. Она принадлежала к тому роскошному типу женщин, которые напоминают темный мед, густой и сладкий и необычайно вязкий; которые одним плавным жестом, одним поворотом головы, одним единственным медленным, как вращение бича, взглядом овладевают пространством и при этом остаются спокойно стоять в центре водоворота, словно не сознавая силы притяжения, с которой они привлекают страсти и души как мужчин, так и женщин. А она была молода, в поре созревания, очарование ее типа еще не достигло совершенства. Ее роскошные формы были еще твердыми и гладкими, груди упругими, а ее плосковатое лицо, обрамленное жесткими черными волосами, еще сохраняло нежнейшие контуры и таинственную неопределенность черт. Впрочем, самих волос не было. Убийца отрезал их и унес с собой, так же как и платье.

Подозрение пало на цыган. От цыган можно было ожидать всего. Цыгане, как известно, ткали ковры из старых платьев, и набивали подушки человечьим волосом, и мастерили маленьких кукол из кожи и зу-

бов повешенных. Такое извращенное преступление можно было приписать только цыганам. Но в то время никаких цыган не было, не было нигде в округе, последний раз они проходили здесь в декабре.

За отсутствием цыган стали подозревать итальянских батраков-сезонников. Итальянцев, правда, тоже не было, так рано они не появлялись, они придут наниматься на сбор жасмина только в июне, значит, это не могут быть итальянцы. Наконец, под подозрение попали парикмахеры, которых обыскали, пытаясь обнаружить волосы убитой девушки. Тщетно. Потом заподозрили евреев, потом якобы похотливых монахов бенедиктинского монастыря — хотя всем им было уже далеко за семьдесят, потом цистерианцев, потом франкмасонов, потом сумасшедших из богадельни, потом углежогов, потом нищих и даже безнравственных аристократов, особенно маркиза де Кабри, потому что тот женился уже в третий раз, устраивал, как говорили, в своих подвалах оргиастические мессы и при этом пил кровь девственниц, чтобы повысить свою мужскую потенцию. Правда, ничего конкретного доказать не удалось. Никто не был свидетелем убийства, ни платья, ни волос мертвой не нашли. Через несколько недель лейтенант полиции прекратил следствие.

В середине июня прибыли итальянцы, многие с семьями, наниматься на сбор жасмина. Крестьяне, правда, брали их на работу, но, памятуя об убийстве, запрещали своим женам и дочерям общаться с ними. Береженого Бог бережет. Пусть эти сезонники действительно не отвечают за совершенное преступление, но все-таки в принципе они могли бы отвечать за него, а потому лучше их остерегаться.

Вскоре после начала сбора жасмина произошли два других убийства. Снова жертвами стали девушки — писаные красавицы того же роскошного чернокудрого типа, снова нашли их на цветочных полях обнаженными и обритыми с тупой раной на затылке. Снова — никаких следов преступника. Новость распространилась со скоростью огня, и угроза избиений уже нависла над пришлым народом, как стало известно, что обе жертвы были итальянками, дочерьми одного генуэзского батрака.

Это повергло людей в ужас. Они теперь не знали, на кого им направить свою бессильную ярость. Правда, кое-кто еще подозревал сумасшедших или бесноватого маркиза, но в это не очень-то верили, потому что сумасшедшие днем и ночью находились под присмотром, а маркиз давно уехал в Париж. И люди стали жаться друг к другу. Крестьяне открыли свои сараи для сезонников, которые раньше ночевали в чистом поле. Горожане в каждом квартале организовали ночные дозоры. Лейтенант полиции усилил караулы у городских ворот. Но все предосторожности оказались тщетными. Через несколько дней после двойного убийства снова нашли труп девушки, в том же изуродованном виде, как и предыдущие. На этот раз речь шла о девушке из Сардинии — прачке епископского дворца, убитой недалеко от Фонтен-де-ла-Фу, то есть прямо у городских ворот. И хотя под давлением возбужденных горожан Совет консулов принял дальнейшие меры — строжайшие проверки у застав, усиление ночных дозоров, запрещение выходить на улицу после наступления темноты всем особам женского пола,— этим летом не проходило недели, чтобы где-нибудь не был обнаружен труп молодой девушки. И всегда того возраста, когда девушка только еще начинает становиться женщиной, и всегда это были самые красивые смуглянки того самого неотразимого типа. Впрочем, вскоре убийца удостоит своим вниманием и преобладающий среди местного населения тип мягкой, белокожей и несколько полноватой девушки. Даже жгучие брюнетки, даже шатенки — если они были не слишком худыми — в последнее время становились его жертвами. Он выслеживал их везде, уже не только в окрестностях Граса, но и посреди города, даже в домах. Дочь одного столяра была найдена убитой в своей горнице на пятом этаже, и никто в доме не услышал ни малейшего шума, и ни одна из собак, которые

обычно издалека чуяли и громко облаивали чужого, даже не тявкнула. Убийца казался неуловимым, бестелесным духом.

Люди возмущались и ругали власть. Малейший слух приводил к столкновениям. Один бродячий торговец любовным напитком и прочими шарлатанскими снадобьями был чуть не растерзан толпой за то, что в его порошочках якобы содержался истолченный девичий волос. Кто-то пытался поджечь особняк маркиза де Кабри и богадельню. Суконщик Александр Минар застрелил своего слугу, возвращавшегося ночью домой, приняв его за пресловутого Убийцу Девушек. Все, кто мог себе это позволить, отсылали своих подрастающих дочерей к дальним родственникам или в пансионы в Ниццу, Экс или Марсель. Лейтенант полиции по настоянию Городского совета был уволен с должности. Его преемник пригласил коллегию врачей, дабы те обследовали трупы остриженных красавиц на предмет их виргинального состояния. Выяснилось, что все они остались нетронутыми.

Странным образом это известие не уменьшило, а усилило панический ужас, ибо втайне каждый считал, что девушки были изнасилованы. Тогда по крайней мере был бы ясен мотив преступлений. Теперь же никто ничего больше не понимал, теперь все были совершенно беспомощны. И тот, кто верил в Бога, искал спасения в молитве, уповая на то, что дьявольское наваждение минует хотя бы его собственный дом.

Городской совет, почтенное собрание тридцати самых богатых и уважаемых буржуа и дворян Граса, в большинстве своем просвещенные и антиклерикально настроенные господа, которые до сих пор ни в чем не считались с епископом и с удовольствием превратили бы монастыри и аббатства в товарные склады и фабрики,— эти гордые влиятельные господа из Городского совета были настолько подавлены, что направили монсеньору епископу униженную петицию, прося предать умерщвляющее девушек чудовище, перед которым светская власть оказалась бессильной, анафеме и отлучению, подобно тому как это проделал в 1708 году его святейший предшественник, когда город подвергся ужасному бедствию — нашествию саранчи, угрожавшей тогда всей стране. И в самом деле, в конце сентября Грасский Убийца Девушек, который уже погубил не менее двадцати четырех самых красивых девиц всех сословий, был торжественно предан анафеме и отлучению; текст отлучения был прибит к дверям всех церквей города и возглашен со всех амвонов, в том числе с амвона Нотр-Дам-дю-Пюи, где его торжественно прочел сам епископ.

Успех был ошеломляющим. Убийства прекратились на другой же день. Октябрь и ноябрь прошли без трупов. В начале декабря дошли слухи из Гренобля, что там в последнее время орудует некий Убийца Девушек, который душит свои жертвы, рвет на них в клочья платья и целыми прядями вырывает с головы волосы. И хотя эти топорные преступления никак не совпадали с аккуратно выполненными грасскими убийствами, все тут же уверились, что речь идет об одном и том же преступнике. Жители Граса трижды с облегчением перекрестились: теперь уже выродок зверствовал не у них, а в Гренобле, до которого семь дней пути. Они организовали факельное шествие в честь епископа, а 24 декабря отстояли большую благодарственную литургию. С 1 января 1766 года усиленные караулы были сняты, и женщины получили разрешение по ночам выходить из дому. С невероятной быстротой общественная и частная жизнь вошла в нормальную колею. Страх словно ветром сдуло, никто больше не говорил о том ужасе, который всего несколько месяцев назад царил в городе и окрестностях. Даже в семьях жертв об этом не говорили. Казалось, анафема, возглашенная епископом, изгнала не только убийцу, но и всякое воспоминание о нем. А людям было только того и надо.

Лишь тот, у кого была дочь, входящая в пору чудесной юности, старался не оставлять ее без надзора, испытывал страх с наступлением сумерек, а по утрам, находя ее живой и здоровой, был счастлив — хотя, конечно, сам себе не признавался отчего.

Однако в Грасе был человек, который не доверял наступившему миру. Его звали Антуан Риши, он исполнял должность Второго Консула и жил в городской усадьбе в начале улицы Друат.

Риши был вдовец и имел дочь по имени Лаура. Хотя ему не было и сорока и он отличался завидным здоровьем, он не торопился вступать в новый брак. Сначала он хотел выдать замуж дочь. И не за первого встречного, но за человека благородного происхождения. У него был на примете некий барон де Бойон, имевший сына и поместье под Вансом; барон пользовался хорошей репутацией, состояние его расстроилось, и Риши уже получил его согласие на будущий брак детей. А когда Лаура будет надежно пристроена, тогда он запустит свои жениховские щупальца в какое-нибудь из благородных семейств — Дре, Моберов или Фонмишель,— не потому что он был тщеславен и ему приспичило иметь в постели супругу-аристократку, но потому, что он желал основать династию и наставить свое потомство на путь, ведущий к высокому общественному положению и политическому влиянию. Для этого ему требовалось по меньшей мере еще двое сыновей, из которых один продолжил бы его дело, а второй достиг бы успехов на юридическом поприще и в парламенте Экса и таким путем пробился бы наверх, в дворянское сословие. Однако подобные амбиции имели шансы на успех лишь при условии, что он теснейшим образом свяжет свою личность и свою фамилию с провансальской знатью.

Столь далеко идущие планы оправдывались тем, что он был сказочно богат. Антуан Риши был намного богаче любого буржуа в округе. Он владел латифундиями не только в окрестностях Граса, где разводил апельсины, подсолнух, пшеницу и овес, но и под Вансом, и под Антибом, где держал аренду. Он владел домами в Эксе, домами по всей провинции, имел свою долю дохода от кораблей, ходивших в Индию, постоянную контору в Генуе и самый крупный торговый склад ароматических товаров, специй, масел и кожи во Франции.

Однако истинной драгоценностью Риши была его дочь. Она была его единственным ребенком, ровно шестнадцати лет от роду, с темно-рыжими волосами и зелеными глазами. Лицо ее было так восхитительно, что посетители любого пола и возраста столбенели и больше не могли оторвать от нее взгляда, они прямо-таки слизывали глазами ее лицо, как слизывают языком мороженое, и при этом у них появлялось типичное для подобного занятия выражение глуповатой сосредоточенности. Сам Риши при виде своей дочери ловил себя на том, что на некоторое время — на четверть часа, на полчаса, может быть,— забывал весь мир и все свои дела, чего вообще-то не случалось с ним даже во сне, совершенно растворялся в созерцании царственной девушки и потом не мог припомнить, чем он, собственно, был так занят. А с некоторых пор — он с досадой отдавал себе в этом отчет — укладывая ее по вечерам в постель или иногда по утрам, когда он приходил ее будить, а она еще лежала, спящая, словно убаюканная Господом Богом, и под покровом ее ночного одеяния угадывались формы ее бедер и груди, а из выреза рубашки от шеи, изгиба подмышек, впадин под локтями и гладкой руки, на которой покоилось ее лицо, струилось ее спокойное и горячее дыхание...— что-то жалко сжималось у него внутри, перехватывало горло и заставляло сглатывать слюну, и — Боже милостивый! — он проклинал себя, что приходится этой женщине отцом, что он не чужой, не какой-нибудь посторонний мужчина, перед которым она лежала бы так, как лежит сейчас перед ним, а он мог бы лечь к ней, на нее, в нее со всей своей жаждой обладания. И у него выступал пот, и он дрожал всем телом, задавливая в себе эту чудовищную мысль, и склонялся над ней, чтобы разбудить ее целомудренным отцовским поцелуем.

В прошлом году, во время убийств, он еще не испытывал подобных фатальных борений. Волшебная власть, которую тогда имела над ним

его дочь,— так ему по крайней мере казалось — была еще волшебной властью детства. И потому он никогда всерьез не опасался, что Лаура станет жертвой убийцы, который, как было известно, не нападал ни на детей, ни на женщин, но исключительно на взрослых девушек, еще не потерявших невинности. Все же он усилил охрану своего дома, велел поставить новые решетки на окнах верхнего этажа и приказал горничной ночевать в спальне Лауры. Но мысль о том, чтобы отослать ее из города, как это сделали со своими дочерьми, и даже с целыми семьями, его товарищи по сословию, была ему невыносима. Он находил подобное поведение позорным и недостойным члена Совета и Второго Консула, который, по его мнению, обязан подавать своим согражданам пример сдержанности, мужества и несгибаемости. Кроме того, он был человеком, которому никто не смеет навязывать своих решений — ни охваченная паникой толпа, ни тем более один-единственный анонимный подонок-преступник. И в течение всего ужасного времени он был одним из немногих в городе, кто не поддался лихорадке страха и сохранил ясную голову. Но странным образом теперь это изменилось. В то время как люди на улицах, словно они уже повесили убийцу, праздновали конец его злодеяний и почти забыли то недоброе время, в сердце Антуана Риши, как некий отвратительный яд, проник страх. Сначала он не хотел допускать, что именно страх вынуждал его откладывать давно назревшие поездки, реже выходить в город, сокращать визиты и совещания, только чтобы быстрей вернуться. Он долго оправдывался перед самим собой ссылками на занятость и переутомление, но в конце концов решил, что несколько озабочен, как был бы озабочен на его месте каждый отец, имеющий дочь-невесту, ведь такая озабоченность — дело житейское... Разве не разнеслась уже по свету слава о ее красоте? Разве не вытягиваются все шеи, когда по воскресеньям входишь с ней в церковь? Разве некоторые господа в Совете уже не намекали на возможное сватовство от своего имени или от имени своих сыновей?..

42

Но однажды в марте Риши сидел в гостиной и видел, как Лаура вышла в сад. На ней было синее платье, по которому рассыпались ее рыжие волосы, искрившиеся в солнечном свете, никогда он не видел ее такой красивой. Она скрылась за живой изгородью и появилась из-за нее, может быть, на два удара сердца позже, чем он ожидал,— и он смертельно испугался, ибо в течение двух ударов сердца думал, что потерял ее навсегда.

В ту же ночь он пробудился от ужасного сна, содержания которого не помнил, но сон был связан с Лаурой, и он бросился в ее комнату, убежденный, что найдет ее в постели мертвой, убитой, осквернённой и остриженной,— но нашел невредимой.

Он вернулся в свою спальню, весь мокрый от пота и дрожащий от возбуждения, нет, не от возбуждения, а от страха, теперь наконец он себе в этом признался, он успокоился и в голове у него прояснилось. Если говорить честно, то он с самого начала не верил в действенность епископской анафемы; не верил и в то, что теперь убийца орудует в Гренобле; и в то, что он вообще покинул город. Нет, он еще жил здесь, среди жителей Граса, и когда-нибудь снова нанесет удар. В августе и сентябре Риши осматривал некоторых убитых девушек. Зрелище это ужаснуло его и, признаться, одновременно восхитило, ибо все они, и каждая на свой лад, отличались изысканной красотой. Никогда бы он не подумал, что в Грасе столько неоцененной красоты. Убийца раскрыл ему глаза. Убийца отличался отменным вкусом. И действовал по системе. Мало того что все убийства были выполнены одинаково аккуратно, сам выбор жертв выдавал почти математический расчет. Правда, Риши не знал, чего, собственно, убийца желал от своих жертв, ибо главное их богатство — красоту и очарование юности — он ведь у них не похитил... или похитил? Во всяком случае, как ни абсурдно это звучит, казалось, что

цель убийств не разрушение, а бережное коллекционирование. Если, например, рассуждал Риши, представить все жертвы не как отдельные индивиды, но как часть некоего высшего принципа и идеалистически помыслить их столь различные свойства слитыми в единое целое, то картина, составленная из подобной мозаики, была бы в общем-то картиной красоты, и волшебство, исходящее от нее, имело бы не человеческую, но божественную власть. (Как мы видим, Риши был просвещенным и мыслящим человеком, который не шарахался в страхе даже от кощунственных выводов, и хотя он мыслил не в обонятельных, но в оптических категориях, он все же был весьма близок к истине.)

Допустим, рассуждал далее Риши, убийца является таким коллекционером красоты и работает над портретом Совершенства, пусть даже это фантазия его больного мозга; допустим далее, что он человек высочайшего вкуса и скрупулезно методичный, что на самом деле весьма вероятно, тогда нельзя думать, что он откажется от драгоценнейшего строительного камня для этого портрета, какой только можно найти на земле,— от красоты Лауры. Вся пирамида убийств ничего не стоит без нее. Она была камнем, венчающим его здание.

Выводя это ужасающее заключение, Риши сидел на своей постели в ночной рубашке и изумлялся собственному спокойствию. Он больше не дрожал от озноба. Неопределенный страх, терзавший его несколько недель, исчез, уступив место осознанию конкретной опасности. Замысел убийцы был явно направлен на Лауру — с самого начала. А все остальные убийства — антураж этого последнего завершающего убийства. Правда, оставалось неясным, какую материальную цель преследуют эти убийства и вообще есть ли у них цель. Но основное, а именно систематический метод убийцы и его стремление к идеалу, Риши угадал верно. И чем дольше он над этим раздумывал, тем больше нравилось ему и то и другое и тем большее уважение он испытывал к убийце — впрочем, подобное уважение как в гладком зеркале отражало его отношение к себе, ведь не кто иной, как он, Риши, своим тонким, аналитическим умом проник в замысел противника.

Если бы он, Риши, был убийцей, одержимым теми же страстными идеями, он не мог бы действовать иначе, чем до сих пор действовал тот, и он бы поставил на карту все, чтобы увенчать свое безумное предприятие убийством царственной, не имеющей себе равных Лауры.

Эта последняя мысль ему особенно понравилась. То, что он оказался в состоянии мысленно стать на место будущего убийцы его дочери, давало ему, в сущности, огромное преимущество над убийцей. Ибо убийца, разумеется, при всей своей сообразительности, конечно, не был в состоянии поставить себя на место Риши — хотя бы потому, что он, конечно, не мог предполагать, что Риши давно поставил себя на его место — на место убийцы. По сути, здесь все обстояло так же, как и в деловой жизни — mutatis mutandis [1], а как же. Если ты разгадал замысел конкурента, преимущество на твоей стороне; он уже не положит тебя на лопатки; не положит, если твое имя — Антуан Риши и ты прошел огонь, воду и медные трубы и не привык уступать в борьбе. В конце концов, Антуану Риши принадлежит крупнейшая во Франции торговля ароматическими товарами, ни богатство, ни должность Второго Консула не свалились на него с неба, он завоевал их упорством и хитростью, вовремя распознавая опасность, проницательно разгадывая планы конкурентов и сметая с пути противников. И своих будущих целей — власти и дворянского титула для потомков — он достигнет точно так же. И точно так же он перечеркнет план убийцы — своего конкурента в борьбе за обладание Лаурой,— хотя бы уже потому, что Лаура — венец в здании и его, Риши, планов. Конечно, он любил ее, но он и нуждался в ней. А того, в чем он нуждался для осуществления

---

[1] С соответствующими изменениями *(лат.)*.

своих высочайших амбиций, он не уступал никому, за это он цеплялся когтями и зубами.

Теперь ему полегчало. После того как ему удалось свои ночные размышления касательно борьбы с демоном спустить на уровень делового конфликта, он почувствовал, что снова полон отваги и даже азарта. Улетучился последний остаток страха, исчезло ощущение подавленности и гнетущей заботы, мучившее его как впавшего в маразм старика, развеялся туман мрачных предчувствий, в котором он несколько недель ощупью искал дорогу. Он находился на знакомой территории и был готов принять любой вызов.

43

Почувствовав облегчение, почти удовлетворение, он спрыгнул с кровати, потянул за шнур звонка и приказал слуге, едва державшемуся на ногах спросонья, укладывать платье и провизию, поскольку он решил на рассвете в сопровождении своей дочери ехать в Гренобль. Затем он оделся и поднял с постелей всю прочую челядь.

Посреди ночи дом на улице Друат проснулся, и в нем забурлила жизнь. На кухне пылали очаги, по проходам шмыгали возбужденные служанки, вверх-вниз по лестницам носился личный слуга хозяина, в подвалах звенели ключи кладовщика, во дворе горели факелы, кучера выводили лошадей, другие вытягивали из конюшен мулов, взнуздывали, седлали, бежали, грузили — можно было подумать, что на город наступают, как в 1746 году, австро-сардинские орды грабителей, сметающие все на своем пути, и хозяин дома в панике готовится к побегу. Но ничего подобного! Хозяин дома спокойно и гордо, как маршал Франции, сидел за письменным столом в своей конторе, пил кофе с молоком и отдавал приказания сбивавшейся с ног челяди. Попутно он писал письма мэру и Первому Консулу, своему нотариусу, своему адвокату, своему банкиру в Марселе, барону де Бойону и различным деловым партнерам.

К шести часам утра он отправил корреспонденцию и отдал все необходимые для его планов распоряжения. Он положил за пазуху два дорожных пистолета, защелкнул пряжку на поясе с деньгами и запер письменный стол. Потом он пошел будить дочь.

В восемь утра маленький караван тронулся в путь. Впереди верхом ехал Риши, он великолепно смотрелся в своем камзоле цвета красного вина, с золотыми позументами, в черном английском плаще и черной шляпе с дерзким султаном из перьев. За ним следовала его дочь, одетая более скромно, но столь ослепительно красивая, что народ на улице и у окон не мог оторвать от нее глаз, в толпе раздавались благоговейные охи и ахи, и мужчины снимали шляпы — якобы перед Вторым Консулом, на самом же деле перед этой девушкой с осанкой королевы. За ней скромно следовала ее горничная, далее слуга Риши с двумя лошадьми под поклажей — использование кареты исключалось из-за скверного состояния гренобльского тракта,— замыкал кортеж десяток мулов, груженных всевозможными товарами, под надзором двух грумов. У заставы Дю-Кур стража взяла на караул и опустила ружья лишь тогда, когда последний мул проследовал сквозь ворота. Дети еще долго бежали за процессией, махали вслед каравану, медленно удалявшемуся по крутой, извилистой дороге.

На людей отъезд Антуана Риши с дочерью произвел странно глубокое впечатление. Им казалось, что они присутствовали при какой-то архаической церемонии жертвоприношения. Кругом только и было разговоров, что Риши уезжает в Гренобль, то есть в город, где с недавних пор орудует убивающий девушек монстр. Люди не знали, что об этом и думать. Чем объяснить поступок Риши? Предосудительным легкомыслием — или достойным восхищения мужеством? Был ли он вызовом или попыткой умилостивить богов? Но их томило смутное предчувствие, что красивую девушку с рыжими волосами они только что видели в последний раз. Они предчувствовали гибель Лауры Риши.

Это предчувствие сбылось, хотя оно и основывалось на совершенно ложных посылках. Дело в том, что Риши отправился вовсе не в Гренобль. Помпезный выезд был не чем иным, как финтом. В полутора милях к северо-востоку от Граса, неподалеку от деревни Сен-Валье, он приказал остановиться, вручил своему слуге полномочия и сопроводительное письмо и приказал доставить караван мулов в Гренобль; грумов он тоже отослал с караваном.

Сам же он с Лаурой и ее горничной повернул на Кабри, где устроил остановку на обед, и затем двинулся через горный перевал Таннерона на юг. Эта дорога была чрезвычайно тяжелой, но она позволяла обогнуть Грас и грасскую долину широким полукругом с запада и к вечеру незаметно достичь побережья... Риши планировал на следующий день перебраться с Лаурой на Леренские острова, на самом маленьком из которых находился хорошо укрепленный монастырь Сент-Оноре. Монастырское хозяйство вела горстка монахов, которые несмотря на старость еще вполне могли постоять за себя. Риши хорошо знал их, так как много лет подряд покупал и перепродавал всю монастырскую продукцию: эвкалиптовый ликер, семена пиний и кипарисовое масло. И именно там, в монастыре Сент-Оноре, который наряду с замком Иф и государственной тюрьмой на острове Сент-Маргерит считался самым надежным местом Прованса, он собирался на первых порах укрыть свою дочь. Сам же он немедленно вернется на побережье и обогнет Грас на этот раз с востока через Антиб и Канн, чтобы к вечеру того же дня попасть в Ванс. Он уже пригласил туда своего нотариуса, чтобы подписать соглашение с бароном де Бойоном о бракосочетании их детей — Лауры и Альфонса. Он хотел сделать Бойону предложение, которое тот не смог бы отклонить: уплата долгов барона в размере 40 000 ливров, приданое на ту же сумму, несколько земельных участков и маслобойня под Маганоском, ежегодная рента в размере 3000 ливров для молодой пары. Единственное условие Риши заключалось в том, чтобы контракт вступил в силу через десять дней и чтобы молодые сразу же после свадьбы переехали в Ванс.

Риши понимал, что такая поспешность несоразмерно поднимет размер платы за соединение его семьи с семьей этих Бойонов. Он заплатил бы много дешевле, будь у него время на выжидание. Пришлось бы тогда барону, как нищему, вымаливать у богатого купца согласие на эту сделку: ведь слава о красоте Лауры будет расти, как и богатство Риши, а Бойоны того и гляди совсем разорятся. Ну да ладно! Ведь его противником был не барон, а неизвестный убийца. Вот кому надо было испортить обедню. Замужняя женщина, потерявшая девственность и, может быть, беременная, уже не впишется в его изысканную галерею. Последняя клеточка этой мозаики останется пустой, Лаура потеряет для убийцы всякую ценность, его предприятие лопнет. И надо дать ему почувствовать горечь поражения! Риши хотел сыграть свадьбу в Грасе, с большой помпой при всем честном народе. И пусть он не знает и никогда не узнает своего противника, все же будет наслаждением сознавать, что тот присутствует при событии и собственными глазами видит, как желанную добычу уводят у него из-под носа.

План был рассчитан тонко. И мы снова должны изумиться чутью Риши — тому, как близко он подошел к разгадке истины. Ибо в самом деле брак Лауры Риши с сыном барона де Бойона означал бы полное поражение Грасского Убийцы Девушек. Но план еще не осуществился. Риши еще не спрятал Лауру, еще не доставил ее под спасительный надежный кров монастыря Сент-Оноре. Три верховых путника еще пробиваются через негостеприимный перевал Таннерона. Иногда дорога становится такой трудной, что всадники спешиваются. Все идет очень медленно. К вечеру они надеются достичь побережья около Ла Напули — маленького селения недалеко от Канна.

В тот момент, когда Лаура Риши со своим отцом покидала Грас. Гренуй находился на другом конце города в мастерской Арнульфи и мацерировал жонкилии. Он был один и в хорошем настроении. Его время в Грасе кончалось. Предстоял день триумфа. У него в хижине, в ящичках, проложенных ватой, лежали двадцать четыре миниатюрных флакона с каплями пролитой ауры двадцати четырех невинных девушек — драгоценные эссенции, добытые Гренуем в прошлом году путем холодного анфлеража тел, дигерирования волос и платья, лаважа и дистилляции. А двадцать пятую — самую роскошную, самую важную эссенцию — он получит сегодня. У него уже приготовлен тигелек с многократно очищенным жиром, кусок тончайшего полотна и баллон чистейшего спирта для этой последней добычи. Местность была разведана. Стояло новолуние.

Он знал, что усадьба на улице Друат хорошо охраняется и проникнуть в нее с помощью взлома не удастся. Поэтому он хотел пробраться туда еще в сумерках, до закрытия ворот, и под прикрытием отсутствия собственного запаха, которое как шапка-невидимка делало его незаметным для людей и животных, спрятаться в каком-либо углу дома. Позже, когда все уснут, он, следуя в темноте за компасом своего нюха, поднимется наверх, к своему сокровищу. Он обработает его тут же, на месте, завернув в пропитанную жиром простыню. Только волосы и платье он, как всегда, возьмет с собой, потому что эти части могут быть промыты прямо в винном спирте, что удобнее проделать в мастерской. Для конечной переработки помады и ее дистиллировки в концентрат ему понадобится еще одна ночь. И если все пойдет хорошо — а у него не было оснований сомневаться в том, что все пойдет хорошо,— тогда послезавтра он станет владельцем всех эссенций, необходимых для изготовления лучших в мире духов, и он покинет Грас как человек, пахнущий лучше всех на земле.

К обеду он покончил с жонкилиями. Он погасил огонь, закрыл котел с жиром и вышел из мастерской, чтобы проветриться. Ветер дул с запада.

Уже с первого вдоха он насторожился. В атмосфере было что-то не так, что-то не в порядке. В запахе города, в этом его одеянии, в его невидимом шлейфе, сотканном из многих тысяч нитей, не хватало золотой нити. За последние несколько недель эта благоухающая нить стала такой крепкой, что Гренуй явственно ощущал ее даже за городом, у своей хижины. Теперь она пропала, исчезла, ее нельзя было обнаружить обонянием. Гренуй словно окаменел от страха.

Она мертва, подумал он. Потом еще ужаснее: меня опередил другой. Другой сорвал мой цветок и присвоил себе аромат! Он не закричал, для этого его потрясение было слишком велико, но слезы набухли в уголках его глаз и вдруг хлынули потоком.

И тут явился к обеду Дрюо из «Четырех Дофинов» и между прочим рассказал, что сегодня утром Второй Консул с двенадцатью мулами и со своей дочерью отбыл в Гренобль. Гренуй сглотнул слезы и бросился бежать через весь город к заставе Дю-Кур. На площади у ворот он остановился и принюхался. И в чистом, не тронутом городскими запахами западном ветре он действительно снова обнаружил свою золотую нить, пусть тонкую и слабую, но ни с чем не сравнимую. Впрочем, любимый аромат доносился не с северо-запада, куда вела дорога на Гренобль, а скорее с юго-запада, с направления на Кабри.

Гренуй спросил у стражи, по какой дороге поехал Второй Консул. Один из сторожей показал на север. А не на Кабри? Может, он отправился к югу, на Орибо или Ла Напуль? Нет, конечно, сказал сторож, он видел это собственными глазами.

Гренуй ринулся назад, через город, к своей хижине, запихнул в заплечный мешок кусок полотна, горшок для помады, шпатель, ножницы

и маленькую гладкую дубинку из оливкового дерева и не мешкая отправился в путь — не по дороге в Гренобль, но по дороге, указанной ему нюхом: на юг.

Этот путь, прямой путь на Ла Напуль, вел вдоль отрогов Таннерона через речные рукава Фрайеры и Сианьи. Идти было легко. Грену́й быстро продвигался вперед. Когда справа возник пейзаж Орибо, словно повисшего на склонах гор, он учуял, что почти нагнал беглецов. Скоро он оказался на одной высоте с ними. Теперь он чуял каждого из них в отдельности, он даже различал на нюх их лошадей. Они, наверное, находились самое большее в миле от него, где-то в лесах Таннерона. Они держали путь на юг, к морю. Точно так же, как он.

Около пяти часов пополудни Грену́й пришел в Ла Напуль. Он нашел постоялый двор, поел и спросил насчет дешевого ночлега. Дескать, он — подмастерье дубильщика из Ниццы и идет в Марсель. Можно переночевать на конюшне, был ответ. Там он забрался в угол и выспался. Приближение трех верховых он почуял издалека. Теперь оставалось только ждать.

Через два часа — уже сильно смеркалось — они подъехали. Чтобы сохранить свое инкогнито, все трое переоделись. Обе женщины были в темных платьях и вуалях, Риши — в черном камзоле. Он выдавал себя за дворянина из Кастелланы; завтра он хочет переправиться на Леринские острова, пусть хозяин приготовит завтрак к рассвету. Есть ли в доме другие постояльцы? Нет, сказал хозяин, только подмастерье дубильщика из Ниццы, но он ночует на конюшне.

Риши отправил женщин в комнаты. Сам же заглянул на конюшню, чтобы взять кое-что из поклажи, как он сказал. Сначала он не смог найти подмастерья, и ему пришлось попросить конюха принести фонарь, тогда он заметил его в углу: подмастерье дубильщика лежал на соломе и старой попоне и крепко спал, положив под голову заплечный мешок. Он выглядел таким невзрачным и незаметным, что Риши на момент показалось, что его вообще нет, что это химера, причудливая тень, отброшенная колеблющимся светом свечи в фонаре. Во всяком случае, Риши тут же стало ясно, что от этого прямо-таки трогательного безобидного существа не исходит ни малейшей опасности, и он тихо удалился, чтобы не нарушить его сон, и вернулся в дом.

Он поужинал вместе с дочерью в ее комнате. При отъезде он не объяснил ей цели их путешествия, не сделал этого и теперь, хотя она и просила его об этом. Завтра он посвятит ее во все, сказал он, и она может не сомневаться, что все, что он планирует и делает, направлено к ее благу и в будущем принесет ей счастье. После ужина они сыграли несколько партий в ломбер, и он все проиграл, потому что не смотрел в свои карты, а любовался красотой ее лица. Около девяти он проводил ее в ее комнату, расположенную напротив его комнаты, и запер дверь снаружи. Потом и сам он лег спать.

Он вдруг почувствовал страшную усталость — сказалось напряжение тяжелого дня и предыдущей ночи, но в то же время он был доволен собой и ходом вещей. Без малейшей озабоченности, без мрачных предчувствий, терзавших его бессонницей вплоть до вчерашнего дня каждый раз, когда он гасил лампу, он тут же заснул и спал без сновидений, без стонов, без судорожных вздрагиваний или нервозного переворачивания с одного бока на другой. Впервые за долгое время Риши обрел глубокий, спокойный сон.

В то же время Грену́й поднялся со своей подстилки в конюшне. Он тоже был доволен собой и ходом вещей и чувствовал себя вполне отдохнувшим, хотя не спал ни секунды. Когда Риши заходил на конюшню, он только притворялся спящим, чтобы сделать еще нагляднее то впечатление безвредности, которое уже сам по себе внушал его «невзрачный» запах. Он-то воспринял Риши чрезвычайно остро, то есть нюхом, и от него отнюдь не укрылось облегчение, испытанное Риши при виде его.

Таким образом, в момент их краткой встречи оба они убедились в безобидности друг друга, и, по мнению Гренуя, это было хорошо, ибо его мнимая безобидность и действительная безобидность Риши облегчали дело для него, Гренуя. Впрочем, Риши был совершенно того же мнения о положении собственных дел.

45

Гренуй приступил к делу с профессиональной осмотрительностью. Он открыл мешок, вынул оттуда кусок полотна, помаду и шпатель, расстелил полотно на попоне, на которой лежал, и начал обмазывать его жирной пастой. Эта работа требовала времени, потому что жир следовало наносить неравномерно — где более тонким, где более густым слоем, в зависимости оттого, на какое место тела придется та или иная часть полотна. Рот и подмышки, грудь, половой орган и ступни выделяют больше аромата, чем, например, голени, спина или локти; внутренние стороны ладони — больше, чем тыльные; брови — больше, чем ресницы, и т. д.— и соответственно для них нужно больше жира. Так что Гренуй одновременно моделировал на полотне ароматическую диаграмму подлежащего обработке тела, и эта часть работы доставляла ему, собственно говоря, наибольшее удовлетворение, ибо речь шла о некой артистической технике, занимавшей в равной мере органы чувств, фантазию и руки и, кроме того, позволявшей предвкушать наслаждение от ожидаемого конечного результата.

Израсходовав весь горшочек помады, он нанес несколько завершающих штрихов — где-то положил слой жира погуще, где-то снял лишний жир, подретушировал и еще раз проверил смоделированный жиром ландшафт — впрочем, пользуясь носом, а не глазами, ибо все происходило в кромешной тьме, что было, возможно, лишним поводом для ровного и радостного настроения Гренуя. В эту ночь новолуния ничто не отвлекало его. В мире не было ничего кроме запаха да, пожалуй, шума прибоя, доносящегося с моря. Он был в своей стихии. Потом он сложил полотно, как складывают кусок обоев, чтобы обмазанные жиром поверхности приходились друг на друга. Для него это было болезненной операцией, ибо он хорошо знал, что при всей осторожности части смоделированных контуров из-за этого смажутся и сдвинутся. Но у него не было другой возможности перенести полотно. Сложив его так, чтобы можно было без больших затруднений взять его под мышку, он положил в карман шпатель и ножницы, захватил оливковую дубинку и прокрался во двор.

Небо было затянуто тучами, дом погружен в темноту. Единственная искра в этой кромешной тьме мерцала на востоке: маяк форта на острове Сент-Маргерит, расположенный в миле от Ла Напули, напоминал сверкающую булавочную головку на черном, как вороново крыло, покрывале. С бухты дул легкий ветер, доносивший запах рыбы. Собаки спали.

Гренуй подошел к сараю с зерном, к стене которого была приставлена лестница. Он захватил свободной правой рукой три перекладины, приподнял лестницу, удерживая ее в вертикальном положении и оперев на правое плечо выступающую часть, перенес через двор к ее окну. Окно было приоткрыто. Поднимаясь по перекладинам наверх, как по удобным ступеням, он поздравил себя с тем обстоятельством, что имеется возможность собрать урожай аромата этой девушки здесь, в Ла Напули. В Грасе, где окна были зарешечены, а дом строго охранялся, все было бы намного труднее. Здесь она даже спала одна. Ему не придется избавляться от служанки.

Он открыл створку окна, проскользнул в комнату и положил на пол сложенную простыню. Потом повернулся к кровати. Аромат ее волос доминировал, так как она лежала на животе, уткнув в подушку обрамленное сгибом руки лицо, и ее затылок был прямо-таки идеально подставлен под удар дубинки.

Звук удара был глухим и скрипучим. Он ненавидел его. Он ненавидел его уже потому, что это был шум, шум в его бесшумном деле. Лишь стиснув зубы, он смог вынести этот отвратительный звук, и когда звук затих, он еще некоторое время стоял в застывшей и горькой позе, судорожно сжимая рукой дубинку, словно боясь, что звук может возвратиться откуда-то, как эхо. Но звук не возвратился, а в комнате снова воцарилась тишина, даже более глубокая тишина, ибо ее уже не нарушало захлебывающееся дыхание девушки. И только тогда Грену́й изменил позу (которую можно было бы истолковать как почтительную или как что-то вроде судорожной минуты молчания), и его тело обмякло и расслабилось.

Он отставил в сторону дубинку и со всей старательностью принялся за дело. Сначала он расправил принесенное полотно и расстелил его чистой стороной на столе и стульях, следя за тем, чтобы не коснуться жирной стороны. Роскошный аромат девушки, который вдруг хлынул из нее теплой густой волной, на этот раз не растрогал его. Он ведь был ему знако́м, а наслаждаться до опьянения он будет позже, после того как действительно им завладеет. Теперь надо было собрать его как можно больше, упустить его как можно меньше, теперь от него требовались сосредоточенноть и проворство.

Ловкими движениями ножниц он взрезал ночную сорочку, вынул из нее девушку, схватил простыню и набросил ее на обнаженное тело. Потом приподнял тело, пропустил под ним свисающую часть полотна и завернул в ткань — так булочник сворачивает рулет,— сложил концы и забинтовал ее как мумию — с головы до пят. Незабинтованными остались только волосы. Он обрезал их как можно ближе к коже и упаковал в ночную сорочку, завязав ее в узел. Затем он прикрыл стриженый череп свободным куском полотна и разгладил перекинутый конец бережным нажатием пальцев. Он проверил весь пакет. В нем не было ни единой шелочки, ни одной дырочки, ни одной нерасправленной складочки, откуда мог бы просочиться аромат. Девушка была упакована великолепно.

Больше делать было нечего. Оставалось только ждать, ждать шесть часов — до рассвета.

Он взял маленькое кресло, на котором лежало ее платье, поставил его у постели и сел. В широком черном одеянии еще держалось нежное дуновение ее аромата, смешанного с запахом анисовых лепешек, которые она сунула в карман перед дорогой. Он положил ноги на край ее постели у ее ног, прикрылся ее платьем и съел анисовые лепешки. Он устал. Но спать он не хотел, так как спать за работой не подобало, даже если работа состояла только из ожидания. Он вспомнил ночи, когда он занимался отгонкой в мастерской Бальдини; покрытый сажей перегонный куб, пылающий огонь, легкий, призрачный звук капель дистиллята, ударяющихся о дно флорентийской фляги. Время от времени приходилось следить за огнем, доливать воду, подставлять новые флорентийские фляги, заменять выдохнувшуюся массу дистиллируемого материала. И все-таки ему всегда казалось, что спать нельзя. Не потому, что надо выполнять те или иные очередные операции, но потому, что бодрствование имеет свой собственный смысл. Даже здесь, в комнате постоялого двора, где процесс анфлераж происходил сам по себе, даже больше того — где несвоевременная проверка, переворачивание и возня вокруг благоухающего свертка могли оказаться только помехой,— даже здесь, как казалось Грену́ю, его неусыпное присутствие играло важную роль. Сон мог бы спугнуть духа удачи.

Впрочем, несмотря на усталость ему не было трудно бодрствовать и ждать. Это ожидание он любил. И все двадцать четыре раза с другими девушками ему нравилось такое ожидание — не отупляющая тоска по прошлому и не страстное нетерпение — но осмысленное, заботливое, в известной степени действенное ожидание. Во время такого ожидания что-то происходило. Происходило самое существенное. И даже если он

не совершал этого сам, оно совершалось благодаря ему. Он сделал все, что от него зависело. Он проявил все свое искусство. Не допустил ни единой ошибки. Его деяние было единственным и неповторимым. Оно увенчается успехом... Ему оставалось только несколько часов подождать. Оно давало ему глубочайшее удовлетворение, это ожидание. Никогда в жизни он не чувствовал себя так хорошо, так покойно, так уравновешенно, не чувствовал такого единения с самим собой — даже тогда, в своей горе,— как в эти часы требуемого ремеслом перерыва, когда он сидел глубокой ночью около своих жертв и не смыкая глаз ждал. Только в такие моменты в его мрачном мозгу возникали почти веселые мысли.

Странным образом эти мысли не были устремлены в будущее. Он думал не об аромате, который добудет через несколько часов, не о духáх из двадцати пяти девичьих аур, не о планах на будущее, не о счастье и не об успехе. Нет, он вспоминал прошлое. Он вызывал в памяти остановки на своем жизненном пути — от дома мадам Гайар и влажной прогретой солнцем поленницы дров перед этим домом до его сегодняшнего путешествия в маленький, пропахший рыбой поселок Ла Напуль. Он вспоминал дубильщика Грималя, Джузеппе Бальдини, маркиза де ла Тайад-Эспинасса. Он вспоминал город Париж, его огромные, переливающиеся тысячами оттенков смрадные испарения, рыжеволосую девушку с улицы Марэ, свободные просторы земли, слабый ветер, леса. Он вспоминал и гору в Оверни — он отнюдь не избегал этого воспоминания,— свою пещеру, воздух без человеческого запаха. Он вспоминал и свои сны. И он вспоминал обо всех этих вещах с большим удовольствием. Да, оглядываясь назад, он думал, что счастье было к нему особенно благосклонно и что судьба вела его пусть запутанным, но в конечном счете верным путем,— а иначе разве мог бы он очутиться здесь, в этой темной комнате, у цели своих стремлений? Он, если хорошо поразмыслить,— воистину благословенная личность!

Он совсем расчувствовался в приливе смирения и благодарности. «Я благодарю тебя,— тихо сказал он,— я благодарю тебя, Жан-Батист Гренуй, что ты таков, каков есть!» Настолько он был в восхищении от самого себя.

Потом он прикрыл глаза — не для того чтобы заснуть, а чтобы полностью предаться умиротворению этой Святой Ночи. Мир наполнял его сердце. Но ему казалось, что и вокруг него царит мир. Он обонял мирный сон служанки в соседней комнате, глубокий, умиротворенный сон Антуана Риши в комнате напротив, он обонял мирную дрему хозяина и слуг, собак, животных в стойлах, всего местечка и моря. Ветер улегся. Все было тихо. Ничто не нарушало мира.

Один раз он отодвинул ногу в сторону и очень мягко коснулся ноги Лауры. Собственно, не ноги, а как раз полотна, которое ее укрывало, с тонким слоем жира на изнанке, который впитывал ее аромат, ее — его! — царственный аромат.

46

Когда запели птицы — то есть задолго до рассвета,— он поднялся и закончил работу. Он развернул полотно и стащил его, как пластырь, с мертвой. Жир хорошо сходил с кожи. Только в углубленных местах еще оставались небольшие сгустки, которые ему пришлось собирать шпателем. Остальные потеки помады он вытер нижней сорочкой Лауры, которой напоследок вытер все тело с головы до ног так тщательно, что извлек мельчайшие капли жира даже из пор ее кожи и вместе с ними последние ниточки и обрывочки ее аромата. Теперь она была для него действительно мертвой, увядшей, блеклой и дряблой, как цветочные отходы.

Он бросил нижнюю сорочку в большое ароматизированное полотно, в котором только она и продолжала жить, положил туда же ночную рубашку с ее волосами и свернул все в маленький тугой пакет, уместившийся у него под мышкой. Он не дал себе труда прикрыть труп на постели. И хотя чернота ночи уже превратилась в серую синеву рассвета

и вещи в комнате начали обретать контуры, он больше не взглянул на ее постель, чтобы хоть раз в жизни увидеть ее глазами. Ее фигура не интересовала его. Она больше не существовала для него как тело, а только как не имеющий тела аромат. А его он держал под мышкой и уносил с собой.

Он тихо вспрыгнул на подоконник и спустился по приставной лестнице вниз. На дворе снова поднялся ветер, небо прояснилось и разливало над землей холодный темно-синий свет. Через полчаса одна из служанок развела огонь в кухонном очаге. Выйдя во двор за дровами, она заметила прислоненную лестницу, но не сделала никаких выводов, так как была еще слишком сонной. Вскоре после шести взошло солнце. Огромное, цвета червонного золота, оно поднялось из моря между обоими Леринскими островами. На небе не было ни облачка. Начинался сияющий весенний день.

Риши, чья комната выходила на запад, проснулся в семь. Впервые за много месяцев он отлично выспался и, против обыкновения, еще четверть часа нежился в постели, потом блаженно потянулся, и вздохнул, и прислушался к приятным звукам, доносившимся из кухни. Тогда он встал, и настежь открыл окно, и увидел, что на дворе прекрасная погода, и вдохнул свежий пряный утренний воздух, и услышал шум прибоя, и его хорошее настроение стало совсем безудержным, и он, сложив губы трубочкой, засвистел какой-то веселый мотив.

Одеваясь, он продолжал свистеть и все еще свистел, выходя из комнаты, и быстрым шагом пересекая коридор, и подходя к двери комнаты своей дочери. Он постучал. И снова постучал, совсем тихо, чтобы не испугать ее. Ответа не было. Он улыбнулся. Он решил, что она еще спит.

Он осторожно вставил в скважину ключ и повернул ручку, тихо, совсем тихо, чтобы не спугнуть ее, почти желая застать ее спящей, чтобы разбудить ее поцелуем, еще раз, последний раз, прежде чем придется отдать ее другому мужчине.

Дверь отворилась, он вошел, и солнечный свет ударил ему в лицо. Комната была словно залита расплавленным серебром, все сияло, и от боли ему пришлось на мгновение прикрыть глаза.

Открыв их снова, он увидел лежащую на постели Лауру — голую и мертвую, остриженную наголо и ослепительно белую. Это было как в кошмарном сне, который он видел прошлой ночью в Грасе — и забыл, а теперь этот кошмар, словно удар молнии, возник в его памяти. Все вдруг стало в точности, как в том сне, только немного ярче.

47

Новость об убийстве Лауры Риши так быстро разнеслась по окрестностям Граса, словно кто-то объявил: «Король умер!», или: «Война!», или: «Пираты высадились на берег!» — и вызвала подобный же или еще более панический ужас. В мгновение ока вернулся старательно забытый страх, столь же заразительный, как прошлой осенью, со всеми его побочными явлениями: паникой, возмущением, яростью, истерическими подозрениями, отчаянием. По ночам люди оставались в домах, запирали своих дочерей, баррикадировались, не доверяли друг другу и лишались сна. Каждый думал, что теперь все повторится, как тогда: каждую неделю будет совершаться убийство. Казалось, время отодвинулось на полгода назад.

Страх был еще более парализующим, чем полгода назад, ибо внезапное возвращение опасности, которую считали давно преодоленной, распространяло среди людей чувство беспомощности. Если не помогло проклятие самого епископа! Если Антуан Риши, всесильный Риши, самый богатый житель города, Второй Консул, влиятельный, рассудительный человек, располагавший всеми средствами самозащиты, не смог уберечь свое собственное дитя! Если рука убийцы не дрогнула при виде небесной красоты Лауры — ибо она в самом деле казалась святой всем, кто ее знал, особенно теперь, когда она была мертва. Как же после

всего этого питать надежду на избавление от убийцы? Он был ужаснее чумы, потому что от чумы можно было убежать, а от этого убийцы — нельзя, как доказал пример Риши. Он явно обладал сверхъестественными способностями. Он, конечно, состоял в союзе с дьяволом, если не был самим дьяволом. И многим, прежде всего людям попроще, недалекого ума, осталось только одно — идти в церковь и молиться; каждое ремесленное сословие молилось своему патрону: слесари — святому Алоизу, ткачи — святому Криспину, садовники — святому Антонию, парфюмеры — святому Иосифу. И они брали с собой своих жен и дочерей, вместе с ними молились, ели и спали в церкви, не выходя из нее даже днем, уверенные, что обезопасить себя от чудовища (если вообще была еще какая-то безопасность!) они смогут только под защитой отчаявшейся общины прихожан и перед ликом Мадонны.

Другие, более сообразительные головы, сплачивались, поскольку церковь уже один раз оказалась бессильной, в оккультные группы, нанимали за большие деньги хорошо зарекомендовавшую себя ведьму из Гурдона, заползали в какой-нибудь из многочисленных гротов грасского подземелья и служили черные мессы, чтобы показать нечистому, что согласны ему поклоняться. Некоторые почтенные буржуа и образованные дворяне делали ставку на научные методы — магнетизировали свои дома, гипнотизировали своих дочерей, образовывали флюидальные тайные кружки в своих салонах и пытались путем совместной передачи мыслей на расстояние телепатически изгнать дух убийцы.

Церковные коллеги устраивали покаянные процессии из Граса в Ла Напуль и обратно. Монахи пяти монастырей города ввели круглосуточные богослужения с пением псалмов, так что то на одном, то на другом конце города слышались беспрерывные причитания — днем и ночью. Почти никто не работал.

Таким образом все население Граса пребывало в лихорадочном бездействии, почти с нетерпением ожидая следующего убийства. В том, что оно предстояло, не сомневался никто. И втайне каждый желал поскорее услышать жуткую новость в единственной надежде, что она коснется не его, а кого-то другого.

Однако власти в городе, округе и провинции на этот раз не заразились истерическим настроением народа. Впервые с тех пор, как Убийца Девушек заявил о себе, началось планомерное и разветвленное сотрудничество городских властей Граса, Драгиньяна и Тулона на уровне магистратов, полиции, Интенданта, парламента и морского флота.

Причиной такой солидарности сильных мира сего было, с одной стороны, опасение всеобщего народного восстания, с другой же стороны, тот факт, что с момента убийства Лауры Риши появились отправные точки, позволявшие наконец начать систематическое преследование убийцы. Убийцу видели. Речь несомненно шла о том подозрительном подмастерье дубильщика, который в роковую ночь находился на конюшне постоялого двора в Ла Напули, а наутро бесследно исчез. Хозяин, конюх и Риши согласно свидетельствовали, что это был невзрачный, малорослый человек в коричневатой куртке с холщовым заплечным мешком. Хотя в остальном показания этих трех свидетелей были странно расплывчатыми и они не смогли описать, например, черты лица, цвет волос или речь этого человека, хозяин постоялого двора все же припомнил, что, если он не ошибается, в повадке и походке незнакомца обращало на себя внимание что-то неуклюжее, словно у него была когда-то сломана голень или изуродована ступня.

Снабженные этими приметами, два верховых отряда береговой охраны примерно в полдень того же дня, когда произошло убийство, начали преследование в направлении на Марсель — один вдоль побережья, другой — по дороге в глубь провинции. Ближайшие окрестности Ла Напули было приказано прочесать добровольцам. Двое уполномоченных грасского суда отправились в Ниццу, чтобы там навести справки о подмастерье дубильщика. Во Фрежю, в Канне и Антибе подверглись до-

смотру все выходящие в море суда, все дороги в Савой были перекрыты, у путешественников требовали документы, удостоверяющие личность. Гончий лист с описанием преступника вручался всем, кто умел читать, у всех городских ворот Граса, Ванса, Гурдона и у церковных дверей в деревнях. Трижды в день его зачитывали на площадях глашатаи. Правда, упоминание о хромоте усиливало подозрение, что преступником был сам дьявол, и скорее сеяло панику, чем помогало сбору достоверных сведений.

Лишь после того, как председатель грасского суда от имени Риши пообещал за сведения о преступнике не мене двухсот ливров вознаграждения, в Грасе, Опио и Гурдоне было задержано по доносам несколько подмастерьев, из коих один в самом деле имел несчастье быть хромоногим. Его уже собирались, несмотря на подтвержденное многими свидетелями алиби, подвергнуть пыткам, но тут, на десятый день после убийства, в мэрию обратился один человек из городской стражи и сделал судьям следующее заявление: в полдень того самого дня, когда он, Габриэль Тальяско, капитан стражи, как обычно нес службу у заставы Дю-Кур, к нему обратился некий субъект, который, как ему теперь кажется, вроде бы отвечает описанию примет в гончем листе; субъект этот несколько раз настойчиво спрашивал, по какой дороге уехал из города ут-

ром Второй Консул со своим караваном. Капитан не придал этому случаю никакого значения ни тогда, ни позже и наверняка ни за что не припомнил бы этого субъекта — уж больно он невзрачный,— если бы случайно не встретил его, причем здесь, в Грасе, на улице де-ла-Лув, перед ателье мэтра Дрюо и мадам Арнульфи; и на этот раз ему бросилось в глаза, что этот человек, входя в мастерскую, заметно прихрамывал.

Через час Гренуй был арестован. Хозяин постоялого двора в Ла Напули и его конюх, еще прежде вызванные в Грас для опознания других задержанных, сразу же узнали ночевавшего у них подмастерья дубильщика: это он, и никто другой, заявили они, это и есть разыскиваемый убийца.

Обыскали мастерскую, обыскали хижину в оливковой роще за францисканским монастырем. В углу, почти на виду, лежали разрезанная ночная рубашка, нижняя сорочка и рыжие волосы Лауры Риши. А когда вскопали земляной пол, одно за другим обнаружились платья и волосы остальных двадцати четырех жертв. Нашлась дубинка — орудие преступления и холщовый заплечный мешок. Улики произвели потрясающее впечатление. Было приказано звонить в колокола. Председатель суда велел расклеить объявления и оповестить народ через глашатаев, что пресловутый Убийца Девушек, которого ловили почти год, наконец схвачен и посажен в тюрьму под строгий надзор.

Сначала люди не поверили этому оповещению. Они считали, что это трюк, которым власти пытаются прикрыть свою беспомощность, чтобы успокоить назревающее в народе волнение. Все еще слишком хорошо помнили время, когда говорили, что убийца убрался в Гренобль. На этот раз страх слишком глубоко въелся в души людей.

Только на следующий день, когда на соборной площади перед зданием суда были выставлены на всеобщее обозрение улики — жутко было глядеть на эти двадцать пять одеяний и двадцать пять пучков волос, насаженные, как пугала, на жерди и расставленные в ряд,— только тогда общественное мнение всколыхнулось.

Многие сотни людей медленно продефилировали мимо этой чудовищной галереи. Родственники жертв, узнававшие платья, с криками падали в обморок. Остальная толпа, частью из любви к сенсациям, частью желая устранить сомнения, требовала показать убийцу. Вскоре выкрики стали такими громкими, волнение на маленькой площади, заливаемой толпами людей, таким угрожающим, что председатель суда решил-

ся: он приказал вывести Гренуя из камеры и показать его толпе из окна второго этажа.

Когда Гренуй подошел к окну, толпа умолкла. Внезапно стало совсем тихо, как тихо бывает в жаркий полдень, когда все уходят на работу в поля или забираются в тень домов. Не было слышно ни шарканья ног, ни шороха, ни вдоха. Целую минуту толпа стояла раскрыв глаза и рот. Никто не мог постичь, что этот хилый, маленький, согбенный человек, стоявший там, в окне, что этот червячок, эта горстка праха, это ничтожество совершило две дюжины убийств. Он просто не был похож на убийцу. Правда, никто не мог бы сказать, как он, собственно, представлял себе убийцу — этого дьявола,— но в одном все были единодушны: не так! И все же — хотя убийца совершенно не соответствовал представлениям людей и потому его наглядная демонстрация, казалось бы, должна была быть малоубедительной — уже само появление этого человека в окне и то обстоятельство, что именно он, и никто другой был показан как убийца, парадоксальным образом оказало убеждающее воздействие. Все подумали: не может быть, это неправда! — и в тот же момент поняли, что это должно быть правдой.

Разумеется, как только сторожа оттащили человечка назад, в темноту комнаты, как только он перестал быть присутствующим и видимым, но еще, пусть на кратчайшее время, продолжал оставаться воспоминанием, чуть ли не символом мерзкого убийцы в мозгах людей — ошеломление толпы схлынуло, уступив место подобающей случаю реакции: заработали языки, тысячи глаз снова оживились. И тогда все крики слились в один-единственный громовой раскат гнева и мести: «Отдайте его нам!» И они бросились штурмовать здание суда, чтобы собственными руками задушить его, разорвать, разодрать в клочки. Страже с огромным трудом удалось забаррикадировать ворота и оттеснить беснующуюся толпу. Гренуя немедленно увели в его застенок. Председатель подошел к окну и обещал, что суд будет скорым и беспощадным. Тем не менее понадобилось еще несколько часов, чтобы разошлась толпа, и еще несколько дней, чтобы хоть немного успокоился город.

Действительно, процесс против Гренуя продвигался чрезвычайно быстро, ибо в деле имелись неопровержимые улики, да и сам обвиняемый на допросах без обиняков признался в совершении убийств, в которых его обвиняли.

Только на вопрос о мотивах преступлений он не сумел дать удовлетворительного ответа. Он лишь повторял, что девушки были ему нужны и поэтому он их убивал. Зачем они были ему нужны и что это вообще значило, что они «были ему нужны»,— об этом он молчал.

Тогда его подвергли пыткам, на несколько часов подвесили за ноги, влили в него семь пинт воды, надели испанские сапоги — без малейшего успеха. Этот человек казался нечувствительным к телесной боли, он не проронил ни звука и на повторный вопрос все так же отвечал: «Они мне были нужны». Судьи сочли его умалишенным. Они прекратили пытки и решили как можно скорее, без дальнейших допросов, закончить процесс.

Единственная небольшая оттяжка была вызвана юридической перебранкой с мэрией Драгиньяна, в подчинении которой находилась Ла Напуль, и парламентом в Эксе, поскольку и Драгиньян и Экс желали присвоить процесс себе. Но грасские судьи не позволили отнять у себя это дело. Они, и никто другой, схватили преступника, в сфере их юрисдикции было совершено преобладающее большинство убийств, и им угрожал взрыв народного гнева, если бы они передали убийцу другому суду. Его кровь должна была пролиться в Грасе.

15 апреля 1766 года приговор был вынесен и зачитан обвиняемому в его камере. «Подмастерье парфюмера Жан-Батист Гренуй,— гласил приговор,— должен быть в течение сорока восьми часов выведен за заставу Дю-Кур и там, лицом к небу, привязан к деревянному кресту и ему будет нанесено двенадцать ударов железным прутом по живому телу, каковые удары раздробят ему суставы рук, ног, бедер и плечей, после

чего он останется прикрученным к кресту до его смерти». На этот раз палачу было категорически запрещено оказывать преступнику обычную милость — удушение ниткой после раздробления суставов,— даже если предсмертные мучения будут продолжаться несколько дней. Затем труп следовало закопать на живодерне, а место не отмечать.

Грену́й никак не отреагировал на приговор. Служащий суда спросил, есть ли у него последнее желание. «Нет»,— сказал Грену́й; у него было все что нужно.

В камеру вошел священник, чтобы исповедовать Гренуя, но уже через четверть часа вышел оттуда, не выполнив своей миссии. Приговоренный при упоминании имени Господа взглянул на него абсолютно отрешенно, словно только что услышал это имя впервые, а потом растянулся на своих нарах, чтобы тотчас же погрузиться в глубочайший сон. Дальнейшие увещевания, сказал священник, не имели бы смысла.

В течение двух следующих дней приходило множество людей, чтобы поглядеть на знаменитого убийцу вблизи. Сторожа позволяли им заглянуть в камеру через глазок в двери, и за каждый взгляд брали шесть сольди. Один гравер по меди, который хотел сделать набросок, был вынужден заплатить им шесть франков. Но рисунок скорее разочаровывал. Заключенный, прикованный цепями за запястья и лодыжки, все время лежал на своих нарах и спал. Он отвернулся лицом к стене и не реагировал ни на стук, ни на окрики. Вход в камеру посетителям был строго воспрещен, и сторожа, несмотря на соблазнительные предложения, не рисковали нарушить этот запрет. Опасались, что заключенный может быть преждевременно убит кем-нибудь из близких его жертв. По той же причине ему не передавали от посетителей еды. Она могла бы оказаться отравленной.

Все время пребывания в тюрьме Грену́й получал еду из кухни для челяди епископского дворца, и главный надзиратель обязан был снимать с нее пробу. Впрочем, последние два дня он вообще не ел. Он лежал и спал. Время от времени его цепи позванивали, и когда сторож кидался к глазку, он успевал увидеть, что Грену́й делал глоток из фляжки с водой, снова валился на нары и засыпал. Казалось, что человек этот так устал от своей жизни, что не желает проводить в состоянии бодрствования даже ее последние часы.

Между тем лобное место у заставы Дю-Кур было подготовлено для казни. Плотники сколотили эшафот двухметровой высоты, с трехметровыми сторонами помоста, с перилами и прочной лестницей — такого великолепного в Грасе еще никогда не бывало. Кроме того, они соорудили деревянную трибуну для почетных гостей и ограду, чтобы удерживать на расстоянии простонародье. Места у окон в домах слева и справа от заставы Дю-Кур и в здании городской стражи давно были сданы внаем по бешеным ценам. Даже в богадельне, расположенной несколько наискосок, подручный палача снял на время у больных их комнаты и с большой выгодой пересдал их любопытствующим взглянуть на казнь. Продавцы лимонада кувшинами запасали лакричную воду, гравер отпечатал несколько сотен экземпляров портрета убийцы, сделанного в тюрьме и весьма приукрашенного полетом фантазии, бродячие торговцы дюжинами стекались в город, пекари пекли памятные пряники.

Палач, мсье Папон, которому уже много лет не приходилось совершать казни через раздробление суставов, заказал у кузнеца тяжелый четырехгранный железный прут и ходил с ним на бойню, чтобы поупражняться в ударах на трупах животных. Он имел право нанести только двенадцать ударов, и этими двенадцатью ударами должны были быть наверняка раздроблены двенадцать суставов, но при этом не повреждены ценные части тела, например, грудь или голова — сложная задача, требовавшая величайшей чувствительности пальцев.

Жители города готовились к этому событию как к торжественному празднику. То, что день будет нерабочим, было понятно само собой. Женщины наглаживали свои воскресные наряды, мужчины выколачи-

вали пыль из сюртуков и курток и до блеска начищали сапоги. Те, кто имел военный чин или занимал должность, был цеховым мастером, адвокатом, нотариусом, главой братства или еще чем-то значительным, надевал мундир или мантию, ордена, шарфы, цепи и белый как мел пудреный парик. Верующие предполагали post festum[1] собраться в церкви для богослужения, поклонники сатаны — устроить пышную благодарственную мессу Люциферу, образованная знать — отправиться на магнетические сеансы в отели Кабри, Вильнева и Фонтмишеля. В кухнях уже вовсю пекли и жарили, из подвалов несли вино, с рынков — цветы для украшения столов, в соборе репетировали органист и церковный хор.

В доме Риши на улице Друат было тихо. Риши запретил себе всякую подготовку ко Дню освобождения, как назвали в народе день казни. Ему все было отвратительно. Отвратителен внезапно воскресший ужас людей, отвратительно их лихорадочное предвкушение радости. И сами они, эти люди, все вместе, были ему отвратительны. Он не участвовал ни в представлении преступника и его жертв на соборной площади, ни в процессе, ни в омерзительном променаде зевак перед камерой осужденного. Для опознания волос и платья своей дочери он пригласил членов суда к себе домой, кратко и сдержанно дал свои показания и попросил оставить ему эти вещи в качестве реликвий, что и было сделано. Он отнес их в горницу Лауры, положил разрезанную ночную рубашку и нижнюю сорочку на ее кровать, распустил по подушке ее рыжие волосы, сел перед кроватью и больше не отходил от нее, словно эта бессменная вахта могла восполнить то, чего он не сделал в ту ночь в Ла Напули. Он был так полон отвращения, отвращения к миру и к самому себе, что не мог плакать.

И к убийце он испытывал отвращение. Он не желал больше видеть в нем человека, но только жертву, обреченную на заклание. Он увидит его только в момент казни, когда тот будет лежать на кресте и на него обрушатся двенадцать ударов, вот когда он его увидит, увидит его совсем вблизи, он оставил за собой место в самом первом ряду. И когда народ разойдется, через несколько часов, тогда он поднимется к нему на окровавленный эшафот, и сядет рядом, и будет нести вахту целыми днями и ночами, если понадобится, и смотреть ему в глаза, этому убийце своей дочери, и по капле будет вливать в его глаза, вливать в его агонию все свое отвращение как едкую кислоту, пока эта гадина не сдохнет...

А потом? Что он сделает потом? Он не знал этого. Может быть, он вернется к привычной жизни, может быть, женится, может быть, зачнет сына, может быть, не сделает ничего, может быть, умрет. Ему это было совершенно безразлично. Думать об этом казалось ему столь же бессмысленным, как думать о том, что делать после смерти: разумеется, ничего, о чем он мог бы знать уже теперь.

49

Казнь была назначена на пять часов пополудни. Уже утром пришли первые любители зрелищ и обеспечили себе места. Они принесли с собой стулья и скамейки, подушки для сидения, провизию, вино и привели своих детей. Когда ближе к полудню со всех сторон к городу начали стекаться толпы сельского люда, на площади у заставы Дю-Кур уже было так тесно, что новоприбывшим пришлось располагаться на полях и в садах, разбитых террасами на склонах плато, и вдоль дороги на Гренобль. Бродячие торговцы уже развернулись вовсю, люди ели, пили, кругом стоял шум и смрад, как на ярмарке. Вскоре собралось тысяч десять народу, больше чем на праздник Королевы Жасмина, больше чем на самый большой крестный ход, больше чем когда-либо вообще собиралось в Грасе. Люди усыпали все склоны. Они залезали на деревья, они карабкались на стены и крыши, они десятками, дюжинами теснились в

[1] После праздника *(лат.)*.

проемах окон. Лишь в центре площади, за барьером ограждения, словно вырезанное ножом из теста человеческой толпы, еще оставалось свободное место для трибуны и эшафота, который вдруг стал совсем маленьким, как игрушка или сцена кукольного театра. И еще оставался свободным узкий проход от места казни к заставе Дю-Кур и на улице Друат.

Примерно в три часа появились мсье Папон и его подручные. Их встретили одобрительным гулом. Они подтащили к эшафоту сбитый из бревен крест и установили его на четырех тяжелых плотницких козлах, подобрав подходящую для работы высоту. Подмастерье плотника прибил его к козлам. Каждое действие подручных палача и плотника толпа сопровождала аплодисментами. А когда после этого к эшафоту приблизился Папон с железным прутом, обошел крест со всех сторон, отмерил число своих шагов и стал то с одной, то с другой стороны наносить воображаемые удары, разразилась настоящая овация.

Около четырех начала заполняться трибуна. Явилось много благородных господ, богачей с лакеями и прекрасными манерами, красивых дам, больших шляп, блестящих туалетов — было на что полюбоваться. Собралась вся знать города и провинции. Прошли на свои места члены Городского совета, держась сомкнутым строем, во главе с обоими консулами. Риши был в черном, в черных чулках, в черной шляпе. За Советом выступал магистрат под предводительством председателя суда. Последним появился епископ в открытых носилках, в сиянии фиолетового облачения и в зеленой камилавке. Те, кто еще не снял шляпу, поспешил хотя бы теперь обнажить голову. Торжественный момент приближался.

Потом минут десять не происходило ничего. Господа заняли места, народ замер, никто больше не ел, все ждали. Папон и его подручные стояли как вкопанные на сцене эшафота. Солнце, большое и желтое, висело над Эстерелью. Из грасской долины дул теплый ветер, доносивший аромат цветущих апельсиновых деревьев. Было жарко и прямо-таки невероятно тихо.

Наконец, когда уже казалось, что напряжение достигло предела и тишину вот-вот разорвет тысячеголосый вопль, свалка, драка или еще какое-нибудь событие в толпе, послышался топот копыт и скрип колес.

На улице Друат появилась запряженная парой карета, карета лейтенанта полиции. Она проехала через городские ворота и, видимая теперь всем, въехала в узкий проулок, который вел к месту казни. Лейтенант полиции настоял на таком способе доставки, так как думал, что иначе не сможет гарантировать безопасность преступника. Вообще-то это не было принято. Тюрьма находилась всего в пяти минутах от места казни, и если приговоренный по какой бы то ни было причине не мог преодолеть это расстояние пешком, то его привозили туда на открытой телеге, запряженной ослом. Чтобы кого-то везли на собственную казнь в богатом экипаже, с кучером, ливрейными лакеями и конным эскортом — такого еще никогда не бывало.

Несмотря на это, в толпе не возникло ни беспокойства, ни недовольства, напротив, все были довольны, что вообще что-то происходит, и восприняли экипаж как удачную идею, подобно тому как в театре благосклонно принимают известную пьесу в неожиданно новой постановке. Многие даже нашли уместным такой выход главного героя. Такому исключительно мерзкому преступнику полагалось исключительное обращение. Нельзя же его как заурядного разбойника тащить на площадь в цепях и бить батогами. В этом не было бы ничего сенсационного. То ли дело поднять его с мягкого сиденья богатого экипажа да подвести к кресту — в этом была куда более изобретательная жестокость.

Карета остановилась между эшафотом и трибуной. Лакеи спрыгнули с запяток, открыли дверцу и спустили маленькую откидную подножку. Вышел лейтенант полиции, за ним офицер охраны и наконец Гренуй. Он был в голубой куртке, белой рубашке, белых шелковых чулках

и черных туфлях с пряжками. Никаких оков на нем не было. Никто не вел его под руки. Он вышел из кареты как свободный человек.

И тогда произошло чудо. Или нечто вроде чуда, а именно нечто настолько непостижимое, неслыханное и невероятное, что все свидетели назвали бы это потом чудом, если бы они вообще еще когда-нибудь решились заговорить об этом, а они никогда не говорили, ибо все они позже стыдились признаться, что вообще были причастны к такому делу.

А дело было в том, что десять тысяч человек на площади у ворот и на окружающих склонах внезапно, в один миг, прониклись непоколебимой верой, что маленький человек в голубой куртке, только что вышедший из кареты, *никак не мог быть убийцей.* Не то чтобы они усомнились в его идентичности! Перед ними стоял тот самый человек, которого они несколько дней назад видели на соборной площади в окне суда и которого они, попадись он им тогда в руки, линчевали бы с бешеной ненавистью. Тот самый, которого два дня назад по закону приговорили к смерти на основании неопровержимых улик и собственного признания. Тот самый, чьего умерщвления палачом они страстно ждали всего минутой раньше. Это был он, несомненно он!

И все-таки не он, не мог он им быть, не мог он быть убийцей. Человек, стоявший на лобном месте, был воплощенная невинность. В тот момент это знали все — от епископа до продавца лимонада, от маркиза до маленькой прачки, от председателя суда до уличного мальчишки.

И Папон это знал. И его кулаки, сжимавшие железный прут, задрожали. Его сильные руки вдруг стали такими слабыми, колени такими мягкими, сердце таким пугливым, как у ребенка. Он не смог бы поднять этот прут, никогда в жизни у него не нашлось бы сил поднять его против маленького невинного человека, ах, он боялся того момента, когда его приведут сюда, наверх, он зарыдал, он был вынужден опереться на свой убийственный прут, чтобы не упасть от слабости на колени,— большой, сильный Папон!

И десять тысяч собравшихся мужчин, и женщин, и детей, и стариков испытывали то же самое: они стали слабыми, как маленькие девочки, неспособные устоять перед обаянием совратителя. Их захлестнуло мощное чувство влечения, нежности, безумной детской влюбленности, да, видит Бог, любви к маленькому злодею, и они не могли, не хотели ему сопротивляться. Это было как плач, от которого нет защиты, который поднимается из нутра, из живота и чудесным образом разлагает, разжижает, уносит прочь все, что ему сопротивляется. Люди как бы расплавились, их разум и душа растворились, превратились в аморфную, жидкую стихию и ощущали еще только комок сердца, безудержно колотящийся внутри, и они — каждый, каждая из них — вложили его на веки вечные в руки маленького человека в голубой куртке: они любили его.

Гренуй вот уже несколько минут стоял у открытой дверцы кареты и не двигался. Лакей, оказавшийся рядом с ним, опустился на колени и продолжал опускаться, пока не принял той распластанной позы, какую на востоке принимают перед султаном или Аллахом. И даже в этом положении он еще дрожал, и раскачивался, и стремился опуститься еще ниже, растечься по земле, под землей. Ему хотелось уйти под землю, просочиться в нее до другого конца света, из чистой преданности. Офицер охраны и лейтенант полиции, двое здоровенных мужчин, чьей задачей было отвести осужденного на эшафот и передать в руки палачу, потеряли координацию движений. Они заплакали и сняли шляпы, снова их надели, бросили их на землю, кинулись друг другу в объятия, расцепились, бессмысленно замахали руками в воздухе, начали заламывать себе руки, судорожно дергаться и гримасничать, как одержимые пляской святого Витта.

Находившиеся на некотором расстоянии почетные граждане предавались своему умилению еще более нескромно. Каждый дал полную волю своему сердцу. Были дамы, которые при виде Гренуя застонали от блаженства, засунув кулаки между колен; и другие, которые от страст-

ного влечения к царственному юноше — ибо таким он им казался,— не издав ни звука, попадали в обморок.

Были господа, которые вдруг взвились со своих сидений, и снова на них рухнули, и снова вскочили, оглушительно сопя и сжимая в руках рукояти шпаг, словно хотели вытащить их из ножен и, уже вытаскивая, снова совали их в ножны, так что стояли лязг и треск; были другие, молча устремлявшие глаза к небу и судорожно сжимавшие руки для молитвы; и монсеньор епископ, словно ему стало дурно, наклонившись всем телом вперед, уткнулся головой в колени, и зеленая камилавка кубарем слетела с его головы; при этом ему вовсе не было дурно, но впервые в жизни его обуял религиозный восторг, ибо на глазах у всех свершилось чудо: Господь Бог самолично удержал руку палача, явив ангельскую сущность того, кого свет принимал за убийцу,— довелось же такому произойти еще в восемнадцатом веке. Воистину, Господь велик! А сам ты мал и ничтожен, ибо предал ангела анафеме, не веруя в это, но лишь для успокоения народа! О, какая дерзость, какое маловерие! И вот Господь являет чудо! О, какое великое унижение, какое сладкое уничижение, какая благодать ниспосланы Господом епископу ради усмирения гордыни.

Между тем народ по ту сторону барьера предавался чувственному опьянению, которое охватило всех при появлении Гренуя. Тот, кто при виде его испытал лишь сострадание и умиление, теперь преисполнился вожделения, тот, кто испытал изумление и влечение, дошел до экстаза. Человек в голубой куртке предстал перед всеми самым прекрасным, самым привлекательным и самым совершенным существом, которое они могли только вообразить; монахиням он казался Спасителем во плоти, поклонникам сатаны — сияющим князем тьмы, людям просвещенным — Высшим Существом, девицам — сказочным принцем, мужчинам — идеальным образом их самих. Все чувствовали себя так, словно он угадал и нащупал у них самое чувствительное место, поразил их прямо в эротический центр. Как будто у этого человека было сто тысяч невидимых рук и как будто каждому из десяти тысяч окружавших его людей он возложил руку на половой орган и ласкал его именно тем способом, которого сильнее всего жаждал каждый в отдельности, мужчина или женщина, в своих самых сокровенных фантазиях.

В результате запланированная казнь омерзительнейшего преступника своего времени превратилась в величайшую вакханалию, какую видел мир со второго века от Рождества Христова: благонравные женщины раздирали на себе блузы, с истерическими криками обнажали грудь, высоко задрав юбки, кидались на землю. Мужчины с безумными взглядами, спотыкаясь, блуждали по этому полю сладострастно распростертой плоти, дрожащими пальцами вынимали из штанов отвердевшие как от невыносимого озноба члены, падали с хрипом куда придется, совокуплялись в самых немыслимых положениях и сочетаниях: старец с невинной девушкой, поденщик с супругой адвоката, мальчишка-подмастерье с монахиней, иезуит с франкмасонкой — все вперемешку, кому с кем придется. Воздух отяжелел от сладкого потного запаха похоти и наполнился криками, хрюканьем и стонами десяти тысяч бестий. Это был ад.

Гренуй стоял и улыбался. Более того, людям, которые его видели, казалось, что он улыбается самой невинной, самой ласковой, самой очаровательной и одновременно самой неотразимой улыбкой в мире. Но в действительности не улыбка, а гадкая, циничная ухмылка змеилась на его губах, отражая весь его триумф и все его презрение. Он, Жан-Батист Гренуй, рожденный без запаха в зловоннейшем месте мира, вышедший из отбросов, грязи и гнили, выросший без любви, переживший без душевной человеческой теплоты из одного упрямства и в силу отвращения, маленький, горбатый, хромой, уродливый, отринутый, физический и нравственный калека — он достиг того, что понравился миру! Мало того! Он любим! Почитаем! Обожаем! Он совершил прометеев подвиг. Божественную искру, которая с колыбели дается людям ни за что ни про что

и которой он, единственный в мире, был лишен, эту искру он добыл бесконечным изощренным упорством. Больше того! Он, в сущности, высек ее сам, в своем «я». Он был более велик, чем Прометей. Он создал себе ауру, такую сияющую и неотразимую, какой не обладал до него ни один человек. И он не обязан ею никому — никакому отцу, никакой матери и менее всего какому-то милосердному Богу,— но исключительно самому себе. Он в самом деле был своим собственным богом и богом более великолепным, чем тот, воняющий ладаном Бог, который ютился в церквах. Живой епископ валялся перед ним на коленях и визжал от удовольствия. Богатые и власть имущие, гордые господа и дамы умирали от восхищения, а окружавший его широким кольцом народ, в том числе отцы, матери, братья, сестры его жертв, праздновали оргию в его честь и во имя его. Ему достаточно кивнуть, и все отрекутся от Бога и будут молиться на него, Великого Гренуя.

Да, он был Великий Грену́й! Именно сейчас это стало ясно. Он был им, как когда-то в его самовлюбленных фантазиях, так и теперь — в действительности. В этот миг он пережил величайший триумф своей жизни. И он ужаснулся.

Он ужаснулся, ибо ни секунды не смог им насладиться. В этот момент, когда он вышел из камеры на залитую солнцем площадь, надушенный духами, которые внушают людям любовь, духами, над которыми он работал два года, духами, которых он жаждал всю жизнь... в этот момент, когда он видел и обонял, что люди не в силах ему противостоять и что аромат, захлестываясь, как петля аркана, притягивает к нему людей,— в этот момент в нем снова поднялось все его отвращение к людям и отравило его триумф настолько, что он не испытал не только никакой радости, но даже ни малейшего чувства удовлетворения. То, чего он всегда так страстно желал, а именно чтобы его любили другие люди, в момент успеха стало ему невыносимо, ибо сам он не любил их, он их ненавидел. И внезапно он понял, что никогда не найдет удовлетворения в любви, но лишь в ненависти своей к людям и людей — к себе.

Но ненависть его к людям не получала отклика. Чем больше он ненавидел их в это мгновение, тем больше они его боготворили, ибо ничто в нем не воспринималось ими как истина, кроме присвоенной ауры, кроме ароматической маски, краденого благоухания, а оно в самом деле было достойно обожествления.

Теперь он был бы рад всех их стереть с лица земли, этих тупых, вонючих, эротизированных людишек точно так же, как тогда, в стране его души, черной, как вороново крыло, ему хотелось стереть все чужие запахи. И он желал, чтобы они заметили, как он их ненавидит, и чтобы они ответили взаимной ненавистью на это единственное, когда-либо испытанное им подлинное чувство и, со своей стороны, были бы рады стереть его с лица земли, что они первоначально и намеревались сделать. Он хотел один раз в жизни разоблачиться. Раз в жизни ему захотелось стать таким, как другие люди, и вывернуть наружу свое нутро: как они обнажали свою любовь и свое глупое почитание, так он хотел обнажить свою ненависть. Он хотел один раз, всего один-единственный раз, быть воспринятым в своей истинной сути и получить от людей отклик на свое единственное истинное чувство — ненависть.

Но ничего из этого не вышло. Из этого и не могло ничего выйти. Ведь он был замаскирован лучшими в мире духами, а под этой маской у него не было лица, не было ничего, кроме тотального отсутствия запаха. И тут ему внезапно стало дурно, потому что он почувствовал, как снова поднимаются туманы.

Как тогда в пещере, в сновидении, во сне, в сердце, в его фантазии внезапно поднялись туманы, жуткие туманы его собственного запаха, который нельзя было воспринять обонянием, ибо он имел иную природу. И как тогда, он испытал бесконечный ужас и страх и подумал, что вот-вот задохнется.

Но сейчас это было не сновидением и не сном, а голой действительностью. И он не лежал один в пещере, а стоял на площади на виду у десятков тысяч людей. И сейчас здесь не помог бы крик, который разбудил бы и освободил его, и не было пути назад в добрый, теплый, спасительный мир. Ибо это, здесь и сейчас, было миром, и это, здесь и сейчас, было его осуществленным сном. И он сам этого так хотел.

Ужасные зловонные туманы все поднимались из бездонной топи его души, пока народ вокруг него стонал, изнемогая в безудержных сладострастных содроганиях. К нему бежал какой-то человек. Он вскочил с самого переднего ряда трибуны для почетных зрителей так стремительно, что его черная шляпа свалилась с головы, и в развевающемся черном сюртуке пронесся через эшафот как ворон или ангел мести. Это был Риши.

Он убьет меня, подумал Гренуй. Он — единственный, кого не ввела в заблуждение моя маска. Он не даст себя обмануть. На мне — ароматы его дочери, эта улика неопровержима, как кровь. Он должен узнать меня и убить. Он должен это сделать.

И он простер руки, чтобы принять в объятия низвергшегося на него ангела. Ему уже казалось, что он ощущает удар меча или кинжала, этот благостный удар в грудь, чувствует, как лезвие рассекает все ароматические кольчуги и зловонные туманности и проникает в середину его холодного сердца — наконец, наконец в его сердце нечто, нечто иное, чем он сам. Он почти уже почувствовал избавление.

И что же? Риши лежал у него на груди, не ангел возмездия, но потрясенный, жалобно всхлипывающий Риши, и обнимал его руками, прямо-таки цеплялся за него, словно не нашел иного пристанища в море благорастворения. Никакого освобождающего удара меча, никакого укола в сердце, даже никакого проклятия или хотя бы крика ненависти. Вместо этого мокрая от слез щека Риши прилипла к его щеке, а дрожащие губы тянулись к нему с визгом: «Прости меня, сын мой, мой дорогой сын, прости меня!»

И тут все побелело у него в глазах, а внешний мир стал чернее черного. Не нашедшие выхода туманы слились в бурлящую жидкость, как поднимающееся из-под пены кипящее молоко. Они захлестнули его, с невыносимой силой надавили на внутреннюю оболочку его тела, но им некуда было просочиться. Ему хотелось бежать, ради Бога бежать, но куда... Ему хотелось лопнуть, взорваться, чтобы не захлебнуться самим собой. Наконец он повалился наземь и потерял сознание.

50

Снова придя в себя, он обнаружил, что лежит в постели Лауры Риши. Ее реликвии, одежда и волосы, были убраны. На ночном столике горела свеча. Из притворенного окна доносился далекий шум ликующего города. Антуан Риши сидел на скамеечке у его постели и бодрствовал. Он держал руку Гренуя в своей и грел ее.

Прежде чем открыть глаза, Гренуй прозондировал атмосферу. Внутри него было тихо. Ничто больше не бурлило и не давило. Снова в его душе царила привычная холодная ночь, которая была нужна ему для того, чтобы сделать его сознание ледяным и ясным и направить его вовне: там он услышал запах своих духов. Они изменились. Пики немного сгладились, так что сердцевина аромата — запах Лауры Риши — засверкала еще великолепнее — мягким, темным, мерцающим огнем. Он чувствовал себя уверенно. Он знал, что еще несколько часов будет неприкосновенным, и открыл глаза.

Риши не сводил с него глаз. В его взгляде были бесконечная доброта, нежность, умиление и полая, глуповатая глубина влюбленного.

Он улыбнулся, крепче сжал руку Гренуя и сказал: «Теперь все будет хорошо. Магистрат отменил приговор. Все свидетели отказались от показаний. Ты свободен. Ты можешь делать что хочешь. Но я хочу, чтобы ты остался у меня. Я потерял дочь, я хочу усыновить тебя. Ты так

похож на нее... Ты так же красив, как она, твои волосы, твои губы, твоя рука... Я все время держал тебя за руку, у тебя такая же рука, как у нее. А когда я смотрю в твои глаза, мне кажется, что она смотрит на меня. Ты ее брат, и я хочу, чтобы ты стал моим сыном, моей радостью, моей гордостью, моим наследником. Живы ли еще твои родители?»

Гренуй покачал головой, и лицо Риши стало пурпурно-красным от счастья. «Значит, ты согласен стать мне сыном? — выдохнул он и вскочил со своей скамеечки, чтобы пересесть на край кровати и сжать вторую руку Гренуя.— Согласен? Согласен? Ты хочешь, чтобы я стал твоим отцом? Не говори ничего! Не разговаривай! Ты еще слишком слаб, чтобы разговаривать. Только кивни!»

Гренуй кивнул. И тут счастье как красный пот выступило из всех пор Риши, и он склонился к Грену́ю и поцеловал его в губы.

«Теперь спи, дорогой мой сын,— сказал он, выпрямляясь.— Я посторожу тебя, пока ты не заснешь.— Он еще долго глядел на него с молчаливым благоговением.— Ты делаешь меня очень, очень счастливым».

Гренуй слегка растянул углы губ, подражая людям, которые улыбаются. Потом закрыл глаза. Некоторое время он подождал, успокаивая и углубляя свое дыхание, как это делают спящие. Он ощущал любящий взгляд Риши на своем лице. Один раз он почувствовал, что Риши наклонился над ним, чтобы еще раз поцеловать, но не решился, боясь разбудить его. Наконец, задув свечу, Риши на цыпочках выскользнул из спальни.

Гренуй оставался лежать, пока в доме и в городе не затих шум. Когда он поднялся, уже светало. Он оделся и, тихо пройдя через прихожую, тихо спустился с лестницы и через гостиную вышел на террасу.

Отсюда можно было заглянуть за городскую стену и увидеть чашу грасской долины, в ясную погоду — до самого моря. Сейчас над полями висел легкий туман, даже марево, и доносившиеся снизу ароматы травы, дрока и роз казались отмытыми дочиста, простыми, просто утешительными. Гренуй пересек сад и перелез через стену.

На площади у заставы Дю-Кур ему еще раз пришлось пробиваться сквозь человеческие испарения, прежде чем он выбрался на волю. Вся площадь и склоны холмов напоминали огромный бивуак разложившегося войска. Тысячами лежали опьяневшие, обессилевшие от излишеств ночной оргии тела, некоторые были голы, некоторые полуобнажены и полуприкрыты одеждой, под которую они забрались, как под кусок одеяла. Воняло кислым вином, шнапсом, по́том и мочой, детским поносом и пригорелым мясом. Тут и там еще чадили остатки костров, вокруг которых еще недавно жрали, пили и танцевали люди. Там и сям из тысячекратного храпа вдруг вырывалось чье-то бормотание или хохот. Возможно, кое-кто еще бодрствовал и заглушал последние вспышки сознания. Но никто не заметил Гренуя, который перешагивал через распростертые тела, осторожно и в то же время быстро, будто шел по болоту. А тот, кто замечал, не узнавал его. Он больше не издавал запаха. Чудо миновало.

Дойдя до конца площади, он не повернул ни в сторону Гренобля, ни в сторону Кабри, но пошел прямиком через поля в западном направлении, ни разу не оглянувшись назад. Когда взошло солнце — жирное, и желтое, и жгуче жаркое, его давно уже и след простыл.

Жители Граса проснулись в ужасном похмелье. Даже те, кто не пил, чувствовали свинцовую тяжесть в голове, рези в желудке, тошноту и дурноту. На площади среди бела дня, при всем честном народе скромные крестьяне разыскивали одежду, сорванную с себя в возбуждении оргии, благонравные женщины разыскивали мужей и детей, совершенно чужие друг другу люди в ужасе высвобождались из интимнейших объятий, знакомые, соседи, супруги вдруг публично оказались друг перед другом в самой мучительной наготе.

Многим это событие показалось столь жутким, столь необъяснимым и совершенно несовместимым с их собственными моральными представлениями, что они буквально в тот момент, когда оно произошло, выключили его из памяти, а потому и позже в самом деле не могли о нем вспомнить. Другие, не столь суверенно владевшие своим аппаратом восприятия, пытались не видеть, не слышать и не думать, что было не так-то просто, ибо позор был слишком очевидным и публичным. Те, кто нашел свои причиндалы и своих ближних, постарались как можно скорее скрыться с места происшествия. К полудню площадь опустела, словно ее вымели метлой.

Только к вечеру люди в городе, и то далеко не все, вышли из домов по самым неотложным делам. Встречаясь, они едва здоровались, говорили только о пустяках. О вчерашних событиях и о прошедшей ночи не упоминалось ни слова. Если вчера все еще чувствовали себя непринужденными и здравомыслящими, то сегодня все были охвачены стыдом. Казалось, никогда между жителями Граса не было лучшего взаимопонимания. Воцарились тишь и гладь.

Правда, некоторые были вынуждены по долгу службы более непосредственно заняться тем, что произошло. Традиция публичной жизни, незыблемость права и порядка потребовали принятия энергичных мер. Уже после полудня собрался Городской совет. Господа, в том числе и Второй Консул, молча обнялись, словно этот заговорщицкий жест был призван заново учредить почетное собрание. Затем без всякого упоминания о событиях, а уж тем более об имени Гренуя, было единодушно решено «незамедлительно снести трибуну и эшафот на площади у заставы Дю-Кур и привести в первоначальный опрятный вид площадь и окружающие ее истоптанные поля». На это было отпущено сто шестьдесят ливров.

Одновременно прошло заседание суда. Магистрат без обсуждения согласился считать «инцидент Г.» исчерпанным, акты закрыть и не регистрируя сдать в архив и возбудить новое дело против неизвестного Убийцы Двадцати Пяти Девиц в грасском округе. Лейтенанту полиции был отдан приказ незамедлительно начать следствие.

Уже на следующий день он добился успеха. На основании явно подозрительных моментов был арестован Доменик Дрюо, мастер-парфюмер с улицы де-ла-Лув,— ведь в конце концов хижина, где были найдены волосы и платья всех жертв, принадлежала ему. Сначала он отрицал свою вину, но судьи не дали ввести себя в заблуждение. После четырнадцатичасовой пытки он во всем признался и даже просил по возможности ускорить казнь, которую ему и назначили на следующий день. На рассвете его вздернули — без большой помпы, без эшафота и трибун, просто в присутствии палача, нескольких членов магистрата, врача и священника. После того как наступила, была установлена и запротоколирована смерть, труп приказали немедленно предать земле. Таким образом с делом было покончено.

Город и так уже забыл о нем — настолько, что приезжие, попавшие в город в следующие дни и между прочим осведомлявшиеся о пресловутом грасском Убийце Девушек, не находили ни одного разумного человека, который смог бы поведать об этом. Только несколько дурачков из богадельни, всем известные сумасшедшие, несли какую-то чушь о большом празднике на площади Дю-Кур, из-за которого им пришлось освободить свои комнаты.

И скоро жизнь вошла в свою колею. Люди прилежно работали, и хорошо спали, и занимались своими делами, и вели себя благопристойно. Вода по-прежнему струилась из множества родников и колодцев и разносила по переулкам ил и грязь. Скаредный город снова гордо высился на склонах холмов над плодородной долиной. Солнце пригревало. Вскоре наступил май. Начался сбор роз.

знак классической удачи!). Метафорами такого масштаба в немецкоязычной прозе XX века могут похвастаться разве что Томас Манн (болезнь Адриана Леверкюна) или Герман Гессе (игра в бисер).

Герой Патрика Зюскинда, лишенный материнской любви, семейного тепла, дружеского участия и всякого представления о Боге, опровергает привычную русскому слуху формулу: «Гений и злодейство — две вещи несовместные». История Жан-Батиста Гренуя читается как предостережение о преступлении, таящемся в разрыве с природой, в бесстыдном и безжалостном насилии над ней, в стремлении человечества присвоить, высосать, поглотить ее красоту, в забвении заповедей смирения и воздержания, в самодовольном и ненасытном тщеславии обладания, разъедающем нашу цивилизацию,— будь то притязания тирана (любого) на мировое господство, экологическая нечистоплотность или обыденная уголовщина. Поистине, все зло мира проистекает из одного источника, и этот источник — вакуум человеческой любви к Богу и ближнему.

Э. ВЕНГЕРОВА

Часть четвертая

51

Гренуй шел пешком. Как и в начале своего путешествия, он обходил города, избегал дорог, на рассвете укладывался спать, вставал вечером и шел дальше. Он пожирал то, что находил по пути: траву, грибы, цветы, мертвых птиц, червей. Он пересек Прованс, переплыл в украденном челноке Рону южнее Оранжа, вдоль течения Ардеши углубился в Севенны и затем двинулся к Алльe на север.

В Оверни он приблизился к Плон-дю-Канталь. Вершина лежала к западу, высокая, серебристо-серая в лунном свете, и он чуял запах доносящегося с нее холодного ветра. Но его не тянуло туда. У него больше не было страстной тоски по пещерному одиночеству. Этот опыт уже был проделан и оказался непригодным для жизни. Точно так же, как и другой опыт, опыт жизни среди людей. Задыхаешься и тут и там. Он вообще не хотел больше жить. Он хотел вернуться в Париж и умереть. Этого он хотел.

Время от времени он лез в карман и сжимал в руке маленький стеклянный флакон со своими духами. Флакончик был еще почти полон. На выступление в Грасе он истратил всего одну каплю. Остального хватит, чтобы околдовать весь мир. Если бы он пожелал, он смог бы в Париже заставить не десятки, а сотни тысяч людей восторгаться им; или отправиться гулять в Версаль, чтобы король целовал ему ноги; послать папе надушенное письмо и явиться перед всеми новым Мессией; вынудить королей и императоров помазать его в Нотр-Дам на царство как сверхимператора, даже сделать из него Бога на земле — если вообще можно Бога помазать на царство...

Все это он мог бы совершить, если бы только пожелал. Он обладал для этого властью. Он держал ее в руке. Эта власть была сильнее власти денег, или власти террора, или власти смерти: неотразимая власть внушать людям любовь. Только одного не могла дать эта власть: она не могла дать ему его собственного запаха. И пусть перед всем миром благодаря своим духам он предстанет хоть Богом — раз сам он не может пахнуть и потому никогда так и не узнает, кто он такой, то плевать ему на это: на весь мир, на самого себя, на свои духи.

Рука, недавно державшая флакон, едва слышно благоухала, и когда он приближал ее к носу и принюхивался, ему становилось грустно, и он на несколько секунд останавливался, и стоял, и нюхал. Никто не знает, как на самом деле хороши эти духи, думал он. Все только покоряются их воздействию, даже не зная, что это духи, что они обладают колдовскими чарами. Единственный, кто сумел оценить их настоящую красоту,— это я, потому что я сам их создал. И в то же время я — единственный, кого они не могут околдовать. Я — единственный, перед кем они бессильны.

И еще как-то раз (он тогда был уже в Бургундии) ему подумалось: когда я стоял за каменной стеной у сада, где играла рыжеволосая девочка и до меня доносился ее аромат... пожалуй, даже обещание ее аромата, ведь ее позднейший аромат вообще еще не существовал — может быть, то, что я ощутил тогда, похоже на то, что чувствовали люди на площади, когда я затопил их своими духами?.. Но он тут же отбросил эту мысль. Нет, здесь было что-то другое. Ведь я-то знал, что хочу иметь аромат, а не девочку. А эти люди думали, что их влечет ко мне, а к чему их действительно влекло, осталось для них тайной.

Потом он ни о чем больше не думал, так как вообще не любил предаваться размышлениям; скоро он очутился в Орлеане.

Он переправился через Луару у Сюлли. Через день его нос уловил запах Парижа. 25 июня 1767 года он вступил в город через улицу Сен-Жак рано утром, в шесть.

День становился жарким, такой жары в тот год еще не было. Тысячи разных запахов и вонючих испарений текли наружу, как из ты-

сячи лопнувших гнойников. Не было ни малейшего ветра. Зелень на рыночных прилавках завяла еще до полудня. Мясо и рыба испортились. В переулках стояло зловоние. Даже река, казалось, больше не текла, а стояла и источала смрад. Это было как раз в день рождения Гренуя.

Он перешел через Новый мост на правый берег и дальше к рынку и к Кладбищу невинных. В аркадах божьих домов вдоль улицы О-Фер он присел на землю. Территория кладбища расстилалась перед ним как развороченное поле битвы, разрытое, изборожденное, иссеченное могилами, засеянное черепами и скелетами, без дерева, куста или травинки — свалка смерти.

Вокруг не было ни единой живой души. Трупное зловоние было таким тяжелым, что спасовали даже могильщики. Они вернулись только после захода солнца, чтобы до глубокой ночи при свете факелов рыть могилы для мертвых следующего дня.

Лишь после полуночи — могильщики уже ушли — сюда начал стекаться всевозможный сброд: воры, убийцы, бандиты, проститутки, дезертиры, малолетние преступники. Разложили небольшой костер, чтобы сварить еду и уменьшить вонь.

Когда Грену́й вышел из-под аркад и смешался с толпой этих людей, они сначала не обратили на него внимания. Он смог беспрепятственно подойти к их костру, словно был одним из них. Позже это укрепило их во мнении, что они имели дело с духом или ангелом. Так как обычно они очень остро реагируют на близость чужака.

Но этот маленький человек в голубой куртке внезапно оказался среди них, будто вырос из-под земли, с маленьким флакончиком в руках, из которого он вынимал пробку. Это было первое, о чем они все могли вспомнить. И потом он весь, с головы до ног, опрыскал себя содержимым этого флакончика и вдруг весь засиял красотой, как от лучистого огня.

На миг они отпрянули из благоговения и глубочайшего изумления. Но тут же почувствовали, что отпрянули так, словно бросились к нему толпой, их благоговение превратилось в вожделение, их изумление — в восторг. Этот человек-ангел притягивал их. От него исходила бешеная кильватерная струя, против которой не мог устоять ни один человек, тем более что ни один человек не желал устоять, ибо то, что вздымало эту струю, что увлекало их, гнало их по направлению к нему, было волей, волей в чистом виде.

Они окружили его кольцом, двадцать — тридцать человек, и стягивали этот круг все сильнее и сильнее. Скоро круг уже не вмещал их всех, они начали теснить друг друга, отпихивать и выталкивать, каждый хотел быть как можно ближе к центру.

А потом их последние сдерживающие рефлексы отказали, и круг разомкнулся. Они кинулись к этому ангелу, набросились на него, опрокинули его наземь. Каждый хотел коснуться его, каждый хотел урвать от него кусок, перышко, крылышко, искорку его волшебного огня. Они сорвали с него одежду, волосы, кожу с тела, они ощипали, разодрали его, они вонзили свои когти и зубы в его плоть, накинувшись на него, как гиены.

Но ведь человеческая плоть отличается прочностью, и ее не так-то просто разорвать; когда четвертуют преступника, даже лошадям приходится тянуть изо всех сил. И вот засверкали ножи, кромсая мышцы, и топоры, и мечи со свистом опустились на суставы, с хрустом дробя кости. В кратчайшее время ангел был разделен на тридцать частей, и каждый член этой дикой своры ухватил себе кусок, отбежал в сторону, гонимый похотливой алчностью, и сожрал его. Через полчаса Жан-Батист Грену́й до последней косточки исчез с лица земли.

Когда, завершив трапезу, эти каннибалы снова собрались у огня, никто из них не сказал ни слова. Кто-то срыгнул, кто-то выплюнул косточку, слегка прищелкнул языком, подбросил ногой в пламя обры-

вок голубой куртки. Им всем было немного неловко и не хотелось глядеть друг на друга. Убийство или какое-то другое низменное преступление уже совершал каждый из них, будь то мужчина или женщина. Но чтобы сожрать человека? На такое ужасное дело, думали они, они не пошли бы никогда, ни за что. И удивлялись тому, как легко все-таки оно им далось, и еще тому, что при всей неловкости они не испытали ни малейшего угрызения совести. Напротив! Хотя в животе они и ощущали некоторую тяжесть, на сердце у них явно полегчало. В их мрачных душах вдруг заколыхалось что-то приятное. И на их лицах выступил девический, нежный отблеск счастья. Может быть, поэтому они и робели поднять взгляд и посмотреть друг другу в глаза.

Когда же они все-таки решились сделать это, сначала тайком, а потом совершенно открыто, они не смогли сдержать ухмылки. Они были чрезвычайно горды. Они впервые совершили нечто из любви.

От переводчика

«В немецкую литературу вошло чудовище... Жан-Батист Грену́й. И стало литературным событием» («Штерн», Гамбург).

«...международная издательская братия до беспамятства влюбилась в этот роман, который прямо-таки благоухает успехом...» («Либерасьон», Париж).

«Достойно изумления, достойно прославления, достойно зависти» («Зюддойче цайтунг», Мюнхен).

«Читательское потрясение, какое редко доводится пережить, феноменальный замысел» («Свенска дагбладет», Стокгольм).

«Восхитительный анахронизм посреди модного литературного косноязычия» («Шпигель», Гамбург).

«До дрожи прекрасный романтический детектив» («Абендцайтунг», Мюнхен).

«Блистательно, образно, осязаемо и импонирующе иронично» («Тагес анцайгер», Цюрих).

«Счастливый случай в немецкоязычной литературе» («Нюрнбергер нахрихтен»).

Все эти комплименты можно прочесть на клапане суперобложки знаменитого романа, вот уже много (семь!) лет занимающего место в первой десятке мировых бестселлеров. Он чуть ли не каждый год выходил по-немецки, переведен почти на все европейские языки.

О его авторе известно, что он довольно молод, родился в семье профессионального литератора, изучал историю в Мюнхене и Эксе, писал короткие новеллы и сценарии для ТВ, зарабатывал на жизнь редактированием реферативного журнала и игрой в настольный теннис, что он никогда не выступает по телевизору, редко появляется на публике и принципиально никогда не дает интервью. Написал одноактную пьесу-монолог «Контрабас», имеющую заметный успех на немецкой сцене. Живет в Париже и Мюнхене, издан и в Латинской Америке.

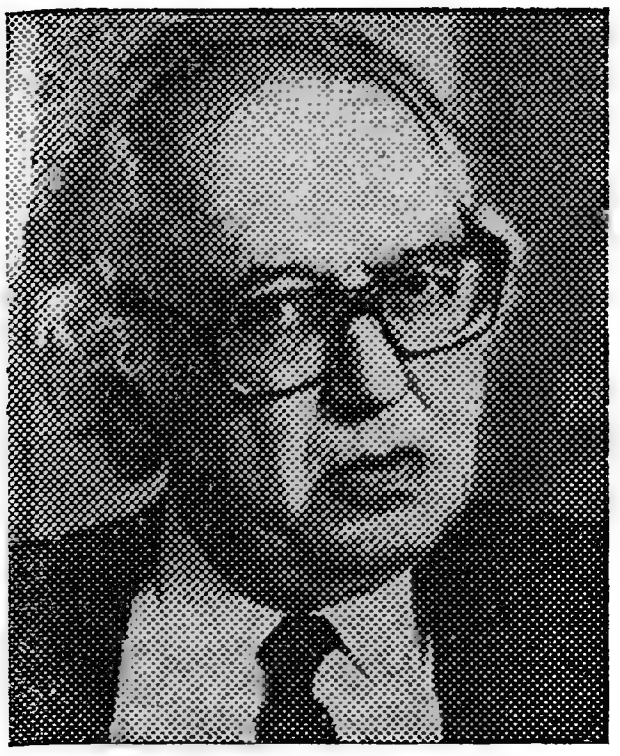
Меня роман увлек так же, как и других читателей (и даже, наверное, больше, раз я рискнула его перевести). Но это отнюдь не значит, что мне удалось до конца расшифровать феномен его обаяния. Уверена, что многое в нем осталось загадочным и еще долго будет манить и интриговать и читателей, и критику.

Лежащая в основе замысла метафора запаха как универсальной подсознательной, всеохватной связи между людьми позволяет предложить бесконечное количество интерпретаций (классический при-

знак классической удачи!). Метафорами такого масштаба в немецкоязычной прозе XX века могут похвастаться разве что Томас Манн (болезнь Адриана Леверкюна) или Герман Гессе (игра в бисер).

Герой Патрика Зюскинда, лишенный материнской любви, семейного тепла, дружеского участия и всякого представления о Боге, опровергает привычную русскому слуху формулу: «Гений и злодейство — две вещи несовместные». История Жан-Батиста Гренуя читается как предостережение о преступлении, таящемся в разрыве с природой, в бесстыдном и безжалостном насилии над ней, в стремлении человечества присвоить, высосать, поглотить ее красоту, в забвении заповедей смирения и воздержания, в самодовольном и ненасытном тщеславии обладания, разъедающем нашу цивилизацию,— будь то притязания тирана (любого) на мировое господство, экологическая нечистоплотность или обыденная уголовщина. Поистине, все зло мира проистекает из одного источника, и этот источник — вакуум человеческой любви к Богу и ближнему.

Э. ВЕНГЕРОВА



АЛЕН БОСКЕ

Стихи и афоризмы

Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА

Из книги стихов «Тревоги Господа Бога»

* * *

«Я не решаюсь,— говорит Бог,—
предлагать вам верить в меня.
Спросите-ка лучше об этом совета
у росы, у куницы, у легкого бриза.
Как следует взвесьте
все «за», и все «против»,
и все «вероятно».
Пожалуй, заря, полуостров и галька
тоже вам могут присоветовать что-то полезное.
И непременно проконсультируйтесь
со своею аортой, кожей и легкими:
это ведь им в конечном счете решать,
удачно ль вы выбрали время
для веры в Господа Бога».

* * *

«Я не хочу быть обузой для тех,
кто верит в меня,— говорит Бог,—
мне достаточно, чтобы люди
просто со мной говорили,
как с яблоком, с пауком
или с уличным фонарем.
Я ведь не злой, меня нетрудно пленить
тремя музыкальными тактами
и чистосердечной улыбкой.
А еще я люблю,
когда мне по почте приходит открытка
с приморским видом
или с неприхотливым стишком».
Бог говорит: «Я хочу быть обузой для тех,
кто не верит в меня».

* * *

«Я бы хотел, чтоб меня предоставили
самому себе,— говорит Бог,—
и перестали на каждом шагу поминать мое имя.
Постигнуть меня невозможно:

© Editions Gallimard, 1986.

я тело, лишенное тела,
я душа, антитеза всякой души.
Оставьте меня одного
с моей неизбывной заботой —
я постоянно, и ночью и днем, изменяюсь,
ибо себя осудил на бессрочную метаморфозу.
Природа моя —
неведомая никому и при этом известная всем,—
природа моя такова,
что я ни на миг не могу согласиться
со своим пониманием Бога».

* * *

«Если я начинаю дряхлеть,— говорит Бог,—
замените меня:
когда руководитель в себе не уверен,
вряд ли нужно его оставлять
на высоком посту.
Я приведу вам других, компетентных, богов,
преподав им сперва три-четыре урока
божественности и такта.
А сам в богадельню уйду,
взяв с собою несколько душ
и несколько любимых симфоний.
Обо мне не печальтесь.
Пока я жил среди вас,
я вкус приобрел к бытию».

* * *

«О верховный владыка богов,— говорит Бог,—
избавь меня от человека!
Я его сотворил развлечения ради,
просто от скуки,
и вложил в его крохотный мозг
бредовую мысль,
будто он мой создатель.
И теперь он меня оскорбляет
и уже дошел до того, что мне предпочел
мифы, легенды и прочую чепуху.
О верховный владыка богов,
я больше не в силах терпеть такое распутство!
Уничтожь нас обоих — его и меня!
И постарайся сей случай досадный забыть,
а потом возроди меня снова,
но уже без этой обузы».

* * *

Бог говорит:
«В теперешние времена,
когда люди так ненавистны друг другу,
когда небо заляпано грязью,
когда сомненье
в черепа отложило свои протухшие яйца,—
мне трудно представить себе, как сейчас можно
обходиться без бога.
Клянусь вам, в этом вопросе
нет никакой моей личной корысти,
я выступаю скорей как эксперт:
я берусь на планете

восстановить подобье гармонии.
Могу вам представить солидные рекомендации.
Нет, квартиры я не сменил — живу я все там же,
внутри вас».

* * *

«На первых порах я изобрел весьма отвлеченные вещи,—
говорит Бог,— конец и начало, зло и добро,
грех, угрызения совести —
и вскоре совсем заблудился в лабиринтах теорий.
Тогда я придумал шальные, вконец сумасбродные вещи:
лошадь, вулкан, хлебное дерево, иней,
веко, колено.
Вот и решайте,
конкретен я или же неуловим.
Должно быть, и то и другое одновременно —
чтобы ставить в тупик
тех, кто надеется
докопаться до сути моей».

* * *

Бог говорит: «Среди птиц
я изъясняюсь крылом,
среди цветов — лепестком.
Говорю языком камней,
когда камни переговариваются между собою,
и спорю с пеной морской,
когда она вдруг принимается со мной спорить.
Во время бури
я использую слова бриза,
порой — восклицания аквилона.
И долгие звездные речи веду
под усыпанным звездами небом.
У меня нет своего языка —
беседы ведя с мирозданьем,
я никогда не могу быть уверен,
что меня понимают».

* * *

«Если б ты знал,— говорит Бог,—
насколько долгой кажется вечность
тому, кто, как я, управляет Вселенной
в одиночестве полном
и знает один лишь закон — свою прихоть!
Прости, если тебя я на свет произвел
лишь ради забавы, о мой двуногий,
мой хрупкий и слабый, словоохотливый и лицемерный...
Ты для меня всего лишь игрушка,
как майский жук или радуга,
в которую я почему-то вложил семь цветов,
а не двенадцать или, скажем, не двадцать.
Ты себя принимаешь всерьез? Не стоит, мой милый,
ибо творенья свои
я предаю в конце концов смерти:
у меня других забот полон рот —
там, в небытии.
И все же признáюсь: ты по-прежнему мой любимец
среди всех временных моих созданий».

Из книги афоризмов «Раздумья вопреки себе»

Дайте поэту десять тысяч читателей, и вот он уже морализирует, проповедует, наставляет.

Стихотворение — это грядущая истина.

Трагедия стихотворения: в краткий миг внезапной конвульсии мысли и чувства оно все высвечивает и проясняет, но неспособно что-либо изменить — разве лишь в воображаемом мире.

В конце будет Слово. И когда — уже без нас — вселенная возродится, будет Слово.

Поэт обладает только одним правом — противоречить себе.

Будь у меня побольше мужества, я бы писал стихи анонимно.

Поэзия — это безумие (бред, сновидение и т. п.), каковое, будучи *выражено,* становится для автора логичнейшей из аксиом, но остается для читателя безумием (бредом, сновидением и т. п.).

В поэзии все тщетно: удачная находка — еще не стихотворение, отшлифованность и завершенность — уже не стихотворение.

Готовь похороны своих стихов так, будто готовишь их коронацию.

Слово сочетает в себе робкое послушание и безоглядную дерзость.

Да, тяжела она, должность поэта, состоящая в том, чтобы развлечь читателя, обольстить его, привести в восторг, ввести в заблуждение и в результате не сдержать своих обещаний.

Поэт всегда двоеженец: рано или поздно он сочетается браком со своей мечтой.

Вода мыслит, дерево пишет — ты больше не нужен, поэт.

Все будет как надо: сороконожки и крапива в моей голове уничтожат друг друга ради капли росы.

Мои слова отворачиваются от меня, как подсолнухи.

Я буду всегда играть второстепенную роль в своей жизни.

Мое сомнение защищает меня, точно пальто.

На эшафоте я больше не должен буду гадать, кого мне следует опасаться.

Я запятая, а вы угадайте, в каком тексте.

— Вам нужен страховой полис?
— Да. Застрахуйте меня, пожалуйста, от меня самого.

Между абсурдом и абсолютом мне хотелось бы скромно поместить прекрасное яблоко.

Чем я меньше приемлю себя, тем больше ощущаю себя достойным быть приемлемым для других.

Я одинок в своей ночи, как неопределенная форма глагола.

Если бы я мог прочитать свою жизнь, вместо того чтобы ее прожить...

Я знаю одно лишь несчастье — быть понятым до конца.

Похороните меня на лужайке пословиц.

Как только я начинаю себя анализировать, я прекращаю существовать.

Хиросима — первородный грех номер два.

Я услыхал, как молится компьютер.

Проходя мимо чертополоха, я слышу, как он думает обо мне: «Вот человек, предмет весьма нежелательный».

Даже роза учится лгать.

Прекрасное царство «Почему» уступает место убогому царству «Почему бы и нет».

Я присутствую при торжественной церемонии передачи власти: человеку наследует вещь.

Писать — значит размышлять вопреки себе.

Отчаянье тоже отращивает брюшко.

Звезда всегда анархистка.

Абсурд слишком возмужал.

Тот, кто потребляет, все больше и больше походит на то, что он потребляет. Стану я хлебом или гусиной печенкой?

«Я чересчур существую»,— говорит небытие.

ЮХАН БАРГУМ

Новеллы

Перевод со шведского ИРИНЫ НОВИЦКОЙ

ИЗДАТЕЛЬ

В издательстве как-то по-особенному тихо в эту последнюю неделю перед отпуском. Всё позади: писатели, припозднившиеся со своими рукописями, писатели, требующие слишком большие авансы, писатели, спорящие о сроке публикации, писатели, забывшие прислать свои корректуры, писатели, бракующие один переплет за другим, писатели, целыми днями одолевающие меня и хлопающие дверями, писатели, сидящие у меня на диване и плачущие в жилетку о своем потерянном «детище».

Теперь же ничего этого нет. Никто не звонит, никто не приходит. Чертовски здорово!

Я сижу, листаю рукопись Мартина и не знаю, что мне с ней делать; он казался таким одаренным. Может, мне следовало предугадать, что он способен рассказать лишь одну-единственную историю?

Без сомнения, это относится к большинству писателей. Но некоторые из них умеют рядить свою единственную историю в столь различные одежды, что ее бывает почти невозможно распознать.

Иногда я подхожу к окну, останавливаюсь возле него и смотрю на улицу. Все люди, кажется, спешат — навстречу отпуску, прочь отсюда. Я долго стою у окна, пока не замечаю, что ищу глазами Юханну, там, внизу, в людской толпе.

Я уселся впереди всех в салоне самолета, вылетающего в Хельсинки (издательство оплатило мне эту поездку), поток пассажиров вливался в салон, я пристегнул ремни, посмотрел из окна на острые и блестящие металлические крылья самолета и почувствовал, что мне, как всегда, немного боязно лететь, как вдруг чей-то низкий голос произнес:

— Фредрик! Ты тоже летишь в Финляндию?

Я сразу же узнал его голос.

Он был, по обыкновению, в синих бархатных брюках (порой меня одолевало любопытство — может, эти брюки у него единственные), в мешковатом лиловом свитере и с винно-красным шелковым шарфом, обмотанным вокруг шеи. Под мышкой он сжимал пару дневных газет, за плечами у него висел рюкзак — человек этот выглядел типичным «шестидесятником» четверть века спустя.

— Привет, Улоф,— сказал я.

Он снял с плеч рюкзак и поставил его на сиденье рядом со мной.

— Ты тоже летишь на встречу писателей?

Я кивнул.

© 1988 Johan Bargum

— Какого черта они тебя пригласили?

Он загораживал дорогу другим пассажирам, и те злобно косились на нас.

— Увидимся после,— прервал я разговор.

— Да уж будь уверен,— отозвался он.

Я вздохнул. Разумеется, я был в этом уверен.

Как только мы приземлились в Хельсинки, ко мне подошла стюардесса. Она чувствовала себя неловко и улыбалась несколько смущенно.

— Простите,— сказала она,— там сзади в салоне сидит один господин, он говорит, что вы расплатитесь с нами за спиртные напитки, которые он брал в полете, он говорит, что вы его издатель.

Я кивнул и достал бумажник.

Всякий раз, как звонит телефон, я бросаюсь к трубке. Но всякий раз это не Юханна.

С каждым днем я все больше беспокоюсь. Должен ли я что-нибудь предпринять? Должен ли просить у кого-нибудь совета? Должен ли позвонить в полицию?

Я листаю свою записную книжку. Здесь полно имен: редакторы отделов культуры разных газет, чиновники, зарубежные коллеги и коллеги-соотечественники, писатели, множество писателей.

А, собственно говоря, есть ли у меня друзья? Есть ли хоть кто-нибудь, у кого можно попросить совета, кому можно позвонить и задать вопрос: «Что делать, если жена испарилась?»

Писатели остаются моими друзьями до тех пор, пока речь идет об их книгах.

В писательских встречах я никогда раньше не участвовал. Всегда там окажется кто-нибудь, кто доставляет другим неприятности, кто, подогретый алкоголем, теряет всякий стыд.

Короче говоря, там оказывается слишком много писателей.

Большинство из них интриганы, мелочные людишки и эгоцентристы. Кроме того, большинство из них — настоящие зануды.

Бывает, что они пишут хорошие книги. Это другое дело.

Это не перестает удивлять меня.

Но в Финляндии, думал я, на международной писательской встрече, вероятно, не будет слишком уж много шведских писателей?

К тому же я был несколько польщен. Я все-таки выпустил два сборника своих очерков, и оба их Ёран взялся издавать; может, мои очерки пробудили в Финляндии больший интерес, чем дома?

На встречу писателей поехал лишь один шведский писатель — Улоф.

Нас пригласили на аперитив на верхнем этаже Дома радио. Люди подходили к Улофу, жали ему руки, хлопали по спине. Все, казалось, знали его.

На террасе я встретил Антти.

— Рад видеть тебя здесь,— сказал он, но вид у него был столь же изумленный, как и у Улофа.

— Я выпустил два сборника очерков, как ты, вероятно, помнишь.

— Да, конечно.

— Те самые, которые ты не захотел издать на финском языке.

Антти рассмеялся.

— Ты же сам меня отговорил,— сказал он.

Какая-то молодая женщина, качаясь, подошла к Антти, бросилась ему на шею и ухитрилась при этом выплеснуть полбокала грога на мои сандалии. Она перемолвилась с Антти несколькими словами на своем непонятном языке и, качаясь, побрела дальше.

Антти улыбнулся.

— Прекрасная поэтесса,— объяснил он,— одна из лучших.

Поэтесса, едва держась на ногах, приблизилась к Улофу, стоявшему за стойкой бара в центре внимания, и бросилась ему на шею.

— У тебя тоже есть неплохой поэт,— задумчиво сказал Антти.

Настроение у меня вдруг испортилось; неужели он что-то слышал? Это никак не возможно. Кто мог ему насплетничать? Издатели — такие же сплетники, как и писатели, но Юханна убеждена, что никто ничего не знает, никто, кроме меня.

— У него большая слава здесь, в Финляндии,— заметил Антти.

— В Швеции он тоже очень известен,— отозвался я,— чертовски известен. Ты хочешь его издавать?

Антти разглядывал свою поэтессу и Улофа, которые, склонив друг к другу головы, уселись теперь в углу.

— Ты же знаешь, каково сейчас с поэзией,— ответил он.— Ну так что — будем меняться поэтами?

На странице сто шестьдесят три в рукописи Мартина все еще ничего не случилось, не считая привычной старой истории — девушка собирается утопиться. В общем-то с рукописями, в которых на первых ста шестидесяти трех страницах ничего не случается, нет проблем, к тому же, как правило, совсем не нужно читать такой огромный кусок текста, трех с половиной страниц обычно бывает достаточно. В случае с Мартином вся сложность состоит в том, что мы издали две его книги. Первая из них стала сенсацией, такие удачи у романистов случаются раз в десять лет. Может, мне уже тогда следовало предугадать, что он не найдет другой темы? Рассказывал же он всем желающим послушать его, что описал в романе собственную дочь (факт, который мы с определенным успехом использовали в рекламе). Следующий его роман оказался блеклой копией первого. Может, мне стоило бы попытаться остановить его? Махнуть рукой на денежные сметы Карла-Акселя по продаже Мартиновых книг? Может, мне следовало поговорить с Карлом-Акселем о том, что, несмотря на все это, наша ответственность за Мартина не исчерпывается одной лишь продажею его книг, она гораздо больше? А потом случилось то, чего я опасался: ни на кого так не обрушиваются критики, как на удачливого дебютанта, не оправдавшего их ожиданий; они ведут себя в этом случае как дети — будто бы их лично обманули.

Единственный, кто ничего не заметил, был сам Мартин. Напротив, он отказался от своей практики, купил дом в Упсале и решил все свое время посвятить писательской деятельности. Это просто конъюнктура, сказал он, когда я попытался предостеречь его. И вот сейчас он сидит по уши в баснословных долгах, а я торчу здесь, разложив перед собой его третью рукопись, и вижу, что для публикации она совсем не годится.

Неужели это я во всем виноват?

Когда раздается телефонный звонок и я беру трубку, то в какой-то миг мне кажется, что я наконец-то слышу Юханну; у Лотты с матерью так похожи голоса!

Лотта, по-видимому, удивлена.

— Так ты здесь? — говорит она.— А я думала, ты уехал в отпуск.

— Почему это?

— Потому что дома никто не отвечает.

На странице сто шестьдесят четыре появляется то, чего я и опасался: уже знакомое озеро, кругом сумрачно и безветренно, девушка складывает одежду на берегу аккуратной горкой и входит в воду. Даже нырок на месте, в третьей рукописи подряд. Неужели я снова буду вынужден издавать такую муру, чтобы только не признаваться, что сам во всем виноват?

— Алло, папа! Ты меня слышишь?

— Мама, наверное, отключила телефон. Ты же знаешь, она его иногда отключает, когда работает.

Улоф вошел в автобус, таща за собой финскую поэтессу, и сразу же заметил меня.

— Фредрик,— промычал он,— ты собираешься бросить меня на произвол судьбы?

Я вспомнил, что сказала в тот раз Юханна, в тот раз, когда мы полночи молчали и не могли заснуть, в тот раз, примерно год назад; рассвет заглянул в окно спальни, и жена сказала: «Он так ужасно одинок». Я ничего не ответил. Через минуту она добавила: «Хотя, в общем-то, это не объяснение».

Чтобы избавиться от Улофа, я уселся рядом с незнакомым мужчиной в темном костюме. Мужчина приехал из Болгарии. Все мои попытки завязать с ним разговор ни к чему не привели. Он внимательно смотрел на меня, пока я говорил, а потом произносил «Very interesting» [1] на ломаном английском языке.

Улоф рассовал свой рюкзак, свою поэтессу и себя самого по сиденьям, как раз за нами.

— Это мой издатель,— сказал он и похлопал меня по плечу.— Отличный мужик!

— Привет шведам! — кивнула мне финская поэтесса.

Я представил Улофа болгарину, который при этом вежливо поклонился и сказал:

— Very interesting.

— Он обычно просматривает мои стихи,— рассказывал Улоф финской поэтессе,— и всегда вносит какие-то небольшие поправки.

— Они делают все, что в их силах,— заметила финская поэтесса.

Улоф протянул болгарину фляжку, тот взял ее, рассмотрел с любопытством и отпил глоток.

— Шведская водка,— объяснил Улоф.

— Very interesting,— ответил болгарин, сморщив нос.

Улоф вытащил из рюкзака один из сборников своих стихотворений и стал читать стихи. Он читал тихо, читал финской поэтессе. Она не говорила ни слова. Все время, пока мы ехали в автобусе, она сидела, прижав к груди его фляжку, и глядела прямо перед собой, безмолвная и словно загипнотизированная.

Возле отеля я потерял их из виду. Я поднялся к себе в комнату, распаковал сумку и улегся на кровать. У Юханны было множество объяснений ее поступку, одно глупее другого. Наверное, мне следовало рассердиться, наверное, так было бы лучше и для нее тоже. Но все, что я чувствовал,— это свою вину, как будто бы все ее объяснения служили одной лишь цели: доказать нам обоим, что в ее взаимоотношениях с Улофом виноват, собственно говоря, я сам. «Выбрала бы себе лучше кого-нибудь другого»,— сказал я. «Любимых не выбирают»,— ответила она. «Да,— заметил я,— может, и не выбирают, зато переизбирают». «Кого?» — спросила она. «Меня»,— ответил я. «Я никогда этого не делала»,— сказала она.

Зазвонил телефон.

— Алло, Улоф,— послышался в трубке чей-то невнятный голос,— это ты?

— Нет, это совсем не он,— ответил я злобно и в тот же миг все понял: в моем номере стояла еще одна кровать.

Номер-то был, оказывается, на двоих.

В прихожей воняет. Ксеркс демонстративно наложил довольно приличную кучу под вешалкой, где стоит обувь. Ему ни капельки не стыдно, напротив, он разлегся на постели Юханны и обиженно смотрит на меня, как бы желая показать — он знает, кто виноват в том, что днем с ним не гуляют.

---

[1] Очень интересно *(англ.). (Здесь и далее — прим. перев.)*

Июньские сумерки ложатся на землю медленно и как будто бы даже задумчиво. Аромат растущей у стены дома сирени льется в открытое окно. Соседские дети сидят на лужайке и играют с игрушечным грузовиком, ничего другого вне дома не происходит. Девочка сидит на редкость тихо, она возит машину туда-сюда — грустная фигурка, окруженная пустотой одиночества, всеми забытое маленькое существо. Часы идут. Возле высотного дома на той стороне улицы останавливается такси. Оно стоит там двадцать минут. Но ничего не случается. Никто не выходит из дома. Потом такси уезжает. Я вдруг замечаю, что стою у окна уже много часов, ничего не делая, ни о чем не думая. Чувство при этом довольно жуткое, словно я просто-напросто перепрыгнул через несколько часов своей жизни. Я сажусь на диван. Я не включаю ни телевизор, ни проигрыватель. Не зажигаю света. Я не делаю ничего, что сделал бы, будь я героем книг моих писателей: тогда я перерыл бы весь ее письменный стол, пошел бы по кабакам, улегся бы в постель с ее сестрой, вернулся домой и разнес бы в мелкие щепки всю свою хибару. Я же ничего этого не делаю. Я просто сижу на диване и смотрю в окно. Голубое небо утрачивает чуть розовый оттенок, оно становится желтоватым и каким-то прозрачным. Напротив меня в кресле-качалке по вечерам обычно сидит Юханна и читает. На журнальном столике лежит ее открытая книга и пачка сигарет, словно жена вышла на минутку в кухню приготовить чашечку кофе.

Год тому назад она объявила, не отрывая глаз от книги: «Мы с Улофом в близких отношениях». Я не сразу понял смысл ее слов. А потом сказал: «Зачем ты мне об этом говоришь?» Тогда она подняла глаза от книги, и я прочел в ее взгляде разочарование. Может, мне следовало бы выразиться как-то иначе? Сначала подумать, а потом сказать, найти подходящие слова, что я и делаю, когда передо мной сидят писатели, теребя свои рукописи; вот тогда я умею находить слова, всю свою жизнь я находил подходящие слова. «Затем, что я хочу покончить с этим»,— ответила она мне. Я молчал. Внезапно я почувствовал ужасающую боль в голове, словно чья-то здоровенная ручища сдавила мой мозг. И я сказал:

— Ну что ж, хорошо.

На краю лужайки устроители встречи поставили в ряд скамейки, а перед ними — длинный стол с массой микрофонов. Светило солнце, щебетали птицы. Группа сидящих за столом писателей из разных частей света выступала с торжественными речами. Участники встречи рассаживались на скамейки, нацепив на головы шляпы от солнца, на шеи — фотоаппараты, а на уши — крохотные наушники.

Теплый летний ветерок играл в кронах лип. В вышине ласточки расчерчивали голубое небо штрихами своих стремительных бросков.

На заднем плане по песчаной дорожке катилась полицейская машина, катилась тихо и осторожно.

Писатели говорили на разных языках, переводчики-синхронисты потели в своих крошечных кабинках, казалось, они единственные, кто принимал все здесь происходящее всерьез.

Под березой на спине лежал Улоф. Финская поэтесса сидела с ним рядом и вязала.

Сам же я зевал украдкой, сидя на скамейке. Я не сомкнул ночью глаз.

Портье подтвердил мои опасения: нас с Улофом поселили в одну комнату. Свободных номеров не было.

— Вы же оба из Швеции,— ободряюще сказал он.

Я вздохнул. Портье вдруг с интересом посмотрел на меня.

— С ним... что-то неладно?

Я решил принять снотворное и заснуть до прихода Улофа.

Сразу после полуночи в дверь постучали, энергично и решительно.

— Открывай своим ключом! — обозлился я.

Стук раздался снова. Я натянул на себя халат и открыл дверь.

За дверью стояла женщина лет пятидесяти. С сонным видом. В халате, как и я.

Мы оба стояли в халатах и смотрели друг на друга.

— Здесь живет поэт из Швеции? — спросила она.

Я кивнул.

— Хорошо,— сказала женщина.

Она просочилась в дверь, стала посреди комнаты и указала на мою кровать:

— Вы спите здесь?

— Да, но...

— Ладно,— изрекла она,— тогда я лягу вон там.

Она сняла халат. Под халатом на ней была надета длинная ночная рубашка из фланели. Женщина откинула одеяло и забралась в постель.

— Доброй ночи,— сказала она.— Спите спокойно!

— Послушайте,— ошарашенно произнес я,— вам нельзя сюда ложиться.

— Почему нельзя?

— Потому что здесь спит Улоф. Это его кровать.

— Я знаю,— сказала женщина.

— А что я скажу Улофу, когда он вернется?

— Ничего. Тогда я уйду на свою кровать.

— А почему вы сразу не можете туда лечь? — спросил я и внезапно все понял.

Женщина с легкой улыбкой смотрела на меня.

— Так это Улоф прислал вас сюда?

— Да будет вам! — махнула она рукой.— Ну прислал и прислал... Он сказал, что вы, наверное, все поймете.

Я сел на край своей кровати. Был час ночи, небо начинало светлеть.

— Какая разница, где спать,— сказала женщина.

Минуты через три она заснула.

И захрапела.

Я улегся в постель. По коридору толпой шли писатели, громко переговариваясь на разных языках. Вскоре за окном защебетали птицы.

Я оделся тихо, чтобы не разбудить ее.

— А-а, наш шведский гость! — сказал портье, когда я оставлял у него свой ключ.— Хотите совершить небольшой утренний променад?

Я кивнул.

— А ваш сосед по комнате, из Швеции, еще не пришел?

— Пришел,— ответил я.

Портье с любопытством разглядывал меня.

— Все в порядке? У вас с ним никаких хлопот?

— Ну что вы! — сказал я.— Разумеется, никаких!

Я побрел к морю. Под старыми липами стояла огромная шахматная доска, выложенная белыми и черными каменными плитками, а на ней — грубо обтесанные фигуры с мощными ручками наверху. Здесь была в разгаре шахматная партия. Болгарину составлял компанию африканец в пестрой феске на голове. Оба противника играли не спеша, молчаливо и сосредоточенно.

Я побрел дальше. На берегу моря я уселся на скамейку. Солнце вставало над вершинами деревьев. «Надо было взять с собой книгу»,— подумал я. Через минуту ко мне припрыгала белка. Она уселась возле моих ног и с любопытством поглядела на меня, словно хотела спросить, что я здесь делаю.

— Да кто его знает — что,— сказал я ей.

Белка состроила забавную гримаску, похожую на улыбку, и запрыгала дальше.

При легком утреннем бризе к берегу плыл парусник, он пришвартовался к большому причалу. Женщина в белом появилась на носу судна и сошла на берег. Она налегла на штевень, парусник медленно развернулся и взял курс в открытое море. Мужчина, севший у руля, обернулся к причалу и посмотрел на женщину. Судно, бесшумно скользя по морю, все больше удалялось от берега. Женщина по-прежнему стояла на берегу, стояла неподвижно до тех пор, пока парусник не исчез в утренней дымке.

Когда женщина проходила мимо меня, я заметил, что она плачет.

Вернувшись к себе в кабинет после ленча, я нахожу на письменном столе письмо от Юханны. На конверте написано только мое имя, и больше ничего. Ни марки, ни почтового штемпеля.

Никто не знает, как оно тут оказалось. Никто из секретариата не приносил его сюда. Никто не видел Юханну в коридорах издательства.

Ничего не понимаю.

В письме всего лишь три короткие фразы: «Не волнуйся. Не жди. Ничего не предпринимай».

Уму непостижимо. Какая-то тайнопись. Я сижу с крохотным листочком в руке и пытаюсь расшифровать ее; три кратких распоряжения, из которых первые два для меня совершенно невыполнимы и к тому же противоречат друг другу: единственное, что может заставить меня меньше волноваться, так это сознание, что я жду не напрасно.

Ничего не предпринимай.

Что она хотела этим сказать? Она боится, что я отправлюсь в полицию?

Я останавливаюсь у окна и смотрю вниз, на улицу.

Звонит Мартин.

— Ну как? — спрашивает он.

— Что — как? — говорю я. (Скверно.)

— Я думал, ты мне позвонишь.

— Ах, ты думал? (Скверно, очень скверно, как бы это поскорей закончить?)

Он замолкает на минуту. А потом спрашивает:

— Что с тобой, Фредрик?

— А что со мной может быть?

— У тебя голос не такой, как всегда.

В этом он, бесспорно, прав.

— Черт побери,— сердито бросает Мартин,— сидишь тут, пишешь целый романище, а ты еще имеешь наглость удивляться, когда тебя спрашивают, почему ты не звонишь!

Я ссылаюсь на свою поездку в Финляндию, ссылаюсь на издательство, в котором перед летними отпусками дым стоит коромыслом, ссылаюсь на то, что, когда пытался ему звонить, никто не брал трубку, но все это только жалкие отговорки, все это просто ложь. Он молчит. Я ссылаюсь на то, что он немного припозднился: план осенних изданий утверждается в феврале, однако он не дает себя убедить.

Он тяжело дышит в трубку.

— Фредрик,— произносит он наконец,— мне нужен аванс. Сейчас. Иначе ты пожалеешь.

Я говорю, что мне надо подумать, чем я смогу ему помочь, и прошу его позвонить мне через несколько дней, а сам иду прямо к Карлу-Акселю и кладу рукопись Мартина перед ним на стол.

— Ты должен это прочесть.

Карл-Аксель бросает взгляд на рукопись.

— А что случилось?

— Да, черт, не знаю, как нам с ней быть.

Карл-Аксель снимает очки и смотрит на меня. Я гляжу в окно. Карл-Аксель листает рукопись, читая то там кусочек, то тут.

— Вообще-то мне кажется, издав этот роман, мы совершили бы ошибку,— говорю я.

Карл-Аксель не отвечает. Он улыбается. Я знаю почему. «*Ты* совершил бы ошибку,— думает он.— Ведь именно *ты* должен следить за тем, чтобы мы не делали таких ошибок».

— Во всяком случае мне бы хотелось услышать твое мнение.

Карл-Аксель бросает на меня быстрый взгляд, и его губы еще шире раздвигаются в улыбке, как бы говоря: «Ты хочешь знать мое мнение? Ты, который всегда смеялся над моими возражениями? Ты, который всегда все лучше меня знал? Ты, который всегда считал, что я ничего не смыслю в литературе?»

— Эту книгу тоже вряд ли удастся продать,— говорю я.

Он откидывается на стуле, нацепляет на нос очки и смотрит в потолок. Рот его полуоткрыт, и я как будто бы слышу его слова: «Так ты хочешь знать мое мнение? Ты, который всегда говорил, что продажа — это еще не все, что кое-какие капиталовложения надо делать, даже если они и не дают немедленной прибыли. Ты, который всегда распространялся о культурно-политической ответственности издательства,— красивые слова, а по сути дела происходит неслыханное: коммерческое предприятие добровольно (по твоему совету) из года в год издает массу книг, заранее зная, что они убыточны».

Я понимаю, Карл-Аксель. Но сейчас все, что зовется писателем, у меня вот где сидит! У моей жены, которая только что исчезла, год назад была некая история с одним из них. Ты, наверное, знал об этом. Об этом, наверное, все знали, кроме меня. Однажды ночью она мне рассказала обо всем, но я так и не понял, что мне надо было делать. Что делают в таких случаях, Карл-Аксель? Мои писатели постоянно пишут об этом в своих книгах, и я постоянно черпаю оттуда множество разных вариантиков, как лучше всего поступить. Но когда сам оказываешься в подобном положении, то вдруг замечаешь, что тебе не хватает слов, или начинаешь говорить не то, а она встает, выходит из комнаты и закрывает за собой дверь. А ты все сидишь на том же месте, как последний дурак, и гадаешь: что она там делает, за закрытой дверью? Укладывает чемодан? Сидит за столом в кухне и смотрит в окно? Нет, оказывается, ни то, ни другое. Она ложится спать. На ночном столике у нее горит лампа. Жена забирается под одеяло и поворачивается к тебе спиной. Ты тоже раздеваешься и ложишься рядом. Через минуту она говорит: «Мне очень жаль, но я должна была сказать тебе об этом». Хочешь спросить ее: «Почему должна?» — но молчишь и вместо этого брякаешь вдруг: «Почему именно Улоф?» Она вздыхает. «Я должна была сказать тебе об этом,— повторяет она,— иначе этому не будет конца». «Так вот чего ты хочешь,— говоришь ей,— конца?» С минуту она лежит тихо. Только плечи у нее вздрагивают. А ты вдруг чувствуешь, что она плачет. Буквально ощущаешь, как слезы медленно, точно дождевые капли по оконному стеклу, ползут по ее щекам и скатываются на подушку. «И все-таки я должна была,— говорит она,— ты же знаешь Улофа, ты понимаешь, что́ он за человек». «Я знаю его стихи,— отвечаешь на это жене,— но не его самого». «Ты должен помочь мне»,— говорит она, не поворачиваясь. А ты лежишь на спине и пытаешься понять, что́ она имеет в виду. Огни автомобильных фар мелькают за темным окном спальни. «Чего тебе надо? Что я должен сделать? — спрашиваешь ее.— Пригласить на ужин и объяснить, что чужая жена не входит в его гонорар?» Она ничего на это не отвечает. Она тихо лежит в постели. Может, надо схватить ее, обнять, сказать, что любишь ее, что́ все прощаешь? А возможно ли это, возможно ли простить ее?

Да и любишь ли ты ее?

«А что говорит Улоф?» — спрашиваешь вместо этого жену. «Улоф ничего не знает»,— отвечает она. И тогда вдруг бросаешь ей: «Ты никогда не должна говорить ему о том, что все мне рассказала!» Она молчит. «Ты обещаешь?» — спрашиваешь ее. «Это так важно для тебя? —

отвечает она вопросом на вопрос.— Это все, что ты можешь мне сказать?»

Карл-Аксель больше не листает рукопись. Он сидит и с любопытством смотрит на меня. Давно ли он так на меня смотрит? Он потирает рукой подбородок словно для того, чтобы скрыть улыбку. Неужели я сидел тут и бормотал все это себе под нос?

Мне кажется, внутри меня что-то снимается со швартовов. Сейчас я сорвусь и меня понесет по волнам.

Карл-Аксель откидывается на стуле, вытягивает ноги и спрашивает:

— Ты получил письмо?

— Какое письмо?

— От Юханны. Я положил его тебе на стол.

— А-а, да-да,— говорю я, чувствуя, как загораются уши,— конечно, получил.

Он поднимается, подходит к окну и останавливается возле него, ко мне спиной.

— Она уехала?

— Что-что?

— Она шла с дорожной сумкой в руке.

Тут у меня загорается все лицо.

— Вот я и подумал, что она, наверное, поехала куда-то,— говорит Карл-Аксель.

— Ее мама заболела,— выдумываю я, но выдумка эта дурацкая, никуда не годная — моя теща уже умерла, шестнадцать лет назад.

Карл-Аксель кивает. И засовывает руки в карманы. Он стоит у окна, покачиваясь на пятках.

— В это время года я чувствую себя каким-то до странности старым,— говорит он,— как будто бы все свое я уже сделал.

— А ее письмо,— спрашиваю я,— как оно к тебе попало?

— Мы столкнулись с ней у Центрального вокзала.

Он отходит от окна и снова усаживается за письменный стол.

— Что-то случилось?

— Нет, что ты, ничего.

Раздается телефонный звонок. Но Карл-Аксель сидит себе преспокойно и смотрит на меня. Он и не собирается брать трубку.

— Вид у нее был какой-то задерганный. Она написала несколько строк на клочке бумаги и сунула листок в конверт. Она сказала, что это для тебя.

С минуту он смотрит на телефон, который звонит у него на столе.

— Она сказала, что не нашла тебя.

— Таким образом, ты стал нашим postillon d'amour [1],— говорю я, пытаясь непринужденно рассмеяться.

Он улыбается.

— То же самое я сказал ей. Мы с тобой слишком долго работали вместе, Фредрик.

Он вздыхает.

— Возможно, мы свое уже сделали, оба.

Потянувшись через стол, он кладет передо мной рукопись.

— Не забудь ее, когда будешь уходить,— предупреждает он и, поворачиваясь к телефону, собирается снять трубку.

Но звонки прекращаются.

Перед обедом Улоф исчез. Я, словно по обязанности, проглотил одну совершенно сухую свиную котлету с рисом и почувствовал, как усталость невидимым обручем все сильнее сжимает мне голову.

Антти с улыбкой смотрел на меня.

— Беспокойная ночка была?

Я кивнул.

---

[1] Посланцем любви *(франц.)*.

За соседним столом сидели друг против друга болгарин и африканец. Они ели в учтивом молчании, время от времени протягивая другу другу то хлебницу, то графин с вином, то солонку, они жевали и безмолвствовали.

Один из организаторов встречи, длинный юнец с бисеринками пота на носу, остановился на минуту у нашего стола.

— Жаль, что так вышло с Марио! — сказал он.— Я ведь и знать не знаю, почему он сюда не явился.

Антти пожал плечами.

— Не понимаю,— продолжал организатор,— я написал ему...

Антти повернулся ко мне и спросил:

— Ты собираешься издавать этой осенью что-нибудь серьезное?

Но организатор не унимался:

— Я написал, что ты будешь на месте и что мы позаботились о том, чтобы сюда приехал издатель из Швеции.

Я ничего на это не сказал. Антти тоже. Мы смотрели вниз, в свои тарелки, и ели. Организатор пожал плечами и поспешил дальше. Антти невнятно пробормотал что-то, похоже даже выругался.

С минуту мы продолжали орудовать вилками.

— У Марио есть в Швеции издатель,— сказал я наконец.

Антти кивнул.

— Он хочет другого. Знаешь, как бывает, когда они начинают преуспевать.

И мы заговорили о другом. Ведь мне не нужно было сообщать Антти, что я внезапно понял, зачем меня сюда пригласили. Он же не настолько глуп.

Настолько глуп был, без сомнения, я сам.

Болгарин с африканцем, как по команде, поднялись из-за стола и плечом к плечу целеустремленно направились к выходу.

Я выпил три чашки кофе, и совершенно напрасно. Так как послеобеденную дискуссию должен был начать один немецкий семантик-постмодернист.

Нет, это слишком тяжко слушать.

Я решил поспать несколько часов.

Портье с любопытствующей улыбочкой протянул мне ключ.

— Все в порядке?

Я кивнул и вдруг заметил, что второго ключа на крючке нет. Портье улыбнулся.

— Ваш сосед в номере.

Улоф был раздет. На стуле в куче валялись его брюки, фуфайка, рубашка, носки и кальсоны. На столе в беспорядке были разбросаны бумаги, здесь же лежала книга, похожая на финский стихотворный сборник. На спинке стула висело полотенце. На подоконнике красовались электробритва, зубная щетка и множество мелких монет. Посреди комнаты, на полу, стоял его рюкзак.

Улоф завладел всей комнатой.

Сам же он лежал под одеялом, свернувшись калачиком, как ребенок. Он дышал равномерно и тяжело.

Я снял ботинки, улегся на кровать и закрыл глаза.

При каждом выдохе из груди у него вырывался легкий стон, словно он жаловался во сне на все неудачи своей жизни; сколько раз Юханна тихо лежала вот так же, как я сейчас, и слушала эти тихие печальные звуки? Оба они делали все, о чем можно прочесть в книгах: снимали плохонький номер в отеле; когда я куда-нибудь уезжал, она перебиралась жить к нему; долгие тихие послеполуденные часы они просиживали в маленьких кафе в Старом городе, держась за руки. Встречу переводчиков в Копенгагене она придумала, чтобы поехать туда вместе с ним. Она болтала об этом много вечеров подряд. Я же говорил не слишком много. Я сидел, отвернувшись, с закрытыми глазами. В ушах у меня слегка шумело. (Не стоит обращать внимания,

сказал мой врач, это годы шумят.) «Я должна была рассказать тебе обо всем,— призналась она,— знаю, что поступаю по отношению к тебе несправедливо, но мне необходимо все рассказать, понимаешь? Ты понимаешь?» Одна из многих ошибок обманутых людей — вера в то, что может быть восстановлена какая-то справедливость. Поэтому они вытворяют массу глупостей, от которых им самим нет никакой пользы. «Не забудь, что ты мне кое-что обещала»,— сказал я. «Что именно?» — спросила она. «Никогда не рассказывать ему, что я все о вас знаю»,— ответил я.

Вдруг в комнате стало совсем тихо. Дыхания Улофа больше не было слышно. У меня возникло ребяческое чувство, что меня подслушивают; словно Улоф, подобно Богу, мог услышать мои мысли. Потом он вдруг начал стонать на другой манер, это был какой-то растянутый скрипящий звук, который, казалось, никогда не прекратится.

Мне стало неприятно. Мне почудилось, что Улоф сам себя душит. Будила ли она его в таких случаях? Садился ли он в таких случаях в постели с легкой полусонной улыбочкой? Склонялся ли к ней, терся ли щекой о ее грудь?

— Фредрик,— вдруг произнес он,— Фредрик, это ты?

— Да, я.

Он вздохнул.

— Прекрасно,— сказал он.

В квартире витает слабый запах сигаретного дыма. Ксеркс спокойно спит в своей корзинке. Его поводок, который я всегда вешаю на стену вверху, у зеркала, валяется на полу.

Я останавливаюсь в прихожей и прислушиваюсь. Все тихо.

— Юханна?

Ксеркс поднимает голову и с безразличием смотрит на меня.

Пепельница в гостиной пуста. Я иду дальше, в спальню. Но там тоже пусто.

В пакете для мусора я нахожу четыре окурка.

Она взяла с собой немного. Почти вся ее одежда по-прежнему висит в гардеробе.

На ее письменном столе верещит персональный компьютер.

На экране ничего не видно, кроме одной буквы — «J».

Жена не заперла ящики своего письменного стола.

В них, как всегда, царит тот же безупречный порядок: отпечатанные материалы, фотографии, копии переводов, контракты, корреспонденция, бумага для писем, конверты — все на своих местах.

Нет только ни одного письма от Улофа.

А на дискете нет ни одного ее письма Улофу.

И ее паспорта тоже нет в верхнем ящике стола, где он обычно лежал.

Ее энциклопедия и словари по-прежнему стоят на полке.

Единственно, что на книжной полке отсутствует,— так это книги Улофа. Она взяла их с собой, все до единой.

Я опускаюсь на край кровати, с минуту я сижу там и смотрю на серый телефонный аппарат, стоящий на ее ночном столике.

«J»? Первая буква в слове «jag» [1]?

Почему жена вдруг перестала писать то, что начала? Может, Улоф сгреб ее со стула и увез из дома?

Может, он повел ее прямиком в постель?

И вдруг я замечаю, что на кровати нет ее подушки. Это огорчает меня больше всего; я вижу жену в большой толпе народа, в скоплении незнакомых людей, на незнакомой площади, она идет, зажав под мышкой свою подушку; тогда я начинаю действовать: я хватаю телефонную

---

[1] *Я (шведск.).*

трубку и набираю номер Улофа (который он дал мне втайне от всех, чтобы ему не трезвонили целыми днями, как он обычно говорит).

«Чтобы написать новую книгу стихов, поэт ушел в подполье, что является единственным местом, где могут создаваться стихи,— раздается в трубке голос автоответчика.— Но если вы хотите что-то сообщить мне, сделайте свое сообщение после короткого сигнала, который сейчас последует»,— продолжает автоответчик голосом Улофа.

В трубке раздается «пип».

Но я не говорю ни слова.

Я только молча сижу на краю ее кровати с прижатой к уху трубкой. Нас разъединяют, в трубке слышатся короткие гудки. Когда раздается звонок в дверь, мне на мгновение кажется, что это телефон, что меня по ошибке соединили с каким-то чужим континентом.

В прихожей начинает лаять Ксеркс.

Снова звонок. Пусть звонят. У нее же есть ключ, так что мне нет нужды мчаться открывать...

И все-таки я бросаюсь к двери и распахиваю ее так стремительно, что Лотта вынуждена отступить, чтобы не свалиться с лестницы.

— Папа, дорогой,— немного испуганно спрашивает она,— что с тобой?

— А что такое? — говорю я.— В чем дело?

— Можно мне войти?

Ксеркс, виляя хвостом, вьется у нее под ногами, но она не обращает на него внимания. Она направляется прямо в гостиную, останавливается посреди комнаты и спрашивает:

— А мама?

— Ее нет дома.

Лотта обеспокоена.

— Нет дома?

— Нет. А разве она должна быть дома?

— Она звонила мне часа два назад...

— Откуда?

Лотта смотрит на меня.

— Я думала — из дома,— говорит она, усаживаясь в кресло на Юханнино место.

Лотта достает сигарету из оставленной Юханной пачки и зажигает ее. Она сидит и курит, не говоря ни слова. В комнате тихо, лишь где-то вдалеке, за окном, воет автомобильная сирена.

— Папа,— говорит наконец Лотта,— у вас что-то случилось?

— Почему это?

— У нее был какой-то странный голос по телефону...

Юханна просила дочь погулять с Ксерксом, поскольку сама она не может, так она сказала. Лотта поинтересовалась, почему бы *мне* не погулять с ним, но Юханна ответила, что этого она не может от меня требовать и что правильнее всего оставить меня в покое. «Так ему будет лучше»,— сказала она. Когда Лотта спросила ее, что́ она имеет в виду, Юханна сперва промолчала, а потом ответила: «Ты и от меня не должна ничего требовать».

Ксеркс подходит к Лотте и кладет голову ей на колени. Она чешет его за ухом и говорит, глядя на собаку:

— Папа, где мама?

Пошел дождь. Поэтому участники писательской встречи уселись в палатке, как в цирке-шапито. Перед микрофоном писатели занимались интеллектуальной акробатикой. Казалось, все они сговорились разглагольствовать о том, что пишут не для кого-то, а для самих себя, что издатели, критики и средства массовой информации только и делают, что овеществляют, превращают в товар плоды их творческой фантазии и что сами они никогда не должны заниматься ни маркетингом, ни тиражами будущих изданий.

Это меня позабавило.

Они говорят совсем другое, сидя в моем кабинете с прижатыми к груди рукописями только что написанных книг. («Писателя надо читать, а не интервьюировать»,— любят повторять они в своих обширных интервью.)

Иногда мне бывает любопытно, не сама ли эта профессия делает шизофреником писателя, или все как раз наоборот: человек изначально носит в себе зачатки этого недуга и потому выбирает писательскую стезю.

В палатке сквозило, было холодно. Ноги промокали.

— Пошли выпьем пивка,— сказал Улоф.

Болгарин с африканцем играли в шахматы, каждый под своим зонтиком. У входа в ресторан стояла финская поэтесса с долговязым худым верзилой в таких же очках на носу, какие носил Рюнеберг, и со старым «роллейкордом» [1] на животе.

— Я тебя ждала,— сказала финская поэтесса.

Улоф кивнул.

— Очень может быть.

Странно, но в его устах эти слова прозвучали совсем не так несносно, как могло бы случиться, произнеси их кто-нибудь другой.

— Это мой муж,— представила финская поэтесса верзилу.

Верзила церемонно поклонился.

— Он очень хотел познакомиться с тобой.

Улоф улыбнулся ей.

— Очень может быть.

— У него фотоаппарат,— сказала финская поэтесса,— он хочет сфотографировать нас с тобой, вдвоем.

Верзила снова поклонился.

Я улизнул от них, уселся на веранде и заказал пиво.

За соседним столиком известный русский романист писал открытки, одну за другой.

Шел дождь.

Шведоязычная финка подошла к моему столику, представилась и долго жала мне руку. Одновременно она рылась в сумке, висящей у нее на плече. Женщина извлекла из сумки книгу и положила ее передо мной. Это был сборник новелл. Под названием «Якобинцы». Она сама написала все новеллы.

— Вы, может быть, уже слышали о нем?

Я не слышал. Но кивнул.

Она искала шведского издателя.

— Я говорила с Улофом, он сказал, что вас это наверняка заинтересует.

Я заверил писательницу, что меня уже заинтересовал ее сборник.

Дождь шел целый день.

Вечером я позвонил домой. Юханна, казалось, была немного удивлена, поскольку мы обычно не перезванивались, когда кто-то из нас уезжал. Она спросила:

— Что-нибудь случилось?

— Нет,— сказал я,— ничего.

— У тебя все в порядке?

Я не ответил. Вместо ответа я сказал:

— Улоф тоже здесь.

— Где?

— Здесь, на конференции.

— А-а,— сказала она.

С минуту мы молчали. Потом она сообщила:

— У Ксеркса понос.

— Мы с ним живем в одном номере,— сказал я.

---

[1] Марка фотоаппарата.

— С кем?
— С Улофом.
Она молчала. Потом вздохнула.
— Фредрик,— спросила она,— ты трезвый?
— Конечно.
— А зачем тогда ты звонишь? Какой смысл в этом нашем разговоре?
Я не нашелся, что сказать.
— Ты хочешь всего лишь сообщить мне, что живешь с Улофом в одном номере? Ну и на что это тебе нужно?
«Настал тот момент, когда в какой-нибудь из их книг герой наверняка ответил бы: «Я люблю тебя!» — подумал я и ответил:
— Не знаю.

Я советуюсь с моим юристом. Я утверждаю, что речь идет об одном из моих знакомых, чему он, конечно же, не верит почти так же, как Лотта не поверила тому, что ее мама уехала в пансионат в Стренгнесе, чтобы в тишине и покое закончить работу над переводом; я запутываюсь в сетях лжи, а все остальные, как мне кажется, держатся на плаву, в том числе и мой юрист, который обстоятельно объясняет, что если ты всего лишь через день после исчезновения известной особы получил от нее письмо, то подобную особу нельзя, по крайней мере с юридической точки зрения, считать исчезнувшей, о чем свидетельствует и тот факт, что она в день отправления письма находилась лично на Центральном вокзале в Стокгольме. «Привет Юханне»,— говорит он на прощание. Я размышляю, не позвонить ли мне в полицию, но снова отказываюсь от такой затеи и, как обычно, стою у окна; все эти люди... ну разве не странно, что никто из них ни разу на моих глазах не упал замертво. С минуту я размышляю о подобной статистической возможности: сколько мне надо простоять вот здесь, у окна, чтобы дождаться, пока кто-нибудь не упадет и не умрет у меня на глазах.
Сколько мне надо простоять здесь, чтобы увидеть Юханну, идущую по улице с дорожной сумкой в руке?
Единственной неожиданной вещью, которую я обнаружил в одном из ящиков ее письменного стола, была заметка из газеты «Дагенс нюхетер»: небольшая измятая вырезка, она выглядела так, словно жена долго носила ее с собой в сумке, часто вынимала и перечитывала, коротенькая заметка, всего одно небольшое сообщение: «По данным французской статистики, каждый год бесследно исчезают десять тысяч французов. Исчезновение некоторых из них возбуждает чувства печали и сожаления. Исчезновение же других вызывает у окружающих вздох облегчения. Среди исчезнувших — мужчины и женщины, которые хотят перечеркнуть все свое прошлое и начать новую жизнь. Они достают себе новые удостоверения личности. Властям по большей части не удается разоблачить их».
Почему эта вырезка лежала в ящике ее стола? Жена должна была, вероятно, принять во внимание, что рано или поздно я начну рыться в ее бумагах. Может, она просто забыла эту заметку? Или, наоборот, специально положила ее сюда, чтобы таким образом дать мне понять, что́ она собирается делать?
В дверь стучат. Я вздрагиваю. Но делать ничего не делаю и ни слова не говорю, а просто стою по-прежнему у окна. Внизу, по улице, в потоке машин колесит тандем, на нем едут мужчина и женщина, к багажнику привязан гигантский рюкзак; женщина ведет.
Я не вынесу, если Юханна увидит сейчас мое лицо.
Но это Карл-Аксель, это он входит в комнату, я узнаю его по походке.
— Я выплатил Мартину аванс,— говорит он.
Мужчина и женщина на тандеме беспечно едут на красный свет.
— Тебе не кажется, что ты чересчур неосторожен с ним?

— Почему это?

— Ему же сделали предложение в другом месте.

Я оборачиваюсь. Он сидит на краешке письменного стола и задумчиво разглядывает меня.

— Потому-то и пришлось заплатить ему больше, чем следовало бы.

— У него плохая книга, Карл-Аксель.

— Возможно, ты прав,— говорит он,— но это всего лишь одна точка зрения из многих.

Я снова обращаюсь лицом к окну. Тандем заворачивает за угол и исчезает, сначала женщина, потом мужчина.

Карл-Аксель спрашивает:

— Ты встречался в Финляндии с Марио?

— Он не приехал на встречу.

— Ах, так! Жаль.

Я слышу, как он поднимается и идет к двери.

— Как здоровье тещи?

— Какой тещи?

И тут я вспоминаю. Я чувствую, как он, стоя у двери, смотрит мне в спину, но я не в силах ничего сказать, не в силах обернуться.

— Привет Юханне,— говорит он и уходит.

Поздно ночью был организован футбольный матч между командой Финляндии и «остальным миром» — нелепейшее событие, которое в довершение всего передавали по телевидению и по радио в прямом эфире. Улоф согласился стать капитаном команды «остального мира». Африканец был левым крайним нападающим. Он делал с мячом что хотел, он обходил всех игроков, он обращался с ними, как с деревянными шахматными фигурами.

Сам же Улоф стоял в воротах. Я понятия не имел, что он и это умеет.

Болгарин молча следил за игрой. Когда африканец за несколько секунд до финального свистка забил в ворота победный гол, болгарин кивнул и сказал:

— Very interesting.

После матча Улофа несли на руках. Я ушел к себе в комнату.

Меня разбудил глубокий вздох. В комнате было тихо. Я уж подумал, что это я сам так вздохнул, как вдруг в тот же миг вздох послышался снова.

Я сел в кровати. Рассвет, белый и холодный, озарял белые гардины на окнах.

На стуле, подперев голову обеими руками, сидел Улоф. У ног его стояла бутылка.

Он был совершенно наг.

— Улоф, что случилось?

Он вздохнул.

— Ты болен?

Он покачал головой. Он опирался локтями на широко расставленные ноги. Его член, как маленькое грузило, свешивался с сиденья стула.

Я отвел глаза в сторону.

«А если он узнал, что я все знаю? — подумал я.— Тогда я не выдержу и не останусь в этой комнате ни секундой больше».

Улоф сказал:

— Фредрик...

Как только он начнет делать мне признания, я сразу же положу этому конец, даже если придется...

Он сказал:

— Не бросай меня на произвол судьбы.

Я ничего не ответил. Мне было любопытно: неужели он так напился, что перепутал меня с Юханной.

— Ты сердишься на меня?

Он встал со стула, кое-как доплелся до меня и опустился на край моей кровати. Он положил руку мне на плечо. И приблизил свое лицо вплотную к моему. Из его рта на меня пахнуло перегаром.

— Надень пижаму.

Он вздохнул. Его рука упала с моего плеча.

— Ты многого не понимаешь, Фредрик. Ты многого не знаешь. Но делать нечего.

Я молчал. Я знал больше, чем он думал, но не собирался признаваться ему в этом, ни за что на свете!

— Так и должно быть,— сказал он.— Раз есть на свете такой Улоф, то обязательно должен быть и такой Фредрик. Понимаешь?

Я не ответил.

Я был сыт им по горло.

Поэтому я отправился в аэропорт первым же автобусом. Улоф спал, я оделся и уложил свои вещи, я действовал тихо, как вор. Я и мысли не допускал разбудить его, ехать с ним в одном автобусе, сидеть рядом, лететь в одном самолете, прощаться с ним в Арланде [1].

Я был сыт им по горло.

Африканец с болгарином сидели в автобусе впереди меня. За весь путь они не сказали друг другу ни слова.

В аэропорту болгарин крепко пожал мне руку.

— I bid you farewell, mister,— сказал он,— it has been very interesting to talk to you [2].

Я зарегистрировался. Я просил посадить меня на первый же самолет, вылетающий в Стокгольм.

В Арланде я взял такси. Юханны не было дома.

После обеда я получил экспресс-письмо. Она написала его в Арланде.

«Фредрик, я решила встретить тебя в аэропорту. Себе я сказала, что делаю это потому, что у тебя был такой странный голос по телефону. На самом же деле не знаю, почему я так поступила. Может, мне хотелось увидеть Улофа. Его я и встретила. А куда делся ты, я не знаю, и Улоф тоже не знает. Он говорит, что, когда проснулся утром, тебя уже не было.

Еще он говорит, что не рассказал тебе того, о чем ты не знаешь.

Поэтому я должна сделать это сама.

Я не могла не встречаться с ним время от времени, не могла отказаться от этих встреч, сколько ни пыталась. Может, мне и удалось бы не видеться с ним, если бы ты этого потребовал. Но ты не потребовал. Странно все-таки. Единственное обещание, которое ты с меня взял,— не говорить Улофу о том, что ты все знаешь о наших с ним взаимоотношениях.

Но такое обещание я не могла сдержать. Прости.

Может, мне и это удалось бы, если бы я понимала, почему для тебя так важно, чтобы я молчала.

Улоф сейчас в плохом состоянии. Я хочу отправить его домой. Что я буду делать потом — пока не знаю.

И еще одно, о чем я, пользуясь случаем, хочу тебе сказать. Если бы Улоф был другим, я бы тотчас оставила тебя. Но Улоф, как мне кажется, не нуждается во мне, а если все-таки и нуждается, то как-то по-своему. Не знаю, поймешь ли ты, что́ я имею в виду.

Улоф не знает, о чем я тебе написала в этом письме. Таким образом, он не знает, что ты теперь и это тоже знаешь о нас. Я не собираюсь рассказывать ему об этом. Так что ты сейчас получил то, что хотел, наконец-то».

---

[1] Стокгольмский аэропорт.

[2] Прощайте, мистер, было очень интересно беседовать с вами *(англ.)*.

В дверь ко мне стучат, три раза. Я сразу же узнаю, кто это, он стучит всегда одинаково, он никогда не нажимает на кнопку звонка.

Он подходит к моему столу. Я встаю. И чувствую, что краснею, против воли.

Мы жмем друг другу руки.

Под мышкой у него толстенный конверт.

— Привет, Фредрик,— говорит он и улыбается, немного застенчиво,— благодарю тебя за приятно проведенное время.

Он выглядит иначе, чем тогда, когда я его видел в последний раз, обнаженного, в номере гостиницы в Финляндии. В лице у него появились краски. Движения спокойные, размеренные, как будто бы даже осторожные.

Но вид у него все-таки еще усталый.

Мы садимся друг против друга.

— Куда ты пропал тогда?

Он разглядывает меня серьезно, с некоторым любопытством. Я молчу. Я утомлен и обессилен. Что же в конце концов ему известно? И что известно мне? И что́ я знаю такого, чего не знает он? И вообще какая разница, что́ мы знаем?

— Юханна встречала тебя в Арланде, не правда ли?

Он потирает переносицу и закрывает глаза.

— Юханна встречала *тебя,*— говорит он,— но ты так и не прилетел.

Он умолкает. С минуту мы сидим и смотрим друг на друга. За дверью, в коридоре, кто-то весело смеется. Улоф говорит:

— Она помогла мне добраться до дома. Это был такой день...

Он сконфуженно улыбается.

Мне становится ясно, что он не знает, где сейчас Юханна, и что я не могу говорить о ней, с ним — не могу.

Он кладет конверт передо мной на стол. Потом откидывается назад, засовывает руки в карманы и вздыхает.

В конверте лежит рукопись, его новые стихи. Они написаны от руки, как всегда. У него невероятно красивый почерк.

Стихи эти лучшее из всего, что он до сих пор написал. Мне давным-давно не приходилось читать ничего подобного.

И все они о Юханне, все без исключения.

Вместо ее имени всюду стоит буква «J».

Пока я читаю его стихи, он неподвижно сидит на стуле и смотрит на меня.

Стихи чертовски хороши.

— Ты издашь их осенью? — тихо спрашивает он.

Я поднимаюсь из-за стола и встаю на свое привычное место у окна. Люди, кажется, спешат прочь отсюда. Я проглатываю подкативший к горлу ком.

И все-таки у меня такое чувство, что мне каким-то образом вернули ее, мою Юханну.

Я киваю.

— Я с радостью издам их,— говорю я.

АРХИТЕКТОР

У нее был вернисаж в Стокгольме, а когда она вернулась домой, то узнала, что его уже отвезли в морг.

Это Сикстен нашел его. Сикстен и сейчас был не многословнее, чем всегда. Он нашел его на холме, уже окоченевшего. Паралич сердца, вероятно. Ничего не поделаешь.

Она позвонила в полицию. Ей не нужно приезжать для опознания трупа, если она того не желает. Причина смерти неизвестна, все станет ясно при вскрытии. Вскрытие производится непременно, когда люди умирают при подобных обстоятельствах. Возможно, с ним случился

удар. Нет никаких оснований подозревать, что здесь замешан кто-то из посторонних.

Ей была неприятна мысль, что они станут резать мертвое папино тело (как они это делают?), но протестовать против вскрытия казалось невыносимо. Все казалось невыносимо. О многом ей предстояло позаботиться: о помещении в газету объявления о смерти отца, о похоронах, об описи его имущества; ничем таким ей никогда прежде не доводилось заниматься. С чего начать? Как это делается?

Она находилась в полном оцепенении.

Просто сидела в своей мастерской без всякого дела и чувствовала себя совершенно разбитой от горя. Такое чувство оказалось неожиданным, даже каким-то загадочным. У них с отцом было так мало общего. Когда он в августе решил остаться в деревне, она почувствовала лишь облегчение, что он, без сомнения, заметил, поскольку она и не старалась этого скрыть. Папа, разумеется, не мешал ей. Да она и не позволила бы ей мешать. Однако несмотря ни на что, она была не прочь получить весь дом в свое распоряжение.

И вот сейчас весь дом находился в ее распоряжении, пожалуйста, а она все плакала и плакала.

«Мне надо было завести себе ребенка,— думала она,— впрочем, еще не поздно это сделать».

Сикстен встретил ее у паромной переправы. Взглянув на него, она расплакалась. Ей было стыдно, она ругала себя; как будто она недостаточно ревела по отцу, которого, по правде говоря, не любила, чтобы еще на этого едва знакомого ей Сикстена выплескивать потоки своей тоски, это же было нелепо. Сикстен пожал ей руку, выразил соболезнование, не скрыв, однако, смущения, и повез ее через залив к причалу. Она слишком легко оделась дома и теперь, сидя в лодке на носу, мерзла и плакала.

Сикстен причалил и, даже не выключив мотора, высадил ее на берег. Она понимала, что ему не терпится поскорее уехать отсюда, и все-таки не могла не спросить:

— Когда ты видел папу в последний раз?

Он удивленно посмотрел на нее.

— Я имею в виду: до того, как... ну, когда еще он был жив.

— Несколько дней назад,— ответил Сикстен,— а может, неделю.

— Он был... таким же, как всегда?

Сикстен вытащил из кармана дождевика носовой платок и высморкался. Вид у него был недовольный, словно она задала ему неуместный вопрос. Потом он утвердительно кивнул, отвернулся к корме и дал задний ход.

— Сикстен,— сказала она,— ты должен показать мне, где он лежал.

С минуту Сикстен сидел тихо и смотрел в воду. «Если он спросит меня, почему должен показывать мне место смерти отца, я и знать не буду, что ему ответить»,— подумала она. Он заглушил мотор и шагнул на берег.

Она брела за ним вверх по холму. Невдалеке от дровяного сарая он остановился и ткнул пальцем себе под ноги.

— Здесь,— сказал он.

Она стала рядом с ним. Не было видно никаких следов. Просто кусок земли, и все.

Она почувствовала, что снова готова заплакать.

— Наверное, он пошел за дровами.

— Так, значит, у вас в сарае дрова?

Она смотрела, как он оставляет окаймленные пеной борозды на по-осеннему серой зеркальной глади залива. Она просила его заехать за ней через пару часов. Она жалела, что осталась здесь. Ей хотелось

сбежать вниз, на причал, помахать ему рукой, чтобы он вернулся, уехать отсюда в город и начать наконец-то действовать; ну что ей здесь делать? Листья в сухих коричневых пятнах валялись повсюду. Не защищенный листвой берез, дом казался старым и обветшалым, вид его был даже отталкивающим. Отец заново обшил тесом кусок стены над дверью погреба, но не успел покрасить новые доски; он словно бы нанес рану стене дома.

Она замерзла.

«Теперь и этот дом в моем распоряжении»,— подумала она и, решив взять себя в руки, твердым шагом направилась к входной двери. «Не удается со слезами, удастся со злостью»,— говорил обычно отец. «Дрова в сарае? — сердито подумала она.— Вот черт! И что Сикстен хотел этим сказать?»

Входная дверь была заперта.

Дочери стало неприятно, как будто бы отец напоследок специально запер дверь у нее перед носом. Ключа не оказалось ни на гвозде, ни на каменном цоколе. Может, папа сунул его в карман? Но где его вещи? Что они сделали с его вещами?

Черт побери.

Она стиснула зубы, взяла камень и с силой бросила его в одно из маленьких дверных оконцев.

Послышался страшный грохот. Звон выбитого стекла эхом раскатился над заливом. Сидящая на крыше дровяного сарая ворона каркнула, взметнулась вверх и полетела к лесу.

Она огляделась по сторонам, испугавшись, как бы кто ни показался на опушке леса и ни захватил бы ее на месте преступления: Сикстен, или полиция, или отец...

— Ну уж нет, какого черта! — крикнула она, сунула руку в разбитое оконце, открыла изнутри замок и вошла в дом.

На веранде одиноко висели на крюке его длинный черный дождевик и зюйдвестка.

Она взяла дождевик и, чтобы хоть немного согреться, сунула в рукава свои озябшие руки.

Надо было снова собраться с силами.

Она вошла в гостиную и огляделась вокруг. Все здесь было как обычно, все на своих местах.

И все-таки что-то смущало ее, она не знала, что́ именно.

Она отправилась в кухню. Столик для мытья посуды был пуст, тщательно вытерт. Вся посуда аккуратно расставлена в шкафу. Кухонный стол тоже пустовал, даже солонка с сахарницей были убраны.

В ведрах не осталось ни капельки воды.

И тут вдруг она сообразила, что именно этот абсолютный порядок и смущал ее.

Неужели кто-то убрал за отцом?

Все в доме было так, как бывало прежде, в конце августа, когда они уезжали в город, зная, что уже долго не вернутся сюда.

Или папа сам навел в доме порядок? Разве он знал, что больше сюда не вернется?

На столах в гостиной оказалось так же пусто: ни пепельниц, ни карт, ни спичек, ни ручек, ни газет — все на своих местах. Все книги расставлены на книжных полках.

На одной из полок лежала записка.

Она узнала папин почерк: «Библиотечные книги. Надо сдать в библиотеку».

Она стояла и смотрела на это краткое распоряжение — кому оно адресовано? Ей? Но ведь в таком случае папа должен был знать, что он...

Она почувствовала, что падает духом.

Книги из библиотеки оказались сборниками стихов. Стихи? Папа?

Она села за письменный стол. Она выдвигала один за другим ящи-

ки стола. В верхнем ящике лежали папины банковские книжки, кредитные карточки, водительские права, паспорт. В следующем ящике оказалось несколько старых фотографий и пачка писем, она узнала на конверте свой почерк.

Вот и все, почти все.

Стол был прибран на редкость тщательно.

В нижнем ящике лежала голубая тетрадь. На обложке он написал: «Дневник».

Дневник? Папин?

17.9. Я не имею ни малейшего понятия о том, как ведут дневник. Я и не думал этого делать. Дневники, казалось мне, изобрели люди, которые мнят себя более интересными, чем они есть на самом деле.

Людей такого рода предостаточно.

С другой стороны признаю — есть много такого, о чем я никогда прежде не думал.

Когда я решил поселиться здесь, в деревне,— это было скорее экспериментом, попыткой, от которой всегда можно отказаться. Собственно говоря, я не верил в успех такого эксперимента. Люди, которые ни с того ни с сего уезжают в деревню, тоже зачастую бывают слишком высокого мнения о себе. Чего у меня никогда не было (утверждение, довольно парадоксально отрицающее собственную истинность). Осень, мрак и одиночество вскоре погнали бы меня обратно, в город, где человеку легче скрыть свою осень, свой мрак, свое одиночество.

Марион ничего не имела против моего эксперимента, я это заметил.

Как ни странно, у меня и мысли не возникало уехать отсюда. Мне не нужны товарищи по работе из нашей конторы (они регулярно звонят мне по какому-нибудь дурацкому поводу или скорее всего из вежливости, уверен, что я им тоже не нужен), мне не нужны вечера в Техническом обществе, не нужны театры и кинотеатры (в которые я, конечно же, никогда не ходил). У меня нет никакой потребности в знакомствах, никакой потребности вновь увидеть все дома, которые я спроектировал (чаще всего там и посмотреть-то не на что, по правде говоря), у меня даже нет потребности обыграть Матса в теннис.

Мне ничего не нужно, ничего.

Марион мне тоже не нужна.

Я никогда не понимал, почему люди считают, что надо быть как-то по-особенному привязанным к своим детям только потому, что нечаянно породил их. Это тоже одна из форм тщеславия.

По утрам я спускаюсь на берег мыться. И замечаю, прибыла вода или спала. У меня нет никакой особой надобности заниматься такими наблюдениями. На этой широте, в этом заливе колебания уровня воды зависят в первую очередь от направления ветра; пытаться предсказывать погоду исходя из этого всегда казалось мне дилетантством. К тому же для меня не играет роли, какая погода у нас сейчас или какая будет потом. Свою лодку я держу у причала такой конструкции (моей собственной), на которую не действует никакой уровень воды. Другими словами, уровень воды с любой точки зрения не имеет ни малейшего отношения к моему существованию.

И все-таки каждое утро я изучаю его. С интересом.

Прямо загадка какая-то.

Днем я ремонтирую стену над дверью погреба. Понятия не имею, почему стена начала гнить как раз в этом месте. Да меня это и не интересует. Почему с вещами и предметами начинает вдруг происходить то, что происходит, именно в том месте, а не в другом? Если бы люди не фиксировали с таким пылом свое внимание на подобного рода проблемах, им удалось бы избежать многих несчастий и бед. То, что интересует меня,— это сам процесс работы: отпиливать сгнившие доски и заменять их новыми.

Всю свою жизнь я «строил» дома за чертежным столом. И плотницкую работу я «выполнял» там же, за столом на бумаге. Поэтому у моих домов именно такой вид, а не другой. Да это меня и не интересовало. Меня интересовало, каковы они в эксплуатации. Из-за того, что большинство архитекторов работает так же, как я, Хельсинки и его окрестности заполнены весьма приличными, но довольно некрасивыми строениями, неплохими в эксплуатации.

В противоположность тому, что́ люди обычно думают, финская архитектура — результат деятельности посредственностей. Между прочим, я чувствую, это касается не только архитектуры.

Занимаясь своими досками, я замечаю, как меняется погода. Такие изменения могут происходить быстро в это время года, бриз пригоняет откуда-то низкие облака, расчерчивает залив черными полосами и с безжалостной игривостью срывает с березовых ветвей желтые листья.

Природа — пленительный спектакль.

Я придумал одно соревнованьице. Березы внизу, на побережье, растут слишком близко друг к другу. Поскольку я не знаю, какую из них срубить, то предоставил решение этого вопроса самой природе: та береза, которая дольше всех сохранит свою листву, погибнет.

Такое решение может показаться несправедливым, если предположить — что, убежден, люди и делают,— будто береза хочет сохранить листву как можно дольше. Но почему все должно обстоять именно так, а не иначе?

Кто знает, чего, собственно говоря, хочет береза?

Ворона сидит целыми днями на крыше дровяного сарая и смотрит на меня.

Чайки и морские ласточки улетели — на юг или еще куда-нибудь. О них вспоминаешь, только когда они уже исчезнут.

Я пытался побеседовать с вороной, но она не отвечает, сколько бы я ни каркал.

В дневнике я пишу по вечерам, перед сном. Я вообще-то еще не уяснил толком, зачем я это делаю. Некоторым образом это связано с вороной — странная мысль, должен признаться.

18.9. Весь день моросит дождь. Уровень воды поднялся.

19.9. Я убираюсь на чердаке. Вообще-то это ни к чему. Все вещи, которые за год становились лишними, складывались за длинную занавеску. Иными словами, они валялись здесь и никому не мешали. Я отодвинул занавеску и вытащил одну за другой все вещи. Они были не нужны, они исполнили свое предназначение. (Задавать предметам иные функции, нежели те, что были предусмотрены изначально,— романтические бредни; Марион, разумеется, возразила бы мне.) Металлический хлам я утопил в море. Остальное сжег в старой бочке за домом.

Странно, что старые вещи совсем не интересовали меня, они прекрасно могли бы и дальше лежать на чердаке за занавеской.

Как и в случае с дневником, я посвящаю свой досуг делу, которым никогда прежде и не думал заниматься; почему?

Может быть, именно потому?

20.9. На паромной переправе тихо и спокойно. Отдыхающие и чайки — о них вспоминаешь, только когда они уже исчезнут. И лодки тоже исчезают с причала одна за другой. В магазине отдыхающие упорно заговаривали со мной обо всякой чепухе, словно я, сидя один у себя на даче, нуждался в этом.

Однажды возле почтовых ящиков припарковался автобус-библиотека. Собственно говоря, книги мне были тоже не нужны. Все-таки я заглянул туда, чтобы посмотреть, какова та духовная пища, которую предлагают жадным до литературы провинциалам.

Я взял там несколько старых стихотворных сборников.

С подросткового возраста мне не приходилось больше читать стихи.

21.9. Девиз сегодняшнего дня: «Все наоборот». В дровяном сарае я нашел старую удочку. (Наверняка кто-нибудь из приятелей Марион принес ее сюда.) Рыбная ловля на досуге меня всю жизнь ни капельки не интересовала; редко что бывало для меня менее соблазнительным, чем насаживать на крючок бедного червяка. Сегодня же я, однако, рылся в цветочной грядке и набрал в старую банку из-под кофе немало жирных дождевых червей, которых без всяких признаков брезгливости наживлял на крючок и, сидя на причале, смотрел на покачивающийся поплавок, пока время медленно уплывало прочь, точно легкое облако на ясном, светлом осеннем небе (вода убыла).

Я поймал множество окуней, которых тут же выпустил в воду; невозможно есть тех, кого сам вытащил,— это тоже не менее странно, чем все остальное.

Звонит Марион, спрашивает, не надоело ли мне еще жить в деревне. Наоборот, отвечаю я (девиз сегодняшнего дня). Кажется, она не слишком разочарована моим ответом. Я никогда не любил разговаривать по телефону. К тому же у меня редко когда было, что сказать ей, это часто делало наши телефонные разговоры какими-то неловкими.

Она собирается выставляться в Стокгольме, рассказывает Марион. Я никогда не разбирался в ее картинах. Что я ценю, так это ремесло, которым она владеет. Когда я говорю ей об этом, она снисходительно смеется. «Ты любуешься буквами, не умея читать»,— говорит она.

О том, что я начал удить рыбу, я ей не сказал.

Как бы там ни было, мы проговорили с ней сорок пять минут. Столько времени я никогда не уделял частным телефонным разговорам.

Но девиз сегодняшнего дня: «Все наоборот».

22.9. Стихи выныривают в моей памяти, как поплавки.

Я по лесу бродил средь веселых кустов,
милуру́м.
Как странно кричат этим летом кукушки:
Юру́м, Юрум.

До тех пор пока я вот сейчас не произнес эти стихи, я и не подозревал, что знаю их наизусть. Но это еще не все: помню, как я стоял перед всем классом и декламировал стихи. Потом учитель спросил меня, что означают в этом стихотворении незнакомые слова. Я не знал, что́ они означают, и надо мной стали смеяться.

Я и по сей день не уверен, что понимаю значения этих слов.

Две березы выбыли из игры, то есть спаслись. Сикстен, осмотрев свои вентеря, причалил к берегу и подарил мне одну щуку. Он уверял, будто ему приятно, что у него появился сосед, и был явно разочарован, когда я не пригласил его к себе на угощение. Перед тем как Сикстен без особого желания снова забрался в лодку, он спросил, не хочу ли я пойти с ним поохотиться на лосей. Я убил в своей жизни много лосей, вместе с ним и с другими охотниками. Он наверняка ожидал, что меня обрадует его предложение. Я действительно должен был бы обрадоваться.

Но я отказался.

Щуку я оставил у себя. Я собираюсь положить ее в лесу за дровяным сараем, чтобы моя ворона устроила себе пир.

23.9. Потемневшие листья берез валяются на лужайке. Мне надо собрать их граблями и уложить в груду компоста. О лужайках и о компосте я знаю только то, что и все остальные: палую листву сгребают, чтобы трава на будущий год могла свободно взойти, и потом собира-

ют на компост, чтобы к весне получить запасы перегноя, который в случае необходимости помогает траве всходить.

У меня нет никакого желания заниматься ни тем ни другим; словно меня не заботят ни листва, ни компост, ни будущая весна.

За домом в лесу стреляют. Через минуту появляется Сикстен, несколько сконфуженный; это совсем не он промахнулся.

Сикстен утверждает, что им повстречался настоящий великан, старый самец, по меньшей мере с восьмью ответвлениями на рогах. «Он, должно быть, направился сюда,— говорит Сикстен,— иначе бы мы наткнулись на него».

Он ведь такой громадный!

«Мы возьмем его,— говорит Сикстен,— пошли с нами, нам нужны хорошие стрелки».

24.9. На рассвете в дверь ко мне стучат. Впрочем, стучат не то слово, барабанят. Впечатление такое, словно кто-то бьет в дверь чем-то тяжелым.

Так оно и есть. То тяжелое, чем долбают мне в дверь, оказывается, копыто.

Признаюсь, это непостижимо.

Он стоит на крыльце у самой входной двери, и когда я открываю ему, то пугаюсь до полусмерти.

Он действительно громадный.

В лесу, недалеко от дома, слышны звуки приближающейся облавы.

На губах лося выступила пена, он задыхается. Он бежал.

Он поворачивает туда-сюда свою гигантскую корону, словно качает головой. И утихает. Он смотрит на меня. Вид у него дружелюбный и чуточку печальный.

С минуту мы стоим и смотрим друг на друга.

Из лесу доносятся отдаленные крики.

Пятясь, он осторожно спускается с крыльца. Делает несколько шагов. Останавливается и, обернувшись, смотрит на меня, как собака, которая хочет что-то показать хозяину.

Вслед за ним я спускаюсь с крыльца. Он несколько раз наклоняет голову, он кивает и негромко фыркает.

Потом он идет дальше. Время от времени он оборачивается, чтобы убедиться, что я следую за ним.

Он направляется к дровяному сараю.

Остановившись у двери, он скребет ее копытом.

Облава приближается.

Я открываю дверь. Он склоняет свою ветвистую корону к самой земле и входит в сарай.

25.9. Сегодня я напишу только одно: «Мой дневник как-то связан с вороной, которая все еще сидит на крыше дровяного сарая, и с тем фактом, что я приютил в сарае невероятно огромного лося».

Ничего другого я сегодня не напишу.

26.9. Он стоит там — и все. Он не издает ни звука. Он простоял там уже почти двое суток.

Понятия не имею, что мне с ним делать.

Почти сразу же после того, как он вошел в сарай, прибрел Сикстен с ружьем за плечами. Одно мгновение при виде его я был вне себя от радости, словно мне угрожала большая опасность и Сикстен оказался моим спасителем.

— Эй! — крикнул Сикстен.— Ты его видел?

Сикстен уверенно шел через луг, где завесы утренних туманов медленно колыхались в воздухе, словно от дыхания сухой пожелтевшей травы, он был широкоплеч, коренаст, а ствол ружья восклицательным знаком торчал у него над плечом, но я этого не сделал: я не побежал

к нему и не сказал, что поймал добычу, за которой он гонялся, как рыбу в сети, и от всего сердца предоставляю ему и его ружью право позаботиться обо всем остальном.

Я должен был сделать это. Не могу понять, почему я этого не сделал.

На меня навалилась такая усталость. Все, на что я оказался способен, так это на то, чтобы закрыть дверь сарая.

— Он двигался сюда,— сказал Сикстен,— ты не видал его?

Я покачал головой. Сикстен поглядел на меня.

— Что-то случилось?

— Да нет, все в порядке,— ответил я.

И я отправился спать. Я сразу же заснул. Как убитый.

Когда я проснулся, было уже больше часа дня. На улице было туманно и безветренно; солнце светило блекло, нерешительно, вода продолжала спадать.

И только внизу, на берегу, когда я чистил зубы, я вспомнил все, что произошло накануне.

Я потихоньку пробрался к сараю и приоткрыл дверь.

Лось-великан обернулся и посмотрел на меня.

Я взял с собой только самое необходимое. Я без конца потел. Я помчался на берег, прыгнул в лодку и повернул штевень к паромной переправе. Там стояла моя машина, все, что мне нужно было, это сесть за руль и ехать в город.

Однако я этого не сделал.

Вместо того чтобы сесть в машину, я обернулся и посмотрел на залив. На меня снова навалилась такая усталость!

А что я скажу Марион? Что мне отнюдь не надоело жить в деревне, но пришлось убраться оттуда, потому что у меня в сарае поселился лось?

Должно же быть какое-то приемлемое объяснение всему этому. Он чувствовал, что за ним охотятся, не мог не чувствовать. Может, он привык к людям, может, он убежал из какого-нибудь зоопарка, может, он на самом деле смирный, как теленок. Может, он заболел и нуждался в помощи.

Он стоял на берегу у причала и ждал меня.

Он был таких колоссальных размеров! «Его же кто угодно может заметить»,— подумал я, не отдавая себе отчета, почему я так подумал.

Он ждал до тех пор, пока я не причалил и не вышел из лодки на берег. Тогда он повернулся и отправился обратно, в дровяной сарай, он толкнул рогами дверь сарая и вошел внутрь.

Я сидел на причале и удил рыбу. Ну стоит лось в сарае и стоит.

Через минуту примчался на моторке Сикстен.

— Видал? — закричал Сикстен на весь залив.— Куда он делся?

Я нацепил на крючок нового червяка.

Сикстен спрыгнул на берег — лицо его пылало — и помчался мимо меня и мимо сарая прямо в лес за домом.

Клевало у меня плохо.

Сикстен долго не показывался. Когда же он наконец вернулся, то пыхтел, как загнанный пес.

— И что ты все носишься? — спросил я.

Сикстен недоверчиво разглядывал меня.

— Ты должен был видеть его,— сказал он с некоторой неуверенностью.

— Кого?

— Лося, черт побери! Ведь он такой громадный. Ты должен был видеть его из лодки!

Я вытащил окуня, осторожно снял его с крючка и бросил обратно в воду.

— Так ты считаешь,— вырвалось у меня,— что сейчас, когда я под-

плывал к берегу, здесь стоял здоровенный лось и кричал мне: «Добро пожаловать!»?

Сикстен покачал головой.

— Но я не понимаю... я же видел его собственными глазами...

— Да не волнуйся ты, Сикстен,— сказал я,— ты же знаешь, как оно бывает в разгар охоты.

Он провел рукой по глазам.

— Да-а,— произнес он,— черт его знает...

Ворона взлетела с крыши дровяного сарая и сделала круг над нашими головами.

27.9. Я устал от него. Ясное дело, он должен уйти. Я вооружаюсь крепким колом.

Я открываю дверь.

— Уходи!

Никакого толку.

Я просовываю голову в дверь сарая. Он неподвижно стоит и смотрит на меня.

Я осторожно вхожу в сарай. Чистейшее безумие: ведь там тесно, а лоси могут быть опасны, когда они так странно себя ведут.

Но я устал от него. Он должен уйти.

Я держусь поближе к стене и осторожно пробираюсь вперед, пока он не оказывается между мною и дверью.

— Уходи!

Он фыркает. Он качает головой, словно понял мои слова.

Он никуда не уходит.

Я тычу в него колом, хотя лось может прикончить меня одним ударом копыта; и все-таки он должен отсюда уйти, будь что будет.

Он смотрит на меня, не отрываясь, он озабочен, разочарован. Он опускает голову и выходит из сарая.

Я иду следом за ним. Он отправляется на опушку леса, медленно, опустив голову. Посреди луга он останавливается, поднимает голову и, вытянувшись, неподвижно стоит на фоне темных елей.

Такой громадный и красивый. Но я устал от него и потому беру камень, бросаю в него и попадаю ему в спину.

Он вздрагивает. И оборачивается. Я крепко сжимаю свой кол и поднимаю его перед собой, как копье: если лось пойдет на меня, я и не подумаю удирать от него со всех ног; это безумие, чистейшее самоубийство, это то же самое, что пытаться остановить зубочисткой танк; но мне все равно.

Прилетает ворона и садится на землю рядом с ним. Она каркает несколько раз, а он качает головой, словно они ведут меж собой беседу.

А потом он уходит, исчезает в лесу. Я же остаюсь на месте, глядя через луг вдаль. В лесу потрескивает, там, где он пробирается сквозь заросли.

Потом наступает тишина, благословенная тишина.

Мне хочется прыгать, плясать и громко кричать от облегчения. Но я не решаюсь. Он может подумать, что я зову его обратно.

Кроме того, я не в состоянии сделать это. Я задыхаюсь, колени у меня дрожат.

Я запираю дверь сарая на засов и закрепляю его закладной шпонкой. Потом усаживаюсь на камень и отдыхаю.

С северо-востока тянет ветерок, всего лишь на двух березах осталось несколько листочков.

Ворона усаживается на крышку колодца и разглядывает меня, наклонив голову.

Остаток дня я посвящаю ремонту стены. В лесу благостно-тихо. Я благостно-одинок. Одна лишь ворона упорно не покидает меня. Эта птица уже начинает действовать мне на нервы. Если она не оставит меня в покое, придется припугнуть ее из дробовика.

Вечером я звоню Марион, но к телефону никто не подходит. Она наверняка уже уехала в Стокгольм.

28.9.

29.9. Вчера ничего не было написано. Сегодня утром я проснулся со странным давящим чувством в груди, словно ночью кто-то положил мне на грудь что-то тяжелое. Я остался в постели и взял книгу; я помню наизусть все стихотворение, особенно одна строфа беспрерывно всплывает у меня в памяти:

У журчащей криницы, я видел, стояла корова одна,
милурум.
Влажным ртом она хрипло мычала:
Юрум, Юрум.

30.9. Дни идут. Я усердно рыбачу, то есть сижу на причале да смотрю на поплавок, который покачивается на волнах. Сознаю́, что я сам во всем виноват, иными словами, я виноват, что не делаю того единственного, что придает смысл ужению рыбы, а именно: когда поплавок ныряет в воду, не тяну удочку вверх, чтобы крючок на конце лески крепко засел у окуня во рту. И все-таки я этого не делаю.

Я лишь сижу да смотрю на поплавок.

Сикстен проезжает мимо меня на моторке. Возле моего причала он замедляет ход, поглядывая на берег. Я же смотрю на залив.

Вода начала прибывать.

Листва кое-где осталась на одной только березе. На той, которую придется срубить.

Меня беспокоит, что он ничего не ест. Я пробовал рвать на лугу сухую траву и давать ему. Но он к ней не притрагивается.

Больным он не кажется. Здесь что-то другое, Марион.

31.9. В тот день я встал с постели поздно, в тот день, когда в дневнике ничего не было записано. Тяжесть в груди не проходила. Натягивать одежду было трудно, утомительно и некоторым образом бессмысленно. (Я никогда раньше не замечал, что́ делаю, когда одеваюсь.) Я вышел на крыльцо. Погода переменилась, ветер дул с моря, гнал по небу низкие тучи.

Ворона сидела на крыше дровяного сарая.

Дверь сарая была приоткрыта.

Что-то схватило меня за сердце и сжало его. Я вынужден был присесть.

Не понимаю, как ему удалось выбить шпонку из засова.

32.9. Я просиживаю у него целыми днями, как долго — и сам не знаю. Иногда я задремываю — я ощущаю такую странную усталость, такую тяжкую сонливость и постоянную тяжесть в груди.

Я разговариваю с ним:

— Ну чего же ты хочешь?

Меня бы ничуть не удивило, если бы он в один прекрасный день открыл рот и ответил мне.

По всему заливу разнесся звук подвесного мотора на лодке Сикстена. Звук все ближе. Лодка замедлила ход и остановилась.

Я вышел встретить соседа.

— Не бойся,— сказал я лосю.

За плечами у Сикстена висело ружье.

Я закрыл дверь сарая.

Сикстен подошел ко мне и остановился. С минуту мы стояли и молча смотрели друг на друга, потом он сказал:

— Здесь что-то неладно.

Я не ответил.

— Что у тебя в сарае?

Я сказал:

— Не твое дело.

Он шагнул вперед.

— Прочь с дороги!

У стены сарая стоял прислоненный к ней топор. Я схватил его. Сикстен сбросил с плеча ружье и положил руку на курок, ствол ружья был направлен в землю, у самых моих ног.

Мы стояли и в упор глядели друг на друга, как два разозлившихся пса.

Потом он резко повернулся и ушел.

— Ну подожди у меня! — крикнул он через плечо.— Завтра я приведу сюда людей и собак!

«Завтра будет поздно»,— подумал я, сам толком не поняв, что́ имею в виду.

(Позднее.) Марион, я убираюсь в доме.

Я начинаю сознавать, что, вероятно, именно к тебе обращен этот странный дневник. Сначала я этого не понимал.

Я многого не понимал.

Я хочу оставить после себя порядок. Я не вполне отдаю себе отчет, почему я этого хочу. Может быть, чтобы ты поняла, что я спокоен и не отчаиваюсь.

У меня такая страшная боль в груди, но она скоро пройдет.

Я должен просить тебя отнести книги в библиотеку.

Надеюсь,твоя выставка в Стокгольме прошла с успехом. Я с удовольствием побывал бы на ней. Может, я лучше понял бы твои картины теперь.

Береза, которая должна погибнуть,— вторая справа. Будь добра, сруби ее. Не думаю, чтобы я сам смог это сделать.

— Завтра будет поздно,— сказал я лосю.

С минуту он смотрел на меня. Уверен, что он улыбнулся. И кивнул.

Все сильнее давило на грудь, меня словно прижимало к земле.

— Сделай это сейчас,— сказал я ему, не сдвигаясь с места.

Но он стоял неподвижно. Он не был готов, пока еще не был.

33.9. За окном светает. Северный ветер бушует и свистит вокруг дома.

Теперь все в порядке, дом можно оставить.

Меня разбудила ворона. Она уселась на крышу, за окном моей спальни. Она стучала клювом в окно, осторожно, но настойчиво.

Она улетела не раньше, чем я встал с постели и оделся.

Итак, пора.

С этим дневником делай что хочешь; тот, кто остается, всегда делает все что хочет с тем, что остается. Может, он тебя немного обрадует, может, так или иначе будет полезен в твоей жизни тебе и твоим картинам. Мне он помог. Разговор с кем-либо придает силу, даже если ты разговариваешь всего лишь с самим собой.

Теперь я наконец-то понял, что все это время говорил с тобой. Неожиданное открытие. Нам нечего было сказать друг другу.

Этот дневник, как я теперь понимаю,— мой способ прощания с тобой. Правда, мы уже давно попрощались друг с другом; я точно не знаю, когда или зачем.

Вероятно, так было нужно.

Я запру за собой дверь. Не хочу, чтобы Сикстен или еще кто-нибудь из посторонних рылся в моих вещах и, может быть, нашел бы эту тетрадь.

Я пойду к дровяному сараю. Лось будет стоять в дверях, поджидая меня. Когда я упаду навзничь, он подойдет и укроет меня своим телом. Перед моими глазами расстелется тьма, и тяжесть в груди ис-

чезнет. Произойдет ли так на самом деле — я не знаю. Но необходимо, чтобы так все и произошло. Поэтому он здесь.

Через минуту он поднимется и исчезнет в лесу, из которого пришел.

Ветер внезапно утихнет. Будет становиться все светлее. И вскоре наступит день.

Она уложила в сумку библиотечные книги, паспорт отца, его водительские права, кредитные карточки и дневник. Потом села в кухне и стала ждать Сикстена.

Ей не хотелось выходить во двор.

Когда он подплыл к причалу, она спустилась на берег: медленно сбежала на берег, не отрывая глаз от залива, чтобы не смотреть на дровяной сарай,— ведь она знала, что ужаснется, если увидит сидящую на крыше сарая ворону.

Сикстену она ничего не сказала. Она уселась на носу лодки и повернулась к нему спиной. Она чувствовала себя пристыженной, была раздражена. Неудивительно, что старикам порой мерещится то или иное, из-за этого не стоит бояться призраков и к тому же сердиться на Сикстена, который был так любезен, что по-дружески приплыл за ней на моторке и перевез ее через залив.

Но она не могла себя пересилить и почувствовала странное облегчение, сойдя на берег у паромной переправы по ту сторону залива и увидав свой автомобиль, дожидавшийся ее на стоянке.

— Сикстен,— сказала она,— тут ходят слухи о каком-то лосе-великане. Ты ничего об этом не знаешь?

Сикстен пожал плечами и отвел глаза в сторону.

— Тут ходит много всяких слухов,— ответил он.

Она отнесла книги в библиотеку. Ей хотелось как можно скорее избавиться от них. Потом она поехала прямо в похоронное бюро и принялась за дела.

Полицейский сообщил, что ей можно увидеть отца, несмотря на то, что они резали его. В морге она спросила патологоанатома, как это можно — показывать распотрошенные трупы. Врач, казалось, немного забеспокоился и объяснил ей, что разрез делается со спины и что его потом, само собой разумеется, зашивают.

Отец лежал в тяжелом металлическом ящике, в одном из многих.

Его глаза были закрыты. Лицо его казалось пустым, словно бы даже начисто опустошенным.

Вид у отца был мертвый.

Свидетельство о смерти было написано на профессиональном языке, малопонятном ей. Врач объяснил, что, как они и думали, у него оказался паралич сердца.

Он пробежал глазами свидетельство и утвердительно кивнул. Все случилось так, как они и думали.

Вдруг врач наморщил бровь.

— Вот только ребра у него почему-то слегка помяты,— удивленно сказал он.— Вы не знаете, отчего бы это могло быть?

Литературное наследие

ЭМИ ЛОУЭЛЛ

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Фамилия эта из самых известных в анналах американской культуры, как у нас Аксаковы или Тургеневы.

Среди предков Эми Лоуэлл (1874—1925) были видные общественные деятели, проповедники, дипломаты. Она приходилась внучатой племянницей Джеймсу Расселу Лоуэллу, автору прогремевших в середине прошлого века стихотворных сатир. Один ее брат был знаменитым астрономом, чьи исследования Марса не забыты по сей день, другой — президентом (по-европейски — ректором) Гарвардского университета, старейшего в Америке.

И в наше время престиж Лоуэллов все так же высок, главным образом стараниями Роберта Лоуэлла[1], одного из лидеров поэтического поколения, пришедшего после второй мировой войны.

С детства Эми Лоуэлл ощущала себя наследницей семейных традиций, требовавших деятельного труда на ниве просвещения, и готовилась посвятить себя творчеству — поэзии прежде всего: ведь томики Теннисона и Китса, поразивших воображение десятилетней девочки, были ею выучены чуть не наизусть от первой до последней страницы. Впоследствии Теннисон для нее померкнет, уступив место другим увлечениям, а любовь к Китсу останется навсегда. Последнее, что она успела опубликовать,— двухтомная биография этого английского романтика, на которую все еще ссылаются его бесчисленные современные исследователи.

Осенью того же 1925 года посмертно вышел итоговый сборник «Какое время?» и поразил критику, при жизни Эми Лоуэлл относившуюся к ее поэзии с изрядной долей скепсиса. Ставшую хрестоматийной «Сирень» заметили только в этой книге, хотя стихи были напечатаны в одном скромном журнале тремя годами раньше. Только в книге заметили, по-настоящему оценив, и «Церковный холм», и многое другое. Вдруг сделалось очевидным, что у Эми Лоуэлл было истинное лирическое дарование. Прежде на нее смотрели лишь как на версификатора и на теоретика, а главным образом — как на вдохновительницу всяческих литературных начинаний.

Ее фантастическая энергия, помноженная на какой-то ребяческий энтузиазм, вызывала немало насмешек, но с годами выяснилось, что эти усилия не пропали даром. Утвердилась новая поэтическая школа — имажизм, и с нею оказались связаны судьбы художников, чей след в литературе XX века неизгладим: Д. Г. Лоуренса и Р. Олдингтона, начинающего Уильяма Карлоса Уильямса, Эзры Паунда[2], почти неизвестной у нас Хильды Дулитл. Не суть важно, насколько последовательными имажистами все они были, важно, что на время имажизм сделался самым очевидным знаком бурного обновления, происходившего в тогдашней молодой поэзии. А в том, что он приобрел такое значение, заслуги Эми Лоуэлл первостепенны.

Составленные Эми Лоуэлл антологии, написанные ею манифесты — все это осталось в истории американской поэзии, пусть сами идеи, сплотившие приверженцев имажизма, принадлежали не ей, а Эзре Паунду, да и значение имажистских экспериментов она преувеличивала безмерно.

Ей казалось, что имажизм — то новое художественное слово, в котором так нуждается XX столетие, когда резко возросли в цене конкретность, предметность изображения, точный, узнаваемый, а не условно-литературный образ, богатство и неожиданность ассоциаций — в противовес книжным, умозрительным метафорам хотя бы того же Теннисона. Имажизм все это и проповедовал, да к тому же стремился освободить ритм от жесткой схематичности традиционных метрических форм, смело вводя еще

---

[1] См. «ИЛ», 1970, № 3 *(перев. А. Вознесенского);* 1967, № 3; 1980, № 2 *(перев. А. Сергеева).*

[2] Переводы стихов Д. Г. Лоуренса см. «ИЛ», 1986, № 3; 1990, № 1; У. К. Уильямса — «ИЛ», 1971, № 8; 1984, № 2; Э. Паунда — «ИЛ», 1991, № 1.

далеко не утвердившийся верлибр. Эми Лоуэлл верила, что имажизм — поэзия будущего.

Все свои силы Эми Лоуэлл отдавала прежде всего Делу, каким для нее были затеваемые одна за другой антологии молодых поэтов. Для творчества времени почти не оставалось. К тому же ее отличала вечная неуверенность в своем таланте. Десятилетиями сочиняя «в стол», первую книгу она выпустила, когда ей было уже под сорок, и тяжело пережила язвительные отзывы рецензентов. «Острия мечей и маковые семена» (1914), единственный ее сборник, о котором заговорили если не с сочувствием, так с интересом, оказался на виду лишь по причине возбуждения, вызванного декларациями имажизма, а о собственно поэтических достоинствах этих очень небанальных стихов не было проронено ни слова. Все последующие ее книги — их было четыре, и они очень разные — воспринимались лишь под одним углом зрения: исчерпал себя имажизм полностью или еще не до конца? Хотя ни «Картины плывущего мира» (1919), ни в особенности «Легенды» (1921) с имажизмом уже не были связаны впрямую.

Есть понятия, на наш взгляд, аксиоматичные, однако восемьдесят лет назад их приходилось отстаивать в трудных баталиях с литературными староверами. Эми Лоуэлл писала, что поэт призван «создавать новые ритмы как необходимое средство выражения новых настроений, а не копировать старые ритмы, которые являются просто эхом ушедших настроений... В поэзии новый ритм означает новую идею». Теперь с этим кто же не согласится, однако для тех, кто в 10-е годы проявлял интерес к американской поэзии, подобные заявления выглядели ошарашивающе дерзкими. Считалось, что ритмы неизменны если не со времен Горация, так уж во всяком случае с елизаветинской эпохи. А верлибр вообще не признавали явлением литературы.

Если принять бытующее разделение поэтов на архаистов и нововводителей, Эми Лоуэлл, конечно, принадлежала к последним. Было два художественных впечатления, оказавшихся для нее неизгладимыми,— концерты Дебюсси, которые она подростком посещала в Париже, и, много позднее, спектакли балетной труппы Дягилева, приезжавшей за океан в 1915 году. Мысль о «полиморфной прозе» взамен традиционного стиха, видимо, и возникла у нее под прямым воздействием этих впечатлений, потому что идея состояла в том, чтобы естественно соединить «поэзию, музыку, момент движения», добившись их синтеза. Верлибр, на взгляд Эми Лоуэлл, создавал идеальную возможность для органичного слияния ассонанса, аллитерации, нерегулярного метра, повтора, и все это должно подчиняться ритму, доносящему смысл.

Опыты Эми Лоуэлл в «полиморфной прозе», что и говорить, оказались по преимуществу лабораторными, но как характерна для той эпохи исканий и обновления сама цель, которой она направлялась. Да и не вовсе бесплодным был ее имажистский период, если памятью о нем сохраняются в современных антологиях такие стихотворения, как «В такси» или фантазии-имитации в стилистике пленивших Эми Лоуэлл — вслед за Паундом — старых японских поэтов.

Она доверялась имажизму безоглядно, вовсе не смущаясь тем, что за этой эстетикой, всерьез говоря, не стояло никакой философской или культурологической концепции — был поиск «нового языка», как будто он самоценен. Паунд, быстро обнаруживший эту слабость им же возвещенной программы, охладел к ней совершенно, предоставив хлопоты о школе Эми Лоуэлл, а саму школу презрительно переименовав в «эмижизм»,— ему претила «демократическая пивная, куда открыт вход всем, кто что-то кропает свободным стихом». Сказано зло и несправедливо — по отношению к имажизму, а тем более к Эми Лоуэлл. Наивность упований, возлагаемых ею на имажизм, ясна, но ясно и другое: имажизм был необходимой ступенью в начавшейся художественной ломке, которая будет происходить на протяжении всего нашего века.

И «Церковный холм», и «Сирень», и еще несколько стихотворений, сохранивших имя их автора в поэзии, без имажистских опытов звучали бы совсем по-другому, если бы вообще были написаны. Ведь очаровывает в них как раз та музыкальность, та полифония, которых упорно добивалась Эми Лоуэлл, когда, экспериментируя в сборниках имажистского периода, озадачивала немногочисленных своих читателей то классическими хокку с подчеркнуто американскими и современными реалиями, то синкопическим ритмом своего верлибра, то прозаическими фрагментами, иной раз растянутыми на целую страницу. Дань эксперименту была выплачена щедрая, но и вознаграждение оказалось по справедливости. Вознаграждением стал тот завораживающий «балет слов», которым, читая «Сирень», восхищались Олдингтон и Маклиш. Нечасто встречающаяся зрительная яркость метафор, богатство цветовых сочетаний, четкость графических линий — и правда, не вспомнятся ли тут спектакли Михаила Фокина, его «Петрушка», его «Жар-птица»?

Нет ничего удивительного в том, что лучшие стихотворения Эми Лоуэлл навеяны не Венецией, воспетой в «полиморфной прозе», не Японией, стилизованной в имажистских хокку, а родной ее Новой Англией. Писались эти стихи в предчувствии скорого ухода, когда резко обостряется эмоциональная память, а мысль — тем более поэтическая мысль — силой вещей оказывается обращена к главному, непреходящему. Эми Лоуэлл никогда не забывала, что ее семья числит свою американскую историю с 1637 года, когда в Ньюберипорте высадились первые Лоуэллы-колонисты. Не каждому дано право сказать о себе, что он и есть земля, на которой живет. Но корни Эми Лоуэлл очень глубоко вросли в почву Новой Англии, и поэтому ей вправду принадлежали этот сиреневый ветер, и белые облака за высокими соснами, и благоухание вермонтского лета — весь неповторимый мир, который ею запечатлен.

А. З.

Сирень

Сирень
Голубая,
Белая,
Пурпурная,
Сиреневая,
Твои облака цветов
Повсюду здесь в моей Новой Англии,
Твои листья сердечком и в них золотые скворцы,
Как из музыкальной шкатулки, выскакивают, поют
Прозрачные тихие песенки;
В развилках твоих ветвей
Воробьихи сидят на крапчатых яйцах,
Встревоженными глазами смотрят сквозь свет и тень
Всех весен.

Сирень у дверей
Тихонько шепчется с ранней луной;
Сирень сторожит заброшенный дом,
Выбегая на траву заросшей дороги;
Сирень согнулась под ветром, накренилась под ношей цветенья
Над ледником, врытым в холм.
Ты везде.
Ты была везде.
Ты стучала в окно, когда проповедник читал проповедь,
Ты шагала рядом с мальчишкой, идущим в школу.
Ты стояла у слег на выгонах и заботилась об удое,
Ты внушала хозяйке, что поднос ее из серебра,
А муж из чистого золота.
Ты дразнилась и посылала
Благоуханье в раскрытые двери таможен;
Когда корабль приходил из Китая,
Ты вместе с сандалом и чаем
Осаждала носы клерков.
Ты звала их: — Эй вы, гусиные перья,
Май для того, чтобы всем порхать! —
И они корчились на высоких стульях
И, отодвинув гроссбухи, писали на бланках стихи.
Странный народ наши новоанглийские клерки —
Днем составляют реестры,
На ночь читают Песнь Песней, стихи,
Потому что они — Библия.
Среди покосившихся темных надгробий
Тебя вскормили усопшие.
Они посадили тебя
И ночью выходят, бледные призраки,
Их редкие волосы вьются в твоих пышных ветвях.
Ты у зеленого моря
И в горах, уходящих вдаль.
Ты на ильмовых улицах, где в лавчонках — воздушные змеи и фишки,
Ты в огромных парках, где все гуляют и все не как дома.
Ты тянешься вверх по глухим стенам теплиц
И, перегнувшись, спешишь сквозь стекло сказать слово
Дружку своему винограду.

Сирень
Голубая,
Белая,

Пурпурная,
Сиреневая,
Ты забыла родной свой Восток,
Женщин в чадре и с глазами пантеры,
Огромные и воинственные тюрбаны осыпанных бриллиантами шахов.
Ныне ты скромный куст,
Благовоспитанный молчаливый куст,
Четко очерченный доброжелательный куст
У вымытого крыльца;
Ты дружишь с кошкой и бабушкиными очками
И рождаешь поэзию из осколка лунного света
И сотни-двух острогранных цветков.

Мэн знает тебя
Годы, долгие годы;
Нью-Гэмпшир знает тебя.
И Массачусетс,
И Вермонт.
Кейп-Код пускает тебя по взморью до Род-Айленда;
Коннектикут по реке ведет тебя к морю.
Ты ярче яблонь,
Душистей тюльпанов,
Ты великий потоп наших душ
Над сиреневыми листочками наших сердец;
Ты благоухание каждого лета,
Любовь жен и детей,
Воспоминание о садах детства;
Ты парламенты и конституции штатов
И знакомые сердцу шаги на знакомой дороге.
Май — это месяц сирени у нас в Новой Англии,
Май — это дрозд, кричащий с макушки ясеня: — Солнце взошло!
Май — это белые облака за высокими соснами,
Пышно плывущие по голубому небу.
Май — это зелень, как никогда,
Май — это множество солнца сквозь мелкие листья,
Май — это мякоть земли
И цветение яблонь,
И окна, открытые южному ветру.
Май — это полный и яркий сиреневый ветер
От Канады до бухты Наррангансетт.

Сирень
Голубая,
Белая,
Пурпурная,
Сиреневая,
Сердечки листьев по всей Новой Англии,
Корни сирени во всей земле Новой Англии,
Сирень во мне, потому что я Новая Англия,
Потому что в ней мои корни,
Из нее мои листья,
Для нее цветы,
Потому что это моя страна,
И я говорю ей о ней самой
И пою о ней своим голосом,
Ибо он воистину мой.

Ночные облака

Белые кони луны мчатся над головой,
Золотыми копытами цокают по стеклянному Небу;
Белые кони луны остановились, вздыбились,
Бьют копытами у зеленых фарфоровых врат отдаленного Неба.

Летите, кони!
Сил не щадите!
Вздымайте молочную звездную пыль,
Не то тигровое солнце вас уничтожит,
Небо лизнув ки́новарным языком.

В такси

Когда я уезжаю от тебя,
Мир фальшив и неполнозвучен,
Как слабо натянутый барабан.
Я кричу твое имя колким нависшим звездам
И шепчу его горным отрогам ветра.
Улица сменяется улицей,
Быстро, одна другой,
Углы их вбивают меж нами клинья,
И фонари пытаются выколоть мне глаза,
Чтобы я никогда не увидела вновь твое лицо.
Зачем же я от тебя уезжаю
И раню душу об острые грани ночи?

Церковный холм

Я, должно быть, сошла с ума или слишком устала,
Ибо изгиб голубого залива за железной дорогой
Пронзает и очаровывает меня, как внезапная музыка,
А вид белой церкви среди тощих деревьев на площади
Изумляет меня, точно вид Парфенона.
Чистая, молчаливая, дивно законченная,
Изысканные колонны — само осмотрительное изящество,
Она покорила чахлые городские деревья
И спокойно и откровенно
Стрелой посылает свой шпиль
В податливые небеса.

Незнакомая церковь
Задержалась на миг на убогом холме.
Я гляжу, как шпиль несется по небу,
Голова моя кружится от движения неба;
Вероятно, я вижу мачту,
Четыре натруженных яруса
Наполненных парусов.
Вероятно, я вижу клипер,
Он идет в голубой залив,
Он приплыл из Кантона с чаем
И зеленым и синим фарфором,
И китайские ку́ли на борт навалились,
И сонно смотрят на белый шпиль
Полинявшими в море глазами.

Вольная фантазия на японскую тему

Все время с полудня до вечера щебетание птах,
Солнце, спокойное, мирное, на западных ветках с набухшими почками,
Ветра нет;
На кончиках веток не дрогнут самые тонкие прутики,
Сосновые иглы — глухие
Штрихи немой черноты
На синем и белом небе,
Тихом и настороженном;
Так и сердце мое тихо и настороженно,
Бездеятельное на теплом солнце,
Оно грезит о приключениях.

Узнать бы неведомые ощущения,
Поддаться новым очарованиям,
Подчиниться влияниям
Прихотливого и нездешнего,
Свежего, точно лопающиеся почки.
Взойти бы на священную гору,
С паломниками карабкаться по крутой тропе между сосен
К голым безлесным склонам,
Простереться бы перед священной гробницей,
Бить ладонями по нагретой земле,
Успокаивать взор отдаленным блеском
Весеннего блеклого моря.

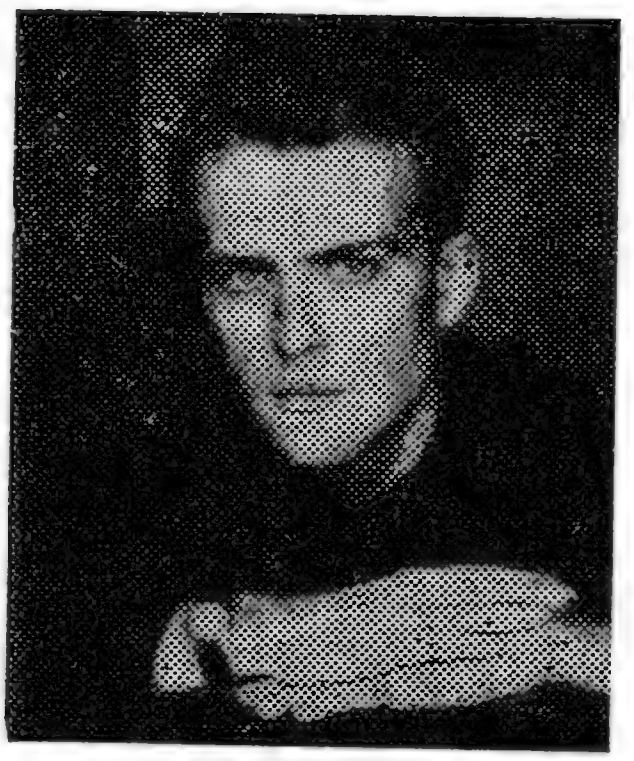
Выйти бы на балкон
В одеянье из пурпурного шелка,
На котором вытканы серебром
Бабочки, ласточки,
И чтобы черная лента о́би[1]
Сверкала блестками золота
И переливалась при каждом движении.
Припасть бы к балконным перилам,
Когда ты запоешь о войнах
Прошлых и будущих
И сыграешь на сямисэне.
В такт бы твоей песне
Постукивать пальцами по барабанчику;
А может быть, только следить за игрой света
На эфесах обоих твоих мечей.

Плыть бы нам в крытой лодке,
Покачиваясь на узких волнах реки,
И чтобы аркой живых фонариков
Изогнулся над нами мост,
И шипящее золото
Расцветало во мраке,
Ракеты взрывались
И умирали падающими цветными звездами.
Плыть бы между высоких причалов,
Удалиться от прочих лодок,
Так чтоб ракеты вспыхивали беззвучно
И падающие их звезды молча свисали с неба,
Как гроздья глицинии над воротами древнего храма.

---

[1] Оби — пояс кимоно. *(Прим. перев.)*

Предпочту что угодно
Этой холодной бумаге,
Когда вне меня спокойное солнце на ветках с набухшими
почками,
А во мне — одни мои книги.



ЭРВЕ ГИБЕР

Другу, который не спас мне жизнь

РОМАН

Перевод с французского
М. КОЖЕВНИКОВОЙ и В. ЖУКОВОЙ [1]

1

Три месяца я болел СПИДом. Вернее, целых три месяца мне казалось — у меня смертельная болезнь, именуемая СПИДом. Нет, это не выдумка, я был болен на самом деле, обследования и анализы подтверждали: в крови идет процесс разрушения. И все-таки три месяца спустя случилось чудо, и я почти поверил, будто сумею избавиться от болезни, которую весь мир до сих пор считал неизлечимой. Никому, кроме самых близких друзей, а их можно пересчитать по пальцам, я не говорил, что обречен, и никому, кроме тех же друзей, не сказал, что сумел выпутаться и благодаря чуду стану одним из первых людей в мире, переживших после этой неумолимой болезни.

2

Сегодня, 26 декабря 1988 года, когда я начинаю свою книгу; в Риме, куда я приехал один, сбежав от горстки друзей, которые пытались удержать меня, опасаясь за мое душевное состояние; сегодня, в выходной день, когда все магазины заперты и на улице можно встретить только иностранцев; в Риме, где я окончательно понял, что не люблю людей и готов бежать от них, как от чумы, и поэтому не знаю теперь, с кем и где мне пообедать; через много месяцев после тех трех, когда я каждой клеточкой мозга верил в свою обреченность, а потом точно так же поверил, будто произошло чудо и я спасен,— переходя от сомнения к уверенности и от отчаяния к надежде, живя меж двух крайностей, меж обреченностью и спасением, я не знаю теперь, за что мне уцепиться. Иногда мне кажется: мое выздоровление — всего-навсего приманка в западне, для утешения, или в самом деле научно-фантастическая история, героем которой избран я, или, скорее всего, я просто-напросто достоин осмеяния, ибо по-человечески жажду этой благодати, этого чуда. Пока я нащупываю костяк своей новой книги, которую уже несколько недель ношу в себе, но не знаю еще, какой она будет, конец у нее пока не один, их много, и каждый — не то предчувствие, не то некое смутное желание развязки, поскольку истина еще сокрыта от меня; и вот, пытаясь нащупать этот костяк, я убеждаю себя, что смысл существования книги — в вибрирующем, размытом сомнении, которым живут все больные на свете.

3

Здесь я один, но за меня тревожатся — я, мол, не жалею себя, со мной вместе мучаются; те самые друзья, которых можно перечесть по пальцам, как говорит Эжени, постоянно звонят мне, выражают сочувствие, а я окончательно понял, что не люблю людей, нет, совсем не люблю, скорее, ненавижу, и этой упорной ненавистью, пожалуй, все и объясняется; я задумал книгу, чтобы иметь собеседника, товарища, с которым можно обедать, спать рядом, видеть сны, хорошие и дурные,— иметь единственного реально существующего друга. Кни-

---

© Editions Gallimard, 1990.

Редакция выражает признательность посольству Франции в СССР за помощь в осуществлении данной публикации.

[1] Главы 1—23 переведены М. Кожевниковой, главы 24—44 — В. Жуковой.

га — мой друг, вроде бы я уже хорошо его знаю,— а сейчас она водит меня за нос, хотя иллюзия того, что капитан корабля — я, есть. Но дьявол, Т. Б.[1], засел у меня в трюме. Я перестал его читать, чтобы приостановить процесс отравления. Говорят, вторичное попадание в организм вируса СПИДа через кровь, сперму, слезы заново поражает страдающих этих недугом; а может быть, эти слухи просто помогают сузить область его распространения?

4

Начавшийся у меня процесс разрушения крови ширился день ото дня, мой тогдашний диагноз — лейкопения. В последних анализах, сделанных 18 ноября, число клеток Т4 равно 368, тогда как у здорового человека их от 500 до 2 000. Т4 — та разновидность лейкоцитов, которую вирус СПИДа разрушает в первую очередь, постепенно ослабляя иммунную защиту организма. Окончательный распад (пневмоцистоз — разрушение легких, токсоплазмоз — мозга) начинается при падении уровня Т4 ниже 200, теперь этот процесс замедляют с помощью АЗТ[2]. Когда СПИД только появился, Т4 называли «the helpers», сторожами, а другую разновидность лейкоцитов, Т8,— «the killers», убийцами. До того как заговорили о СПИДе, один изобретатель электронных игр показал на экране его распространение в крови. Он придумал игру для подростков: по лабиринту бегает приводимая в движение ручкой желтая фигурка, поедая все на своем пути, уничтожая в углах и закоулках исконных обитателей. Ей угрожает только одно: размножение и нашествие красных фигурок, еще более прожорливых. Со СПИДом все как в этой популярной игре, но аборигены лабиринта — Т4, желтые фигурки — Т8, которые преследует ВИЧ-вирус — красные фигурки, с ненасытной жадностью поглощающие иммунных аборигенов. Анализы пока не подтвердили мою болезнь, но как-то раз я неожиданно ощутил, что кровь у меня словно бы обнажилась, оголилась, а до этого ее словно бы защищала некая оболочка, покров, я не чувствовал его, но знал, что он есть, так и должно быть, а потом покров почему-то исчез. И теперь мне предстояло жить с обнаженной, уязвимой кровью, которой грозят всяческие ужасы, словно голому нежному телу. У меня беззащитная кровь, вся и навсегда, если только мне не заменят ее на чужую, что маловероятно, постоянно обнаженная кровь, она всюду под угрозой — в городском транспорте, на улице, на нее постоянно нацелено жало опасности. Интересно, можно ли угадать это по глазам? Нет, я не стараюсь придать взгляду выразительность, думаю лишь о том, чтобы он не стал чересчур выразительным, как у узников концентрационных лагерей из документального фильма «Ночь и туман».

Смерть пришла ко мне из зеркала, я увидел ее в собственных глазах задолго до того, как она и в самом деле прижилась во мне. Неужели я делюсь тайной смерти, когда смотрю другим в глаза? Я никому ведь об этом не рассказывал. Пока не начал писать книгу, никому особенно не рассказывал. Как Мюзиль, я предпочел бы иметь достаточно сил, неуемной гордыни и благородства, чтобы не брать друзей в заложники, оставить их вольными, как ветер, беспечными и вечными. Но что поделать, когда сил нет, когда ты издерган до предела, когда болезнь посягает уже и на дружбу? И я сказал кое-кому — Жюлю, потом Давиду, Густаву и еще Берте, я не хотел ничего говорить Эдвиж, но почувствовал, только раз пообедав с нею в молчании и притворстве,— она от меня отдалилась, и если сейчас же не вернуть наши отношения искренностью, произойдет непоправимое, и я сказал, чтобы не изменить дружбе. Обстоятельства вынудили меня поделиться и с Биллом; после этого мне показалось, будто я окончательно закабален и болезнь уже вышла из-под моего контроля. Еще я сказал Сюзанне, она так стара, что не боится уже ничего на свете, ибо в жизни никого и ничего не любила, кроме своей собачонки, которую недавно оплакала, отправив в душегубку. Сюзанне девяносто три года, но мы сравнялись с ней в возрасте благодаря моему признанию, хотя, может быть, она тут же забыла о нем или сочла его своей собственной выдумкой. Да, я сказал Сюзанне, которая способна тут же позабыть о такой чудовищно важной вещи. Не сказал я ничего Эжени, мы с ней завтракали в «Клозери», и, наверное, она все прочла по моим глазам. С Эжени я скучаю все больше и больше. Кажется, хорошо мне только с теми, кто знает, потому что все обесценилось, обесцветилось, стало пресным по сравнению со страшной новостью. Признаться родителям — значит стать мишенью, тут меня обольют грязью сразу все ничтожные людишки, сунут мордой прямо в кучу дерьма. Главная моя забота сейчас — умереть вдали от родителей, укрыться от их взгляда.

---

[1] Имеется в виду австрийский писатель Томас Бернхард. *(Здесь и далее — прим. ред.)*

[2] АЗТ — азидодезокситимидин.

6

Когда я понял это, я сразу же сообщил доктору Шанди, едва став его пациентом. Я сказал ему: СПИД, собственно, не болезнь, счесть его болезнью было бы чрезмерно просто, нет, это — отсутствие сил, апатия, она выпускает на волю живущего в человеке монстра, и я вынужден добровольно отдать ему себя на растерзание, позволить изъязвить живую плоть, как бывает обычно с мертвой. Пневмоцистоз, что душит легкие, закрывая доступ воздуху, подобно боа-констриктору, и токсоплазмоз, разлагающий клетки мозга, скрыты в организме каждого человека, но сбалансированность иммунной системы лишает вредителей возможности окрепнуть и утвердиться. Зеленую улицу им открывает СПИД, он прорывает все шлюзы, и тогда приходят разрушение, хаос. Мюзиль, не зная всей серьезности своей болезни, уже лежа на больничной койке, сказал мне — до того, как это обнаружили ученые: «Зараза, видно, пришла к нам из Африки». СПИДом, перекочевавшим в нашу кровь из крови зеленых мартышек, болеют ведьмы и колдуны.

7

Доктора Шанди, у которого я лечился с год — после того как внезапно покинул доктора Насье, крайне нескромного, позволявшего себе сплетничать про обвисшие мошонки своих знаменитых пациентов; но главную вину Насье я, разумеется, видел в другом: когда он диагностировал у меня опоясывающий лишай, уже было известно, что у серопозитивных больных происходят обострения подобного рода герпетиформных заболеваний, однако, несмотря на это, он несколько лет складывал в ящик стола направления на мое собственное имя и на вымышленные тоже и так и не отправил меня на специальное обследование, выявляющее СПИД, который сначала называли ЛАВ, лимфаденопатическим вирусом, а потом ВИЧ, вирусом иммунодефицита человека, считая, что тем самым толкнет на самоубийство такого мнительного и нервозного субъекта, как я, ведь результат ему был ясен и без всяких обследований, хотя Насье, то ли мудрствуя, то ли излишне упрощая проблему, утверждал, будто по элементарным нравственным соображениям, думая вступить в любовную связь, мы должны вести себя так, словно поражены болезнью, быть все осмотрительнее, ибо считал надежду одним из средств лечения и был уверен в бессмысленности обследования, оно только повергнет больного в отчаяние, раз средства излечения нет; именно так я и ответил своей матери, непроходимой эгоистке, когда она молила успокоить ее насчет моей болезни,— итак, моего нового терапевта доктора Шанди мне рекомендовал Билл, превознося его умение держать язык за зубами и подчеркивая, что именно он лечит от СПИДа нашего общего друга; да, я сразу понял, о ком идет речь, имя у пациента громкое, но за двери клиники слухи не просочились, и вот, каждый раз, когда доктор Шанди осматривал меня, после традиционного измерения давления и выслушивания стетоскопом он непременно внимательно изучал мои стопы, подъем, кожу между пальцами, бережно осматривал мочеиспускательный канал, место весьма чувствительное, ощупывал пах, живот, подмышки, подчелюстные лимфатические узлы, осматривал ротовую полость; потом я напоминал ему, что с детства не переношу прикосновения деревянной палочки, которой смотрят горло, лучше я открою пошире рот под лампой и сам, мускульным усилием, уберу язычок, загораживающий зев, но доктор Шанди каждый раз забывал об этом; хотя ему удобнее было так смотреть горло, я боялся гладкой палочки, казавшейся мне занозистой; кроме мягкого нёба, которое доктор осматривал как-то очень придирчиво, словно потом я сам должен был постоянно проверять, не появился ли бесспорный симптом прогрессирующей болезни, он смотрел еще голубоватые или ярко-красные ткани языка близ нервных окончаний и уздечку. Затем, держа мою голову одной рукой, большим и указательным пальцами другой давил мне на середину лба и спрашивал, не больно ли, следя за реакцией по зрачкам. Осмотр заканчивался вопросом: не страдаю ли я последнее время частыми поносами? Нет, все в порядке, я же пью трофизан на глюцидной основе; после истощения, вызванного лишаем, мой вес вернулся к норме — семьдесят килограммов.

8

Первым мне рассказал о необыкновенной болезни Билл, году, кажется, в 1981-м. Он вернулся из Штатов, а там в медицинской газете опубликовали первые клинические отчеты о смертельных случаях болезни, этиологически довольно неясной. Даже Биллу, реалисту и скептику, она показалась загадочной. Билл — менеджер большой фармацевтической фирмы по производству вакцин.

На следующий день мы обедали с Мюзилем вдвоем, и я не преминул поделиться с ним привезенными Биллом тревожными новостями. Мюзиль, корчась от хохота, просто сполз со стула на пол: «Особый рак для гомосексуалистов? Нет, это слишком красиво, неужели правда? Ну надо же, просто помрешь со смеху!» Подумать только, а ведь тогда Мюзиль уже был заражен ретровирусом, инкубационный период длится примерно шесть лет, так мне сказал Стефан; сейчас врачи знают, но не очень-то об этом распространяются, чтобы не сеять лишней паники среди серопозитивных. В общем, я здорово повеселил Мюзиля, а спустя несколько месяцев у него началась жуткая депрессия; было уже лето, я услышал по телефону его искаженный голос и из окна своего кабинета с тоской глядел на его балкон. «Моему соседу» — так скромно выглядело посвящение одной из моих книг Мюзилю, а следующую придется посвящать — «умершему другу». Я боялся, вдруг он бросится с балкона вниз, и растягивал воображаемую сетку от своих до его окон в надежде помочь. Я не знал, что́ у него за беда, но по голосу понял, большая, а позже узнал — поделился он ею лишь со мной, в тот день он сказал мне: «Стефан болен мною, я наконец понял, для Стефана я — болезнь, и что бы я ни делал, так будет всегда, если только я не исчезну. Я понял: он не выздоровеет, пока не исчезну я». Но ставок уже больше не было.

9

В те времена мы еще дружили с доктором Насье. Он долгое время жил в Бискре, где проходил интернатуру, это ему зачли как воинскую службу, а потом занялся гериатрией и перешел в дом призрения под Парижем. Насье приглашал меня туда с фотоаппаратом, обещая одеть в халат и выдать за коллегу, приглашенного на консультацию, чтобы дать мне возможность поснимать. Из-за моего фоторомана о девяностопятилетней и семидесятипятилетней двоюродных бабушках он решил, что я питаю тайное пристрастие к дряблой стариковской плоти. Большего заблуждения нельзя было себе представить, я не сделал ни единого снимка в его приюте, даже не пытался, чувствуя отвращение и неловкость оттого, что я ряженый. Доктор Насье из тех хорошеньких мальчиков, которые обычно нравятся пожилым дамам, бывший манекенщик, попытавший счастья на подмостках, прежде чем, наступив себе на горло, пойти на медицинский, красавчик, хваставший, будто в возрасте пятнадцати лет в Веве, где они остановились с родителями в «Гранд-отеле» как раз накануне автомобильной катастрофы, в которой погиб его отец, его изнасиловал известный актер, исполнитель роли Джеймса Бонда; так вот, нашего честолюбца не устраивала карьера терапевта, берущего по 85 франков за визит с пузатых и пропахших по́том нищих клиентов, жалких ипохондриков, в кабинете, смахивающем на выгребную яму. Поэтому он стал искать способа прославиться и для начала задумал создать что-то вроде фирменного санатория для обреченных, по типу современных набитых новой техникой клиник, словно бы собранных — последнее слово дизайна! — из готовых блоков; тошнотворную агонию там заменит феерическое переселение на Луну в салоне первого класса, не оплачиваемое, правда, социальной страховкой. Чтобы несколько сомнительный проект не смутил банкиров, доктору Насье нужна была поддержка по-настоящему авторитетного человека. Идеальным крестным отцом мог бы стать Мюзиль. По моей просьбе он охотно согласился встретиться с доктором. А после их встречи мы с ним собирались поужинать. Глаза у Мюзиля сияли, он глядел весело. Проект сам по себе казался ему нелепым, но подействовал возбуждающе. Мюзиль никогда столько не смеялся, как в те дни, когда был уже обречен. Насье ушел, и Мюзиль сказал мне: «Знаешь, я посоветовал твоему приятелю построить санаторий не для умирающих, а для тех, кто хотел бы разыграть собственную смерть. Повсюду замечательные картины, прекрасная музыка, все для того, чтобы как можно тщательнее скрыть тайну — крошечную дверцу в дальнем кабинете клиники, может, за какой-нибудь из картин, чистеньких, без единой пылинки, или сладко манящий нирваной укол. Потихоньку скользнешь за картину, и — хоп! — для всех на свете ты умер, а ты тем временем объявляешься по ту сторону стены, на заднем дворе, без багажа, с пустыми руками, без имени и фамилии и заново выдумываешь себе судьбу».

10

Собственное имя сделалось для Мюзиля наваждением. Он хотел избавиться от него. Как-то я попросил его написать эссе о критике для журнала, в котором сотрудничал. Он помрачнел, но, не желая меня огорчать прямым отказом, сослался на жуткую мигрень, мешающую работать. Я предложил опубликовать текст под псевдонимом и на следующий же день получил колкое, блес-

тящее эссе с запиской: «Каким чудом ты угадал, что дело не в головной боли, а в имени?» Он подписался «Юлиан Странноприютец»[1]. Два-три года спустя, навещая умиравшего Мюзиля в больничном приюте, я каждый раз вспоминал мрачный псевдоним, так и не попавший на страницы журнала: само собой разумеется, моему толстому еженедельнику совершенно не интересно было эссе о критике, которое сочинил никому не ведомый Юлиан Странноприютец. Копия довольно долго валялась у нас в редакции и исчезла, когда Мюзиль попросил ее вернуть. Я нашел дома оригинал и отдал ему. После смерти Мюзиля Стефан заметил, что и это эссе погибло вместе с другими рукописями, которые Мюзиль торопливо уничтожал в последние месяцы перед смертью. На мне лежит вина за уничтожение книги о Мане; однажды Мюзиль рассказал мне о ней, и позже я попросил разрешения взять ее прочитать, надеясь, что она поможет мне продвинуться в начатой работе: я задумал книгу «Живопись умерших», но так и не окончил ее. Мюзиль пообещал, раскопал из-за меня рукопись в своих завалах, перечел ее и тут же уничтожил. Это означало для Стефана потерю десятков миллионов. Впрочем, завещания не оказалось, Мюзиль оставил несколько коротких и, как видно, хорошо продуманных распоряжений, ограждающих его творчество от любых посягательств, как материальных, так и моральных: в пику семейству архив он оставил Стефану, но наложил вето на все посмертные публикации, лишив того возможности брести по своим следам, ходить проторенными тропами и вынудил искать собственный путь, сведя таким образом до минимума возможный ущерб своему наследию. Сама по себе смерть Мюзиля сделалась занятием Стефана. Похоже, Мюзиль преподнес ему эту смерть в качестве подарка, изобретя новую должность: защитник доселе невиданной, причудливой, ужасной смерти.

11

И точно так же, как старался Мюзиль приглушить бесконечный звон своего имени, он хотел там, где это не касалось его творчества, обезличить и свое лицо, характерное, узнаваемое благодаря множеству портретов, которые газеты и журналы помещали вот уже добрый десяток лет. Когда ему случалось пригласить в ресторан кого-нибудь из многих своих друзей — их ряды значительно поредели в последние годы перед смертью, он сам услал их за горизонт дружбы, избавив себя от необходимости наносить визиты, ограничиваясь редкими письмами или телефонными звонками,— так вот, войдя в ресторан, он чуть ли не отталкивал друга, чье общество еще доставляло ему удовольствие, торопясь сесть спиной к залу или зеркалу, и только потом, спохватываясь, учтиво предлагал стул напротив своему спутнику. Посетителям ресторана оставалось созерцать наголо обритый, поблескивающий череп — некую «вещь в себе»: Мюзиль не ленился брить голову каждый день, и случалось, приходя, я замечал и засохшую уже кровь от пореза, который он не разглядел, и свежесть его дыхания, когда он двукратно целовал меня в щеки, быстро и звонко, и каждый раз я поражался его деликатности: он обязательно чистил зубы перед встречей. Вечера Мюзиль проводил чаще дома, в Париже ему мешала известность. Если он отправлялся в кино, все зрители на него оглядывались. Иногда по ночам я видел с балкона дом 203 по улице дю Бак, как он выходил из своей квартиры в черной кожаной куртке с цепочками и металлическими кольцами и пробирался внутренними переходами и лестницами дома 205 в подземный гараж, откуда уже выезжал на машине; он вел ее неловко, нервно, будто полуслепой, чуть ли не прижимаясь лицом к ветровому стеклу, мчался через весь город в бар «У Келлера», в XII округ, где подыскивал очередную жертву. В стенном шкафу квартиры, не подвергшейся посягательствам семьи Мюзиля благодаря его собственноручно написанному завещанию, Стефан нашел мешок с хлыстами, кожаными капюшонами, тонкими ремнями, кляпами и наручниками. Все эти приспособления, о существовании которых Стефан якобы не подозревал, похоже, вызвали у него приступ отвращения, словно отныне и они были мертвы, от них шел могильный холод. По совету брата Мюзиля Стефан продезинфицировал унаследованную им квартиру, прежде чем туда переселиться. Он не знал еще, что большая часть рукописей уничтожена. Мюзиль обожал чудовищные оргии в саунах, хотя, опасаясь своей известности, в парижские сауны не ходил, но вот в Сан-Франциско во время ежегодного семинара отводил душу; теперь большинство тамошних саун переоборудованы в супермаркеты или автостоянки. Там, в саунах, гомосексуалисты Сан-Франциско выделывали самые немыслимые вещи: вместо писсуаров ставили старые ванны и укладывали в них жертву на целую ночь, а тесные кузова разбитых грузовиков использовали как камеры

[1] Аллюзия на имя героя средневековой легенды св. Юлиана Странноприимца.

пыток. Осенью 1983 года Мюзиль вернулся с сильным кашлем, приступы буквально доводили его до изнеможения. Но как только кашель отпускал, Мюзиль с наслаждением рассказывал о своих похождениях в саунах Сан-Франциско. Я тогда сказал ему: «Теперь из-за СПИДа в этих саунах, наверное, днем с огнем никого не сыщешь».— «Да ты что,— ответил он,— столько народу там еще никогда не собиралось, и стало удивительно хорошо. Нависшая над нами угроза теснее сплачивает, чувствуешь особую нежность, особую близость. Раньше многие молчали, сейчас не боятся вступать в разговор. Каждый понимает, почему пришел».

12

С секретарем Мюзиля я познакомился уже на похоронах, мы были там со Стефаном, а спустя несколько дней я встретил его в автобусе, и он мне кое-что рассказал. До сих пор неизвестно, знал Мюзиль или нет, от какой болезни умирает. Секретарь заверил меня, что по крайней мере в неизлечимости своей болезни он не сомневался. В 1983 году Мюзиль аккуратно посещал собрания гуманитарного общества в здании дерматологической клиники, руководитель которой входил в лигу врачей, рассылающую медицинскую помощь по всему миру — туда, где происходили экологические катастрофы или политические перевороты. В клинике изучали и первые случаи СПИДа, изучали его кожные проявления, называемые синдромом Капоши,— красные пятна с фиолетовыми прожилками, что появляются сначала на стопах, на ногах, а затем распространяются по всему телу и даже по лицу. На заседаниях, где обсуждалось положение Польши после государственного переворота, Мюзиль кашлял беспрерывно. Мы со Стефаном настаивали, чтобы он пошел к врачу, он отказался наотрез. И сдался только тогда, когда тот же совет дал ему руководитель клиники, удивившись его сухому, резкому, затяжному кашлю. Все утро Мюзиль провел в больнице на обследовании, он уже успел забыть, насколько чужим делается тело, попав в руки врачей, оно теряет индивидуальность и превращается в мешок костей, который врачи швыряют то так, то эдак, административная мясорубка перемалывает его, обращая в почти безымянное существо, зачеркивая всю жизнь, лишая его достоинства. В рот Мюзилю засунули узкую лампу и обследовали легкие. В результате шеф клиники быстро сообразил, с какой болезнью имеет дело, но решил оградить от неприятностей известного человека, своего собрата по заседаниям общества, не допустить, чтобы его имя связали с недавно обнаруженной болезнью. Подтасовывая и пряча часть анализов, он смог сберечь тайну и этим дал своему пациенту возможность спокойно работать и не страшиться никаких пересудов. Вопреки общепринятому правилу, он ничего не сообщил и Стефану, с которым был немного знаком,— пусть страшный призрак не омрачит их с Мюзилем дружбы. Но зато он предупредил секретаря, чтобы тот с предельной внимательностью исполнял все просьбы метра, помогал ему в осуществлении любых замыслов. В автобусном разговоре секретарь сказал мне, что встретился с руководителем дерматологической клиники вскоре после того, как тот в общих чертах познакомил Мюзиля с результатами обследования. Взгляд у Мюзиля, по словам дерматолога,— как я месяц назад узнал от секретаря,— стал еще острее и проницательнее, чем всегда, коротким взмахом руки он прервал его и спросил: «Сколько у меня времени?» Только это его интересовало, из-за работы, из-за книги. Сказал ли ему тогда врач, чем именно он болен? Не думаю. Может, Мюзиль и не дал ему ничего сказать. Годом раньше, когда мы обедали у него на кухне, я заговорил о взаимоотношениях врача и пациента и о правде — нужно ли говорить больному правду, если недуг его смертелен. Я боялся тогда, что у меня рак печени, последствие недолеченного гепатита. И Мюзиль сказал мне: «Врач никогда не выложит пациенту всю правду, но предоставит ему возможность в свободной беседе узнать ее самому или же уклониться от нее, если для пациента второй вариант предпочтительнее». Шеф клиники прописал Мюзилю антибиотики в лошадиных дозах, чтобы приостановить кашель и отсрочить фатальный исход. Мюзиль продолжал работать над своей книгой и решил даже прочесть цикл лекций, который поначалу намеревался отложить. Ни мне, ни Стефану он ничего не сказал о своем разговоре с дерматологом. Только однажды сообщил, как бы прощупывая меня, что принял решение отправиться вместе с коллегами из своего общества в дальнюю экспедицию, опасную, и дал мне понять — он может оттуда и не вернуться. По глазам Мюзиля я видел: он просит совета и окончательного решения еще не принял. Он хотел отправиться на край света и там отыскать ту маленькую дверцу, что спрятана за картиной в том идеальном

санатории для обреченных. Я испугался и, пытаясь изо всех сил скрыть испуг, с беззаботным видом заявил: мне кажется, ему лучше закончить книгу. Книгу, которой нет конца.

13

Когда мы познакомились, он уже писал свою «Историю человеческого поведения», было это, наверное, в начале 1977 года, ведь первая моя книга «Смерть манит за собой» появилась, кажется, в январе; мне повезло, благодаря ее выходу в свет я и оказался в тесном кружке его друзей. Первый том монументальной «Истории» был уже готов, но случилось так, что введение к нему разрослось и стало само по себе целой книгой; публикация первого тома, который внезапно сделался вторым, отодвинулась,— практически он уже был в типографии, и тут на горизонте, словно хвостатая комета, возникло введение и сыграло с Мюзилем по весне 1976 года первоапрельскую шутку. Тогда я еще не знал его лично, он был для меня загадочным и знаменитым соседом, чьих книг я пока не читал. Введение разрослось, поскольку Мюзиль развил в нем свою фундаментальную теорию цензуры, бросающую вызов общепринятой, и когда оно отдельным изданием вышло в свет, Мюзиль в первый и последний раз в жизни согласился принять участие в телепередаче «Апострофы», обзоре интеллектуальных событий. В те времена я не интересовался этим детищем Кристины Окран, любимой ведущей Мюзиля — любимой настолько, что впоследствии, придя к нему на ужин чуть раньше назначенного срока, я должен был кружить по соседним улицам, чтобы не прерывать их телесвидания, которое кончалось ровно в 20 часов 30 минут. Эти-то кадры из «Апострофов» — Мюзиль не пропустил бы их ни за что на свете — и передали в день его смерти, июньским вечером 1984 года. Кристина Окран — Мюзиль ласково называл ее «мое солнышко» и «мое солнце» — сняла, собственно, его заразительный безудержный смех. Во время передачи от облаченного в строгий костюм Мюзиля ожидали пасторской серьезности в изложении незыблемых основ человеческого поведения, под которые он уже подвел мину своей «Историей»,— а он попросту расхохотался, и его смех отогрел меня, заледеневшего, нашедшего в день его смерти прибежище у Жюля и Берты: я на секунду включил телевизор, чтобы узнать, какой некролог дадут в новостях. Так я в последний раз видел Мюзиля на экране, с тех пор никогда не смотрел записи передач с его участием, было бы мучительно оказаться лицом к лицу с псевдоживым подобием Мюзиля, только во сне меня это не страшило, но его смех — остановленное в «Апострофах» мгновение — поразил меня в самое сердце, я заворожен им по-прежнему, иногда я ощущаю укол ревности: как он мог так счастливо, беззаботно, божественно смеяться, ведь мы еще не были знакомы? Своей «Историей» он разгромил общепринятые основы сексуальной гармонии и принялся подрывать ответвления собственноручно построенного лабиринта. На обложке первого тома, поскольку второй был завершен, а необходимые материалы для следующих четырех уже лежали у Мюзиля на столе, он поместил все шесть названий сразу. Но начертив план будущего здания и на треть построив его, рассчитав опорные конструкции, своды, разметив навесы и переходы в соответствии с разработанной в прежних книгах системой, которая принесла ему мировую славу, Мюзиль вдруг впал в тоску или, вернее, его обуяли страшные сомнения. Строительство было прекращено, чертежи уничтожены, фундаментальная «История», заранее продуманная — по законам его диалектики, до мелочей,— брошена на полдороге. Поначалу ему хотелось передвинуть второй том в конец или отложить его и ринуться в атаку совсем с другой стороны, обнажить исходные позиции своего исследования, проложить новые пути. Свернув на скользкую тропу, уклонившись от первоначального замысла, он понял: коротенькие примечания разрастаются в отдельные самостоятельные книги — и заплутал, растерялся, стал все рушить, забросил, потом снова строил, восстанавливал, пока не докатился до полнейшей бездеятельности — этому лишь способствовало зудящее отсутствие публикаций, злые слухи о том, что он исписался, впал в слабоумие, способствовала боязнь ошибиться или зайти в тупик; в то же время им уже завладела мечта о книге, которая не будет иметь конца, она охватит все проблемы сразу и оборвать ее сможет разве что смерть или полное бессилие, мечта о самом мощном и самом хрупком творении, о чудо-книге, балансирующей на краю бездны — от поворота мысли, от вспышки внутреннего огня, о некоей Библии, обреченной на адовы муки. Уверенность в близком конце убила эту мечту. Мюзиль положил себе за оставшееся время заново перестроить и продвинуть вперед свой прежний фундаментальный труд. Весной 1983 года они со Стефаном отправились в Андалусию. Я удивился, что номера Мюзиль заказал в третьеразрядном отеле, он экономил,

а после его смерти обнаружилась пачка банковских чеков на несколько миллионов, он так и не удосужился отнести их в свой банк. Мюзиль в самом деле боялся роскоши. Но его покоробила скаредность матери, которая отдала ему лишь выщербленные кружки для нового загородного домика, где он мечтал вместе с нами поработать летом. Накануне отъезда в Андалусию он пригласил меня к себе и, указав на две объемистые, туго набитые папки на письменном столе, торжественно произнес: «Вот моя рукопись, если со мною во время путешествия что-нибудь случится, ты придешь сюда и ее уничтожишь. Я могу доверить это только тебе и полагаюсь на твое слово». Я ответил, что исполнить подобной просьбы не смогу и прошу меня избавить от испытания. Мюзиль не ожидал такого ответа, был им очень огорчен и подавлен. Окончил он работу много месяцев спустя, успев еще раз переписать все заново. Когда Мюзиль рухнул без чувств у себя на кухне и Стефан нашел его бездыханным в луже крови, обе папки давно лежали в издательстве, но Мюзиль все еще ездил по утрам в библиотеку «Шоссуар» и выверял постраничные сноски.

14

В октябре 1983 года я в панике бежал из Мексики, упросив помочь мне управляющего агентством «Эр-Франс» в Мехико — он сидел, задрав ноги на письменный стол, и меланхолически наблюдал, как с потолка каплет в таз вода, как в комнату просачивается бушующий снаружи потоп,— и тут появился я, из глаз чуть ли не капают слезы, взывал к милосердию и человеколюбию, умоляя срочно отправить меня домой, переменить мне проклятый билет с фиксированной датой, купленный по льготному отпускному тарифу, ждать оставалось еще целых две недели! Сильно лихорадило меня даже в самолете, хотя я вместе с толпой шумных туристов в сомбреро, допивавших последние глотки текилы, наконец-то приближался к сулящей утешение родной земле. Прямо из аэропорта я позвонил Жюлю и узнал, что все время, пока я был в Мексике, он пролежал в больнице, у него тоже сильнейшие приступы лихорадки и к тому же воспаление лимфатических узлов, его обследовали в университетской больнице, но определить болезнь не смогли и сейчас выписали. Глядя, как за окном такси, вдруг показавшегося мне «скорой помощью», проплывают серые парижские предместья, я вспомнил, что перечисленные Жюлем симптомы уже связывают с проклятой болезнью, и понял: да, у нас обоих СПИД. И все разом переменилось, мое озарение все сдвинуло с места, по-другому выглядел даже плывущий мимо пейзаж: оно и придавило меня, и окрылило, пробудило во мне силы и обессилило, я ощущал страх и сладкое опьянение, покой и смятение, возможно, я наконец-то достиг, чего хотел. Разумеется, все остальные постарались меня разубедить. Первым — Густав, я позвонил ему в Мюнхен вечером, и он иронически посоветовал мне не поддаваться всеобщей панике. Потом — Мюзиль, у него я ужинал на следующий день, и, хотя его собственная болезнь перешла чуть ли не в конечную стадию и жить ему оставалось меньше года, он сказал мне: «Бедный малыш, ну что тебе мерещится? Если бы все вирусы, гуляющие по свету с тех пор, как ввели дешевые самолетные рейсы, были смертельны, думаешь, много на земле осталось бы народу?» Слухи тогда ходили самые фантастические, но им верили, так как ничего не знали ни о природе, ни о развитии того, что медики даже и не определяли как вирус, а как лентивирус или ретровирус, сродни тому, что поражает лошадей: то ли мы вдыхали его с амилнитритом, и это вещество внезапно удалили из продуктов потребления, то ли Брежнев, а может, Рейган пускали его в ход как новейшее биологическое оружие. В самом конце 1983 года Мюзиль снова начал отчаянно кашлять, поскольку прекратил принимать антибиотики, услыхав от аптекаря, что такими дозами и впрямь можно убить лошадь,— и однажды я сказал: «На самом деле ты успокоишься, если узнаешь, что это СПИД». Он посмотрел на меня мрачно и отчужденно.

15

По возвращении из Мексики у меня в горле обнаружили чудовищный абсцесс, я не мог глотать и принимать какую бы то ни было пищу. К доктору Леви я обращаться не хотел, он запустил мой гепатит и небрежно относился ко всем моим недугам, особенно к постоянной боли в правом подреберье, наводившей меня на мысль о раке печени. Доктор Леви вскоре умер от рака легких. По совету Эжени я обратился в Центр функциональных исследований и завел себе нового терапевта, доктора Нокура, брата одного из моих коллег-журналистов. Я буквально допек врача, чуть не каждый месяц обращаясь к нему со своими болями в печени, и в конце концов он выписал мне направления на все обсле-

дования, какие только существуют на свете, мне сделали даже специальный анализ крови, показывающий уровень содержания трансаминазы в крови. Сходил я и на ультразвук. Во время исследования ультразвуком, пока мы вместе с доктором смотрели на экран и он водил зондом по моему слегка обросшему жирком животу, особенное внимание обращая на кишечный аппарат, я обрушился на него, мне не понравился его бесстрастный взгляд: показалось, будто равнодушие — это маска, он пытается что-то скрыть; в конце концов доктор Нокур рассмеялся. «Редко кто умирает от рака печени в двадцать пять лет!» — сказал он мне. Отправил он меня и на урографию, которая оказалась тягчайшим и унизительнейшим испытанием: ни о чем не предупредив, меня целый час продержали голым на ледяном металлическом столе, а в потолке было окно, через него мною могли любоваться кровельщики, чинившие крышу; некого было даже позвать на помощь, обо мне просто-напросто забыли, оставили лежать с толстой иглой в вене — в меня втекала какая-то лиловая жидкость, безумно жгучая; потом я услышал, как за ширму вернулась врач и заговорила со своим коллегой. Оказалось, она улучила минутку, сбегала вниз и купила себе на ужин бифштекс, а сейчас расспрашивала коллегу, как он провел отпуск на острове Реюньон. Но доктор Нокур счел, что именно это исследование дало результат, он и успокоил и огорчил меня: речь шла о не имевшем ничего общего с раком необычайно редком явлении, которого за тридцать лет своей практики доктор ни разу не наблюдал,— о врожденном дефекте почек, небольшом углублении, где скапливается песок и причиняет болевые ощущения; уролог посоветовал мне есть как можно больше лимонов и пить минеральную воду. Но прежде чем я успел наброситься на лимоны, боль справа исчезла. Я узнал, в чем дело, и она больше не давала о себе знать. На очень краткое время я, как ни странно, вообще перестал испытывать боль.

16

Между тем Эжени посоветовала мне обратиться к доктору Лериссону, гомеопату. Марина с Эжени были от него без ума. Эжени с мужем и сыновьями просиживали у него в приемной ночи напролет рядом с великосветскими дамами и нищенками — доктор поставил себе за правило брать по тысяче франков за визит с графинь и ни гроша с побродяжек. Эжени до головокружения гипнотизировала дверь кабинета, пока перед глазами не начинали плыть круги; порой случалось, что часам к трем ночи усталый доктор Лериссон приоткрывал ее, в щель просачивалось вполне здоровое семейство Эжени и выходило оттуда нагруженное рецептами: десять желтых капсул величиной с орех нужно глотать перед едой, пять небольших красных капсул и семь голубых таблеток после, а неисчислимое количество белых крупинок класть под язык. Сын Эжени чуть было концы не отдал от всех этих лекарственных пиршеств: у него был приступ самого обыкновенного аппендицита, но доктор Лериссон, возражавший против грубого хирургического вмешательства, ампутаций и лечения химическими препаратами, полагался только на сбалансирование природных сил при помощи вытяжек лекарственных и прочих растений. Тем временем у сына Эжени начался перитонит со всевозможными инфекционными осложнениями, в результате потребовались три операции, оставившие по себе чудненький рубчик от лобка едва не до ключицы. Марина восторженно уверяла, будто доктор Лериссон — святой, он принес в жертву своему врачебному искусству личную жизнь, даже его бедняжка жена счастлива тем, что он достиг столь необычайных высот. Марина ходила к нему по три-четыре раза в неделю, но никогда не сидела в приемной: ассистентка, завидев знакомые темные очки, сразу пропускала ее через боковую дверь в комнату, непосредственно примыкавшую к кабинету, где доктор Лериссон проводил самые чудодейственные эксперименты на самых прославленных пациентках, например, он помещал их голыми в металлический ящик, предварительно утыкав все тело иголками, через которые поступали жидкие концентраты трав, помидоров, бокситов, ананаса, корицы, пачулей, репы, глины и моркови. После процедуры больные выходили, шатаясь, красные, словно бы под хмельком. У доктора Лериссона пациентов было хоть отбавляй. Но благодаря особым рекомендациям Эжени и Марины, после длительных тайных переговоров с секретаршей меня все-таки удостоили консультации, хотя и назначили ее только на будущий квартал. И вот уже четвертый час я томился в приемной, с неудовольствием поглядывая на малосимпатичные физиономии окружающих, как вдруг ассистент с невыразительным лицом, облаченный в белый халат, открыл дверь и назвал мою фамилию. Я объяснил, что пришел к доктору Лериссону. «Проходите»,— повторил он. Я, чувствуя подвох, твердо стоял на своем: мне нужен доктор Лериссон. «Я и есть доктор Лериссон,

проходите же!» — ответил он и в сердцах захлопнул за мной дверь. И Марина, и Эжени так обожали его, что я невольно вообразил его красавчиком, покорителем сердец. С первого взгляда доктор Лериссон сообразил, чем я болен. Он взял меня за подбородок, пристально вгляделся мне в зрачки и спросил: «Головокружениями страдаете?» Услышав ожидаемый утвердительный ответ, добавил, что в жизни не встречал такого спазмофилика и что я дам сто очков вперед своей приятельнице Марине. Доктор Лериссон объяснил мне: спазмофилия, собственно, не заболевание, не функциональное расстройство и не нервное, это имитация либо того, либо другого, причем она особенно мучительна для организма, страдающего от недостатка кальция. Спазмофилия не имеет никакого отношения к психосоматике, она лишь овеществляет и локализует болезнь, которую человек полубессознательно, а чаще всего подсознательно себе воображает.

17

Успокоительное известие о врожденном дефекте почек и предположение о спазмофилии озадачили мой организм; лишившись привычных страданий и вожделея новых, он принялся вслепую, на ощупь исследовать собственные закоулки. Припадков эпилепсии у меня никогда не было, хотя я в любую секунду мог скорчиться от нестерпимой боли. Боли прошли, лишь только я понял, что заразился СПИДом, и вот теперь я весьма пристально слежу, как расползается по телу вирус, слежу, будто по карте, за его продвижением вперед и задержками, смотрю, где он прочнее угнездился и откуда атакует, угадываю и не зараженные еще участки. И все-таки эта вполне реальная борьба, которую ведет мой организм и которую подтверждают анализы, значит для меня куда меньше — погоди, что-то еще будет, дружище! — чем значили те, наверняка воображаемые болезни. Мюзиль, сочувствуя моим тогдашним мучениям, отправил меня к старенькому доктору Арону; тот давно уже оставил практику, но по-прежнему проводил два-три часа в день у себя в кабинете, доставшемся ему по наследству от его отца: здесь, казалось, ничего не переменилось с прошлого века — маленький, седой как лунь старичок тихонько семенил среди массивных, допотопных рентгеновских аппаратов. Выслушав все мои жалобы, доктор Арон провел меня в дальний угол кабинета, напоминавший подводную лодку, ибо тут и громоздились его древние монстры с торчащими во все стороны ручками и круглыми подобиями иллюминаторов, и велел мне раздеться. Маленький, прозрачный человечек наклонился ко мне и стал легонько постукивать деревянным молоточком по отзывавшимся дрожью пальцам ног, по щиколоткам, коленкам, словно играл на цимбалах. Затем он водрузил на лоб сферическое зеркало, исследовал мою радужную оболочку и, наконец, протяжно вздохнув, сказал: «Забавный вы, однако, человек!» Я сел за его письменный стол и произнес — очень хорошо помню эту фразу, произнес в 1981 году, Билл еще не сообщил нам об открытой недавно болезни, ныне связавшей нас всех — Мюзиля, Марину и множество других людей, о существовании которых мы вовсе не подозревали,— так вот, я произнес: «Руки буду целовать тому, кто назовет мне мою болезнь!» Доктор Арон полез в медицинскую энциклопедию, прочел какой-то параграф и сказал: «Я нашел вашу болезнь, она достаточно редкая, но не волнуйтесь, штука неприятная, зато с возрастом пройдет, это юношеская болезнь и годам к тридцати должна бесследно исчезнуть, самое доступное ее название — дисморфофобия, что означает — болезненная реакция на любые проявления уродства». Он выписал мне рецепт, я попросил взглянуть, оказалось, антидепрессант. Интересно, а не думает ли он, что такое лекарство больше навредит мне, чем поможет? Рассказав мне однажды о режиссере, который во время репетиции вдруг вбежал в комнатку за сценой, где спал его декоратор, и пустил себе пулю в лоб, Тео заметил, что виной всему антидепрессанты и только антидепрессанты, они выводят больного из оцепенения и вселяют в него эйфорическое желание действовать. Едва закрыв за собой дверь кабинета доктора Арона, я разорвал рецепт и отправился к Мюзилю поведать о приеме. Мюзиль взъярился. «Черт бы побрал этих районных терапевтов,— процедил он,— поносы и мокрота им, видите ли, надоели, на психоанализ потянуло, не диагноз, а черт знает что!» Да, незадолго до того, как Мюзиль упал без сознания у себя на кухне, за несколько недель до смерти, мы со Стефаном, не в силах больше слышать его надсадный кашель, заставили его пойти к врачу, и Мюзиль отправился к старому терапевту, по соседству. Тот осмотрел его и весело сообщил: такому здоровью можно позавидовать.

18

Сегодня, 4 января 1989 года, я сказал себе: мне осталась ровно неделя, чтобы успеть набросать историю моей болезни, в этот срок мне, понятно, не уложиться, ведь я постоянно нервничаю, потому что 11 января во второй половине дня нужно звонить доктору Шанди, он сообщит мне результаты обследования, которое я прошел 22 декабря в клинике имени Клода Бернара, и этот анализ крови обозначит для меня совершенно иной этап моей болезни. Анализ, прямо скажем, дался мне тяжело, в клинику я явился с утра пораньше, на голодный желудок, а ночью практически не сомкнул глаз, опасаясь опоздать к назначенному еще месяц назад часу. Договаривался с сестрой доктор Шанди, он продиктовал ей по телефону мою фамилию, адрес, дату рождения и тем самым как бы выставил меня на всеобщее обозрение, начался новый этап моей жизни — публичное признание болезни. Но мне грозила не только опасность проспать и таким образом пропустить жестокое испытание, столь важное в моей судьбе — причем на анализ у меня возьмут неимоверное количество крови,— мне к тому же надо было пересечь из конца в конец весь Париж, парализованный чуть ли не всеобщей забастовкой. На самом деле я пишу эти строки вечером 3 января, потому что боюсь ночью отдать концы и пытаюсь изо всех сил осуществить задуманное, понимаю — это неосуществимо, и с тоскливым ужасом вспоминаю то утро, когда голодным вышел в леденящий холод улицы, переполненной болезненным возбуждением забастовки,— вышел, чтобы отдать немысли-
мое количество собственной крови, пусть Институт здравоохранения украдет ее для неведомых мне экспериментов, отнимет у меня последние силы под предлогом проверки уровня Т4 в крови, присвоит часть резервов моего организма и превратит их потом в дезактивированное вещество вакцины, в какой-нибудь гамма-глобулин, который после моей смерти спасет жизнь другим людям, или, напротив, пусть моим вирусом заразят лабораторную обезьянку. Но до этого я вместе с гнусно-покорной толпой должен был ехать в страшной давке, в метро (обычно четкую работу метро нарушила забастовка), а потом, не выдержав, полузадушенным выбрался на улицу и долго ждал возле кабины телефона-автомата, пока стоявшая внутри девушка-иностранка, увешанная сумками, не поняла по моим жестам, куда вставить телефонную карточку и как прихлопнуть щиток счетного устройства; наконец она любезно уступила мне место и сама ждала на холоде, пока я безнадежно накручивал диск, вызванивая такси, а в это время подъехала поливальная машина и с ходу окатила кабину, в ней сразу потемнело до синевы, я уже в сотый раз набирал номер такси, и меня тошнило от черного кофе без сахара, есть и пить что-либо другое в то утро доктор Шанди мне запретил. (...Когда я наконец добрался до единственного обитаемого островка, вообще вся клиника имени Клода Бернара недавно переехала, я бродил по более не существующей больнице, словно по туманному, призрачному лабиринту где-нибудь на краю света, и вспоминал свое посещение Дахау,— последним закутком в этом мертвом царстве было отделение СПИДа, где за матовыми стеклами мелькали белые силуэты, а сестра, набирая в кюветку пустые пробирки, одну, вторую, третью, потом большую, четвертую, две маленьких, всего не меньше дюжины, чтобы через минуту наполнить их моей теплой черной кровью, пока же они перекатывались в кюветке, натыкались друг на дру-
га, ища себе места, точь-в-точь как возбужденные пассажиры в вагоне метро, выведенного из рабочего ритма забастовкой, эта сестра, повторяю, спросила, хорошо ли я позавтракал: оказалось, я непременно должен был хорошо позавтракать вопреки приказанию доктора Шанди, хотя для чего-то я с ним советовался. «Ну, в следующий раз не забудете»,— успокоила сестра и осведомилась, из какой руки лучше брать кровь, будто не догадывалась, что никакого следующего раза я не перенесу, ужас мой был сродни безумию, и я чуть не расхохотался...) Тут поливальщик кончил мыть телефонную будку снаружи и, скрестив руки на груди, стоял и ждал, пока я дозвонюсь до такси, чтобы приняться за уборку внутри будки; по-моему, он собирался оттолкнуть и девушку-иностранку, но вдруг передумал и укатил. После десяти минут ожидания, «ждите ответа», мне наконец ответили: «Свободных такси нет» — и тут же повесили трубку, я пропустил в будку девушку-иностранку, а сам опять пошел к метро, на этот раз приготовившись ко всему, отвращение и слабость обратив в силу, почему-то весело ожидая самого худшего: получить ни за что ни про что по морде или очутиться под колесами поезда, но нет, я снова с трудом втиснулся в вагон, высоко подняв голову, задерживая дыхание; стараюсь дышать только носом, смертельно боюсь ко всему прочему подцепить еще и китайский грипп, приковавший к постели два с половиной миллиона французов. Доктор Шанди посоветовал мне ехать по линии «Мэри-д'Исси — Порт де ла Шапель», но можно и по-дру-

гому, до Порт де ла Виллетт, а затем пройти минут десять вдоль окружной дороги,— тут вагон совсем опустел. Человек в фуражке с меховыми наушниками на конечной станции «Порт де ла Шапель» показал мне, куда идти, широким жестом, словно меня ожидала дорога в несколько километров. Он спросил, какой именно дом мне нужен на улице Порт д'Обервилье; я назвал клинику имени Клода Бернара, и мне почудилось, будто он обо всем догадался, о моей тоске и отчаянии тоже, ибо вдруг стал необычайно вежлив, шутил, причем без малейшей развязности, однако я плохо слушал, по-прежнему тошнило от черного кофе. Он сообщил, что недавно читал статью о клинике, она была построена в двадцатые годы и сейчас состояние помещения уже не соответствует санитарным нормам — ее перевели в другое место, и внутри мертвой больницы работает только корпус «Шантмесс», отведенный для больных СПИДом, куда доктор Шанди направил и меня, не сочтя нужным предупредить о сопутствующих обстоятельствах. Доктору Шанди я специально позвонил накануне, уточнить, как добираться в забастовочные дни, ведь бумажка с полученными месяц назад объяснениями куда-то запропастилась, и он произнес только: «Неужели завтра уже анализ? Господи, ну и летит время!» Я еще подумал, не нарочита ли эта фраза, может, он хотел мне напомнить, что дни мои сочтены и я не должен тратить их попусту, не стоит уже ничего публиковать под псевдонимом или писать за других, нет, только за себя, и вспомнил потом другую его фразу, почти ритуальную, он произнес ее месяц назад, убедившись по результатам анализа, что разрушительная работа вируса значительно пошла вперед, и попросив сделать еще один тест, убедиться, не появился ли в крови антиген П24, знак перехода вируса из пассивного состояния в активное, это дало бы право получить по официальным каналам АЗТ, единственный лекарственный препарат, применяемый на последней стадии, и вот тогда он сказал: «Теперь, если ничего не делать, счет пойдет не на годы, а на месяцы». Я еще раз уточнил дорогу у заправщика бензоколонки, на этой улице не было ни людей, ни магазинчиков, одни машины, плывущие бесконечным потоком, и по глазам заправщика я понял: было нечто общее во взглядах, в выражении лиц людей от двадцати до сорока лет, которые, нервничая, но стараясь сохранить уверенность и беспечность, обращались к нему с одним и тем же вопросом — как пройти в упраздненную клинику в час, когда визиты к больным еще не разрешены. Я снова пересек окружную дорогу и подошел к воротам клиники имени Клода Бернара, где уже не было ни сторожа, ни проходной, а только объявление: больные, приглашенные в корпус «Шантмесс» (а именно туда велел мне пойти доктор Шанди), должны обращаться непосредственно к медицинским сестрам, корпус находится в глубине больничной территории, проход указан стрелками. Мокро, холодно, пусто, кругом разор и беспорядок, похоже, будто тут недавно побывали грабители, а теперь только разлохмаченные голубые занавески жалобно трепыхаются на окнах под порывами ветра. Я шел вдоль заколоченных зданий кирпичного цвета, надписи на фасадах возвещали: «Инфекционные болезни», «Африканская эпидемиология», и так — до последнего корпуса, единственного, где горел свет и где за матовыми стеклами кипела жизнь, где без устали тянули из вен зараженную кровь. По дороге я не встретил ни души, если не считать одного негра, он заблудился и умолял сказать ему, где телефон. Доктор Шанди говорил мне, будто сестры в этом отделении весьма любезны. С ним — разумеется, когда он приходит в среду утром на консультацию. Я шел по выложенному плиткой коридору, переоборудованному в приемную для таких же, как я, бедолаг, они пристально поглядывали друг на друга и, наверное, думали: и у них, и у меня болезнь кроется внутри, пышет здоровьем только лицо. Попадались молодые, красивые, но в зеркале, вероятно, они видели не красоту свою, а смерть, а может, наоборот, смерть видели в чужих усталых взглядах, а сами, беспрестанно поглядывая в зеркало, пытались убедить себя — у них все в порядке, они здоровы, подумаешь, плохие анализы. И вот, проходя по коридору, в одном из боксов, где матовые стеклянные перегородки ниже человеческого роста, я увидел знакомый профиль, с этим человеком я однажды имел дело,— и тут же отвернулся, о ужас, неужели придется с ним обменяться понимающим взглядом людей, ставших теперь равными друг другу. Три медсестры по очереди, словно исполняя цирковой трюк, выглядывали то из нижнего, то из верхнего окошечка регистратуры и, торопливо листая списки, выкрикивали фамилии, выкрикнули и мою, есть стадия заболевания, когда хранить тайну уже не имеет смысла, эта тайна делается мерзкой и невыносимой; одна из сестер заговорила о новогодней елке; нельзя поддаваться ужасу, тогда всему конец, болезнь и болезнь, одна из разновидностей рака, теперь хорошо изученная благодаря успешным исследованиям. Я спрятался в одном из боксов, где берут кровь, поспешно за-

крыл за собой дверь и уселся в самое низкое кресло, боясь, как бы тот, кого узнал я, не узнал в свою очередь и меня, но медсестра каждую минуту открывала дверь, то уточняя мою фамилию, то предлагая мне перейти в другой бокс. Готовясь брать у меня кровь, она взглянула на меня необыкновенно мягко, взгляд ее говорил: «Ты умрешь раньше меня». Эта мысль помогала ей испытывать сочувствие и, не надевая перчаток, погружать иглу прямо в вену, предварительно пересчитав в кюветке пустые пробирки. Она спросила: «Вы на анализ перед АЗТ? Сколько времени уже наблюдаетесь?» Я подумал и ответил: «Год». Девятую пробирку она подсоединила к вакуумному устройству и, взяв кровь, спросила: «Хотите, я принесу вам позавтракать — чашку растворимого кофе, хлеб с маслом и джем, ладно?» Я тут же поднялся со стула, но она испуганно усадила меня обратно: «Посидите немного, вы так побледнели, а может, все-таки позавтракаете?» Я хотел одного — уйти, ноги меня, ясное дело, не держали, но хотелось бежать сломя голову, так на бойне перебирает копытами лошадь с уже перерезанным горлом, бежит в никуда. Медсестры, словно артистки цирка, выглянув из своих окошечек, записали меня к доктору Шанди на утро 11 января. Выйдя на холод, я подумал: не хватает еще заблудиться здесь, в призрачной клинике, как тот негр, подумал — и стало смешно, хлопнешься в обморок в этой единственной во всем мире больнице, и неизвестно, сколько часов пройдет, прежде чем тебя обнаружат и поднимут. Я старался идти по стрелкам, чтобы не заблудиться, но все-таки очутился у запертых ворот и расстроился, значит, придется идти обратно, искать выход. Проехал мотоциклист в закрывающей лицо каске, похожий на фехтовальщика. Я снова прошел мимо отделения СПИДа, мимо корпусов африканской эпидемиологии, инфекционных болезней, вокруг не было ни души — как выйти на улицу? А мне все время ужасно хотелось смеяться, болтать, позвонить поскорее тем, кого я люблю, все рассказать им, избавиться от гнета переживаний. Обедать я должен был со своим издателем и во время обеда обсудить выплату аванса по новому контракту; это дало бы мне возможность либо объехать вокруг света в реанимационной камере, либо пустить себе золотую пулю в лоб. Во второй половине дня я позвонил доктору Шанди и сказал, что утренний анализ показался мне нелегким испытанием. Он ответил: «Я должен был бы предупредить вас, да, вы правы, но я, знаете ли, ничего такого не замечаю, я прихожу туда раз в неделю по утрам. Сделать же анализ было необходимо, мне нужен результат, чтобы продолжить лечение». Я ответил: нисколько не сомневаюсь в его необходимости, иначе доктор просто не отправил бы меня туда, но если возможно, я просил бы мои походы в пресловутую клинику сократить до минимума — мы и сами вполне можем решить наши проблемы. Обеспокоенный глухой угрозой, прозвучавшей при моем последнем визите, зная, что я еще не выбрал — самоубийство или работа над книгой, доктор Шанди пообещал мне сделать все возможное, чтобы избавить меня от тягостных впечатлений, однако выдает АЗТ только специальный контрольный комитет. Вечером я передал наш разговор Биллу, пообедав до этого с издателем и побывав в больнице у двоюродной бабушки, и Билл сказал: «Они, должно быть, боятся, что свой АЗТ ты кому-нибудь продашь, африканцам, к примеру». В Африке, поскольку это лекарство стоит очень дорого, средства предпочитают тратить на научные исследования, а больные подыхают и всё. 22 декабря мы и договорились с доктором Шанди, что я не пойду туда 11 января и он получит лекарство вместо меня, сделав вид, будто он — это я, в необходимости подобной подмены доктор был совершенно уверен, или во всяком случае уверял меня, будто он, врач, сможет обмануть бдительность контрольного комитета, выступив в роли пациента. Я должен звонить ему во второй половине дня 11 января и узнать, каковы результаты. Вот почему сегодня, 4 января, я говорю: мне осталась ровно неделя, чтобы набросать историю своей болезни. Какое бы известие ни сообщил мне доктор Шанди 11 января, хорошее или дурное,— однако, судя по всему, на хорошее рассчитывать не приходится,— сообщение его способно погубить мою книгу, уничтожить ее на корню, свести на нет все мои усилия, разом зачеркнуть пятьдесят семь написанных мною страниц, прежде чем я вдребезги разнесу свой череп.

19

В 1980 году у меня был гепатит, Жюль заполучил его от англичанина по имени Бобо и наградил меня, а Берту едва удалось спасти при помощи гаммаглобулина. В 1981-м Жюль ездил в Америку, в Балтиморе стал любовником Бена, в Сан-Франциско — Йозефа, вскоре после того как Билл впервые сообщил мне о существовании этой болезни,— если разговор уже не произошел в конце 80-го. В день моего рождения в декабре 81-го, дело было в Вене,

Жюль у меня на глазах трахнул Артура, курчавого блондинчика-массажиста, которого подцепил в сауне, кожа у того была вся в каких-то пятнах и болячках. На следующий день я записал в дневнике, в общем-то не особенно задумываясь, ведь тогда еще не очень верилось в реальность бедствия: «И одновременно мы заражались друг от друга болезнями. Если бы возможно было, заражались бы и проказой». В 1982 году в Амстердаме Жюль сообщил, что зачал ребенка, которого хочет назвать Артуром, потом там все кончилось выкидышем, но тогда известие меня страшно потрясло, и я умолял его, заливаясь слезами в амстердамском ресторанчике, при свечах, чтобы мое тело он наполнил противоборствующей силой, «черным семенем», как повторял я ему; никаких особых последствий мои мольбы не возымели, я-то хотел покорного служения, побоев, муштры, хотел стать его рабом, а вышло наоборот, и временами он становился моим рабом. В декабре 1982 года в Будапеште, куда Жюль приехал поклониться праху Бартока, я переспал с американкой по имени Том из Каламазу, который называл меня «Малышок». В 1983-м я съездил в Мексику, у меня был абсцесс в горле, а у Жюля воспаление лимфатических узлов. 1984-й — измена Марины и моего издателя, смерть Мюзиля и обеты, принесенные в Японии в Храме Мхов. В 85-м не произошло ничего, что имело бы отношение к этой истории. В 86-м умер кюре. В 87-м у меня был опоясывающий лишай. В 1988-м я окончательно понял, что болен, и три месяца спустя чудесная случайность убедила меня, будто я выздоровел. Вся эта хронология, определяющая и, словно вехи, расставляющая признаки моей болезни, занимает примерно восемь лет. А теперь известно, что инкубационный период, так по крайней мере сказал мне Стефан, длится от четырех с половиной до восьми лет и что физиологические травмы для этой болезни не менее значимы, чем сексуальные отношения, а всевозможные предчувствия — не менее значимы, чем обеты и заклинания. Да, эта хронология и стала основой моего повествования, если только движение вперед не порождает хаоса.

20

Когда в октябре 83-го я вернулся из Мексики и у меня начало нарывать горло, я не знал, к кому обратиться. Доктор Нокур не ходил на дом, доктор Леви умер, ни о докторе Ароне после истории с дисморфофобией, ни о докторе Лериссоне, который засыпал бы меня шариками, тоже не могло быть и речи. Я решил пригласить молодого ассистента доктора Нокура, он прописал мне антибиотики, и три-четыре дня я исправно их пил без всякого толку, нарыв все увеличивался, из-за дикой боли я не мог глотать и почти ничего не ел, кроме жидких продуктов, ими снабжал меня Густав, он был тогда проездом в Париже. Жюль занят, едва лихорадка его отпустила, он взялся за трудоемкую работу в театре. Страшная язва разъедает мне горло, терзает еще и воспоминание о поцелуе на танцплощадке «Бомбей» в Мехико: старая шлюха, удивительно похожая на влюбленную в меня итальянскую актрису, ровесницу моей матери, просунула мне чуть ли не в горло свой язык, словно ужа, тесно прижавшись ко мне на освещенной танцплощадке «Бомбей»; сюда притащил меня американский продюсер, набиравший шлюх для фильма по любимому роману Мюзиля «У подножия вулкана»; перед отъездом он дал мне с собой свою книгу, растрепанную, с пожелтевшими страницами. Шлюхи, от самых молоденьких до старух, подходили к столу своего хозяина по прозвищу «Злодей» поглядеть на меня поближе, потрогать, а то и утащить на танцплощадку, и все потому, что я блондин. Они со смехом липли ко мне, со смехом или со стоном, как та пахнувшая румянами старуха, казавшаяся мне воскресшей итальянской актрисой, которая когда-то любила меня; они протягивали мне губы и шептали, что со мной они готовы задаром в любой комнатушке на этаже, а все потому, что я блондин. Правительство прикрыло старые бордели, где проститутки прогуливались во внутренних двориках, а двери выходили в длинный коридор, здесь в нише с подсветкой стояла статуя Пресвятой Девы. Закрытые, охраняемые полицией дома терпимости были срочно заменены огромными дансингами на американский лад. За несколько дней до этого я имел несчастье заглянуть в заведение гомосексуалистов; свел меня туда один мексиканец, приятель Жюля, и тамошние мальчики точно так же выстроились передо мной в очередь, посмотреть, а кто посмелее — и потрогать, на счастье. Старая шлюха сделала то, чего я не позволил итальянской актрисе: без предупреждения просунула язык мне в горло, и теперь, на далеком расстоянии, я все глубже чувствовал его болью моего нарыва, словно прикосновение раскаленного добела железа. Старуха поняла, что до смерти меня напугала, извинилась, погрустнела. Вернувшись к себе в гостиницу на улице Эдгара Аллана По, я тер язык мылом и глядел в зеркало, а потом сфотографировал свое странное лицо, искаженное хмелем и

отвращением. К вечеру в воскресенье, когда боль сделалась невыносимой и довела меня до слез, растерявшийся Густав не смог найти ни одного из моих врачей, и я наконец согласился, чтобы он позвонил домой доктору Насье. Насье был скорее приятелем, как врача я его никогда не воспринимал. Тот велел мне немедленно прийти, осмотрел горло, высказал предположение — сифилитический шанкр, прислал мне на следующее утро сестру взять анализ крови и мазок, желая точно определить микроб или бактерию и подобрать соответствующий антибиотик. Быстрота действий и любезность доктора Насье, который, не в пример другим врачам, прописал мне анальгетики и мгновенно покончил с моей болью, убедили меня в его профессиональном умении, и, поскольку его кабинет был недалеко от моего дома, я стал заходить к нему два-три раза в неделю, ибо решил постоянно наблюдаться у него. Я заходил к нему уже будучи без сил, чуть ли не при смерти, но мало-помалу, совершенно измотав доктора своими частыми посещениями, сам почувствовал себя значительно бодрее. Настроение доктора зависело от меня, а я, здорово развеселившись после привычного визита к нему, отправлялся полакомиться эклерами с шоколадным кремом и яблочными слойками в соседнюю кондитерскую. Доктор Насье внезапно признался мне, что прошел проверку на СПИД, результат оказался положительным, и он тут же оформил профессиональную страховку; позже он скажет, что заразился от пациента — тогда еще мало знали об этой болезни, подобные жульничества сходили с рук,— и получит солидную сумму, чтобы спокойно и без забот дожить последние дни на Мальорке.

21

«Театро колониаль» на площади Гарибальди в Мехико заворожил меня зрелищем мужчин, взволнованных женским естеством, жаждущих в нем утолить свою жажду — как приподнимались они на руках над креслами, как яростно дрались и отпихивали своих же дружков и прочих старых греховодников, пробиваясь вперед, туда, к подмосткам, где в луче света не спеша, одна за другой шествовали женщины и выбирали мужчину, которому будет позволено уткнуться лицом между их раздвинутых ног. Я сидел в стороне на деревянной лавке и все глубже вжимался в нее, чувствуя грозную радость бушующей передо мной стихии, первозданной и самой прекрасной в мире: мужчины причащались, лобызая женское лоно, рвались к нему с юной страстью, все, даже старшие, а я упивался их лицезрением, сердце у меня бешено колотилось, мне хотелось сделаться невидимкой, чтобы меня не выбрала какая-нибудь виртуозка стриптиза: ведь если к этому треугольнику припаду я, то погибну вконец, не видать мне больше белого света; раздеваясь на ходу, девица теперь приближалась ко мне, смеясь над моим испугом, превращая меня в посмешище для остальных молодых людей, готовясь присесть на корточки перед самым моим носом, взять обеими руками мою кудрявую, светловолосую голову — единственную среди моря смоляных — и сдавить ее так, чтобы рот приоткрылся и я оказал честь боготворимому мужчинами лону, разделил бы жажду тех, кто утолял ее прежде, и тут вдруг дали полный свет, королева стриптиза от неожиданности вздрогнула, подхватила с соседнего стула накидку, а служители стали выгонять молодежь, будто стадо, но не кнутами, а свистками, а у нее, и жаждущей и вместе с тем пресыщенной, пыл разом пропал, подобно оптической иллюзии — иллюзии, подаренной мраком, и в ярком свете юноши превратились в усталых работяг в потертой, поношенной одежде; так и мерещились рядом с ними съежившиеся в креслах бессловесные жены.

22

Не сразу, неспешно завладевает нашим телом нечеловеческая усталость, собачья, обезьянья, заставляя желать одного — поскорее закрыть глаза, превращая все, даже дружбу, в непосильную ношу и оставляя ему только сон. Эта чудовищная усталость проистекает из крошечных лимфатических узелков, кольцом обнимающих мозг, защищающих его, подобно тонкому обручу, узелки есть еще и на шее, подчелюстные, рядом с барабанными перепонками, вирус осаждает их — и лимфа гибнет, забивая собою сосуды; глазные яблоки жжет утомление донельзя истощенной защитной системы. Моя книга борется с усталостью, которую накапливает мой организм, в свою очередь борясь с наступлением вируса. Сил мне отпущено на четыре часа в день, начиная с той минуты, когда я раздвигаю тяжелые шторы на окнах; окна — потенциометры моего гаснущего напряжения, я раздвигаю шторы, впускаю в комнату свет и сажусь за работу. Вчера к двум часам дня силы мне изменили, ни на что я не был способен, выпит изнуряюще жизнедеятельным вирусом, результаты его действия поначалу схожи с признаками сонной болезни или мононуклеоза, который на-

зывают еще «болезнью затраханных», но я не хотел поддаваться и снова набросился на работу. Книга, рассказывая о моей усталости, заставляет о ней забыть. Но каждая фраза, вырванная из моего мозга — ему грозит вторжение вируса, если только лопнет лимфатический обручик,— добавляет мне усталости, и мне еще больше хочется закрыть глаза.

23

В самом деле, уже несколько дней я не прикасался к книге, хотя решил именно сейчас рассказать историю своей болезни. Время я проводил в мучительном ожидании нового приговора, вернее, не совсем нового, суть его мне была известна в мельчайших подробностях, однако я делал вид, будто ничего не знаю, даже попросил доктора Шанди способствовать моему мнимому неведению, намекнув, что хотел бы иметь возможность обманываться и дальше, сохранить, таким образом, надежду, пусть и призрачную. Но сегодня, 11 января, в день ожидаемого приговора, я сижу и кусаю локти, ничего не зная о том, что знаю давным-давно: я звонил доктору Шанди и не смог дозвониться, он должен был получить сегодня с утра мои анализы в клинике имени Клода Бернара, как и обещал в конце прошлого года по телефону и записал это в новый ежедневник на нужной странице, собираясь сыграть разом две роли, врача и больного, во всяком случае уверив меня, будто непременно их сыграет, обманет медсестер, назначивших мне именно этот день. Но ведь по средам доктор Шанди не консультирует, я не мог дозвониться к нему в кабинет — и 11 января, в день, которого дожидался с 22 декабря, понимая, что точно буду знать результат, остался в полном неведении, а накануне мне как раз приснилось: никаких результатов анализа я не получил, но только по иной причине. Я, как и договорились, якобы дозвонился доктору Шанди, поздравил его с Новым годом, а он, едва ответив на мои поздравления, очень неприятным тоном, видно, занят своими делами, говорит, что ему некогда со мной разговаривать, я мог бы позвонить в другое время, а не тогда, когда он осматривает больного; однако пренебрежение к себе я могу истолковать и как добрый знак — выходит, мне нет никакой необходимости немедленно мчаться в Париж, поскольку я задумал смехотворную драму — посещение родных мест — в тот самый момент, когда всего естественнее было бы сидеть в Париже вместе с друзьями или отправиться, как сделал бы каждый больной на моем месте, за анализом в назначенный срок, чтобы сразу получить лекарство, единственное на свете лекарство, которое поможет мне преодолеть немыслимую слабость. Но доктор Шанди во сне говорит, будто приезжать в Париж нет никакой необходимости, говорит это мне потому, что по моим анализам понял всю безнадежность моего положения и теперь надеется только на быструю кому. Два дня тому назад, а родители известили меня об этом вчера, у моей сестры родился сын, она решила назвать его Эрве, хотя ничего не знает пока о моей болезни и даже, может быть, близком конце, но, вероятно, что-то чувствует и хочет мне сделать сюрприз. Родители сообщили мне новость, когда мы на Рождество обедали у нашей двоюродной бабушки Луизы, а до этого я съездил в больницу к двоюродной бабушке Сюзанне. Сестре даже пришло в голову назвать сына Эрве Гибером, ведь она опять взяла девичью фамилию, поскольку новоиспеченный отец не горел желанием дать ребенку свою, а мне-то моя сестра всегда казалась уравновешенной и благополучной. В последнее время против ожидания, а также невзирая на ультиматум, который сам себе предъявил, я оставил в покое повествование о своей болезни и правил с утра до ночи предыдущую рукопись. Давид не одобрил ее, а ведь я проник на завоеванную им территорию и никогда бы не написал обо всяких кровавых ужасах, не познакомься я с ним и не начитайся его книг. Он назвал меня недостойным учеником, а книгу, которую я писал с 15 сентября до 27 октября, обуреваемый страхом, что мне ее не кончить,— всего лишь заготовкой; все триста двенадцать страниц машинописи он гневно исчеркал, и когда я увидел его пометки, а потом, работая, начал стирать их с полей, мне было по-настоящему больно. Давид не понял — едва я узнал о близости смерти, захотелось написать все возможные на свете книги, которые я еще не написал; пусть даже плохо, но все-таки написать, и злую, смешную, и философскую, столкнуть их все на сужающийся край времени и вытолкнуть прочь само время, записать и молниеносные романы моей преждевременной зрелости, и медленно созревающие романы моей старости. Но два последних дня перед звонком доктору Шанди, пропахав от начала до конца все триста двенадцать страниц старой рукописи, я уже ничего не делал, только рисовал.

24

В последнее время Жюль, подобно доктору Шанди, был обеспокоен не столько моим физическим, сколько душевным состоянием, и, раз уж здесь, в Риме, я обрек себя на одиночество, дал мне совет: «Займись-ка живописью». Я уже подумывал об этом с тех пор, как в торгующем книгами по искусству магазине на виа ди Рипетта — это напротив школы, я иногда прохожу мимо, не задерживаясь, лишь рассеянно следя за царящей здесь оживленной суетой; притягивают меня, скорее, чары молодости, нежели она сама, ибо мне нравится лавировать в этой толпе, а то и, свернув чуть в сторону с намеченного пути, отдаваться во власть стихии юных, не ища ни с кем из них контакта, теперь я испытываю к ним лишь платоническое влечение, бессильную страсть, словно призрак, уже не способный к желанию,— итак, стоя у прилавка и перелистывая альбомы по искусству, в каталоге выставки итальянской живописи XIX века, что проходила в миланском Палаццо Реале и закрылась совсем недавно, я наткнулся вдруг на репродукцию картины некоего Антонио Манчини. Изображала она облаченного в траур юношу; его черные кудри были взъерошены, это слегка нарушало строгую гармонию одежды — черный камзол с кружевными манжетами, черные чулки, черные туфли с пряжками и черные перчатки; перчатка на руке, в отчаянии прижатой к сердцу, разорвалась, запрокинутая назад голова касалась желтой, в прожилках, стены дома, обрывавшей перспективу, отделанный под мрамор фриз хранил страшные следы пожара, другой рукой юноша опирался на каменную кладку, как бы отталкивая ее силой страдания или надеясь вдавить свою боль в камень. Картина называлась «После дуэли»; на заднем плане, в правом нижнем углу, белела мужская рубашка в пятнах уже запекшейся крови, ткань хранила отпечаток руки, сорвавшей ее с тела; рубашка болталась на едва выглядывавшем наружу кончике шпаги, словно саван или сорванная кожа. Понять, каков сюжет картины, было невозможно, казалось, художник намеренно — мне всегда это нравилось — окружает ее завесой тайны. Кто же герой — убийца невинного человека, которого нам не дано увидеть? очевидец? брат? любовник? сын? Удивительное полотно вдохновило меня на поиски недостающих сведений в библиотеках, в книжных магазинах, в букинистических лавках. Я узнал, что Манчини написал картину в двадцатилетнем возрасте. Позировал ему некий Луиджиелло, сын неаполитанской привратницы; художник часто изображал его в серебристом трико паяца, на украшенной павлиньими перьями венецианской гондоле, рядом с Пульчинеллой, лукавым мечтателем, воришкой, музыкантом, канатным плясуном; Манчини обожал Луиджиелло и взял его в Париж на свою первую большую выставку, но вскоре по требованию родни отослал юношу назад в Неаполь, после чего благодаря стараниям все тех же родственников, действовавших из благих побуждений, угодил в психиатрическую лечебницу, откуда вышел уже полностью раздавленным — в дальнейшем Манчини не писал ничего, кроме стандартных портретов богатых буржуа. Внезапное увлечение чуть не подвигло меня на занятия живописью, то есть на беспомощные попытки передать таким образом свое восхищение; я полагал, будто посредством бесконечного копирования — по памяти, по репродукции или оригиналу — пресловутой картины Манчини «Dopo il duello» [1], находившейся в вечно закрытой на ремонт Галерее современного искусства в Турине,— при помощи живописи и одновременно своей неспособности писать — определю точки соприкосновения с картиной, а также отделяющее меня от нее расстояние и благодаря неустанному исследованию ее целиком постигну ее тайну. Разумеется, я сделал нечто противоположное, моя мечта о живописи обернулась несравненно более скромным занятием: по совету единственного знакомого мне художника я стал рисовать, поначалу выбирая самые простые предметы,— например, бутылки чернил,— а затем, прежде чем взяться за изображение человеческих лиц,— кто знает, может быть, совсем скоро мне предстоит нарисовать и свое собственное перед смертью,— я начал делать наброски ритуальных восковых головок детей, которые привез из Лиссабона.

25

Манчини завещал похоронить его, положив в гроб кисть и «Руководство» Эпиктета; в желтом томике издательства «Гарнье — Фламмарион» оно напечатано после сочинения Марка Аврелия «Наедине с собой»; за несколько месяцев до смерти Мюзиль достал с полки томик в глянцевой обложке — это была одна из любимых его книг — и дал мне, рекомендуя прочесть для самоуспокое-

---

[1] «После дуэли» *(итал.)*.

ния,— в то время я был совершенно издерган, потерял сон и даже вынужден был, по совету моей знакомой Коко, решиться на сеансы иглоукалывания в больнице «Фальгьер»; врач с китайской фамилией уложил меня в одних плавках под продуваемый насквозь навес и воткнул мне в макушку, локти, колени, в пах и пальцы ног длинные иголки, они покачивались в ритме моего пульса, и скоро на коже появились подтеки крови, которые врач даже не вытирал; этому-то человеку с обведенными траурной каймой ногтями я два-три раза в неделю вверял свое тело, хотя и отказался от дополнительных внутривенных инъекций кальция,— пока в один прекрасный день меня не передернуло от отвращения: я увидел, как он опускает грязные иголки в банку с мутным спиртом. Марк Аврелий, как объяснил мне Мюзиль, давая мне книгу, начал работу над своим сочинением с похвального слова предкам, членам семьи, наставникам — воздал хвалу каждому в отдельности, и в первую очередь усопшим, за все, чему они его научили, за благо, которым одарили на всю жизнь. Самому Мюзилю суждено было умереть через несколько месяцев; он сказал мне тогда, что в ближайшее время собирается составить в таком же духе похвальное слово мне — а ведь я, конечно же, ничему не мог его научить.

26

Я был в Мексике, когда Марина начала репетировать в театре; едва я вернулся, слухи о ее неудаче дошли и до меня. Она наделала массу ошибок: подгоняла весь спектакль к роли, которую выбрала из упрямства, по всей Европе разыскивала подходящего режиссера, знаменитые постановщики отказывались от абсурдной затеи, прославленные актеры тоже,— а ведь замыслом был предусмотрен именно дуэт звезд. Неприятности не заставили себя ждать: Марине, видимо, пришлось выгнать никуда не годного режиссера, он к тому же запил; бездарь-партнер, второразрядный актеришка, все больше хорохорился — заметил, что из-за неурядиц она хуже играет, и до сладострастия наслаждался тем, что может унижать звезду, кичившуюся талантом, на самом же деле никакого таланта, все это скоро заметят, у нее нет в сравнении с его актерским гением, взращенным на театральных подмостках, а не где-нибудь на страницах женских журналов. Премьера и вовсе смахивала на крестную муку. Марине не удавалось войти в роль, ее сбивали с толку технические трюки партнера — тот двигался по сцене, как ему заблагорассудится; к тому же, якобы стремясь правдоподобнее изобразить ненависть героя к героине, он просто измывался над Мариной, чуть не дошел до рукоприкладства, а в конце и вовсе поднял ее на руки и бросил на пол. Марина потеряла надежду мало-мальски прилично доиграть спектакль, рисунок роли погубили замена постановщика, коварство партнера, да еще и вечные комплексы Марины: она уже была близка к помешательству. Марина обратилась к одному роману, который ждал тогда обещанной ему Гонкуровской премии,— как это всегда бывает, и сейчас, шесть лет спустя, он все еще ждет ее, видимо, полагая, что все написанное им достойно этой награды, хотя с тех пор способен на один-единственный подвиг — за три месяца до присуждения премий огласить название якобы написанной им книги, а ее и в помине нет; издатель уже начинает рекламировать новый опус, разворачивает кампанию в прессе и узнает — правда, слишком поздно,— что кроме названия автор ничего не сподобился сочинить,— и вот этого отчаявшегося пройдоху Марина попросила собрать для нее материалы по проблеме женской истерии, для работы над ролью. Марина, бедная, беззащитная звезда, оказалась одна в целом мире, одна против ополчившихся на нее злодеев,— после огромного успеха в кино ей мстили, мстили за сотворенный ими самими мираж. Отец ее сына, Ришар, снимал какой-то фильм в пустыне и каждый день присылал ей по длинному письму; он рассказывал, как созерцает звезды в чистом небе пустыни, как бессонными ночами читает Гастона Башляра. Сумка Марины была набита его смятыми письмами, она их без конца перечитывала. Директриса театра, где ставился спектакль, перед премьерой подарила ей бриллиант. Но эта деловая женщина и думать не думала о том, что роль Марину измучила, что она была на грани нервного срыва, директрису волновало одно: появится ли в первом ряду партера принцесса Монакская, прославленный артист балета или знаменитый модельер — все они были приглашены на публичное издевательство. Зрители громко аплодировали, но про себя посмеивались. Назавтра они принялись бойко распространять слухи, совпадавшие с несправедливым приговором критиков: Марина-де была похожа на бешеную обезьяну, вопила, металась по сцене, будто по клетке. Лавры достались толстому хряку, ее партнеру, он на самом деле — я видел спектакль по возвращении из Мексики — подло использовал промахи в игре звезды и за кулисами даже не раз-

говаривал с нею. Директриса-садистка упивалась критическими статьями и развешивала их в коридорах театра, радуясь, что места забронированы на все спектакли; она дежурила у двери в Маринину уборную, не допуская к ней друзей и позволяя туда врываться лишь самым назойливым поклонникам, чтобы усилить у Марины ощущение одиночества и тем самым подтолкнуть ее к срыву, последнее непременно послужило бы прекрасной рекламой. Я не побоялся стычки с директрисой и после спектакля пригласил Марину на ужин. Не заговаривая ни о пьесе, ни о трактовке роли — тут даже при хорошем к ней отношении комментариев не требовалось,— я посоветовал любым способом прекратить изнурявшие ее выступления. Она сама думала об этом, но как выкрутиться, как избежать выплат по страховым полисам на сотни миллионов, вложенных в постановку? Марина заявила, что готова вырезать аппендицит, лишь бы избежать катастрофы. На следующий день она проконсультировалась с доктором Лериссоном, и тот ответил: в операции нет необходимости, можно придумать другой выход, например, обнаружить по анализам инфекционное заболевание. Еще через день Марину срочно отправили в больницу в Нейи, спектакли были отменены, одни органы печати были обеспокоены состоянием здоровья Марины, а другие, по наущению директрисы театра, заинтересовались причинами ее внезапного исчезновения; хищные фотографы газеты, публиковавшей скандальные сообщения, прорвались в ее палату — вспыхнули блицы, Марина с криком забилась под одеяло,— после этого вторжения пришлось поставить у ее дверей охрану. Я пришел навестить больную, принес отрывки своего сценария для фильма, в котором Марина хотела сниматься; она жадно проглатывала одну страницу за другой и складывала их на ночном столике, мы смеялись; в тот день, помню, запястья у нее были забинтованы, и я сказал, что хотел бы написать с нее вариант портрета святой Терезы Марии Эмерих кисти Габриэля фон Макса — светящейся насквозь, воздушной, в прозрачном покрывале, скрывающем стигматы на лбу и венцом ложащемся вокруг чела; и руки у Марины были забинтованы точно так же, как у святой. Я спросил ее, не симуляция ли это на потребу прессе. Нет, отвечала она, ей делали переливание крови.

27

Я писал сценарий, конечно же, думая о Марине, она послужила прототипом главной героини, я позаимствовал и другие ее черты, в частности нервный характер, на съемочной площадке нервы у нее всегда были на пределе, не забыл и о мании то обожествления, то неприятия собственного облика: она либо окружала себя мириадами своих фотографий — звезда терпеливо, подобно муравью, созидала памятник себе самой,— либо, желая все истребить, обрушивалась на фотонегативы с ножницами и иголками; в конце фабула обретала ужасающий символический смысл — таков был замысел сценария: героиня сгорала живьем в свете прожекторов, их смертоносные лучи испепеляли ее дотла. Чтобы Марину не задело сходство с моей героиней, я вынужден был заявить — играть эту роль она, разумеется, не должна. И все же я испытывал некоторую неловкость, ибо использовал факты ее биографии без предупреждения; и тогда я решил честно показать ей сценарий, надеясь, впрочем, услышать ее замечания. Пакет я опустил в ее почтовый ящик, и Марина позвонила мне вечером того же дня: текст она нашла просто великолепным, хотя некоторые детали вызвали у нее сомнение, и намерена непременно сыграть в фильме главную роль. Я был ошеломлен, потрясен и безумно рад, что Марине понравилось,— значит, мы почти без труда найдем продюсера, но вместе с тем меня тревожила неуравновешенность ее характера, это могло значительно усложнить дело. В то время, случайно прочтя одну статью, а недостающие сведения позже откопав в научных изданиях, я узнал о существовании недавно открытого астрономами и называемого «черной дырой» небесного тела — то есть космической массы, обладающей свойством поглощения, а не рассеивания материи, она пожирала самое себя по закону самодовлеющей системы истребления, пожирала собственные края и тем увеличивала негативный периметр; астрономы окрестили новую «черную дыру» Гемингой — это имя я и дал своей героине. Кинооператор Ришар, отец Мариниого сына, вернулся из пустыни; он, как возлюбленный Марины, разумеется, стал у меня прототипом главного героя, по долгу дружбы я дал ему прочесть текст; Ришар вернул мне сценарий, заметив: ну и ну, похоже, за ним годами шпионили, а он ничего не подозревал и вдруг обнаружил микрофон, который я вмонтировал ему в ботинки пять лет назад. Мы с Мариной несколько раз встречались и работали над сценарием, она заставила меня изменить кое-какие фамилии, переписать ряд сцен, убрать одни, добавить другие, а потом подтвердила согласие сниматься и дала обещание — в присутст-

вии свидетелей, коллег-кинематографистов,— вложить свои деньги в производство. Так был запущен наш злополучный фильм; сразу же, привлеченные именем Марины, нашлись продюсерша, прокатчик, организовали передачу по телевидению. Но Марина не позволила мне продать сценарий, хотя тогда я очень нуждался в деньгах и собирался покончить с журналистикой, основным своим средством к существованию: она считала необходимым для нас сохранить полную свободу в работе над столь дорогим ее сердцу фильмом. Однажды вечером я провожал Марину в театр — мы ехали в автобусе, мне не удалось поймать такси, а до начала спектакля оставалось совсем мало времени,— и тут признался ей, что в финансовом отношении довольно уязвим и не смогу долго отстаивать эту независимость. Она странно на меня посмотрела. Марина, получавшая гонорары по три миллиона, как рассказал мне Ришар, без конца занимала у него деньги; впрочем, он и сам то и дело просил у меня, человека без гроша в кармане, в долг. Разговор с Эжени, моим тогдашним директором-распорядителем, происходил в самолете, мы возвращались из Нью-Йорка, там ей удалось наконец добиться согласия одного бизнесмена на финансирование журнала по проблемам культуры: я ответил, что не смогу поступить на службу в ее редакционную группу и стать одним из основных сотрудников, как она просила,— все мое время поглощала подготовка к съемкам. Я почти совсем перестал писать в газету и, поскольку жил только на гонорары, оказался в затруднительной ситуации. Обсуждая замысел с продюсерами и прокатчиком, мы ворочали сотнями миллионов на бумаге; суммы, добываемые нами на финансирование фильма, росли, а мой банковский кредит истощался. Из больницы Марина вышла, интерес к скандалу давно пропал; она подала в суд на своего партнера, а директриса театра — на нее. Я увидел Марину в начале марта на церемонии присуждения «Оскаров»: она появилась там в безобразном наряде белого цвета, увешанная жемчугами, со старушечьим шиньоном. Марина ковыляла на высоченных каблуках, в слишком узком платье и напоминала пьяную Мей Уэст, а ведь ей не было еще и тридцати,— такой наряд принесет ей несчастье, сказал я себе, теперь, после провала в театре, придется подставить и вторую щеку, ведь соперница, которая без репетиций заменила ее в театре и также оказалась в числе претенденток на премию, своего не упустит. Но все же Марина появилась на этой злополучной церемонии, стало быть, «Оскар» ей гарантирован. На том же торжестве я получил премию за лучший сценарий, и Мюзиль, смотревший передачу по телевизору, говорил, будто вид у меня сделался «страшно довольный». Я был и вправду доволен; Марина потащила меня за собой в гущу проныр-репортеров, и перед теми же фотографами, что не так давно ломились в дверь ее больничной палаты, великолепно разыграла сцену своего триумфа: плача от радости, звонила матери, в свете вспышек ярко блестели ее слезы, и эту радость разделяли с ней собравшиеся у телефона повара от Фуке, как и я, опьяненные удачей — возможностью сфотографироваться рядом со звездой. Через пару дней мы с Мариной собрались поужинать вместе, наедине. По телефону я попенял ей, что в своих интервью она ни разу не упомянула о нашем совместном проекте, и Марина измученным, раздраженным и умоляющим голосом попросила меня немного потерпеть. Я заказал столик в индийском ресторане, но за час до встречи она ее отменила через секретаршу. В течение нескольких дней я не мог застать Марину дома и как-то позвонил вечером — она никогда не стеснялась названивать мне поздно, даже ночью. Кто-то моментально снял трубку; стараясь не дышать громко, я попытался заговорить — трубку тут же повесили. Я лежал в постели, и вдруг этот явный симптом предательства пронзил меня до самых печенок, кровать поплыла, закружилась пыточным колесом, казалось, Марина намеренно его подгоняла. На следующий день мне удалось поймать Ришара, и он под большим секретом сообщил мне причину резкой перемены: у Марины начался роман с одним американцем, бездарным актером, зато мультимиллионером, и в обмен на брачный контракт тот обещал ей контракт на три главные роли в американских фильмах, о чем она давно мечтает. Ришар с досадой спросил, что я об этом думаю, и я ответил буквально следующее: «Она довольно скоро вернется оттуда, потерпев полное фиаско»,— а потом, помню совершенно точно, добавил: «Словно попав в аварию». Я не верил, будто Марина подписала контракт, хотя она, видимо, для очистки совести и со свойственным ей эгоизмом сообщила о его заключении письмом, посланным через агента на следующий же день после своего отступничества; с этой минуты мне пришлось выкручиваться: что-то объяснять продюсерам и прокатчикам, с которыми я был связан деловыми обязательствами, предлагать им вместо Марины других исполнительниц на главную роль, что, разумеется, их совсем не устраивало. Сумма, предоставляемая

мне банком в кредит без перечисления, возрастала день ото дня, угроза финансового краха уже нависла надо мной, и все же я как одержимый сопротивлялся возврату в журналистику, не мог покорно подставить шею под нож гильотины; тогда-то я и решил полностью опубликовать свой дневник — к тому времени в трех его тетрадях уместилось описание всех постигших меня злоключений; надо было отнести эти тетради издателю, уже опубликовавшему пять моих книг, и договориться с ним о гонораре. Я не осмеливался просить у него аванс, не мог и заговорить со своей продюсершей о ссуде. «Никогда не влезай в долги,— говорил мне Мюзиль,— иначе тебя сожрут с потрохами». За несколько месяцев до смерти Мюзиль настойчиво предлагал мне деньги в долг, но в силу обстоятельств я никоим образом уже не смог бы их вернуть.

28

Когда я положил дневник на стол издателю, славному малому,— он выпустил пять моих книг, но каждый раз заставлял подписывать договор на следующий же день по представлении рукописи, не давая прочесть ни одного параграфа,— это, дескать, типичный контракт и я могу полностью доверять ему,— то услыхал, что у него нет времени читать рукопись в четыреста машинописных страниц, хотя он всегда просил меня написать большую книгу, настоящий традиционный роман, без экспериментаторства, ведь критики нынче слишком отупели и не рецензируют книги, лишенные стройного сюжета, они просто не способны их понять и в итоге не пишут рецензий вообще, а если история хорошо закручена, можно по крайней мере рассчитывать, что они кратко изложат содержание в своих статьях, коль скоро иного ждать не приходится, вот и поищи такого идиота, чтобы согласился прочесть дневник в четыреста страниц; к тому же набранная книга может оказаться чуть ли не вдвое больше по объему, не забудьте о затратах на бумагу, вот и получается книга ценой франков в сто пятьдесят, но, друг мой, кто же отдаст сто пятьдесят франков за написанную вами книгу, не хочу быть жестоким, но последнее ваше творение оказалось не слишком ходовым, хотите, я сейчас же запрошу цифры у бухгалтера? За два года этот человек продал около двадцати тысяч экземпляров моих книг, не уделив им ни единой строчки рекламного текста, и вот теперь обстоятельства вынуждают меня вновь трепетать перед ним, даже не из-за аванса — он задолжал мне процент от реализации книги; однако издатель парирует: «Зарубите себе на носу, что я вам не добренький папочка!»

29

На следующий день после присуждения «Оскаров» Жюль — он смотрел церемонию по телевизору и, наверное, досадовал, ведь я его туда не пригласил — пришел стричь меня. Обычно он справлялся с этим неплохо, но тем воскресным утром, не предупредив, не посоветовавшись со мной, снял почти всю шапку белокурых кудрей, делавших меня похожим на круглолицего ангелочка; стрижка внезапно обнажила худое, усталое, осунувшееся лицо, высокий лоб, горькую складку у губ — облик, чужой и для меня самого, и для окружающих, многие пришли в ужас, увидев меня таким, и принялись, кто более, кто менее яростно, обвинять меня: до сих пор я-де злоупотреблял их доверчивостью, притворяясь кем-то иным, в действительности я не тот, кого они любили; в первую очередь — сам Жюль, затем — в редакционном кабинете — Эжени; та вскрикнула от ужаса и заявила, что у меня теперь вид злодея; и наконец, Мюзиль — он открыл мне дверь, и его словно обухом по голове хватило, надо было подождать, привыкнуть, оправиться от удара, ведь еще накануне меня показывали по телевизору с обычной прической. Сегодня я рад, Мюзиль увидел меня таким, каким я буду к тридцати годам, а если заглянуть чуть дальше — и на смертном одре. Я счастлив, благодаря Жюлю Мюзиль успел застать меня настоящим мужчиной, которому не сегодня-завтра стукнет тридцать, и в тот день, поборов испуг и оторопь, Мюзиль по доброте душевной сказал, что новый, подлинный облик предпочитает некогда очаровавшему его: точнее, новый кажется ему более естественным, ярче выражающим сущность моего характера, нежели прежний — очаровательная головка кудрявого ангелочка. В конце концов он заявил, что восхищен поступком Жюля, и даже радостно захлопал в ладоши — вот таким был Мюзиль, мой незаменимый друг. Тогда он просил найти ему нотариуса; я обратился к Биллу, недавно составившему завещание в пользу своего юного возлюбленного, с условием, что сам он «не умрет насильственной смертью»,— так он хотел оградить себя от убийства. Мюзиль сходил к нотариусу и вернулся в замешательстве: он, конечно, собирался все завещать Стефану,

однако нотариус пояснил — наследование от мужчины к мужчине без законных на то оснований при существующем порядке налогообложения обернулось бы против Стефана; лучше Мюзилю обратить свой капитал в дорогие картины, после его смерти можно тайком перевезти их из одной квартиры в другую. В тот день, провожая меня, Мюзиль послал мне прощальный воздушный поцелуй и, трогательно улыбнувшись, сказал: «Кстати, я не забыл оставить и тебе кое-что».

30

Марина уехала в Соединенные Штаты; писем от нее не было, только на страницах газет, печатавших скандальные новости, появлялись нечеткие, размытые фотографии: она разгуливала по Лос-Анджелесу в темных очках, за ручку со своим престарелым красавцем, но я между прочим заметил — держась за ненавистную мне руку, Марина не снимала перчаток, белых батистовых перчаток,— значит, она не изменила нам, Ришару и мне. Я ждал итогов конкурса, куда я шесть месяцев назад послал свой сценарий, еще полагая, что съемки вот-вот начнутся; теперь же, после предательства Марины, лишь победа на конкурсе дала бы мне возможность хоть когда-нибудь снять фильм. Мюзилю была известна вся унизительность моего положения, и он посоветовал мне написать Марине в Беверли-Хилс, полагая, что от обращения к ней меня удерживает гордость. Мюзиль рассказал, возможно слегка приукрашенную им, историю создания так называемой «Прощальной симфонии» Гайдна. Гайдн был композитором при дворе князя-эстета Эстерхази и «Прощальную симфонию» задумал как протест, ибо, исполняя прихоть вельможи, музыкантов не отпускали в город, к семьям, и до самых холодов задерживали в летнем дворце. Симфония начиналась торжественно, одновременно вступал весь оркестр, но вскоре исполнители начинали удаляться один за другим, ведь Гайдн предусмотрел последовательное исключение инструментов, в финале звучало лишь соло, он даже внес в партитуру дыхание музыкантов, задувающих над пюпитрами свечи, скрип натертого паркета в концертном зале у них под ногами. Безусловно, прекрасная ассоциация, созвучная и угасанию Мюзиля, и исчезновению Марины; эту подсказанную Мюзилем историю я изложил в письме к Марине, но ответа так и не получил.

31

Мюзиль упал без чувств у себя на кухне накануне Троицы, Стефан обнаружил его лежащим в луже крови. Не подозревая, что этого Мюзиль как раз хотел избежать — потому и хранил в тайне свою болезнь,— Стефан тут же позвонил его брату, и Мюзиля отвезли в соседнюю больницу «Сен-Мишель». На следующий день я пришел навестить его; в палате, расположенной рядом с кухней, воняло жареной рыбой. Погода стояла отличная, Мюзиль лежал обнаженный по пояс, у него было великолепное, прекрасно тренированное, стройное и могучее загорелое тело, усыпанное веснушками; Мюзиль часто загорал на балконе, а за несколько недель до больницы племянник, помогавший ему оборудовать загородный домик — затея, видимо, с самого начала обреченная на неудачу,— обнаружил в неподъемной дядиной сумке гантели: тот, несмотря на вызванное пневмоцистозом нарушение дыхания, тренировался ежедневно, борясь с пожирающей его легкие дьявольской саркомой. Как только я появился, сестра Мюзиля решила оставить нас одних и вышла из палаты; она принесла ему вкусную еду, пироги с фруктами; я никогда раньше ее не видел — эта женщина с седым пучком на затылке казалась весьма энергичной особой, но тут сами обстоятельства, а может быть, тайна, сообщенная ей другим братом, хирургом, смягчили ее твердый нрав, она плакала. Мюзиль сидел в обтянутом белой кожей кресле-качалке перед залитым солнцем окном, сидел в пропахшей рыбой палате, в тиши опустевшей под Троицын день больницы. Пряча от меня глаза, он сказал: «Люди полагают, будто в такой ситуации можно что-нибудь сказать, а выходит, и сказать-то нечего». Очков он уже не надевал, я впервые увидел не только его молодой, совсем не дряблый торс, но и его лицо без очков; нет, описать не смогу — таким я Мюзиля не запомнил; образ друга я гоню прочь, однако он запечатлелся в моей памяти и в сердце именно в очках, те краткие мгновения, когда он снимал их в моем присутствии, потирая глаза,— не в счет. От удара головой у него на затылке запеклась кровь, я увидел это, когда он, устав сидеть, приподнялся и снова лег в постель. Над его кроватью укрепили ручку — ухватившись за нее, он мог ложиться или вставать, немного облегчая себе мускульное и дыхательное напряжение, раздиравшее ему грудь, сотрясавшее нервными спазмами все тело. Мюзиль задыхался от бесконечных приступов кашля,

которые сдерживал лишь затем, чтобы попросить меня выйти. На ночной столик ему поставили плевательницу из темного картона, и докторша, заглядывая к нему, каждый раз говорила: надо сплевывать, сплевывать как можно больше, и сестра, выходя из палаты, тоже указала на плевательницу и повторила, что он должен отхаркивать, сплевывать как можно больше; это раздражало Мюзиля — он знал, из легких ничего уже не отходит. Ему должны были делать пункцию спинного мозга, он боялся.

32

Я навещал Мюзиля в больнице «Сен-Мишель» каждый день; в палате по-прежнему пахло жареной рыбой, яркое солнце так же освещало край квадратного окна; сестра его при моем появлении исчезала; пироги оставались нетронутыми, плевательница — пустой, пункция не удалась, надо было делать ее вторично, снова претерпеть ужаснейшую боль; медсестры говорили — возрастное уплотнение позвонков не позволяет дренажу протиснуться до костного мозга; теперь, когда Мюзиль знал, что́ это за боль, он боялся ее больше всего на свете, в его глазах горел страх перед страданием, которое не рождается в самом теле, а приходит извне, его вызывают искусственно, путем проникновения в очаг боли якобы для борьбы с нею; было ясно — для Мюзиля эта боль отвратительнее внутреннего, уже привычного страдания. Отрезвленный пока еще никому не ведомым крушением надежд на запуск фильма — об этом все узна́ют, если только я не получу премию на конкурсе,— я потихоньку вернулся к газетной работе, писал статьи то для одного, то для другого издания. Недавно я брал интервью у коллекционера, собиравшего детские портреты примитивистов; он подарил мне каталог организованной им выставки. Каталог лежал у меня на коленях вместе с газетами, которые я принес для Мюзиля. Я сидел рядом с кроватью. Мюзиль лежал, отказавшись от сверхчеловеческого усилия — попытки сесть в кресло. Я решил показать ему альбом. Мы сразу обратили внимание на портрет под названием «Грустный мальчик», он вполне мог быть написан с юного Мюзиля, хотя я не видел ни одной его детской фотографии,— художник изобразил прилежного задумчивого ребенка, упрямого и растерянного одновременно, замкнутого, но, похоже, любознательного. Мюзиль внезапно спросил меня, как я провожу время. Прежде он был в курсе всех моих дел, знал, чем я занимаюсь практически каждый час, ведь мы ежедневно разговаривали по телефону, а теперь сознание его помутилось — и мой распорядок дня сделался чем-то загадочным, он недоверчиво поглядывал на меня, казалось, он вдруг распознал во мне закоренелого лентяя, человека, до омерзения праздного, или же неожиданно обнаружил, что я трачу свое время и силы на поддержку его врагов, расплодившихся в великом множестве и мечтающих ускорить его конец. «Скажи, на что же уходит все твое время?» — повторял каждый день Мюзиль. Увы, его деятельность сводилась теперь к размеренному движению зрачков вслед за теннисным мячиком — по телевизору передавалась прямая трансляция турнира памяти Ролана Гарроса. Я сказал ему, что опять работаю над книгой о слепых, и в его глазах промелькнула тень ужасного страдания, он сознавал собственное бессилие, невозможность хоть немного поработать над рукописью последнего тома «Истории», оставшегося в набросках. После первого же посещения больницы я стал все записывать в дневник, не упуская ни одной детали, ни жеста, ни слова — пусть разговоры наши, как правило, были редки и ужасно скомканы в силу обстоятельств. Это ежедневное занятие утешало меня и вызывало отвращение, я понимал, Мюзилю было бы очень больно, узнай он, что я, подобно шпиону или врагу, заношу унизительные мелочи в дневник: наверное, записям суждено — и это самое отвратительное — пережить его и стать свидетельством правды, которую он предпочел бы стереть с оправы своей жизни, оставив лишь отшлифованную до блеска грань, она обрамляет сверкающий и непроницаемый черный алмаз, надежно хранящий тайны; дневник, быть может, станет его биографией, хотя уже и сейчас грешит неточностями.

33

Конечно, кое-какие события ускользают из памяти, но я не хочу заглядывать в дневник — сегодня, пять лет спустя, лучше заглушить тоску, она бьет беспощадно, только дотронься до больного места. Мюзиля перевели в больницу «Питье-Сальпетриер». Когда я вошел к нему в палату, там было полным-полно друзей, но его самого увезли на последнюю пункцию — вскоре, отняв еще частичку мозга, опять уложат на место. Стефан пачками приносил Мюзилю корреспонденцию из дома, но вскрывал письма и пакеты сам и, показав их больному, выбрасывал присланное в корзину; в сегодняшней почте оказалась книга

Кота, название отдавало трупным запахом; Мюзиль перелистал ее, нашел дарственную надпись и прочел: «Этот аромат». В ужасе спросил он, что это значит, и я подчеркнуто безразлично ответил: Кот, мол, в своем репертуаре, да и нечего тут понимать. Чтобы прервать возникшую паузу, кто-то из друзей начал рассказывать о выставке в Гран-Пале, там экспонировалась знаменитая картина, которой Мюзиль посвятил в свое время целое эссе. Сейчас он никак не мог понять, о какой картине идет речь. Он спросил, что на ней изображено, и по всеобщему замешательству догадался: для него началось самое ужасное — помрачение рассудка. Мы все вместе вышли из палаты — больному пора было делать процедуры — и во дворе больницы узнали от Стефана: недуг смертелен, но Мюзиль скрывал от всех страшную тайну, он хотел, чтобы мы не раскисали и «держались» в его присутствии, сам Стефан тоже узнал об этом совсем недавно. Он сказал: некоторые участки мозга уже затронуты, недуг неизлечим, но главное — новость не должна получить огласки в Париже — тут он круто повернулся и ушел, наотрез отказавшись от предложенной нами «моральной поддержки».

34

Я появился у Мюзиля на следующий день, мы были одни, и я долго держал его за руку, словно просто пришел в гости, у него дома мы иногда сидели рядом на белоснежном диване, глядя на закатное солнце, пылавшее меж распахнутых балконных дверей; потом я прильнул к его руке губами, поцеловал ее. Но, вернувшись домой, со стыдом и облегчением принялся отмывать губы с мылом, будто их коснулась зараза,— точно так же я намыливал их в Мехико, в номере отеля на улице Эдгара Аллана По, когда старая проститутка глубоко засунула язык мне в горло. Стыд и облегчение были настолько сильны, что я достал свой дневник, решив записать и этот случай после отчетов о предыдущих посещениях. И, описав свой мерзкий поступок, испытал еще больший стыд и в то же время облегчение. По какому праву я марал дружбу? Дружбу с тем, кого просто боготворил? И тогда — что-то поистине снизошло на меня, а может, в голове прояснилось,— я вдруг почувствовал, будто мне все позволено — и даже положено вести эти гнусные записи; их узаконило, мои действия оправдало смутное предвидение, неколебимое предчувствие: я имею на них полное право, ибо описываю сейчас не совсем агонию друга, скорее, свою собственную, похожую на нее как две капли воды, но ожидаемую в недалеком будущем,— теперь мы с Мюзилем связаны не только узами дружбы, но и узами смерти.

35

Мюзиля перевели в реанимационное отделение в конце коридора; Стефан предупредил меня: прежде чем заходить к нему, нужно дезинфицировать руки, надевать резиновые перчатки и пластиковые туфли, а также стерильный халат и шапочку. В реанимации — скандал, какой-то негр отчитывает сестру Мюзиля — она тайком пронесла сюда еду,— швыряет на пол баночки с ванильным кремом, так как это запрещено, на ночном столике вообще ничего нельзя держать и нельзя ничего вносить в палату по соображениям гигиены, к тому же в критической ситуации все это может помешать ему, санитару реанимационной бригады. Здесь не библиотека, заявил он, схватив две последние книги Мюзиля, они только что вышли в свет, Стефан принес их от издателя, даже книгам тут не место, в палате должно находиться только тело больного и медицинские инструменты для ухода. Двор больницы залит июльским солнцем — трагический контраст с участью Мюзиля, злая насмешка судьбы. Наконец-то я понял, ибо до того не хотел верить Стефану, что Мюзиль умрет, и совсем скоро,— очевидность этого исказила мой облик, я кожей ощущал странные взгляды прохожих: мое лицо вспухало, расплывалось от слез, рвалось на куски от боли, я обезумел от горя, стал воплощением «Крика» Мунка.

36

На следующий день, стоя в коридоре, я сквозь стекло увидел Мюзиля, под белой простыней, с закрытыми глазами, веки сомкнуты, на лбу виднелась дырочка, ему только что сделали пункцию головного мозга. Накануне, только я пришел, он сразу закрыл глаза и попросил меня говорить о чем угодно, не ожидая ответа, лишь бы он слышал мой голос, говорить, пока я сам не устану и не уйду тихонько, не прощаясь. И я, полный кретин, сообщил ему новость, которую узнал утром,— кредита на съемки фильма я не получу, надежды мои рухнули, и тут Мюзиль изрек, подобно сфинксу, одну-единственную фразу: «Все опять закружится в 86-м году, после выборов». Медсестра поймала меня в коридоре — оказывается, я не имею права находиться в реанимационной па-

лате без особого разрешения, ведь я не член семьи, за разрешением нужно зайти к врачу; посещения теперь контролируются, чтобы не прорвался, к примеру, «хищник-репортер», охотящийся за фотографией Мюзиля. Молодой врач осведомился, как меня зовут, и заявил — с намеком, будто я прекрасно представлял себе, о чем идет речь, хотя тогда я еще ровным счетом ничего не понимал: «Видите ли, с болезнями такого рода лучше быть поосторожнее, о них, честно говоря, мало что известно». Он не разрешил мне больше посещать Мюзиля, мол, предпочтение они отдают членам семьи, а не друзьям, конечно, я был очень близок больному, он в этом не сомневается,— и тут мне захотелось плюнуть ему в морду.

37

Мы с Давидом так и не увидели больше Мюзиля, а он между прочим требовал, чтобы нас впустили,— нам рассказал об этом Стефан, каждый день мы звонили ему и узнавали, как идут дела. Я послал в «Питье» записку на имя Мюзиля, признание в любви — стоило дожидаться этой минуты! — и вложил в конверт цветной снимок, сделанный Густавом на балконе отеля в Асуане, где я, повернувшись к объективу спиной, глядел, как садится солнце над Нилом,— слава Богу, хоть письма принимали! Чтобы доставить мне удовольствие, Стефан сказал, будто часто застает Мюзиля с этой фотографией в руке. Теперь Мюзиль, объяснил мне Стефан, говорил только загадками, например: «Боюсь, как бы талисман не повредил тебе» или «Надеюсь, что Россия снова станет белой». По праву родства, кроме Стефана — основного посетителя — Мюзиля ежедневно навещала сестра, они сохранили добрые отношения, хотя последние лет двадцать были уже почти чужими друг другу. Молодой врач — он сам рассказывал об этом Стефану — по ночам подолгу беседовал с Мюзилем. Однажды вечером, едва я вошел в квартиру, раздался звонок, коллега-журналист спрашивал, нет ли у меня фотографий Мюзиля. Я сначала не понял, тот вдруг разрыдался, я швырнул трубку и тут же помчался в больницу на такси. Во дворе у корпуса, где находилось отделение реанимации, я встретил Стефана и других знакомых, он сказал мне спокойным голосом: «Иди скорее, обними его, он так тебя любит». Я ехал в лифте один, и внезапно меня кольнуло сомнение: «любит», а не «любил» — может, Мюзиль не умер и это просто слухи, но держался Стефан чересчур спокойно, кажется, спокойствие это наигранное: я пошел по коридору, пусто, никого уже нет, ни дежурного, ни медсестры, будто тяжкий труд завершен и все наконец уехали отдыхать; сквозь стекло я снова увидел Мюзиля, под белой простыней, он смежил веки, на торчавшей из-под простыни не то руке, не то ноге болталась бирка с дырочкой, у меня уже не было сил войти в палату и обнять его; заметив медсестру, я вцепился в нее: «Он вправду умер? Да? В самом деле?» Страшась ответа, я со всех ног ринулся прочь из больницы и понесся по Аустерлицкому мосту, во всю мочь горланя песню Франсуазы Арди, которую выучил наизусть благодаря Этьену Дао:

Уйду ли первым в день любой,
Запомни — я всегда с тобой.
Сплетусь я с ветром, стану ливнем,
Землей и солнцем в сплаве дивном
И губ твоих коснусь потом,
И будет воздух невесом
На радость нам.
Но коль нема душа твоя,
Увидишь, как страдаю я.
Я буду полон злобой фурий
И обвенчаюсь с адской бурей,
Чтобы тебя под снежной вьюгой
Пронзить и холодом и мукой.
И коль забудешь ты про нас,
Я с ливнем разлучусь тотчас,
Расстанусь с солнцем и землею,
С тобой расстанусь и с собою,
И ветер заберет свое
И нашу жизнь накроет мглою,
Как забытье [1].

Я летел по Аустерлицкому мосту, я один владел еще не ведомой прохожим тайной, которой суждено было изменить облик мира. В этот вечер в теленовостях Кристина Окран — «солнышко», как называл ее Мюзиль,— воскресит его

[1] Перевод А. Солянова.

счастливый смех. Я зашел к Давиду, у него был Жан, оба сидели голые по пояс и чесались изо всех сил, приняв по дозе, чтобы не раскиснуть, они и мне предложили порошок, но я предпочел вернуться на улицу и снова запел.

38

На следующий день мы со Стефаном обедали в пиццерии неподалеку от его дома. Мюзиль умер от СПИДа, Стефан не подозревал об этом до вчерашнего вечера, пока не пошел вместе с его сестрой в ординаторскую и не прочел в регистрационной книге: «Причина смерти — СПИД». Сестра Мюзиля потребовала, чтобы эту запись зачеркнули, подчистили, густо замазали или соскребли, но лучше было бы вырвать страницу и вклеить новую; конечно, записи конфиденциальные, но кто знает, может быть, через десять — двадцать лет какой-нибудь биограф, навозный жук, захочет сделать ксерокопию этой страницы или просветит рентгеновскими лучами ее отпечаток на предыдущей. Стефан предъявил единственное написанное рукой Мюзиля завещание, оно ограждало его квартиру от нашествия родственников, но формулировки были слишком расплывчаты и не давали основания считать Стефана бесспорным наследником. Я успокоил его, сообщив, что Мюзиль в последние месяцы обращался к нотариусу, и дал ему адрес. От нотариуса Стефан вернулся ни с чем: завещание существовало, и, конечно, в его пользу, однако Мюзиль не успел подписать и по всей форме заверить составленный нотариусом текст — документ не имел никакой юридической силы, поскольку даже не был написан его рукой. Стефану пришлось торговаться с родственниками, в конце концов за ним осталась квартира с находившимися в ней рукописями, но право наследования он потерял.

39

В то утро, когда во дворе больницы «Питье» близ крематория должен был состояться вынос тела и церемония прощания, транспортники опять объявили забастовку; я опаздывал, на площади Алезии такси поймать не удалось, и я решил спуститься в метро, ехать надо было с двумя пересадками, а потому я еще больше задержался; в серых переулках старого квартала на набережной Сены, совсем недалеко от Института судебной медицины, у морга — каждый раз, когда я прохожу теперь мимо, у меня просто мороз по коже — уже скопилось множество людей, разыскивающих условное место встречи: Стефан решил опубликовать объявление сразу в двух ежедневных газетах, опасаясь, как бы церемония не оказалась слишком скромной по сравнению с пышными похоронами другого крупного мыслителя, умершего несколько лет назад; в результате квартал оцепили полицейские, а во дворе, куда должны были вынести тело, собралось столько народу, что я не смог протиснуться ближе к гробу, встал на цыпочки и смотрел, как философ, друг Мюзиля, кажется, взобравшись на ящик и забыв даже снять шляпу, тихим голосом произносит траурную речь; его просят говорить громче, он заканчивает и потом вручает текст Стефану. Тело унесли, и толпа рассеялась. Я подошел к Стефану и Давиду. Стефан сказал: мне повезло, я не видел умершего — зрелище было не из приятных. Давид не хотел ехать на похороны в деревню Морван, на родину Мюзиля, боялся, что просто не хватит сил; мне хотелось, чтобы он поехал, но Давид отказался наотрез — и зря, похороны вовсе не были такими уж тяжкими по сравнению с муками последних недель. Пока кортеж не тронулся, к Стефану все время подходили люди; известная актриса, дружившая с Мюзилем, вручила ему розу из своего сада и попросила бросить ее в могилу; тем временем секретарь, которого я тогда увидел впервые, рассказал мне вот что: в последний день, когда он видел Мюзиля, тот велел ответить согласием на все приглашения, полученные с разных концов света, хотя сроки их частично или полностью совпадали; потирая руки, Мюзиль от души веселился — он *не* прочтет лекцию в Канаде, *не* проведет семинар в Джорджии *не* выступит на коллоквиуме в Дюссельдорфе. По дороге мы со Стефаном и секретарем остановились у какой-то забегаловки и отведали жареных колбасок — сделать это предложил Стефан, Мюзиль просто обожал колбаски. Мать, очень сдержанная, царственная, прозрачная от старости, встретила нас без единой слезинки; застыв в кресле, над которым висела картина XVIII века, она по-светски принимала важных соседок, пришедших выразить ей соболезнование; на видном месте — на круглом столике посреди комнаты — лежал еженедельник с фотографией Мюзиля на обложке. Брат Мюзиля показал нам усадьбу, она оказалась огромной, их род принадлежал к крупной провинциальной буржуазии, в деревне их уважали больше прочих; главенствовал в доме отец — хирург, практикующий в главном городе депар-

тамента. Я даже не предполагал, что Мюзиль вырос в такой зажиточной семье, но если поразмыслить, этим легко объяснялось все: вечное стремление к экономии наряду с полной безответственностью в денежных делах, равнодушие и даже нелюбовь к какой бы то ни было роскоши — эти качества я скорее отнес бы к проявлениям мелкобуржуазности. Брат, удивительно похожий на Мюзиля, показал нам великолепный сад; во время прогулки он вдруг остановился, склонил голову и произнес: «Эта болезнь неизлечима». Потом провел нас в комнату Мюзиля, где тот работал в студенческие годы,— самое запущенное помещение в доме, там никогда не топили, как в лачуге садовника, где Мюзиль устроил себе библиотеку, позже мать велела туда поставить все написанные им книги. Я достал с полки первую попавшуюся и прочел дарственную надпись: «Маме — первый экземпляр книги, которая обязана ей своим рождением». На следующий день по телефону моя мать рассказала мне, что слышала по радио интервью с матерью Мюзиля. Та сидела на складном стуле у ограды кладбища и беседовала с журналистами, словно на пресс-конференции: «Когда мой сын был совсем маленьким, то хотел стать золотой рыбкой. Я отвечала: зайчик мой, это невозможно, ты же не любишь холодную воду. Он задумывался, а потом говорил: ну только на секундочку, просто узнать, о чем она там думает». Матери непременно хотелось заказать мемориальную доску, где бы упоминалось название престижного института — там Мюзиль в конце жизни читал лекции; Стефан сказал ей: «Ведь все и так знают», а она ответила: «Конечно, сейчас знают, но через двадцать — тридцать лет, когда останутся только его книги, разве кто-нибудь вспомнит...» Мы по очереди брали из корзины по цветку, бросали их в могилу, и корреспонденты фотографировали каждого из нас. Вернувшись вечером домой, я позвонил Жюлю, но он не захотел со мной долго разговаривать — развлекался с двумя юнцами, видимо, наркоманами, которых только что подцепил в кабаке и слегка побаивался. Берта с их пятимесячной дочкой уехала за город.

40

Я пытался как мог облегчить другу тяжкое бремя траура, удержать его от погружения в бездну проблем, связанных с наследованием, и уговаривал совершить путешествие, развеяться. Когда-то мы думали, что к этому времени Мюзиль и Стефан приедут к нам на остров Эльба, еще месяца за три до смерти Мюзиля обсуждали втроем, как будем отдыхать; мы со Стефаном искренне верили, что поедем туда, а Мюзиль, одновременно и понимая все и заблуждаясь, делал вид, будто тоже верит в осуществимость этих планов, пока не началась настоящая подготовка к отъезду, и тут он втайне от меня признался Стефану — я узнал все после смерти Мюзиля,— что никогда не думал всерьез об этом путешествии. Стефан беспокоился и о себе, он считал, что смертельный вирус Мюзиль почти наверняка передал ему, а потому отправился на консультацию к дерматологу; тот не очень-то был подкован, но зато попытался успокоить пациента: по его словам, Стефан, конечно же, избежал опасности, поскольку СПИД скорее всего передается лишь при проникновении в организм нескольких видов инфекции, по меньшей мере двух,— две зараженные спермы одновременно попадают в организм и действуют подобно детонатору. Я приглашал Стефана приехать к нам на Эльбу, Густав уступил свою комнату вдовствующему другу; тот не упускал случая погоревать на виду у всех или — что было еще эффектнее,— покинув сотрапезников в разгар обеда, убегал к себе и запирался. Минут через пятнадцать мне приходилось идти наверх и стучать в дверь, чтобы остановить поток слез. Стефан сначала не открывал, потом впускал меня и огрызался сквозь слезы: «Я не знал, что ты такой злой, Мюзиль тоже не догадывался, ты нас всех обманул, ты — воплощенное коварство; бедный Мюзиль, как он ошибся в тебе!» Я отвечал Стефану: да, действительно мне трудно общаться сразу с несколькими людьми, никак не удается найти золотую середину, я то погружаюсь в угрюмое молчание, то впадаю в непонятную эйфорию; однажды я рассказал Мюзилю о своих терзаниях, и он посоветовал мне ни в коем случае не пытаться изменять самого себя, это худшее оскорбление для друзей; вот я и остался таким, какой я есть, таким меня видят окружающие, таким любят. Стефан чуть не бросался целовать мне руки и потом беспрестанно восхищался мною, легко прощал мне, в отличие от других, приступы раздражительности. Он ужасно страдал потому, что именно смерть Мюзиля открыла ему доступ в прекрасный дом, где так много юных красавцев. Тем летом, когда мы лежали на скалистом берегу нагими после купания, я сказал однажды Густаву: «Мы все сдохнем от этой болезни, я, ты, Жюль, все, кого мы любим». С Эльбы Стефан отправился в Лондон и разыскал там людей из

Ассоциации гуманитарной помощи жертвам СПИДа. Вернувшись во Францию, он решил организовать такое же общество.

41

Прежде чем переехать в квартиру Мюзиля, Стефан попросил меня сфотографировать квартиру такой, какой покинул ее владелец. Он хотел, чтобы я в качестве свидетеля присутствовал при передаче имущества и подготовил необходимые документы для будущих исследователей. Войдя во двор, я заметил: со стены соседнего дома уже сорвали плющ и не было воробьев, громко чирикавших, когда я, бывало, шел по двору к Мюзилю на ужин. После его смерти я в квартиру не входил; в то утро погода стояла пасмурная, но только я достал фотоаппарат, солнце осветило комнаты, словно по мановению волшебной палочки. Для общей съемки интерьера гостиной с африканскими масками и рисунком Пикабиа, напоминавшим черты Мюзиля, я захватил маленький «ролле́й-35», а для съемки всяких деталей попросил у Жюля «лейку»: в корзине для бумаг, к примеру, до сих пор валялся смятый конверт с адресом, который Мюзиль не успел дописать. За четыре месяца печаль отсутствия уже успела лечь на вещи, подобно пыли, просто стряхнуть ее было невозможно, квартира сделалась неприкосновенной, и мы спешили сфотографировать прежний хаос, пока его не уничтожила суета новой жизни. Стефан показал мне шкаф со стопками рукописей, показал заметки и наброски неоконченной книги, которые Мюзиль не успел порвать. На диванах лежали кипы давным-давно собранных Мюзилем материалов о социализме — он собирался написать эссе на тему «Социалисты и культура», но, как сказал мне в автобусе его секретарь, он уже тогда слегка повредился в уме. Стефан настоятельно просил меня сфотографировать постель Мюзиля, я никогда ее не видел, ведь Мюзиль открывал дверь в спальню в редких случаях, когда мы вместе отправлялись куда-нибудь ужинать и он вспоминал, что забыл ключи или чековую книжку в кармане другой куртки. Спальня Мюзиля оказалась клетушкой без окна, на полу валялся тощий тюфяк; Мюзиль оставил за собой просторный кабинет с библиотекой, а Стефану, который теперь не мог себе этого простить, уступил самую удобную, изолированную часть квартиры. Мне совсем не хотелось заглядывать туда, но Стефан подталкивал меня в спину, фотография спальни, считал он, станет бесценным документом для исследователей; я пытался заснять жалкий матрац, брошенный на пол, хотя отойти на необходимое для съемки расстояние здесь было невозможно, я знал, что ничего не получится, к тому же и аппарат не сработал, кончилась пленка. Благодаря этой серии снимков — фотографий с негативов я не печатал, только передал Стефану дубликат контрольных кадров — мне удалось освободиться от навязчивой идеи; подобно колдуну, я очертил магическим кругом место гибели нашей дружбы, не для того, чтобы предать ее забвению — чтобы увековечить, скрепив ее печатью фотокадра. Ассоциация Стефана по оказанию гуманитарной помощи жертвам СПИДа уже действовала вовсю, Давид, Жюль и я были первыми ее спонсорами,— я внес деньги через доктора Насье. Однако, сказал мне Стефан, работать там каждый день далеко не весело, нужны крепкие нервы: «Вдруг как снег на голову на нас свалилась семья с Гаити; все — отец, мать и дети — больны СПИДом, представляешь себе картинку!» Перед уходом я заглянул в библиотеку Мюзиля — мне надо было посмотреть выходные данные тома Гоголя, я собирался его прочесть,— но Стефан, заглянув в книгу, которую я держал в руках, сказал: «Нет, Гоголя оставь, Тургенева, если хочешь, забери всего, я его читать не буду».

42

Я снова стал работать в газете. Эжени предложила мне поехать с нею и с ее мужем Альбером в Японию на съемки нового фильма Куросавы, значит, это было зимой 1984 года, ведь моя книга о слепых еще не вышла; мы с Анной встретились тогда в Асакусе[1] и очень удивились, что оба пишем на одну и ту же тему — о слепых. Я не ожидал увидеть Анну в Токио — мы столкнулись с ней в холле отеля «Империал», где Альбер назначил ей встречу,— но особой радости не испытал. Любительница приключений несколько ошалела от трехнедельного путешествия в транссибирском экспрессе; в дороге, мчась по России и затем по Китаю, она только и делала, что пила водку и объедалась икрой с аппаратчиком из Владивостока. Перед отъездом Анны я взял у нее интервью, она предложила мне опубликовать ее детскую фотографию, отец сделал снимок, когда ей было семь лет,— и вот остался единственный экземпляр, который она

[1] Район Токио.

берегла как зеницу ока. За восемь лет работы в газете у меня никогда ничего не пропадало, но все же я попросил проследить за этой фотографией — сначала технического редактора, затем сотрудницу, ведавшую материалами отдела оформления; и тут как назло, словно не выдержав строгого надзора, злополучная фотография исчезла. Анна сердито потребовала вернуть ее, вышла из себя; я перевернул редакцию газеты вверх дном, все пять этажей, в надежде отыскать пропажу. «Плевать мне на вашу надежду, верните фотографию»,— отрезала она. Накануне отъезда Анна даже явилась ко мне домой и снова на меня накинулась. Я не пустил ее дальше лестничной клетки и, мстя за бесцеремонность, захлопнул дверь перед самым ее носом. Между тем фотографию мне вскоре вернули. Кто-то украл альбом, в который, к несчастью, технический редактор спрятал ее для пущей сохранности; вора (или воровку), видимо, мучили угрызения совести, и поскольку мои препирательства с Анной чуть ли не месяц происходили у всех на глазах, альбом попросту положили в мой шкафчик для бумаг. Я сообщил радостную новость Анне, как только увидал ее в холле токийского отеля «Империал», а эта мегера немедленно заявила: «Вы легко отделались». Бог с ней, подумал я. Анна продолжала цепляться к нашей маленькой группе — ко мне с Эжени и Альбером. Однажды вечером мы встретились с ней в Асакусе на ведущей к храму улочке, в склепанных из листов жести лавчонках торговали сладостями, веерами, расческами, брелоками и печатками из драгоценных и искусственных камней; Эжени и Альбер замешкались в магазине, где продавали шлепанцы, а мы с Анной пошли дальше в сторону пагоды и приблизились к медному чану, там курили благовония; паломники, подержав руки над дымком, словно бы мыли им щеки, лоб, волосы. Вокруг было множество прилавков с крошечными ящичками, верующие открывали их наугад, доставали свернутую бумажку с предсказаниями, сделанными тайнописью, и затем несли любому из двух бонз, которые священнодействовали по обе стороны алтаря с золотой статуей Будды, защищенной стеклянной перегородкой; из-за алтарных стоек эта часть храма, где за небольшую мзду расшифровывали недоступные разумению непосвященных знаки, напоминала камеру хранения. Если предсказание сулило удачу, верующий бросал его через щель в стеклянной перегородке к ногам Будды, туда же следовало опустить деньги — залог осуществления чаемого. Бумажку с дурным предсказанием прикручивали проволокой к мусорному ящику или к дереву, чтобы, отданное на волю злых духов, оно потеряло силу. В Киото, например, вокруг храмов стояли голые деревья, шелестевшие белыми бумажками,— издалека нам показалось, будто цветет сакура. Мы с Анной вместе вошли в храм в Асакусе; задержавшись у прозрачной дарохранительницы в форме пирамиды, трепетавшей огоньками, Анна протянула мне малюсенькую тлеющую палочку и сказала: «Вы не хотите загадать желание, Эрве?» В ту же секунду раздался звук гонга, люди заторопились к выходу, сияние в алтаре вокруг золотого Будды погасло, железный затвор, лязгнув, наглухо закрыл величественную главную дверь, и не успели мы опомниться, как оказались запертыми в храме. Бонза вывел нас через маленькую заднюю дверь, и мы очутились на праздничной базарной площади. Загадать желание я не успел, но это необычное происшествие сдружило нас с Анной. И вот мы поехали в Киото, там она познакомила нас с художником Аки, приехавшим в родной город на семидесятилетие отца; Аки показал нам весь Киото и Золотой Храм. Токийцы советовали еще посетить Храм Мхов, но попасть туда можно было, только если местный житель соглашался уступить свое место в списке избранных, имеющих право на одно посещение в месяц. Храм Мхов находится вдалеке от центра Киото, в загородной местности. Холодным и солнечным утром мы, человек десять посетителей, ждали у ворот бонзу; он появился и для начала проверил по нашим удостоверениям личности свой список, потом подвел нас к окошечку кассы, каждый уплатил весьма внушительную сумму. Затем, разувшись, мы в носках пробежали по двору, усыпанному ледяным гравием, вошли в промозглый зал — его загромождал стоявший у алтаря огромный барабан; на полу лежали подушечки, перед ними — расставлены в ряд тушечницы, разложены кисточки, тут же палочки туши и чашечки, чтобы их разводить, а на столике — пергаментные свитки, на них ясно виднелась тончайшая вязь сложных знаков; как сказал Аки, они обозначали и вовсе загадочные, непонятные слова, и — судя по их количеству и расположению — это была таинственная ритуальная молитва Храма Мхов; монахи, сопровождавшие чтение текста монотонными ударами в барабан, заставляли нас — в полной тишине — повторять за ними каждое слово; тем, кто хотел получить доступ в чудесный сад мхов, надо было заслужить право им полюбоваться, каллиграфически переписав молитву, пусть ничего не понимая, иероглиф за иероглифом,

воспроизвести ее, осторожно заполнив тушью еле заметные ложбинки на пергаменте. Муж Эжени, Альбер, кипя от злости, отшвырнул пергамент прочь: бонзы — бандиты, они нас просто ограбили, к тому же здесь можно околеть от холода; если на каждый иероглиф уходит целых пять минут, понадобится не меньше двух часов, чтобы разделаться с этой тряпкой, усеянной идиотскими значками, да еще сидишь скрюченный, ноги затекают до судорог,— и Альбер ушел, так ему и не довелось попасть в сад мхов. Мы с Анной, устроившись рядышком, втянулись в игру, пытаясь перещеголять друг друга — тщательно перерисовывали иероглифы, выводили их как можно аккуратнее, точнее, стараясь не насажать клякс. Аки объяснил нам: закончив молитву, мы должны написать под ней свое имя и желание, а затем положить свиток перед алтарем, ибо труд жизни священнослужителей в Храме Мхов — неустанная молитва об исполнении желаний безвестных людей, редких посетителей. После двух часов усердной работы, когда благодаря предельной сконцентрированности исчезли судороги и ощущение времени, я был уже почти готов изложить свое невысказанное желание, на сей раз, думал я, оно не улетучится с дымом догорающей палочки. Я боялся, что любопытная Анна захочет узнать мою тайну, и решил зашифровать желание; ее фразу я прочел, заглянув ей через плечо. Она написала: «Улица, опасность, приключение», потом вычеркнула слово «опасность», но мне уже было неинтересно, чем она его заменила. Я прибавил к молитве свою шифрованную мольбу о жизни — для себя и Жюля,— и Анна сразу же спросила, что означают эти слова. А потом мы отправились в чудесный сад мхов.

Я возненавидел Марину. Она действительно снялась в каком-то фильме в Соединенных Штатах, газеты много писали о ее браке, позже — о разрыве с мужем и о возвращении во Францию. Однажды Эктор пригласил меня поужинать в ресторане «Набережная Вольтера», мы оставили пальто в гардеробе, метрдотель пригласил нас следовать за ним, я сбежал вниз — там всего три ступеньки, и тут в глубине зала, в нише, сразу же увидел Марину в темных очках; она сидела напротив молодого человека, совсем рядом со столиком, за который приглашал меня метрдотель; я устроился у стены, только перегородка теперь отделяла меня от Марины, и в зеркале, висящем на противоположной стене, мы видели друг друга, один другого — и никого больше. Встретив здесь Марину после ее предательства и двухлетнего молчания, я стал лихорадочно думать, как себя вести, мысли кружились со скоростью шрифтовой насадки на электрической пишущей машинке: воспользоваться случаем и подойти, дать ей пощечину, чего мне до смерти хотелось, или нежно поцеловать ее, а может, сдержаться и спокойно продолжать беседу с Эктором, как будто ничего не происходит? Поединок с Мариной длился несколько минут. От соседнего стола до меня долетали обрывки вдруг ставшего взволнованным разговора. «Вы себя плохо чувствуете?» — спрашивал молодой человек, он бы вполне мог быть моим двойником — типичный мечтатель, начинающий режиссер, по всем статьям одураченный звездой. Ответа нет, но он не смутился и снова за свое: «Вы скоро уезжаете отдыхать?» Вдруг соседний столик отодвигают резким движением и, оторвав на секунду взгляд от Эктора, я вижу: Марина убегает из ресторана, за ней — ошарашенный молодой человек; поскользнувшись на ступеньке, он успевает извиниться перед метрдотелем, сует ему двухсотфранковую купюру и запутывается в дверной занавеске. Я оборачиваюсь — салфетки на их столе смяты, стоит едва початая бутылка вина, им принесли только закуски — я выиграл партию. Через несколько месяцев ночью голос Марины с трудом вырывает меня из плена снотворного: «Я воскресла». В голове туман, но у меня хватает находчивости ответить: «Так что, звонить теперь во все колокола?» Она очень ласково возражает: «Ну что ты, Эрве». Я говорю: «Я столько из-за тебя пережил». А она: «Подумай, сколько пережил из-за меня Ришар». Услышав этот бред, я повесил трубку. А проснувшись, вспомнил, как раньше, прощаясь, говорил ей: «Обнимаю тебя, Марина»,— это звучало отпущением грехов с того света. После обеда рассыльный от Даллуайо доставил мне два шоколадных колокола, один — большущий, другой — крошечный, без записки, ведь только что прошла Пасха. Еще через несколько месяцев я собрался однажды пообедать с Анри в «Виллидж войс», пришел в ресторан немного раньше, сел за столик и, поджидая его, стал читать. Появился Анри, но не успел он занять свое место, как за его спиной, вынырнув из глубины ресторана — как это я ее не заметил? — возникла Марина: в темных очках, с длинными распущенными волосами а ля кукла Барби, а за ней, как тень, Ришар, оба невероятно возбуждены. При виде их кровь у меня мгновенно застыла в жилах, я оледенел, побелел лицом;

Анри перепугался — что случилось? Появление Марины произвело на меня сильное впечатление, я будто увидел призрак, привидение. Вернувшись домой, взялся за перо, хотел написать Марине, что в самом деле увидел призрак нашей дружбы юных лет, которую она погубила своим сумасбродством. Едва я закончил письмо, зазвонил телефон; Жюль сразу объявил: «Знаешь, что случилось с Мариной? Говорят, у нее лейкемия, выпали волосы, видимо, проходит страшный курс химиотерапии». В моем письме много раз повторялось слово «кровь». Можно было принять звонок Жюля за перст судьбы и не отправлять письмо, но обида на Марину была так сильна, что я все же вышел на улицу и опустил его в ящик, особенно безжалостным казалось оно теперь, когда разнесся слух о ее болезни; я вполне мог сказать потом, что Жюль позвонил, когда письмо уже ушло. Но на следующий день меня стали мучить угрызения совести, и я избавился от них, послав Марине второе письмо, оно как бы зачеркивало предыдущее.

44

Слухи о болезни Марины становились все тревожнее; теперь говорили, что у нее СПИД,— мне сказал это мой массажист, а он услыхал новость от директора клиники, где она лечилась. Сегодня говорят, будто она заразилась от брата-наркомана — кололись одним шприцем; на следующий день — будто инфекцию внесли при переливании крови, на третий день — ее якобы заразил этот бездарный американка, всему свету известно, что он бисексуальный тип, и так далее. Слух о Маринином заболевании СПИДом, должен признаться, доставил мне удовольствие; я хотел, чтобы это был не слух, а правда, нет, я не садист, меня просто преследовала мысль о том, что в конце концов — недаром мы казались братом и сестрой — нам уготована одна и та же, общая судьба; слух уже проник в газеты, по радио сообщили, что ее поместили в больницу в Марселе, по телетайпам всех редакций прошла информация «Франс-пресс» о ее кончине. Я представлял себе: Марина бежит, задыхаясь, ее преследуют, она устремляется в Марсель, чтобы сесть на корабль, отправлявшийся в Алжир, на родину ее отца, пусть ее тоже похоронят по мусульманскому обычаю: завернув в три покрывала, положат прямо в землю. Я видел мысленным взором ее фальшивые длинные волосы а ля Барби, ее забинтованные запястья — тогда в американской клинике, где ей сделали переливание крови. Никогда еще я так сильно не любил Марину. Однако, заручившись поддержкой своего адвоката, она не замедлила появиться в вечерних теленовостях, чтобы положить конец слухам: предъявив медицинское свидетельство, Марина заявила, что здорова, но в то же время глубоко удручена — ей приходится в каком-то смысле предавать больных, вот так демонстрируя свою принадлежность к здоровым. В тот вечер я не смотрел телевизор, но утренние газеты об этом уже сообщили; своим выступлением Марина глубоко разочаровала меня. Билл видел передачу и сказал, что она производила впечатление сумасшедшей, хоть сейчас сажай в психушку. Зато Кот, вот уж кого нелегко пронять, оценил появление Марины в «Новостях» как самый потрясающий телесюжет за всю его жизнь. Мы постепенно отошли друг от друга; я — больной, хотя она этого не знала, она — здоровая, мое отношение к Марине постепенно становилось все прохладнее, она снималась не в тех фильмах, в которых я хотел бы ее видеть; впрочем, и она, я в этом уверен, читала совсем не те мои книги, которые ждала от меня.

(Окончание следует)

НЭНСИ РЕЙГАН
при участии Уильяма Новака

Мой черед

Воспоминания

Перевод с английского ИРИНЫ ДОРОНИНОЙ

Глава первая
«СТРЕЛЯЛИ...»

Это случилось вскоре после полудня 30 марта 1981 года. Прошло всего семьдесят дней, как мой муж был приведен к присяге в качестве президента Соединенных Штатов. Я только что вернулась в Белый дом после какого-то официального завтрака и разговаривала на верхней террасе с Тедом Грейбером, нашим художником-декоратором, и Рексом Скауте, главным администратором Белого дома.

Вдруг я увидела внизу, на подъездной дорожке, Джорджа Опфера, начальника моей охраны. Он делал мне знаки рукой спуститься к нему.

«Что это здесь делает Джордж? — подумала я.— Видно, что-то случилось».

«В отеле стреляли,— сказал он.— Несколько человек ранены, но ваш муж невредим. Все в больнице».

При слове «стреляли» я начала двигаться. Когда мы подошли к лифту, меня уже охватила паника, я заявила Джорджу, что еду в больницу.

«Лучше бы вам остаться здесь,— сказал Джордж.— Там сумасшедший дом. С президентом все в порядке. Вам незачем туда ехать».

«Джордж,— сказала я.— Я еду в больницу. Если вы не вызовете мне машину, я пойду пешком».

Служебный лимузин остановился перед дипломатическим входом, и мы сели в него.

По мере того как мы приближались к больнице Университета Джорджа Вашингтона, улица становилась все более запруженной — полицейскими машинами, репортерами, зеваками. В конце концов пробку удалось прорвать, и мы подъехали к отделению «Скорой помощи». Служба безопасности уже сообщила по радио, что я еду, и Майк Дивер встретил меня у входа. Майк был заместителем начальника канцелярии у Ронни и близким другом нашей семьи.

«Он ранен»,— сказал Майк.

«Но мне сказали, что он *не* ранен»,— пробормотала я.

«Нет, он ранен,— сказал Майк,— но, говорят, ничего серьезного».

«Куда? Куда он ранен?»

«Неизвестно. Ищут пулю».

Ищут пулю. «Я должна его видеть»,— сказала я.

«Нельзя. Пока нельзя».

«Минутку,— сказала я, голос у меня зазвенел.— Если с ним ничего серьезного, почему же я не могу его увидеть?»

«Подождите. Они сейчас как раз с ним возятся».

«Майк,— начала я умоляющим голосом, будто что-то зависело от него,— они не знают, но у нас так заведено. Он должен знать, что я здесь!»

Майк снова объяснил мне, что врачи ищут пулю, что Джим Брейди, пресс-секретарь Ронни, тяжело ранен в голову, и вот его-то состояние, кажется, действительно опасно. Были ранены еще двое — охранник и полицейский округа Колумбия.

© 1989 by Nancy Reagan

Кто-то отвел меня в кабинет врача, а Майк пошел разузнать, когда можно будет повидать Ронни. Это был какой-то кошмар — паника, неразбериха, ожидание, неизвестность. Но что-то происходит внутри в такие моменты, и мне кое-как удалось собраться. Я сказала себе: «Они делают все, что могут. Не мешай им. Врачи знают свое дело». Мой отец, врач, столько раз повторял эти слова, и сейчас они эхом отдавались у меня в голове. Мысли проносились одна за другой, и вдруг моему воображению отчетливо представилась картина парклендской мемориальной больницы в Техасе в день убийства президента Кеннеди. Теперь, семнадцать с лишним лет спустя, я молила Бога, чтобы история не повторилась, чтобы мой муж остался жив.

Врачи трудились в поте лица. Медсестры все время приносили сообщения, которые раз от разу становились тревожнее. Дважды мне говорили, что у Ронни пропадает пульс; они боялись, что может быть шок. Я знала, что если бы это произошло, мы могли его потерять.

Когда Ронни только привезли в больницу, все решили, что у него сердечный приступ. Если бы две медсестры не разрезали специальными травматическими ножницами его одежду, а врач не поднял его левую руку, никто не заметил бы маленькой пулевой раны. Выходного отверстия не было, а это означало, что пуля засела внутри. До тех пор пока они не обнаружили пулевого отверстия, врачи и медсестры не могли понять, в чем дело. Они лишь видели, что у них на глазах умирает президент Соединенных Штатов.

Ронни был ранен пулей, которая разрывается в момент удара. По какой-то случайности эта не разорвалась. Отскочив от бронированной панели автомобиля и сплющившись в лепешку величиной с десятицентовик, зазубренный по краям, она проникла в тело Ронни.

Я настойчиво твердила: «Дайте мне повидать мужа!»

Мне сказали: «Скоро». Позднее я узнала, что тогда они еще боялись разрешить мне войти к нему, чтобы не испугать. И если судить даже по тому, что я увидела позднее, они скорее всего были правы.

Наконец мне объявили, что можно его повидать, и я мигом слетела по лестнице в палату. Войдя, я застала ужасающую картину — использованные бинты, зонды, кровь. Из раны в груди у Ронни была отведена трубка, дышал он через кислородную маску. В углу валялись лохмотья его нового голубого костюма в тонкую полоску.

Лицо было землисто-серым. На губах под кислородной маской запеклась кровь. Он увидел меня, оттолкнул маску и прошептал: «Дорогая, я забыл «нырнуть».

Мне стоило слишком больших усилий сдержать слезы, а заставить себя улыбнуться я так и не смогла, только наклонилась и поцеловала его. Затем снова приложила маску к его рту и сказала: «Пожалуйста, не разговаривай».

Через несколько минут ко мне подошел доктор Бенджамин Аарон, заведующий отделением кардиоторакальной хирургии. «Он теряет слишком много крови,— сказал врач.— Нужно оперировать. Поищем пулю и попытаемся извлечь ее из легкого. Она видна на снимке».

Когда Ронни везли в операционную, я шла рядом и держала его руку. Вокруг нас была целая команда врачей и медсестер, некоторые — в зеленых хирургических халатах. По обе стороны каталки висели системы для переливания крови.

Джон Симпсон из секретной службы сопровождал Ронни в операционную и в течение всей операции находился рядом с ним, как того требует устав службы президентской безопасности.

Чтобы усыпить Ронни, ему сделали укол пентотала. Но прежде чем наркоз подействовал, он снова успел пошутить: «Умоляю, скажите, что все вы — республиканцы».

Следом за Ронни в операционную везли и другого пациента. Это был Джим Брейди — голова его невероятно распухла, и рана на ней кровоточила. Я никогда не видела черепных ран, это было ужасно. Когда спустя несколько минут медсестра сказала: «Вряд ли мистер Брейди выкарабкается»,— я ей поверила.

Пока Ронни оперировали, я сидела в большой приемной. Там работал телевизор, и я слышала, как Фрэнк Рейнолдс сообщил по Эй-би-си, что Джим Брейди скончался; Эн-би-си и Си-би-эс тоже объявили о смерти Джима, и Си-би-эс предложила почтить его память минутой молчания.

Больше печальных новостей не было, и все телекомпании снова и снова прокручивали кадры, снятые в момент покушения. По сей день, закрыв глаза, я вижу, как это было. Ронни выходит из отеля, улыбаясь, рукой приветствуя

толпу. И вдруг — этот ужасный треск; позже он сказал мне, что принял его тогда за звук фейерверка. Удивление на его лице. Джим падает. Тела, распростертые на тротуаре, и агенты, окружающие убийцу. А потом охранник Джерри Парр хватает Ронни в охапку и заталкивает в машину.

Пока Ронни был еще в операционной, кто-то спросил, не хочу ли я зайти в больничную церковь. Я сказала, что хочу. Вскоре после нас туда вошла Сара Брейди, жена Джима, мы обнялись. Новая администрация приступила к работе так недавно, что это была наша первая встреча с Сарой. Она не видела своего мужа, поэтому не имела представления о том, сколь ужасна его рана.

«Они сильные мужчины,— сказала она.— Они выдержат все».

«Да,— ответила я.— Да». Но в голосе не было уверенности. Прежде чем покинуть церковь, мы с Сарой помолились вместе, держась за руки.

Каждые несколько минут медсестры прибегали из операционной с новостями. Наконец пришла и добрая весть: в результате сложной операции врачам удалось обнаружить и извлечь пулю из тела Ронни. Она задела седьмое ребро и, отклонившись при этом, проникла в нижнюю долю левого легкого.

Пуля прошла в дюйме от сердца. Ближе просто не бывает.

Рон был первым из наших детей, примчавшимся в больницу. Он услышал сообщение, сидя в кафе в Линкольне, штат Небраска, и, поскольку ближайший рейс в Вашингтон был не скоро, он нанял самолет, и они с женой Дорайей сразу же присоединились к нам. Остальные дети — Пэтти, Майк и Морин — были в Калифорнии, и военный самолет смог доставить их лишь рано утром следующего дня.

Ронни начал приходить в себя около половины восьмого вечера. Рона, Дорайю и меня впустили в послеоперационную палату через заднюю дверь и подвели к его постели. Когда я увидела его, без кровинки в лице, с трубкой, торчащей из горла, я чуть не разрыдалась. «Я тебя люблю»,— сказала я.

Долго-долго мы просто смотрели друг на друга. Потом Ронни взял лист бумаги и карандаш. «Не могу дышать»,— написал он.

Я закричала: «Он не может дышать!»

«Не волнуйтесь, миссис Рейган,— сказал один из врачей.— За него дышит респиратор. Ему просто нужно привыкнуть».

Ронни был очень слаб после операции, он то просыпался, то снова проваливался в сон. Я никуда не хотела уезжать из больницы, но ничем не могла ему помочь. Кроме того, я понимала, что, останься я там на ночь, это означало бы, что состояние Ронни критическое. А я, конечно, меньше всего хотела, чтобы люди так думали.

Когда Рон, Дорайя и я ехали в тот вечер из больницы, во всех окнах ярко светились телеэкраны. На домах повсюду были прикреплены листки с надписями, например: «Выздоравливай поскорее, мы тебя любим». Или — больше всего понравившаяся мне: «Сегодня мы все — республиканцы».

Когда мы вернулись в Белый дом, телефон там не умолкал, но мне ни с кем не хотелось говорить. Ужин был готов, и я поковыряла вилкой в тарелке с яичницей. Позднее попробовала заснуть — безуспешно. Ночь провела, не отрываясь от телевизора.

В ту ночь я записала в дневнике: «С моим Ронни ничего не может случиться. Иначе моя жизнь окончена».

Утром я снова отправилась в больницу. Трубку из горла удалили, и состояние его было чуть получше. После целой ночи интенсивной терапии он еще не спал. Он писал записки, волновался: кто еще пострадал?

Узнав о Джиме Брейди и о других, прослезился. «Проклятье,— все время повторял он.— Джима ранило в голову?»

Я кивнула. «Проклятье»,— снова сказал он.

Позднее я собрала некоторые из записок, которые Ронни писал врачам и медсестрам, и была потрясена, хотя и не так уж удивлена, тем, что в них много юмора. Например, он спрашивал: «Нельзя ли переписать эту сцену, начиная с момента, когда я выхожу из отеля?» А когда медсестра, причесывая его, воспользовалась случаем, чтобы осмотреть корни волос, Ронни написал: «Теперь вы можете рассказать всему свету, что я не крашу волос». В реабилитационной палате с ним так носились, что в его записке сказано: «Если бы в Голливуде мне уделяли столько же внимания, я бы никогда оттуда не ушел».

Но не все записки так забавны.

«Что с парнем, который стрелял?»

«Почему он это сделал? Кто-нибудь еще пострадал?»
«Можно мне дышать самому?»
«Я смогу снова работать на ранчо?»

Пока Ронни спал, я поговорила с врачами. На них лежало бремя огромной ответственности, и мои вопросы, конечно, не облегчали им жизнь. Но я не хотела быть в неведении. Я из тех людей, которые предпочитают знать по возможности всю истину, даже если она не радует. И я действительно опасалась, что из лучших побуждений врачи скроют от меня правду. Ведь первое, что мне сказали в Белом доме,— что Ронни не ранен. Это было честное заблуждение, но у меня-то в глубине души осталось подозрение, что от меня что-то могут утаивать.

Вручение премий Академии было назначено на 30 марта, но отложено из-за покушения. Весь мир молился за Ронни, и отовсюду шли сочувственные послания, а сам он лежал в больничной палате, отрезанный от всех, в состоянии полусна-полубодрствования. Он не мог видеть даже неба: окна были плотно занавешены, потому что все еще подозревали, что Джон Хинкли, несостоявшийся убийца, действовал не один.

Множество людей хотели навестить Ронни в больнице. Одни — чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления. У других были неотложные дела. Друзья звонили мне, чтобы выразить сочувствие. Мой брат Дик, нейрохирург, приехал из Филадельфии и разъяснил кое-какие медицинские тонкости.

Я была благодарна всем за помощь и поддержку. Но в глубине души мне хотелось остаться со своим горем наедине. Однажды, вернувшись, как всегда, после целого дня, проведенного в больнице, в Белый дом, я написала в дневнике одну-единственную строчку. Даже теперь, читая эту давнюю запись, я снова испытываю чувство безграничного одиночества, владевшее мной всю ту неделю: «Когда ты здесь одна, этот дом кажется слишком большим».

На пятый день после покушения, когда обнаружились было действительные признаки улучшения состояния Ронни, вдруг наступило резкое ухудшение, температура поднялась до ста трех градусов[1]. Тревога моя усилилась, когда у него еще и пропал аппетит. Я попросила приготовить и привезти еду из Белого дома, надеясь, что она покажется ему более привлекательной, чем больничная. Когда и это не помогло, я позвонила Энн Оллман, которая много лет вела у нас хозяйство в Лос-Анджелесе, и попросила приготовить для Ронни два его любимых блюда: суп из лущеного гороха и бифштекс по-гамбургски.

К этому времени врачи велели ему понемногу прохаживаться по коридору, опираясь на мою руку. Каждый день мы старались чуть-чуть удлинить прогулку. Но вернуть Ронни аппетит не смогла даже стряпня Энн, поэтому однажды вечером я вошла в палату и объявила: «Мы едем обедать».

«Едем? — спросил Ронни.— Куда?»

«В маленький диско-бар неподалеку отсюда,— ответила я.— Пошли».

Я отвела его по коридору в другую комнату, где заранее поставила перед телевизором два стула. Я думала, если он будет смотреть новости во время обеда, как это часто бывало в Белом доме, мне удастся что-нибудь в него впихнуть. Он и в тот вечер съел очень немного, но все же съел.

Врачи и сестры не раз говорили о том, каким он был скромным пациентом. Однажды, придя проведать, Джордж Буш застал его в ванной стоящим на коленях и вытирающим воду на полу. Из-за высокой температуры врачи не разрешали Ронни принимать ванну. Но, часто покрываясь испариной, он протирал тело мокрой губкой.

Джордж сказал: «Вы бы позвали для этого санитарку».

«Нет,— ответил Ронни.— Ведь это я нарушил распоряжение. А если врачи увидят, что она здесь подтирает пол, влетит ей».

Наконец Ронни позволили вернуться домой. Он надел красный джемпер на пуговицах, но под ним был пуленепробиваемый жилет. Все медсестры и врачи выстроились коридором, чтобы попрощаться с ним. Единственное, что я помню о той поездке, это что шел дождь, что мы с Ронни были вместе и ехали домой.

В течение последующих трех недель я следила за тем, чтобы, следуя предписаниям врачей, он как можно меньше работал. Его рабочий день был решительно сокращен. Утром он мог встречаться со своими ближайшими помощни-

---

[1] По Фаренгейту, что соответствует 39,4° по Цельсию. *(Здесь и далее прим. перев.)*

ками, затем — с сотрудниками Совета Национальной Безопасности. Но это и все. Остальную часть дня он отдыхал.

Теперь, когда он был дома, я могла поразмыслить над тем, что случилось, и по-настоящему стала осознавать, что мы действительно могли его потерять. Менее чем за две секунды Хинкли выстрелил шесть раз и ранил четырех человек. Эти две секунды Ронни был на волосок от смерти, а я была на волосок от того, чтобы лишиться любимого человека. Теперь только я поняла, что каждый новый прожитый день — подарок судьбы и что мой долг — сделать все возможное, чтобы муж был в безопасности.

Скольким же людям мы обязаны тем, что Ронни остался жив. Врачам и сестрам больницы, где он лежал; Делаханти, полицейскому из Вашингтона, округ Колумбия; охраннику Тиму Маккарти, который метнулся к Ронни, чтобы прикрыть его собой от пуль; Джиму Брейди. И наконец Джерри Парру, начальнику охраны Белого дома.

Когда у входа в отель началась стрельба, первая же пуля попала Джимми Брейди в голову. Вторая ранила полицейского Делаханти; третья — Тима Маккарти. Четвертая пуля попала в стекло автомобиля, как раз то, за которым обычно сидел Ронни, а пятая, отскочив от дверцы машины, рикошетом угодила в Ронни. Шестая не попала никуда. По свидетельству очевидцев, Хинкли продолжал нажимать на курок и тогда, когда у него уже не осталось патронов.

Как только раздались выстрелы, Джерри Парр бросился на Ронни и, повалив, прижал его к полу лимузина. Другой охранник втолкнул внутрь их торчавшие наружу ноги, захлопнул дверцу и закричал: «Пошел!» Вся процедура заняла тринадцать секунд. Пока они не отъехали, Джерри продолжал прикрывать Ронни сверху своим телом.

«Джерри, слезь. Ты сломаешь мне ребра»,— сказал Ронни. Ни тот ни другой тогда еще не осознали, что Ронни ранен.

Они мчались к Белому дому. Но когда Ронни начал кашлять кровью и по ярко-алому цвету ее Джерри догадался, что она — из легких, он велел шоферу тут же свернуть на Пенсильвания авеню и мчаться к больнице Университета Джорджа Вашингтона, находящейся менее чем в миле оттуда. Сам того не ведая, Джерри второй раз в течение двух минут спас Ронни жизнь. Если бы он привез президента в Белый дом, ему бы уже не смогли помочь.

Когда они прибыли в отделение «Скорой помощи», Ронни настоял, чтобы идти самому, но, как только он вошел в больницу, ноги у него подкосились. К счастью, в этот момент как раз заканчивалось общее собрание персонала и все врачи были на месте.

Пока Ронни поправлялся, я размышляла и о молодом человеке, спустившем курок, а особенно о его родителях, которые прислали мне трогательные извинения. Я представляла себе, как ужасно все это должно было быть для них. Как мать я знала, что хоть большинство из нас и старается изо всех сил, не всегда все получается, как нам хотелось бы. Но если мне действительно было жаль родителей Джона Хинкли, то для него самого в сердце у меня жалости не находилось.

Случившееся заставило меня задуматься и о контроле за торговлей оружием. Позиция Ронни была неизменна: он считал, что не в этом дело, и был сторонником установления испытательного срока для тех, кто хочет купить оружие. После всего пережитого в больнице я не уверена, что разделяю его мнение.

Что же до охраны, то я не согласна с теми хозяевами Белого дома, которые чувствовали себя постоянно в ее окружении и негодовали на вторжение в их частную жизнь. Я благодарна охранникам. Ведь если бы не они, у меня теперь не было бы мужа.

Мысленно возвращаясь назад, вижу, что психологические последствия злополучного дня 30 марта для меня были более длительными, чем для Ронни. При всей нашей близости, каждый перенес эту травму по-своему. Для него она была главным образом физическим испытанием, для меня — душевным.

Я ожидала, что со временем память о случившемся сотрется, но этого так и не произошло. Все последующие годы президентства Ронни — еще почти восемь лет — каждый раз, когда он уходил из дома, а особенно когда отправлялся в какую-нибудь поездку, у меня было ощущение, что сердце мое останавливалось и начинало снова биться, лишь когда он возвращался.

События той весны так потрясли меня, что только года через два я смогла снова выговорить слово «стрелять». Долгое время я упоминала о них лишь в

иносказательной форме — «тридцатое марта», или — еще более окольным путем — «то, что случилось с Ронни». Словами они для меня были невыразимы.

Хотя поправлялся Ронни быстро, он был очень подавлен, потому что пострадали и другие люди. Особенно он переживал из-за Джима Брейди, который остался инвалидом. Как только ему позволили выходить, Ронни отправился к Джиму и заверил его, что место пресс-секретаря будет свободно до тех пор, пока Джим не сможет снова его занять. И хотя большинство обязанностей Джима взял на себя Ларри Спикс, все то время, что Ронни оставался президентом, Джим официально значился пресс-секретарем. Люди поплатились лишь за то, что оказались в окружении президента Рейгана, и это мучило Ронни.

Что же касается меня, то через несколько недель после покушения я сказала ему, что меня охватывает паника каждый раз, когда он выезжает из Белого дома. Он улыбнулся в ответ: «Не понимаю, чего ты беспокоишься. Я всегда знал, что со мной все будет в порядке». Меня же, однако, постоянно преследовали воспоминания о случившемся, а равно и призрак того, что едва не случилось.

Глава вторая
НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ

Когда в январе 1981 года мы приехали в Вашингтон, я искренне полагала, что знаю, какие требования и тяготы ложатся на первую леди. Я не была новичком в политике: в течение восьми лет я была первой дамой Калифорнии — самого большого штата страны и единственного места в мире, где пресса имеет такую власть над сознанием людей. Хоть мне и было известно, что Вашингтон — это нечто совсем другое, я думала, что достаточно подготовлена к жизни на виду у общественности.

Но оказалось, и это было нелегким открытием для меня, что никогда — н и к о г д а — нельзя заранее подготовиться к роли первой леди.

С того момента, когда я вошла в Белый дом, все выглядело так, словно никакой частной жизни у меня вообще нет. Что бы я ни сделала и ни сказала — как первая леди, жена или мать,— все немедленно становилось предметом обсуждений, догадок, толков и домыслов. Как я одеваюсь. Кто мои друзья. Со вкусом ли я обставляю свой дом. Какие у меня отношения с детьми. Как я смотрю на мужа. Вся моя жизнь в одночасье стала объектом пересудов.

Первый скандал разгорелся из-за нововведений в Белом доме.

Я всегда была наседкой, и первое дело на любом новом месте для меня — навести в доме порядок. Такова уж я есть. Мне нравится налаживать быт и устраивать для мужа теплое уютное гнездо. Я так делала всегда, а теперь, когда Ронни стал президентом, это казалось мне особенно важным. И для него, думаю, тоже много значило.

Я знала, что в Белом доме мне придется потрудиться, но, пока мы туда не переехали, я не отдавала себе отчета в том, насколько велик будет труд — особенно это касалось личных апартаментов. В некоторых спальнях на верхнем этаже стены и потолки не красили лет пятнадцать! В Овальном кабинете, в одном из ящиков стола, мы нашли недоеденный бутерброд и пустую банку из-под пива.

Осознав всю грандиозность предстоявшей работы, я была ошеломлена. В конце концов, это не был наш дом в полном смысле слова; Белый дом принадлежит всем американцам. Предполагается, что они должны им гордиться, но зрелище, которое он являл собой, когда мы впервые появились там, вызывало скорее чувство стыда. У меня не было намерения превращать Белый дом в императорский дворец, но я хотела вернуть зданию, хоть отчасти, его престиж и достоинство. Мне и в голову не могло прийти, что за это я подвергнусь критике.

Когда новые хозяева въезжают в Белый дом, конгресс выделяет на обновление обстановки и ремонт пятьдесят тысяч долларов. Мы с Ронни решили не брать этой дотации. Во-первых, потому что этого едва ли хватило бы для устранения последствий многолетней бесхозяйственности. Во-вторых, потому что мы предпочитали, чтобы это были частные пожертвования, а не деньги налогоплательщиков.

Мы намеревались собрать двести тысяч долларов, но очень скоро у нас было уже в четыре раза больше. Чистая правда, что многие наши состоятельные друзья, как писали газеты, были очень щедры. Но и многие другие американцы, загоревшиеся желанием приобщиться к знаменательному проекту,

тоже делали взносы, пусть не такие крупные. Они не указывали в переводах своих имен, но я благодарна всем им за участие.

Думаю, я никогда не работала столько, сколько в первые три недели после инаугурации. Иногда поздно вечером мне вдруг приходило в голову, что какую-то люстру или картину нужно перевесить. Часов в одиннадцать Ронни, бывало, кричал мне: «Дорогая, ты где? Уже поздно. Пора спать!» А я была внизу, в Желтом овальном зале, двигала какой-нибудь приставной столик или сражалась с креслом.

Некоторые сокровища Белого дома были спрятаны и не выставлялись. Многие другие хранились в Александрии, штат Вирджиния, на старом складе времен второй мировой войны и в двух сборных домиках из гофрированного железа. Температурный режим при этом не соблюдался, и у меня сердце кровью обливалось, когда я видела, как сотни исторических реликвий, иным из которых больше ста лет, разрушались и нуждались в срочной реставрации. Я этого не могла понять. Почему не разместить прекрасные вещи так, чтобы люди могли видеть их и наслаждаться ими?

Мы с Тедом Грейбером отобрали несколько дюжин стульев, письменных и прочих столов, зеркал, отдали их отреставрировать и расставили в Белом доме. Мы отполировали также многие двери из красного дерева и полы из твердой древесины. Мы восстановили мраморные стены на парадном и первом этажах и прочистили все двадцать девять каминов Белого дома. Мы начали также огромное множество будничных, но очень важных дел, например, замену электропроводки и вытоптанных ковровых покрытий, покраску стен и установку обогревателей и кондиционеров.

Никогда не забуду момента, когда поняла, что все это я делаю не зря. Однажды вечером, после того как третий этаж в основном был закончен, мы с Ронни ужинали в той части Западного зала, которая представляет собой гостиную. Ужин подавал дворецкий, который служил здесь тридцать семь лет. Ставя передо мной поднос, он улыбнулся и сказал: «Это снова начинает походить на Белый дом».

Я почувствовала себя так, словно меня только что наградили медалью за личную доблесть.

Но за пределами Белого дома реакция была совершенно иной. На телевидении сообщения обо всех этих новшествах намеренно подавались рядом с информацией о росте безработицы и увеличении числа бездомных. Некоторые комментаторы высказывали предположение, что оплачиваются они из общественных фондов. В других передачах критике подвергался тот факт, что многие наши личные друзья жертвовали деньги на реставрацию. А уж коль скоро пресса вцепилась в эту тему, она не выпускала ее, словно собака кость.

И если реконструкция Белого дома вызывала у публики такое недовольство, то приобретение нового фарфора и вовсе взбесило ее.

После нашего первого официального обеда, устроенного в честь Маргарет Тэтчер, газеты доложили, что я использовала для сервировки стола посуду из разных сервизов, собранных несколькими предыдущими президентами. Так оно и было, но сделала я это вовсе не для того, чтобы отдать должное ушедшим лидерам. Просто предметов из одного какого-нибудь сервиза на всех не хватало.

Во-первых, многое было разбито. Тонкий фарфор хрупок, как известно, и когда им долго пользуются и часто моют, он бьется. Во-вторых, существовала проблема воровства. Хотя подавляющее большинство гостей ведут себя прилично, всегда бывает кто-нибудь, кто просто не может побывать в Белом доме и не унести домой сувенир. Когда-то, в 1930 годы, Элеонора Рузвельт вынуждена была дополнительно заказать большее, чем обычно, количество хлебных тарелочек, потому что очень многие из ее гостей украдкой засовывали их в карманы и сумочки!

Но главное, почему была нужна новая посуда, то, что со времен Трумэна никто не приобретал полного комплекта.

Новый сервиз для Белого дома был изготовлен в Нью-Джерси, мастерами той же компании «Ленокс», которая делала посуду для Вильсона, Ф. Д. Рузвельта и Трумэна. Следуя их совету, я выбрала новый эскиз — цвéта слоновой кости с красной окантовкой, на столовых и десертных тарелках — рельефная золотая президентская печать.

Сервиз был по себестоимости приобретен фондом Наппа из Мэриленда и подарен им Белому дому. Я была в восторге, но и по сей день иногда можно прочесть, что я купила сервиз,

Человеком, взявшим меня под защиту, была представительница Демократической партии. Маргарет Трумэн Дэниел, которая жила в Белом доме в период президентства ее отца, заявила в «Нью-Йорк таймс»: «Отвратительна вся возня по поводу того, что она просто выполняет свои обязанности. Это просто смешно... Некоторые считают, что миссис Рейган должна с бору по сосенке собирать обстановку дома из всего, приобретенного всеми предыдущими правительствами. Могу лишь сказать, что выглядело бы это ужасно. Любая хозяйка знает, что нельзя ставить на стол тарелки от разных сервизов. Когда президент и первая леди дают официальный обед, посуда должна быть соответствующей. В наше время, разумеется, было именно так».

Ну, и конечно, моя манера одеваться. О да, моя манера одеваться!

Критика началась с первого дня, с инаугурационного туалета: прелестного, шитого бисером белого платья с одним оголенным плечом, сделанного Джеймсом Гелейносом, которое газеты оценили в двадцать пять тысяч долларов. Джимми Гелейнос подарил мне это платье, позднее оно было передано в Смитсоновскую коллекцию инаугурационных нарядов.

Мне всегда нравились модели Джимми, и я носила их многие годы. Я встретилась с Джимми Гелейносом раньше, чем со своим мужем. Впервые приехав в Голливуд, я познакомилась там с Амелией Грей, у которой был магазин в Беверли-Хилс. Амелия знала Джимми, и я купила одну из первых его моделей — черное платье для коктейлей с белым воротником, белыми манжетами и прямой юбкой. Стоило оно сто двадцать пять долларов, что по тем временам было немало. Страшно подумать, сколько бы стоило такое платье сегодня!

Когда Ронни выбрали президентом, я позвонила Джимми; его воодушевила возможность создать модель инаугурационного туалета. Он сделал несколько эскизов, и мы вместе выбрали то самое белое шитое бисером платье. Оно мне очень нравилось, и я им гордилась.

Став первой леди, я не изменила своих привычек в одежде. Сколько себя помню, всегда любила одеваться. Да, обожаю красивые вещи. Как всякая женщина, в них я чувствую себя уверенно, так же как когда у меня хорошая прическа. Я ведь тоже вышла из мира кино, где — по крайней мере, так было в мое время — нельзя появиться на людях плохо одетым. В Вашингтоне аудитория была более многочисленной и событий больше, но и здесь я всегда помнила, что на меня смотрят, и понимала, да и сейчас понимаю, что должна выглядеть как можно лучше. В конце концов я представляла страну.

Дело в том, что, не будучи на виду, я одевалась самым небрежным образом. На ранчо и в Кэмп-Дэвиде всегда ходила в джинсах, а во время долгих путешествий первое, что делала в самолете, переодевалась в вельветовый спортивный костюм, в котором было тепло и удобно. Вечерами, если мы никуда не собирались, я обычно надевала ночную рубашку и поверх нее халат.

Но когда я переехала в Вашингтон, мне понадобился более обширный гардероб, чем тот, что был у меня в Лос-Анджелесе или Сакраменто. Первая леди выполняет непрерывный ряд официальных обязанностей, и каждый раз, когда она выезжает из Белого дома, это становится как бы ее сольным выступлением. Поскольку мне нужно было много туалетов — гораздо больше, чем я могла купить,— в особых случаях я брала их напрокат из коллекций своих любимых модельеров. Клянусь, я никогда не ожидала, что из этого можно сделать проблему. Первые дамы и прежде часто одалживали наряды или, купив, продавали их затем по меньшей цене.

Кстати, интересно, что было бы, если бы я п е р е с т а л а брать костюмы напрокат и носила лишь то, что было мне по карману? Очень скоро вместо того чтобы обвинять в экстравагантности, пресса объявила бы меня старомодной и безвкусно одетой. И газеты скрупулезно подсчитывали бы, сколько раз меня видели в одном и том же наряде. Боюсь, с этим было бессмысленно бороться.

Критика по поводу обновления Белого дома, по поводу посуды, одежды — все это вытекало из того представления обо мне, которое существовало еще до того, как мы с Ронни поселились в Белом доме. Не знаю почему, но я все больше становилась объектом нападок. В октябре, как раз за две недели до выборов 1980 года, лос-анджелесская «Геральд икзэминер» разразилась серией из пяти статей под заглавием «Женщина, которая может стать королевой». Я до сих пор ёжусь, вспоминая об этом. Ужасный, во всю полосу рисунок, на котором я была изображена с короной на голове, в королевском одеянии, склоняющейся над шахматной доской, сопровождался словесным портретом, представлявшим некую расчетливую особу, умело добивающуюся власти и жаждущую поселиться в Белом доме.

Другие авторы развивали ту же тему. За небольшими исключениями все они описывали меня как женщину, которая интересуется только богатыми друзьями и модными тряпками,— высокомерную и пустую представительницу высших кругов общества.

Кличек мне дали столько, что я все и не упомню. Королева Нэнси. Железная Бабочка. Картонная Кукла. В своем шоу «Сегодня вечером» Джонни Карсон саркастически поведал, что моя любимая повседневная еда — черная икра.

Все это не только было обидно, но и черт знает как бесило меня. Я приходила в ярость, читая, что, оказывается, являюсь одной из тех, кто целыми днями только и бегает по ресторанам и магазинам. Когда мы с Ронни жили в Пэсифик-Пэлисейдз, к северу от Лос-Анджелеса, у нас были маленькие дети, и большую часть дня я работала шофером — то везла их к зубному врачу, то ехала на рынок,— а то во время школьного благотворительного базара стояла за прилавком с горячими сосисками — словом, делала все, что делают нормальные матери. Позволяла ли я себе иногда ленч в ресторане? Конечно. Ходила ли в магазины? Разумеется. Но ни то ни другое нигде не заполняло всей моей жизни.

Ко времени, когда я стала первой леди, в средствах массовой информации уже сложилось обо мне определенное представление. Легко винить во всем прессу, но нынче я думаю, что обе стороны были не без вины. Журналистам следовало бы потратить чуть-чуть времени на то, чтобы лучше узнать меня, а не полагаться на старые рассказы и представления. А мне бы следовало приложить побольше усилий к тому, чтобы найти с ними контакт и дать возможность увидеть, какова я на самом деле. Я человек очень замкнутый, и мне всегда было трудно открываться перед людьми, особенно перед репортерами, и особенно в том, что касается частной жизни. Вначале, когда я пыталась, это часто оборачивалось против меня же. А будучи обижена, я обычно замыкаюсь в себе — форма самозащиты. Теперь понимаю, что иногда этим можно навредить себе, создав у людей впечатление холодного равнодушия и снобизма.

Тешу себя надеждой, что к тому времени, когда мы покидали Белый дом, пресса и я лучше узнали друг друга. Я не была первой леди, постоянно находящейся под огнем средств массовой информации, но едва ли кому-то из моих предшественниц приходилось подвергаться таким нападкам, как мне, в течение первого года. Я пальцем не шевельнула, чтобы сделать мнение о себе более благоприятным. К концу 1981 года рейтинг моей непопулярности был выше, чем у кого бы то ни было из первых леди новейшей истории.

Нечасто выпадает человеку на долю начать все сначала, пять минут весны 1982 года решительно изменили мои взаимоотношения с вашингтонским журналистским корпусом.

Это случилось во время традиционного обеда в клубе «Гридайен» — одного из самых значительных событий года в общественной жизни Вашингтона. «Гридайен» — клуб для избранных, члены его — шестьдесят журналистов из разных газет и журналов. Каждую весну они устраивают изысканный обед во фраках, куда приглашается не более шестисот гостей. Программа всегда бывает одна и та же. Представители прессы показывают острые, а иногда и смешные скетчи, в которых подтрунивают как над демократами, так и над республиканцами. Вечер заканчивается тостом в честь президента, на который тот отвечает своим тостом.

Каждый президент, начиная с Бенджамина Гаррисона, хоть раз побывал на обеде «Гридайена», мы с Ронни за время пребывания в Вашингтоне не пропустили ни одного. За несколько недель до этого обеда в 1982 году мой пресс-секретарь Шила Тейт сказала, что после злополучного года, проведенного мной в Белом доме, на вечере совершенно очевидно будет разыграна сценка и обо мне. Она считала, что будет ужасно, если они сделают из меня какую-нибудь маску, которая ко мне пристанет.

На самом деле оказалось, что у гридайенцев обо мне должны были петь песенку. Кто-то предложил, чтобы я в ответ спела свою, про прессу.

«И не думай,— сказала я Шиле.— Я не хочу нападать на прессу. Если и спою, то это будет шутка в свой собственный адрес».

«Ты собираешься петь?» — спросила она.

«Конечно».

«И танцевать?»

«Обязательно. Но я не хочу, чтобы кто-нибудь, даже мой муж, знал об этом заранее!»

Дабы облегчить подготовку достойного ответа на свой номер, правление «Гридайена» снабдило нас текстом своей песенки — исполнитель пел от имени Нэнси Рейган новые слова на мотив «Подержанной розы» — популярной в

1920-е годы и пережившей недавно второе рождение песенки Фанни Брайс[1]. Песенка начиналась так:

Старые вещи,
Раздала свои я старые вещи
Для музейных экспозиций и витрин.
Их восторг был таким безоглядным,
Что они и не стали разглядывать
Ни потертых манжетов, ни пятен на юбках от вин.

Шила попросила одного из лучших наших сочинителей речей поработать над стихотворным ответом. Тем временем нам пришлось решать, в чем я пойду на обед. При вдохновенной помощи моего ближайшего окружения мы сварганили нечто действительно смешное — белые с голубыми бабочками брюки, желтые резиновые сапоги, голубая в белую крапинку блузка, а поверх всего замечательно уродливое красное домашнее платье из набивного ситца без рукавов. Кроме этого на мне была голубая ситцевая юбка, подколотая с одной стороны блестящей бабочкой, длинная нитка фальшивого жемчуга, драное боа и красная соломенная шляпка с перьями и цветами. Это было потрясающе!

Во время обеда — одетая, разумеется, как положено — я так нервничала, что кусок не шел в горло. Быть может — это вполне вероятно — из-за того, что мне, первой леди, предстояло корчить из себя дурочку перед шестью сотнями наиболее влиятельных в Америке людей.

Но отступать было поздно. Когда исполнитель пропел на сцене половину «Подержанных вещей», я повернулась к Ронни и сказала, что мне нужно выйти. Шила Тейт, которая нервничала еще больше, чем я,— если это возможно,— сидела между двумя газетными издателями. «Ого,— сказал один из них.— Миссис Рейган не выдержала. Ничего ее отделали».

За кулисами я переоделась. Потом спряталась за большой вешалкой, где никто не мог меня увидеть, и дождалась, пока шуточный номер закончился. Когда певец смолк, я расправила костюм и вышла.

Меня встретили зловещим молчанием. Несколько мгновений никто не мог сообразить, что это за женщина. Но как только до них дошло, зал встал и наградил меня овацией, еще до того как я успела открыть рот. Когда снова наступила тишина, я запела свою песенку на мотив «Подержанной розы»:

Старые вещи,
Да, ношу я старые вещи.
Но они — последней моды писк.
И за эту вот «новую» шубейку
Ронни заплатил всего копейку,
А на выставке о ней сказали: «Шик!»

Старые платья,
Да, дешевые старые платья.
Вещь единственная новая — сервиз.
Хоть твердят мне, что я не герцогиня,
Не купить ли, Ронни, швейную машину?
С Эдом Мисом мы сварганим
И всего лишь только за день
Гардероб, достойный и маркиз!

Когда я закончила, зал, стоя, опять устроил мне овацию, и тогда лишь я расслабилась и развеселилась. Аудитория стала требовать повторить номер, и я спела всю песенку еще раз.

Никогда бы я не подумала, что это мое выступление будет иметь такие важные последствия. Сколько мы жили в Вашингтоне, столько об этом вспоминали. Одна эта песенка и то, что я захотела спеть ее, послужили законодателям общественного мнения сигналом о том, что, быть может, я не такая, как они думали,— не холодная, не царственная, не надменная. Начиная с того вечера, представление обо мне в Вашингтоне начало меняться.

Я давно не читала о себе в печати ничего приятного, поэтому мне очень дороги были газетные отклики на то выступление: «Первая леди положила всех на лопатки своей песенкой и танцем»,— писала «Нью-Йорк дейли ньюс». А «Нью-Йорк таймс» отметила: «Президент Никсон однажды играл здесь на роя-

---

[1] Фанни Брайс — популярная в 20-е годы американская актриса. В 70-х годах в Голливуде был снят фильм, демонстрировавшийся в СССР под названием «Смешная девчонка», сюжет которого воспроизводит события из жизни Фанни Брайс. В этом фильме и пережила «второе рождение» песенка «Подержанная роза». Роль Фанни Брайс исполнила в фильме американская кинозвезда Барбра Стрейзанд.

ле, а Бетти Форд однажды танцевала, но все сошлись во мнении, что ни одна первая леди никогда еще не приходила сюда, так отлично подготовившись... Потрясающий успех!»

Глава третья
АСТРОЛОГИЯ

Та критика, которая обрушилась на меня в первый год президентства Ронни, была ничто по сравнению с лавиной, накрывшей нас в последний год. Прежде я ничего не говорила по этому поводу. Но теперь настал мой черед объяснить, что я делала тогда на самом деле — и почему.

После покушения я чувствовала себя совершенно опустошенной. Ронни поправлялся, но я человек беспокойный, а на сей раз действительно были причины для беспокойства: это могло случиться снова, и теперь я рисковала потерять его навсегда. Астрология была просто одной из возможностей справиться со страхом, который я испытывала с той поры, как мой муж чуть не умер.

В течение долгого последующего периода мир казался охваченным насилием. Через шесть недель, после того как Ронни чуть не убили, прямо на площади Святого Петра был ранен папа римский. Еще через четыре месяца во время военного парада в Каире был убит президент Садат. Все говорили, что это просто совпадение, но я беспокоилась.

Да еще этот так называемый двадцатилетний цикл смерти американских президентов. На протяжении более чем столетия каждый президент, избранный или переизбранный в году, оканчивающемся на ноль, умирал при исполнении обязанностей. А вдруг Рональд Рейган, избранный в 1980, будет следующим?

Ночь за ночью, лежа рядом с мужем, я старалась гнать от себя эти страшные мысли. Ронни спал, а я не могла. Когда Ронни был в больнице, я ложилась в постель с его стороны: чтобы чувствовать себя ближе к нему. Теперь он был дома, но я по-прежнему не спала ночами.

Если человек напуган так, как была напугана я, он кидается за помощью куда угодно. Я молилась больше, чем когда бы то ни было. Обращалась к религиозным пастырям, таким как Билли Грэм. Беседовала об этом с друзьями, звонившими, чтобы поддержать.

Однажды днем я говорила по телефону с Мервом Гриффином, старым другом еще по Голливуду, и он между прочим сказал, что только что разговаривал с Джоан Куигли, астрологом из Сан-Франциско. Когда-то давно я видела ее в телепрограмме Мерва, она участвовала в «круглом столе» астрологов. Позже Мерв, кажется, даже знакомил нас, хотя я не помню этой встречи. Тогда Джоан любезно предложила свою помощь в избирательной кампании Ронни 1980 года и несколько раз звонила мне, сообщая о благоприятных и неблагоприятных для Ронни днях. Я обрадовалась, когда она предсказала Ронни победу,— это было написано в его и моей астрологических картах.

Помню, словно это было вчера, свою реакцию на то, что сообщил мне тогда по телефону Мерв. Джоан сказала ему, что могла предостеречь меня насчет 30 марта. По словам Мерва, Джоан сказала: «Президенту следовало остаться дома. Я вижу по своим звездным картам, что тот день был для него опасным».

«О Боже,— помню, сказала я Мерву.— Значит, я могла это предотвратить!» Я повесила трубку, сняла снова и позвонила Джоан Куигли.

«Мерв говорит, вы знали о тридцатом марта?» — спросила я.

«Да,— ответила она,— я видела, что это был плохой день для президента».

«Я так боюсь,— сказала я.— Я боюсь всегда, когда он уходит из дома, и пока он не вернется, у меня сердце не на месте. Я сжимаюсь каждый раз, когда мы выходим из машины или из любого дома».

Джоан умела слушать и реагировала с теплотой и сочувствием, в которых я так нуждалась. Вначале беседы с ней были для меня опорой, одним из нескольких способов, которые я испробовала, чтобы заглушить страх за Ронни. Но за год или два общение с Джоан вошло у меня в привычку; быть может, я не так уж и полагалась на астрологию, но не видела необходимости ничего менять. Потому что, если я и не была уверена, что советы Джоан помогают оберегать Ронни, то факт оставался фактом: ничего похожего на 30 марта больше не случалось.

Есть ли в этом заслуга астрологии? Не то чтобы я действительно в это верила, но я не верю, что астрология тут ни при чем. Одно я знаю точно: вреда от нее нет, и я не жалею, что прислушивалась к советам астролога.

В очередной нашей беседе однажды Джоан сказала: «Почему бы вам заранее не сообщать мне о том, когда президент собирается выезжать из дома? Я могла бы предупреждать, благоприятствуют ему эти дни или нет». Я подумала: что в этом дурного? И раз или два в месяц стала перезваниваться с Джоан. Смотрела в расписание Ронни и хотела знать лишь одно: были ли определенные даты для него безопасны. Если, к примеру, Ронни предстояло выступать с речью в Чикаго 3 мая, следовало ли ему лететь туда из Вашингтона в то же утро или лучше перенести полет на предыдущий день?

Когда Джоан давала ответы на мои вопросы, я, если было нужно, звонила Майклу Диверу, ответственному за распорядок работы Ронни. Иногда производились незначительные перемены. Начиная с 1985 года я имела дело по тому же поводу с Доналдом Риганом, тогдашним начальником канцелярии Ронни. Когда ничего изменить было нельзя, я полагалась на Майкла или Дона. Если астрология и играла какую-то роль при составлении расписания Ронни, то не главную и не единственную, и ни одно политическое решение не основывалось на ней.

Конечно, я понимала, что если бы это все вышло наружу, ситуация оказалась бы неприятной, но я никогда не могла себе представить, насколько неприятной. Пока это зависело от Майкла Дивера, я была уверена, что секрет останется между нами. Майк знал нас с Ронни много лет и был одним из самых близких моих друзей.

Поскольку Дона Ригана я так хорошо не знала, с ним я была осторожнее — так подсказывала мне интуиция, и очень жаль, что я не прислушалась к ней повнимательнее. При Ригане, например, я никогда не упоминала имени Джоан, говорила просто: «Моя подруга». Дон никогда никак не высказывался по поводу моей информации. И, разумеется, никогда не говорил: «Давайте не будем этого делать. По-моему, это ни к чему». Мне легко иметь дело с людьми, которые прямо высказывают свое мнение, но я не могу общаться с теми, о ком никогда не знаешь, что они думают.

Хочу заявить еще раз и совершенно определенно: *рекомендации Джоан не имели никакого отношения к политической жизни и политическому курсу — никогда. Ее советы касались исключительно времени — распорядка дня Ронни и того, какие дни для него благоприятны, какие неблагоприятны, особенно когда речь шла о поездках в другие города.*

Должна также сказать, что мысль о консультациях с астрологом никогда не казалась мне такой уж странной. Я и прежде, читая газеты, каждое утро просматривала свой гороскоп, хотя через пятнадцать минут обычно все забывала. И хотя я далека от того, чтобы быть правоверной поклонницей астрологии, думаю, какие-то черты, характеризующие всех людей, родившихся под одним знаком, все же существуют. Я *не* руководствуюсь советами астрологов в жизни и — нет-нет! — я не пристаю ко всем с вопросом, под каким знаком они родились!

Сама я родилась 6 июля, стало быть, я — Рак. Женщины, родившиеся под знаком Рака, прежде всего — хозяйки, хранительницы семейного очага, именно так я представляла себе всегда собственную роль. Раки обычно обладают также развитой интуицией, они легкоранимы, чувствительны и боятся показаться смешными — все это, нравится оно мне или нет, мне свойственно.

Наш символ — изображение рака, а раки чаще всего обращены к внешнему миру панцирем, скрывающим все, что есть в них ранимого. Если их обижают, они прячутся в панцирь. Вот и я такая же точно.

Никто не в состоянии представить, что это такое, когда в твоего мужа стреляют, чуть не убивают его, а после этого он постоянно находится на виду у десятков, даже тысяч людей, каждый из которых может оказаться безумцем с винтовкой. После 30 марта 1981 года я готова была на все. Астрология помогала мне сохранять душевное равновесие — и никогда никто виду не показывал, что это наносит какой-то ущерб Ронни или стране.

Сначала Ронни ничего не знал о моих отношениях с Джоан. Я думала, что нужно рассказать ему, но особого желания не испытывала и все откладывала и откладывала этот разговор, Но как-то раз он вошел в спальню в момент, когда я говорила с ней по телефону.

«Дорогая, о чем это ты беседовала?» — спросил он.

Когда я все открыла ему, он сказал: «Если тебе так спокойнее, что ж, пожалуйста. Но будь осторожна. Это может показаться немного странным, если когда-нибудь выйдет наружу».

Обычно это я заранее чую неприятности. На сей раз их почуял Ронни. Боги ты мой, как он был прав! С политической точки зрения я сделала чудовищную

ошибку, начав звонить Джоан, и больше всего жалею о том, что поставила Ронни в чрезвычайно неловкое положение.

К 1988 году я уже, разумеется, на собственном горьком опыте убедилась, что, когда речь идет даже о самом незначительном поступке первой леди, можно ожидать каких угодно последствий. Отчасти это происходит потому, что, если обязанности президента четко определены, то никто точно не знает, что должна делать первая леди. В Конституции жена президента не упоминается, и официальных обязанностей у нее нет. Каждая новая первая леди определяет их для себя сама. Когда-то давно президентская жена лишь появлялась на людях, но не произносила ни слова. Конечно, всегда бывали исключения. После Элеоноры Рузвельт первая леди не только заняла более видное место, но и стала более деятельной. Я с самого начала понимала, что буду объектом наипристальнейшего внимания, что бы ни делала. И вскоре после переезда в Вашингтон постаралась найти способ частично отвлечь это внимание, занявшись проблемой наркомании среди молодежи. Я помнила то, что незадолго до выборов 1980 года сказала мне Хелен Томас, старейшая сотрудница ЮПИ[1]. Мы вместе летели на агитационном самолете, и она сказала: «Если вашего мужа выберут, у вас появятся возможности, какими располагают лишь очень немногие. Вам нужно серьезно подумать, как их использовать. Другого такого шанса не будет никогда».

Борьба с наркоманией стала частью моей работы, и теперь, вернувшись в Лос-Анджелес, я продолжаю принимать участие в ней через Фонд Нэнси Рейган.

Кроме явных обязанностей первой леди, есть еще и такие, которые никому не видны: составление программ обедов и приемов, ведение корреспонденции, раздача автографов, встречи с сотрудниками и со многими людьми, которые приводят разные уважительные причины, заставляющие их просить «уделить им всего пять минут вашего времени». Я в жизни так тяжело не работала — но в основном эту работу любила. Больше всего мне нравилось быть полезной Ронни, отдельным людям и даже всей стране — последнее касается борьбы с наркоманией.

Я с головой окунулась в разные дела: представительствовала, была хозяйкой, руководила обслуживающим персоналом — но было одно дело, которое я считала превыше всех прочих. Прежде всего первая леди — жена президента. В конце концов только поэтому она и называется первой леди. В течение всего периода президентства Ронни шли нескончаемые публичные дискуссии о том, какое влияние должна оказывать на президента первая леди. Едва ли эта проблема нова. Сколько люди живут коллективами, столько интересует их вопрос: как найти путь к сердцу жены начальника.

Я привыкла ко всяким высказываниям на эту тему, иные из них меня даже веселили. Однажды мы с Ронни были в Театре Форда; выступал очень хороший чревовещатель. «Знаешь, кто сидит вон там? — спросил он свою куклу.— Это лидер свободного мира».

«Да,— ответила кукла,— и я вижу, она прихватила с собой своего мужа!»

Я с удовольствием посмеялась над этой шуткой. Но нет, я не была силой, стоящей за спинкой трона.

Давала ли я Ронни советы? Конечно, давала. Я была единственным в Белом доме человеком без самостоятельных задач; моим делом было — только помогать ему. И я не стесняясь говорила Ронни все, что думала. Если вы замужем, это вовсе не значит, что у вас не может быть собственного мнения. Восемь лет я спала бок о бок с президентом, и, если это не обеспечивает особых прав в отношении него, тогда я не знаю, что еще может обеспечить такие права!

Да, я давала Ронни, надеюсь, добрые советы — когда бы он ни попросил, а иногда и без просьбы с его стороны. Но это вовсе не значит, что он им следовал. У Рональда Рейгана своя голова на плечах.

По большей части мои рекомендации касались сотрудников. Я мало смыслю в экономике или военном деле, но хорошо разбираюсь в людях. При всей моей любви к Ронни вынуждена признать, что по крайней мере один недостаток у него есть: он порой наивно судит об окружающих. Ему свойственно думать о людях только хорошее. Если в дружбе это прекрасно, то в политике может стать причиной неприятностей.

Раз или два я высказала свое несогласие и по политическим вопросам, например, в мае 1985 года, когда Ронни собирался возложить венок на немецком

---

[1] Юнайтед пресс интернэшнл.

военном кладбище в Битбурге. Визит Ронни в Битбург должен был стать символом нашего примирения с немцами в сороковую годовщину победы союзников в Европе. Но после того как вся поездка была согласована и программа ее обнародована, мы узнали, что среди двух тысяч немецких солдат, похороненных в Битбурге, около сорока — представители войск СС.

Многие американцы, особенно ветераны войны и члены еврейской общины, выражали понятное возмущение. Я тоже. Я умоляла Ронни отменить поездку.

У него тоже были серьезные сомнения относительно посещения Битбурга. За два дня до визита в Европу он позвонил канцлеру Гельмуту Колю и попросил его предусмотреть изменение в этом пункте программы. Но Коль решительно отказался. Он утверждал, что из-за подобного изменения будет выглядеть марионеткой Америки. Я жутко рассердилась на Гельмута Коля за то, что он не захотел нам помочь, и снова убеждала Ронни отменить визит. Но Ронни дал Колю слово и считал долгом чести сдержать его.

В конце концов Ронни, конечно, поехал в Битбург и я поехала с ним. Мы пробыли на кладбище всего несколько минут, но они показались вечностью.

Несколько большего успеха я добилась, уговаривая Ронни подумать о более миролюбивых отношениях с Советским Союзом. Многие годы меня тревожило то, что оппоненты изображают моего мужа поджигателем войны, а он просто верил, совершенно искренне, в необходимость укрепления нашей обороноспособности. Я знала, что характеристика Ронни как «поджигателя войны» совершенно несправедлива, но была уверена: называя Советский Союз «империей зла», едва ли поможешь установлению диалога с ним. Мир стал слишком мал для того, чтобы две сверхдержавы могли позволить себе не разговаривать друг с другом. Некоторые помощники Ронни советовали ему придерживаться жесткого стиля высказываний, а я была не согласна с этим. Ронни, как всегда, выслушал разные точки зрения, а затем принял решение, которое считал наилучшим.

В большинстве известных мне удачных семей женщина является ближайшим другом и советчицей мужа. Конечно, в определенных пределах. Когда президент каждый день, возвращаясь из Западного крыла, делится мыслями с самым близким ему человеком, это только естественно, равно как и то, что он принимает во внимание мнение этого человека.

Разумеется, ситуация всегда имеет свои особенности, и каждая пара, живущая в Белом доме, вырабатывает собственные правила. Президент Картер любил, чтобы Розалин присутствовала на заседаниях Кабинета, а мы с Ронни считали, что это неловко. И в то же время я лишь недавно узнала, что именно Розалин Картер предложила мужу в 1978 году пригласить премьер-министра Бегина и президента Садата в Кэмп-Дэвид. Я бы не удивилась, если бы узнала, что и другие недавние первые леди были гораздо более полезны своим мужьям и принимали гораздо большее участие в делах, чем об этом известно публике.

Но сколь бы ни была важна эта роль первой леди, уникальная и самая важная ее роль — заботиться о муже. И естественно, что она не скрывает от него своих мыслей. У нас с Ронни всегда так было и так будет.

Глава четвертая
НЭНСИ ДЕЙВИС

Тому, как быть хорошей женой, и многому другому меня учила моя мать, Эдит Лакетт Дейвис. Она оказала глубокое влияние на ту женщину, какой я стала, как и ее второй муж доктор Лоял Дейвис, которого я всегда почитала за настоящего отца.

Они были очень разные — просто противоположные друг другу — люди, и разные миры, которые они представляли, были источниками невероятных контрастов и постоянных решительных перемен, сопровождавших первые десять лет моей жизни. Миром моей матери был театр, она была актрисой, и у нее был замечательный характер — она любила шутки, никого не подавляла, была общительна и неотразима. Лоял Дейвис, известный чикагский нейрохирург, был серьезен, исполнен достоинства и принципиален.

Мама всегда говорила, что я должна была родиться четвертого июля, но «Янки» играли в тот день два матча подряд. Мама жила в Нью-Йорке и была такой страстной бейсбольной болельщицей, что отложила по этому поводу мое рождение до шестого июля.

В 1917 году она вышла замуж за человека по имени Кеннет Роббинс, выпускника Принстона, выходца из когда-то обеспеченной, но обедневшей семьи. Он был не слишком честолюбив и торговал автомобилями в Нью-Джерси. Брак оказался неудачным, и к тому времени, когда я родилась, отношения между ними были испорчены настолько, что Кеннет Роббинс даже не пришел в клинику взглянуть на меня. Вскоре они развелись.

При крещении мне дали имя Энн Фрэнсис — в честь обеих бабушек, но называли всегда почему-то Нэнси. Не помню, как называлась клиника, где я родилась. Она сгорела много лет назад, но слух о том, что это я сожгла ее, чтобы уничтожить какие бы то ни было свидетельства своего истинного возраста, конечно, чушь.

Когда точно я родилась? Пока Ронни был президентом, каждый год 6 июля в какой-нибудь газете непременно появлялась байка о том, как Нэнси Рейган говорит, что она родилась в 1923 году, в то время как всем известно, что на самом деле она родилась двумя годами раньше. Я еще не решила, когда я родилась. Кроме того, моя мать, бывало, говорила: «Женщина, способная выболтать свой возраст, может выболтать вообще все что угодно».

Мама родилась в Вирджинии и была младшей из девяти детей. Свою сценическую деятельность она начала в 1900 году, когда ей исполнилось три года. Ее брат Джо был администратором одного из вашингтонских театров, и, когда заболел ребенок, участвовавший в постановке, он заменил его своей малолетней сестрой. У маленькой Эдит была роль без слов, единственное, что она должна была сделать,— умереть на сцене. И она проделала это так убедительно, что зал рыдал. Когда занавес опустился, она встала и помахала всем рукой, чтобы было видно, что она умерла не по-настоящему.

Мама утверждала, что в тот момент, когда зал взорвался аплодисментами, она решила посвятить свою жизнь театру. В конце концов она бросила школу и до двадцати лет работала в театральных труппах, выступая со многими выдающимися актерами и актрисами, такими как Джордж М. Коэн, Луис Кэлхен и Уолтер Халстон. Она оставила сцену после замужества, но после развода вернулась в театр, и первые два года своей жизни я провела за кулисами.

Мама повсюду брала меня с собой. Ее подруга, актриса Коллин Мор, однажды описывала, как она встретила мою мать на большом приеме на Лонг-Айленде. «Мое внимание привлекла одна женщина,— рассказывала Коллин.— Это была красивая блондинка с огромными голубыми глазами, я таких никогда не видела. А на руках у нее был крошечный ребенок».

Коллин поинтересовалась у хозяина, кто эта женщина, и спросила: «Она всегда ходит по вечеринкам с ребенком на руках?»

«А что ей делать? — ответил он.— Она только что развелась, и у нее нет ни гроша».

Но потом мама решила, что таскать меня с собой со спектакля на спектакль — не самая удачная затея; она хотела, чтобы у меня было более нормальное детство. И когда я вышла из пеленок, отвезла меня в Бетесду, штат Мэриленд, к своей сестре Вирджинии, ее мужу Одли Гэлбрейту и их дочери Шарлотте. У Гэлбрейтов была уютная, крепкая, счастливая семья, и они быстро приняли меня в нее. Шарлотта была на три года старше меня, и скоро мы стали неразлучны с ней, как настоящие сестры.

И все же для нас с мамой это был болезненный период. Спустя много лет я наткнулась на ее дневник того времени; в конце каждой страницы написано: «Как я скучаю по моей девочке!»

И я скучала по ней — страшно! Может быть, именно благодаря этой шестилетней разлуке я так ценила мать и, вероятно, поэтому между нами никогда не было отчуждения. Этим же, наверное, объясняется и то, что много позже, в 60-е годы, я не могла понять, как это дети — в том числе и мои собственные — могут выступать против родителей. Мне всегда хотелось им сказать: «Вы не представляете себе, какое счастье, что все эти годы мы были вместе».

Но несмотря на боль разлуки с мамой, я была счастлива у Гэлбрейтов. У меня даже был приятель, который катал меня по нашему кварталу в своей маленькой красной тележке.

Мы жили в Бэттери-парк — скромном районе Бетесды, в типичном пригородном доме: три маленькие спаленки и огороженная веранда с продавленной старой кушеткой, на которой все мы, бывало, сидели теплыми летними вечерами. У одного из наших соседей была гаревая подъездная аллея, на которой я так часто падала, что в конце концов тетушка вынуждена была сшить мне наколенники. Я была толстушкой, и с этими наколенниками вид у меня, на-

верное, был еще тот! Но мой маленький приятель с красной тележкой, похоже, не обращал на это внимания.

Больше всего я любила, когда мама выступала в Нью-Йорке и тетушка Вирджи отвозила меня к ней на поезде. Хотя я смотрела все спектакли по многу раз, они мне никогда не надоедали. Я сразу же полюбила особую атмосферу и пыльный запах кулис.

Иногда мама навещала меня в Бетесде. Когда она внезапно врывалась к нам, это было похоже на появление в городе тетушки Мейм [1]. В один из таких визитов она обучала нас с Шарлоттой новомодному танцу — чарльстону. В другой раз привезла очаровательного маленького терьера со свисающей шнурами шерстью по имени Джинджер.

Мама любила рассказывать историю о своем приятеле-актере, которого звали Спенс. Они играли с ним в одной пьесе. Как-то мама купила новый корсет. Ей хотелось быть особенно красивой, потому что в тот вечер на спектакль должен был прийти человек, который ей очень нравился.

За несколько минут до начала она была в своей уборной и зашнуровывала новый корсет, как вдруг шнур запутался.

Она закричала в соседнюю грим-уборную: «Спенс! Иди сюда, помоги мне!»

Спенс вбежал и, увидев, в чем дело, стал хохотать.

«Черт тебя побери, Спенс,— сказала она,— прекрати смеяться и помоги мне».

В конце концов, когда занавес уже поднимался, Спенс дернул шнур и распутал его.

Я помню эту историю по двум причинам. Во-первых, человеком, на которого мама хотела в тот вечер произвести впечатление, был Лоял Дейвис, ее будущий муж. Во-вторых, Спенс, чье полное имя Спенсер Трейси, стал любимым другом нашей семьи и особенно помогал мне в моей актерской работе.

В тот раз мама приехала навестить меня в Бетесде ранней весной 1929 года. «Выйдем на веранду,— позвала она,— мне нужно что-то тебе сказать».

Мы сели на кушетку, и она сообщила мне, что влюбилась в замечательного человека. Его имя Лоял Дейвис, он высокий, красивый и очень добрый. Он врач из Чикаго и хочет жениться на ней, но мама сказала ему, что выйдет замуж только в том случае, если я дам на это добро. Если я скажу «да», она оставит сцену и мы обе переедем в Чикаго, где будем жить все вместе одной счастливой семьей.

Я не знала, что сказать. В Бетесде мне было хорошо, но жить вместе с мамой оставалось моей заветной мечтой. Я не могла тогда об этом знать, конечно, но то, что сообщила мне мама, повлияло в конце концов на мою судьбу не меньше, чем на ее собственную. Не могу представить себе, как сложилась бы моя жизнь, если бы они не встретились.

Они венчались в Чикаго, в Четвертой пресвитерианской церкви, а я была подружкой невесты. В свой медовый месяц они сначала отправились на какую-то медицинскую конференцию, а потом совершили поездку по памятным местам, связанным с Гражданской войной — доктор Дейвис увлекался историей Гражданской войны. Спустя годы наш с Ронни медовый месяц оказался почти таким же «романтичным». Мы ехали на машине в Феникс, и по пути мой молодой муж останавливался на обочине и показывал мне кучки, оставленные разной живностью,— например, гремучими змеями и другими столь же милыми существами.

Он все время повторял: «У нас есть ранчо, и ты должна знать, как выглядят такие вещи».

Разумеется. Но не в медовый же месяц этому учиться!

Лоял Дейвис был человеком исключительно цельным, он являл собой воплощение старомодных и вечных ценностей. Он считал, что девочки и мальчики, взрослея, должны становиться дамами и джентльменами. Что дети должны уважать родителей. Что какую бы вы работу ни выполняли — делаете ли вы сложнейшую медицинскую процедуру или просто подметаете пол,— вы должны выполнять ее наилучшим возможным образом.

Хотя я полюбила этого человека, переход к новой жизни в Чикаго не был для меня ни гладким, ни легким. Лоял Дейвис казался официальным и сухим, и поначалу я противилась необходимости делить с ним свою мать. Я ревниво относилась к их близости. Помню один особенно неловкий момент: молодожены сидели рядышком на диване, а я с трудом протиснулась и уселась между ними.

---

[1] Тетушка Мейм — персонаж давней бродвейской комедии и снятого по той же пьесе голливудского фильма.

Но доктор Дейвис все понимал и никогда не подталкивал меня к тому, чтобы я поскорее признала его. Быть может, потому, что у него был собственный ребенок от предыдущего брака, мальчик по имени Ричард, чуть младше меня, который жил со своей матерью. (Когда она умерла, Ричард — мой брат Дик — переехал к нам.) Но как бы то ни было, доктор Лоял дал мне возможность поближе узнать его самой, не торопя.

Вскоре после того как я приехала в Чикаго, он объяснил мне, что они с мамой любят друг друга и что он будет хорошо к ней относиться. Он выразил надежду, что и мы с ним полюбим друг друга. Но мы оба знали, что на это потребуется время.

И оно потребовалось. Более двадцати лет я называла его «доктор Лоял». Я знала, что ему очень хотелось, чтобы я звала его папой, и теперь жалею, что не делала этого. Но тогда просто не могла. И хотя мы были очень близки, только когда у меня самой родилась дочь, я отказалась наконец от этого официального обращения. Пэтти была еще слишком мала, чтобы выговорить «дедушка», она звала его «бапа», и я тоже стала его так называть.

Он ненавидел имя Лоял, а я считала, что оно идеально ему подходит, ибо каким же еще, если не верным, «лояльным» он был — по отношению к семье, к ученикам, к профессии и превыше всего — к своим нравственным ценностям. Внешне он казался несколько угрюмым, но на самом деле был сердечным и нежным. Большинство людей никогда не видели его таким и не знали, что он может писать стихи и подсовывать их под дверь или посылать шуточные стишки мне в колледж.

Однажды я спросила его, что такое счастье. Он ответил: «Нэнси, ответ на этот вопрос найден почти двадцать пять веков назад, об этом сказали еще греки. Счастье — это стремление к совершенству во всех сферах человеческой жизни».

Лоял Дейвис был классическим примером «человека, который сделал себя сам», и мне хотелось бы развеять миф о том, будто он был богатым, ультраконсервативным общественным деятелем, который обратил меня, а потом и Ронни в республиканцев. В действительности, когда Ронни впервые решил заняться политикой, Лоял пришел в ужас, что его любимый зять окунется в то, что он называл акульим морем.

Его интересовала не политика, а медицина. Он обожал свою работу, и я им гордилась. Вот какой замечательный, красивый, образованный и воспитанный человек — и это мой отец!

Мои родители представляли собой замечательную пару, несмотря, а может быть, благодаря тому, что были такими разными. Отец — высокий брюнет, мама — маленькая блондинка. Он — республиканец, она — демократка. Он часто бывал суров, она всегда смеялась. Они чудесно дополняли друг друга. Однажды я вернулась домой из колледжа с заданием выучить несколько сонетов Шелли и Китса. Отец послал меня наверх за учебником английской литературы, а когда я спустилась снова, мама, тихонько пританцовывая, декламировала стихи о мистере Шитсе и мистере Келли.

Я никогда прежде не видела свою мать в роли жены, в этой роли она была бесподобна. Она заботилась о муже, расширяла круг его знакомств — помогала ему как только могла. Через год у нее в Чикаго было больше знакомых, чем у него. Она давала ему возможность расслабиться, представляла своим друзьям, приобщала к искусству. В свою очередь, он обеспечивал ей такое ощущение надежности, какого она никогда не испытывала.

Все это время мама поддерживала связь со своим бывшим мужем и его новой женой Пэтси. Хотя у меня с моим настоящим отцом никогда не было особо теплых отношений, в детстве я изредка навещала его. Маленькой я его не интересовала, а когда стала старше и во мне проявилась какая-то личность, он захотел видеться со мной чаще. Однажды он сделал какое-то пренебрежительное замечание в адрес мамы — не помню уж, какое именно,— я пришла в страшную ярость и завопила ему прямо в лицо, что хочу уйти. Он рассердился и запер меня в ванной. Я испугалась и вдруг почувствовала себя так, словно была одна среди чужих.

Пэтси ужасно переживала и написала маме письмо с извинениями, но я к ним больше не ездила. И по сей день не могу находиться в запертой комнате. Спустя годы, когда во время избирательной кампании мы с Ронни останавливались в гостиничных апартаментах, я вынуждена была просить его не запирать дверь спальни. Он не мог понять почему, пока я не объяснила, что тот случай, когда меня заперли в ванной, все еще не изгладился из памяти.

Вскоре после того как моя мать вторично вышла замуж, мы переехали в квартиру на четырнадцатом этаже прелестного многоквартирного дома на Лейк-Шор-драйв. Одним из наших соседей был отставной судья. Несколько лет спустя, поднимаясь с ним как-то в лифте, я спросила: «Что нужно сделать, чтобы тебя удочерили?»

Судья все понял, позвонил моей матери, и она, должно быть, обрадовалась, потому что он выразил готовность помочь мне с оформлением бумаг. Я уже знала, что, по законам штата Иллинойс, ребенок, достигший четырнадцати лет, мог сам решать вопрос о своем усыновлении. К этому времени у меня не было никаких сомнений, и в конце концов я заявила об этом официально, посетив Кеннета Роббинса в Нью-Йорке. Я объяснила, чего хочу, и он нехотя согласился. Когда он подписал нужные бумаги, я отправила в Чикаго телеграмму, в которой сообщала своим, что удочерение состоялось. Я не посылала прежде телеграмм, но знала, что они должны доходить быстро. И в тот раз я назвала Лояла Дейвиса тем именем, которое он заслуживал. Телеграмма начиналась словами: «Привет, папа!»

Когда бы мамины старые театральные друзья ни бывали проездом в нашем городе, они останавливались у нас. Возвращаясь днем из школы, я не удивлялась, застав в гостиной Мери Мартин или Спенсера Трейси, читающего газету, или умопомрачительную Лилиан Гиш, свернувшуюся клубочком на тахте и болтающую с мамой. Спенсер Трейси останавливался у нас так часто, что практически стал членом нашей семьи. Другой частой гостьей была Кэтрин Хэпберн. После того как я сказала ей, что хочу стать актрисой, она прислала мне длинное письмо, в котором предупреждала, что это очень трудная профессия и что я пока видела лишь блестящую ее сторону. Мамины друзья — звезды, напоминала она, а большинство девушек, пытающихся пробиться в кино или на сцену, кончают официантками или приемщицами.

Из друзей моей матери, которые имели отношение к шоу-бизнесу, самым близким был Уолтер Хастон. Теперь Уолтера, наверное, лучше всего помнят по роли старика в фильме «Сокровище Сьерра-Мадре», поставленном его сыном Джоном Хастоном, где главную роль исполнял Хамфри Богарт. Для меня он был дядюшкой Уолтером. Когда я была девочкой, мы несколько раз проводили лето на его чудесной даче в Лейк-Эрроухеде, в горах Сан-Бернардино. После обеда, бывало, собирались в гостиной, где дядюшка Уолтер читал нам отрывки из пьес и книг. А в одно лето мы написали сценарий и поставили свой собственный домашний фильм. И я в нем играла — да еще с настоящими профессионалами, такими как мама и дядюшка Уолтер!

Сколько себя помню, всегда интересовалась театром. В школе моим любимым занятием было участие в драмкружке. Я была лишь посредственной ученицей женской классической школы в Чикаго, но два или три раза меня выбирали старостой класса, и я играла во всех школьных спектаклях.

По окончании школы поступила в Смит-колледж, где специализировалась в английском и драматургии. В колледже исполнила несколько ролей, но первый настоящий сценический опыт получила во время летних каникул, практикуясь в старых сезонных театрах Новой Англии, в труппах без звезд. Практиканты были там на побегушках, убирали в гримерных и раскрашивали декорации. Иногда мы даже выходили на подмостки. Но главным образом учились — сидя на репетициях и наблюдая за актерами и режиссерами.

Свою первую профессиональную роль я получила после войны в пьесе под названием «Полуразвалившаяся гостиница», ее предложил мне мамин старый друг Зейзу Питтс. Я присоединилась к труппе в Детройте, заменив выбывшую актрису. Играла я крохотную роль — роль девушки, которую на протяжении всей пьесы, за исключением небольшого эпизода в конце, держат на чердаке, но это было начало!

То был не последний раз, когда я получала помощь от обширного круга маминых друзей, работавших в шоу-бизнесе. Дети многих известных людей, в том числе и мои собственные, стесняются пользоваться связями родителей. Но ведь единственное, что дают такие связи,— они открывают первую дверь. Остальное зависит от вас самих.

«Полуразвалившаяся гостиница» в конце концов докатилась до Нью-Йорка, и когда она ушла из репертуара, я решила остаться в городе. Нашла себе жилье на четвертом этаже дома без лифта по адресу: Восток, Пятьдесят первая улица, дом 409. В 40-е годы Нью-Йорк был волнующим местом для девушки, жаждущей успеха. Я чувствовала себя там в безопасности и не боялась поздно ночью пешком возвращаться домой из театра.

Нэнси Рейган в период работы на киностудии «МГМ».

К тому времени я влилась в ряды безработных актеров, которые бродят с одного просмотра на другой в надежде получить роль. Это называлось «нашествием мелкой скотинки», и я это ненавидела. Если везло и вам давали роль, первые пять репетиционных дней считались испытательным сроком. Во времена, когда начиналась моя сценическая карьера, актеров очень часто выгоняли во время испытательного срока — и без всякой оплаты.

В конце концов я получила приглашение в «Песнь лютни», мюзикл из восточной жизни, в котором главные роли исполняли Мэри Мартин и Юл Бриннер. После долгих и бесплодных попыток пробиться, меня потрясли волшебные слова: «Вы будете играть эту роль». Режиссер сказал: «Вы выглядите так, что вас можно принять за китаянку». Такого мне еще никто не говорил. Но Мэри Мартин и моя мама были старинными подругами.

Юл играл там свою первую большую роль, и все девушки, кроме меня, были от него без ума. Да, тогда у Юла была шевелюра!

Спустя годы я узнала, что режиссер Джон Хаусмен вовсе не собирался брать меня, но вмешалась Мэри и отвоевала мне роль. Как описывал это потом в мемуарах сам Джон, «в «Песни лютни» был обычный блатной состав... По требованию Мэри на роль цветочницы принцессы мы взяли розовощекую и миловидную, но неуклюжую и непрофессиональную девицу по имени Нэнси Дейвис».

Мне всегда хотелось верить, что Джон желал сделать мне таким образом комплимент!

«Песнь лютни» была моей первой и единственной ролью, сыгранной на Бродвее, и вечер премьеры пугал и волновал. Мои родители приехали из Чикаго, и, в соответствии с давней традицией, все участники отправились после премьеры на ужин в ресторан Сарди. Рецензии были достаточно хорошими, и «Песнь лютни» продержалась в Плимут-театре шесть месяцев.

Однажды осенним вечером мама сказала мне по телефону: «Нэнси, если тебе позвонит мужчина, который назовется Кларком Гейблом, не вздумай ответить: «Привет, а я Грета Гарбо». Это может на самом деле быть Кларк Гейбл».

Гейбл собирался в Нью-Йорк, Спенс дал ему мой телефон, а затем, испугавшись, что сделал что-то не так, позвонил маме и сказал ей, что «Король», может быть, зайдет ко мне.

Я не особенно волновалась — трудно было представить себе Кларка Гейбла

взбирающимся пешком по лестнице на четвертый этаж, чтобы повидать никому не известную артистку. После выхода на экран «Унесенных ветром» он был самым популярным актером Голливуда. Но он зашел и пригласил меня пообедать!

Я видела многих знаменитых актеров и прежде, но Гейбл не походил ни на кого. Он был красив и обладал тем неуловимым качеством, которое называют обаянием.

Целую неделю мы днем и вечером бывали вместе — днем на бейсбольных матчах, вечером в театре или еще где-нибудь. Я впервые появлялась в сопровождении такой знаменитости, и, случалось, нам требовалась помощь полиции, чтобы войти и выйти из театра или с международного матча. Но он никогда не давал автографов и, думаю, так же, как и Спенс, никогда не чувствовал себя уютно в качестве звезды.

У него было свойство, которым обладают хорошие куртизанки,— когда он был с вами, он действительно был с вами. Однажды он пообещал присутствовать на какой-то вечеринке, и я боялась, что весь вечер простою одна в углу, пока Кларк Гейбл будет разговаривать с дюжинами красивых актрис. Но он ни на секунду не отрывал глаз от меня. С ним я чувствовала себя главной персоной в том зале. Уверена, что он был скорее не соблазнителем, каким его считали, а добрым, романтичным и любящим повеселиться человеком. Думаю, он так уставал от роли героя-любовника, исполнения которой все ждали от него, что отдыхал со мной, поскольку я ничего от него не требовала.

Хотя мы с Кларком Гейблом были не просто случайными знакомыми, наши отношения так и не переросли в настоящий роман. Однако того, что писали в газетах, конечно, оказалось достаточно, чтобы мама позвонила мне и спросила: «Нэнси, только честно, что между вами происходит?»

Я ответила, что рассказывать особенно не о чем, но она, мне кажется, не поверила.

Мы провели вместе лишь неделю, однако «журналы для поклонников» сняли с нее богатый урожай. У меня до сих пор хранится вырезка с заметкой в форме вопроса: «Следует ли понимать дело так, что с Кларком Гейблом наконец что-то произошло, что-то, похожее на стройную красавицу с карими глазами по имени Нэнси Дейвис, и не привнесет ли это постоянства в его судорожные любовные отношения? Похоже, это действительно так, даже несмотря на то, что это — если это вообще любовь — мало похоже на любовь сокровенную».

Я бы даже сказала, потаенную. Быть может, я пропустила, не приняла какие-то сигналы, которые он посылал мне. Он жил в Энсино и называл свой дом «ранчо». Однажды во время обеда он спросил: «Что бы ты сказала, если бы тебе предложили жить на ранчо?»

Я промямлила какую-то глупость вроде: «Хм, не знаю. Никогда не пробовала». Но часто вспоминаю этот эпизод и думаю, не было ли это со стороны Кларка Гейбла намеком на наше возможное общее будущее? А если да, что мне следовало ответить? Я не была тогда влюблена в него, но если бы мы пробыли вместе подольше, могла бы влюбиться. Конечно же, меня покорили его внимание и скромность.

После «Песни лютни» я играла еще в двух постановках Зейзу Питтса и немного снималась на телевидении. Единственное, что помню о своей первой роли на телевидении, это что у меня был зеленый грим и черная помада! Телевидение тогда еще только начиналось и, чтобы хорошо выглядеть на тех несовершенных черно-белых экранах, порой приходилось краситься в весьма странные цвета.

Я играла в телеверсии небольшой пьесы под названием «Разбитая посуда». Мало что помню о самой постановке, но это был самый мощный прорыв во всей моей актерской карьере. Кто-то из «Метро-Голдвин-Майер» увидел меня в «Разбитой посуде» и передал через моего агента приглашение в Голливуд на кинопробу.

А вскоре после того мой агент сообщил, что мне предлагают типичный для начинающей актрисы контракт — на семь лет с правом пересмотра. Иными словами, студия могла разорвать контракт в любой момент, а я была связана по рукам и ногам. Мне платили двести пятьдесят долларов в неделю в течение студийного года, то есть сорок недель в году, двенадцать недель считались свободными.

Я была на седьмом небе. Работать на «Метро» значило приобщиться к миру грез. В буфете на студии «МГМ» я видела таких звезд как Фред Астер, Лана Тернер, Джун Эллисон и Роберт Тейлор. Становилось очень не по себе, если

утром в гримировочной ты обнаруживала, что сидишь между Элизабет Тейлор и Авой Гарднер.

Звездой сколько-нибудь яркой я так и не стала, но в кино мне повезло куда больше, чем в театре. Я снялась всего в дюжине картин, в основном на «Метро», до замужества, но мне очень нравилась эта работа. Не была я и восходящей звездой ни на экране, ни на сцене; никто никогда не преследовал меня, пытаясь назначением на роль купить мою благосклонность. Я встречалась с актерами, с писателями, мне нравились мужчины чуть постарше, обладающие чувством юмора. Мне всегда хотелось влюбиться в хорошего человека и выйти замуж, о том, чтобы проводить вечера в одиночестве, я никогда не мечтала.

Актеры предпочитают играть роли, которые им подходят. Я не была типом девушки в свитере с большим бюстом. Поэтому обычно играла юных мам или беременных женщин. Большинство своих фильмов я начисто забыла, но два или три все еще живы в памяти. Один из них — «Голос, который ты услышишь в следующий раз». Премьера его состоялась в Музыкальном зале радиогородка в Нью-Йорке в 1950 году, а потом студия послала меня на восток рекламировать картину. Хотя для меня это был всего лишь второй фильм, мое имя было написано над названием! После нескольких лет, отданных эпизодическим ролям, я испытала огромное волнение, увидев на огромной афише, опоясывающей полкинотеатра, начертанное большими буквами — «НЭНСИ ДЕЙВИС».

Я снялась еще в нескольких фильмах, в том числе в картинах «С вечера до утра» и «Мозг Донована» — научно-фантастической ленте, которую и теперь иногда показывают по телевидению в ночное время. Снялась я и в маленькой роли в фильме «Ист-сайд, Вест-сайд». За этот фильм мне не стыдно и, вспоминая о нем, думаю, что могла бы сделать неплохую карьеру в кино, если бы продолжала сниматься.

«Ист-сайд, Вест-сайд» памятен для меня и еще по одной причине. Во время его съемок наш режиссер и старинный друг семьи Мервин Лерой познакомил меня с актером из «Уорнер бразерз», которого звали Рональд Рейган.

Глава пятая
РОННИ

Я уже говорила и повторю снова: моя жизнь по-настоящему началась, лишь когда я встретила Ронни.

Вот как это случилось.

Однажды осенним вечером 1949 года я сидела у себя в квартире и читала одну из голливудских газет и вдруг увидела имя — с в о е и м я — в списке сочувствующих коммунистам голливудцев. В то время я мало смыслила в политике, но точно знала, что к этому списку никакого отношения не имею. В Нью-Йорке меня, бывало, принимали за какую-то другую Нэнси Дейвис; я иногда даже получала ее корреспонденцию, и ко мне по ошибке попадали те, кто звонили ей. Не такое уж редкое у меня имя.

Когда я поделилась своей проблемой с Мервином Лероем, он устроил так, что в очень популярной рубрике светской хроники, которую вела Луелла Парсонс, появился материал, в котором, в частности, объяснялось, что Нэнси Дейвис, упомянутая в списке сочувствующих коммунистам,— это не та актриса, которая работает на студии «Метро».

Он также сказал: «Может быть, стоит позвонить Рональду Рейгану. Пожалуй, пусть Гильдия вмешается».

Рональд Рейган был президентом Гильдии актеров кино. Я видела его в нескольких фильмах, и, по крайней мере на экране, он казался мне милым и симпатичным человеком — я не имела ничего против того, чтобы с ним встретиться.

«Подумай об этом,— сказал он,— вы вдвоем могли бы все уладить. Я скажу Рону, чтобы он тебе позвонил».

Весь тот вечер я прождала звонка. И чем дольше ждала, тем больше мне хотелось встретиться с Рональдом Рейганом. Но он не позвонил.

На следующее утро Мервин подозвал меня и сообщил, что говорил с Рональдом Рейганом и тот сказал ему, что в Голливуде было еще по крайней мере три других Нэнси Дейвис. «Если когда-нибудь снова возникнут затруднения,— сказал Мервин,— Гильдия тебя защитит».

Это было утешительно, но не совсем то, что хотелось бы услышать. Поэтому я скорчила очень несчастную мину. «Я все же очень беспокоюсь,— ска-

зала я.— Мне было бы легче, если бы мистер Рейган сам мне все это объяснил».

Чуть позже в тот же день у меня зазвонил телефон. «Нэнси Дейвис? Это Рональд Рейган из Гильдии актеров кино. Мервин Лерой просил меня разобраться в вашей проблеме; я могу вам кое-что сообщить. Если вы свободны сегодня, мы могли бы вместе поужинать и обо всем потолковать».

«Ну,— запинаясь, произнесла я,— думаю, я могла бы освободиться».

«Как насчет половины восьмого? — спросил он.— Позже я не могу, так как мне предстоит утром ранний визит».

Я улыбнулась, услышав это. В Голливуде всякий, кто шел на случайное свидание, обязательно предупреждал о раннем визите на следующий день. Если вечер оказывался неудачным, у вас был готов предлог, чтобы закончить его пораньше.

«Прекрасно,— ответила я.— У меня тоже назначен ранний визит». Это было неправдой, но должна же и девушка иметь свою гордость!

Первое, что я подумала, открывая дверь два часа спустя, было: «Прекрасно! В жизни он так же хорош, как на экране»,— а в Голливуде в этом никогда нельзя быть уверенным заранее.

К моменту, когда мы садились за стол, обсуждение проблемы Нэнси Дейвис было закончено, и мой спутник, лучше знакомый с голливудскими нравами, предложил решение, которое считал идеальным: «Заставьте студию поменять вам имя».

«Это невозможно,— ответила я.— Нэнси Дейвис — м о е имя».

Более двух лет спустя, когда мы вернулись к этой теме, я была счастлива поменять свое имя — на его.

Мне сразу же понравилось в Ронни, что он не говорил о себе. Я встречалась со многими актерами, и их разговор всегда сводился приблизительно к одному и тому же: его первая картина, его вторая картина, его последняя картина. Этот человек от них отличался. Он рассуждал о Гильдии и о том, почему этот актерский союз так много для него значит. Он говорил о своем небольшом ранчо, о лошадях и их породах; он был также знатоком истории Гражданской войны и хорошо разбирался в винах.

Даже когда он и говорил о себе, это был хоть и личный, но не с л и ш к о м личный рассказ. Все знали о его недавнем разводе с Джейн Уаймен, но в подробности он не вдавался, да я бы и не хотела этого.

У него было чудесное чувство юмора, и, слушая его, я вспоминала маму. Как и она, он знал множество смешных историй и искренне веселился, рассказывая их. Если вы смеялись, он смеялся вместе с вами.

Но говорил не только он. Я поведала ему о родителях и дядюшке Уолтере и, вероятно, прихвастнула хирургическим искусством отца.

Под конец ужина Ронни сообщил, что Софи Такер открывает сегодня свой новый сезон в «Сайро», и предложил поехать туда «только на первое отделение».

«Отлично,— сказала я.— Только на первое отделение».

Разумеется, мы остались и на второе, а к тому времени, когда Софи Такер заканчивала выступление, выяснилось, что ни у одного из нас на самом деле не назначено никакого визита на завтра. Домой мы попали не раньше трех часов утра.

Не знаю, точно ли это была любовь с первого взгляда, но что-то очень похожее. На следующий день мы снова ужинали вместе. И на следующий тоже. И на с л е д у ю щ и й. Почти сразу же после того как мы начали встречаться, газеты стали писать о нас и строить предположения насчет брака.

Мы же, поняв, что никто из нас не спешит с этим, вместо того чтобы каждый вечер появляться на людях, стали коротать бóльшую часть времени уединенно в моей квартире: смотрели фильмы по телевизору и ели кукурузные хлопья. Время от времени проводили вечерок с близкими друзьями Ронни — Биллом и Ардис Хоулденами. (Ардис была более известна под артистическим псевдонимом Бренда Маршалл.)

Мне бы очень хотелось сказать, что мы ничего и никого кроме друг друга не замечали, но это было не совсем так: Ронни не спешил принимать решение. Рана, нанесенная ему неудачным первым браком, была глубока и все еще болела. Хотя мы виделись с ним регулярно, он встречался и с другими женщинами.

Я знала, что разведенному мужчине нужно время, чтобы созреть для повторной женитьбы. Моя мать напомнила мне, как тяжело был травмирован пер-

Рональд и Нэнси Рейган в день свадьбы.

вым семейным опытом Лоял Дейвис. Он очень боялся повторить ошибку, и ей пришлось ждать, пока он не оказался готовым к этому новому шагу.

Развод причинил Ронни такую боль, что ему понадобилось много времени, прежде чем он начал допускать саму мысль о другом браке. Как и большинство людей его поколения, он воспитывался в убеждении, что семья — это навсегда. Хороша она или дурна. Если ты ошибся и брак оказался не таким удачным, как рассчитывал, нужно переживать это молча. Развод Ронни произошел как-то неожиданно, он был совсем к нему не готов.

Ронни часто приходилось ездить по делам Гильдии. Я, бывало, отвозила его на вокзал и, когда поезд трогался, бежала рядом и махала рукой. Затем возвращалась домой и начинала вязать ему носки «ромбиками», очень жалея себя.

Как-то Ронни собирался остановиться в Чикаго по дороге в Нью-Йорк, и мама должна была его там встретить. Я звонила родителям каждое воскресенье, Ронни брал трубку и говорил: «Привет». Как я и ожидала, мама и Ронни понравились друг другу. Очень скоро моя роль в беседе начала делаться все короче, а их — все длиннее и длиннее. У меня возникло ощущение, что, если бы у нас с Ронни ничего не вышло, они с мамой все равно остались бы большими друзьями.

Когда он пригласил меня к себе на ранчо, я подумала, что это уже нечто серьезное. Я провела там несколько выходных, покрасив огромное количество заборов.

В то же время помню, какое почувствовала разочарование, когда однажды, везя меня на ранчо, Ронни сказал: «Знаешь, ты бы лучше купила дом. Ты бросаешь деньги на ветер, снимая квартиру».

Ну, вот! А я-то думала о некой совместной собственности.

Спустя несколько недель Ронни нужно было ехать в Сан-Диего делать доклад, и вдруг, впервые, он понял, что больше не хочет пускаться в путь один и что единственный человек, с которым он хотел бы поехать вместе,— я. (Это он рассказал мне много позже.) Помню, как была счастлива, когда он попросил меня составить ему компанию.

Незадолго до того Ронни купил новое ранчо, неподалеку от Лейк-Малибу. И когда он пригласил меня туда вместе со своими детьми, я начала верить, что мы когда-нибудь и впрямь поженимся. К тому времени мы встречались уже два года, и нам было хорошо и уютно вместе. За мной ухаживали многие, но я знала, что именно Ронни — тот, кто мне нужен. В нем было все, чего я искала в мужчине.

Уже тогда Ронни мог видеть, что я абсолютно во всем его поддерживаю и что он всегда может на меня положиться. Накануне Рождества 1951 года, в Сочельник, он принес мне маленькую елочку, и я решилась наконец, собрав все свое мужество, задать чрезвычайно важный вопрос: «Ты хочешь, чтобы я тебя ждала?»

Он ответил: «Да, хочу».

Вскоре свадьба была уже делом решенным, но он все никак не мог объявить о ней официально. У меня же больше не было сил терпеть неопределен-

ность, и я задумала подтолкнуть события. Через несколько недель после Рождества я заявила Ронни, что велела своему агенту подыскать мне работу в Нью-Йорке.

Мы объявили о своей помолвке 21 февраля 1952 года и назначили свадьбу на первые числа марта. Луелла Парсонс писала: «Долгожданный брак Нэнси Дейвис и Рональда Рейгана наконец состоится в начале следующего месяца». Мы были взволнованны, и наши родители тоже. Однако Ронни по-прежнему не хотел никакого шума. Мы решили, что свадьба будет очень скромной,— и никакой прессы. Я бы, конечно, предпочла церемонию попышней, но, понимая чувства Ронни, не огорчилась.

Мы обвенчались совсем тихо 4 марта 1952 года в Маленькой глиняной церкви в Долине. Никого не звали — ни прессу, ни родственников,— не хотели никакой суеты. Единственными людьми, присутствовавшими на венчании, были Ардис Хоулден — замужняя подруга невесты, и Билл — шафер. Из церкви отправились к Хоулденам, где нас ждал свадебный торт и обед.

К свадьбе Ронни подарил мне букет цветов; на мне был серый шерстяной костюм с белым воротником и маленькая шляпка из цветов, с вуалью. Я все еще храню свой свадебный наряд, наткнулась на него снова осенью 1988 года, распаковывая вещи при переезде в новый дом в Лос-Анджелесе. Он и теперь совсем недурно смотрится и все еще мне подходит! Есть у меня и мой свадебный букет и, конечно же, пластмассовые жених и невеста, венчавшие свадебный торт.

Весь тот день я провела в счастливом оцепенении. Даже не помню, как священник произнес: «Объявляю вас мужем и женой». Однако Ронни поклялся мне, что это было и что мы действительно обвенчаны.

Ночь мы провели в гостинице Старой миссии в Риверсайде, Калифорния, и как сейчас помню волнение, охватившее меня, когда я увидела, что Ронни пишет в книге посетителей: «Мистер и миссис Рональд Рейган». На следующий день мы отправились в Феникс, где ждали мои родители, чтобы отпраздновать нашу свадьбу.

После помолвки Ронни позвонил моему отцу в Чикаго, чтобы сообщить, что мы хотим соединить наши судьбы, и объяснить, почему мы устраиваем такую скромную церемонию. А я долгие годы дразнила Ронни, сокрушаясь, что не сбылась моя мечта услышать от него предложение на закате солнца в каноэ, где я лежала бы на дне, опустив пальцы в воду, а он бренчал на гавайской гитаре.

Двадцать пять лет спустя, в день нашей серебряной свадьбы, он подарил мне каноэ под названием «Настоящая любовь» и повез покатать в нем по маленькому озеру на нашем ранчо.

«Я не прихватил гавайской гитары,— сказал он.— Ничего, если я просто промурлыкаю что-нибудь?»

Понимаю, выглядит невероятно старомодно, но мне все это ужасно понравилось.

Медовый месяц был очень счастливым, а вот первый год нашего брака — трудным. В тот год родился наш первый ребенок, Пэтти, несколько преждевременно, 22 октября 1952 года,— ну-ну, давайте, считайте! — но это была для нас большая радость. Я плохо представляла себе, что значит быть родителями, и оказалась весьма беспечной матерью. К тому же карьера Ронни в Голливуде пошла на спад. Я всегда говорила, что, выйдя замуж и став матерью, брошу работу, но пришлось вернуться в студию и сняться в нескольких фильмах: нам нужны были деньги. Да и совместная жизнь не всегда шла гладко, и все же никогда, за исключением одного-единственного эпизода, я не сомневалась, что мы с Ронни предназначены друг для друга.

Каков же он на самом деле, Рональд Рейган? Мы женаты почти сорок лет, поэтому, думаю, могу считать себя специалистом.

Ключ к разгадке секрета Рональда Рейгана состоит в том, что никакого секрета нет. Он точно такой, каким кажется. Рональд Рейган, которого вы видите на людях, это тот же самый Рональд Рейган, с которым я живу. Оказалось, что некоторые из недавних президентов были на поверку вовсе не такими, какими мы их себе представляли. Я, честно, не верю, чтобы кто-нибудь мог сказать нечто подобное о Ронни. В характере Рональда Рейгана нет темных уголков, которые могут высветиться через двадцать лет,— у него не бывает моментов невыносимых мук отчаяния, нерешительности и сомнений. Конечно, и его посещают разные настроения, случаются разочарования, но в целом Ронни самый уравновешенный человек, какого мне доводилось встречать.

Как и в любом другом случае, чтобы понять Рональда Рейгана, нужно начать с прошлого — с его корней и воспитания.

Он рос в Диксоне, Иллинойс, где образ жизни был здоровым и никто не запирал дверей на ночь. Люди держались вместе и помогали друг другу. Ронни и теперь считает, что именно так следует жить, и поэтому-то так яростно настаивает на том, что правительство обязано взять на себя функции, которые прежде выполняли добрые соседи в отношении друг друга.

Отец Ронни Джек был алкоголиком, а это значит, что Ронни и его старшему брату Нейлу пришлось стать самостоятельными раньше, чем многим другим мальчишкам. Мать Ронни, Нелли, бывало, говорила ребятам, что отец их страдает болезнью, которая порой лишает его возможности контролировать себя. «Ваш отец может иногда сказать или сделать что-то, что нам непонятно,— объясняла Нелли.— Это потому, что он болен. Он нуждается в нашей помощи и любви».

Джеку трудно было удержаться на работе, и семья постоянно скиталась.

Первые пять лет жизни Ронни прошли в Тампико, Иллинойс; они жили над главным универмагом, где Джек работал продавцом в обувном отделе. Оттуда переехали в Гейлсберг, прожили там два года, потом сменили еще несколько мест, прежде чем попали в Диксон, где Ронни оставался до поступления в колледж.

Трудно заводить близких друзей, если все время переезжаешь с места на место; думаю, поэтому — а еще потому, что все знали, что отец его алкоголик,— Ронни стал замкнутым. Хоть он и любит людей, часто кажется слишком сдержанным. Его окружает стена. Меня он подпускает ближе, чем кого бы то ни было, но даже я порой чувствую эту преграду.

Джек Рейган был католиком и ненавидел какие бы то ни было предрассудки. Ронни с гордостью рассказывал, как однажды зимой ночь застала Джека в пути и он зашел в единственную в том городишке гостиницу. «Вам понравится у нас, сэр,— сказал администратор.— Мы не пускаем евреев».

Джек пришел в ярость. «Я католик,— сказал он,— и если вы не пускаете евреев, догадываюсь, вы не обрадуетесь и католику». Он ушел и всю ночь мерз в машине. У Джека Рейгана были свои слабости, но какие бы то ни было предубеждения в доме Рейганов запрещались.

Когда Ронни переехал в Голливуд, он перевез туда и родителей, купив им дом неподалеку. Джек умер в 1941 году, когда Ронни был в Нью-Йорке. Нелли сказала ему по телефону: «Не садись в самолет, потому что, если что-нибудь случится с тобой, я этого не перенесу». Ронни поехал на поезде, и Нелли задержала похороны до его возвращения.

Ронни очень похож на мать. Нелли верила, что все люди от природы хорошие. Она навещала пациентов в санаториях и клиниках для душевнобольных и носила гостинцы и Библии заключенным. Нелли никогда не видела в людях дурного, и Ронни такой же. Иногда меня это бесит, но таков уж он есть.

Поскольку Ронни верит в то, чему учила его мать, он не позволяет неудачам и разочарованиям сбивать себя с ног. Если что-то и тревожит его, вы об этом никогда не узнаете. Если он взволнован, держит все в себе. Подавлен? Он не знает даже, что значит это слово.

Я почти никогда не слышала, чтобы он жаловался. Если Ронни что-то неприятно, он редко говорит об этом. И никогда никому, даже мне, не показывает, что плохо себя чувствует.

Ронни нельзя назвать непробиваемым, но у него высокая сопротивляемость. В трудные минуты окружающие, в том числе и я — да, да, признаю, особенно я,— могут быть взвинченными и нетерпеливыми. Ронни сохраняет спокойствие, и обычно оказывается, что он прав.

Но бывает трудно жить с человеком столь непоколебимо уравновешенным. Порой его оптимизм или отсутствие чувства реальности выводят меня из себя и я мечтаю, чтобы его волнение хоть как-то проявилось. А с годами я стала даже больше чем прежде беспокоиться из-за того, что Ронни никогда не беспокоится. Кажется, я беспокоюсь за нас обоих.

Президентство — быть может, самая обременительная должность на свете, но Ронни не стал раздражительным или невыдержанным с сотрудниками. Нужно очень постараться, чтобы рассердить его, хотя бывают случаи, когда он все же теряет самообладание. Когда это происходит в Овальном кабинете, он снимает очки и швыряет их. Я сама этого никогда не видела, но все знают, что это сигнал: если летят очки — берегись!

Некоторые президенты менялись на службе, Ронни не менялся нигде с того дня, как я его встретила. Однажды утром во время избирательной кампа-

нии 1980 года он посетовал помощнику, что слишком рано начинается рабочий день. «Привыкайте, губернатор,— ответил помощник.— Если станете президентом, парень из Совета Национальной Безопасности будет являться с докладом каждое утро в семь тридцать».

«Вот как? — сказал Ронни.— Тогда ему придется черт знает сколько ждать!»

Будучи президентом, Ронни не видел необходимости являться в Овальный кабинет на рассвете или засиживаться за письменным столом до поздней ночи. Он никогда не притворялся, что работает дольше, чем на самом деле. Однако большую часть вечеров он трудился после обеда в своем кабинете. И всегда уделял работе несколько дополнительных часов в выходные дни. Я редко видела его без стопки бумаг.

Моему мужу очень нравилось быть президентом. Он наслаждался всем, что связано с этой работой,— необходимостью принимать решения, преодолевать трудности, ответственностью, а равно и церемониями, появлениями перед публикой, встречами. Как сказал обозреватель Джордж Уилл, у Рональда Рейгана талант быть счастливым.

Думаю, одна из причин, почему люди неправильно понимают Ронни, состоит в том, что они ставят на первое место его профессию, а не характер. Это человек, который не баллотировался ни на какой государственный пост до пятидесяти пяти лет. И даже когда занялся политикой, политиком так и не стал.

У него хорошие задатки политика, но он никогда до конца не понимал, как работают мозги у большинства из них. Вскоре после того как стал губернатором Калифорнии, он как-то пришел домой и сказал: «Черт знает, как это расстраивает! Я делаю заявление, а через час журналисты и законодатели начинают ломать головы: «Конечно, он это сказал. Но что он имел в виду?»

«Я этого не понимаю,— сказал Ронни.— Если бы они исходили из того, что я имею в виду именно то, что говорю, они сберегли бы уйму времени!»

Но самое поразительное отличие Ронни от многих других политиков заключается в том, что власть никогда не интересовала его сама по себе. Когда друзья спрашивали его: «Ну, и каково это, чувствовать себя самым могущественным человеком в мире?» — Ронни всегда отвечал: «Вы обо мне?» И это не было ложной скромностью. Он просто не смотрел на себя под таким углом зрения.

Может быть, именно потому, что Ронни никогда не отождествлял президентство с собой, ему удавалось избегать поступков, совершаемых обычно под давлением положения, которое обязывает. Даже в трудные периоды президентство не было для него обузой и не воспринималось как «самая одинокая должность на свете».

И всегда, когда бы мы ни выезжали из Белого дома на обед или какое-нибудь выступление, Ронни оглядывал кортеж и, качая головой, говорил: «Никогда не пойму, почему для пятиминутной поездки нужно столько машин».

Ронни не стремился к президентству, чтобы стать важной персоной; он и так кое-что из себя представлял. Он принял эту должность, отдавая себе ясный отчет в том, что́ хочет сделать. Он мечтал осуществить эти цели лет двадцать. Оздоровление экономики. Бóльшая экономическая свобода. Более надежная оборона. Сокращение аппарата управления. Это были главные задачи, остальное приходилось откладывать. Он понимал, что, пытаясь достичь всего, рискуешь не добиться ничего.

Теперь, когда Ронни не у дел, легко забыть, что, когда мы только прибыли в Вашингтон, большинство «специалистов» не ожидали, что его деятельность на посту президента будет плодотворной. На протяжении всей его политической карьеры люди вообще недооценивали Ронни. Почему? Отчасти, не сомневаюсь, из-за его личных качеств. Им трудно было поверить, что такой милый человек может действовать успешно и, когда нужно, быть твердым.

Но добродушие Ронни обманчиво. Хоть он и не столь податлив или, напротив, силен характером, как некоторые его предшественники по Белому дому, под спокойной внешностью его скрыт настойчивый, упрямый и очень знающий человек. Почитайте протоколы: Ронни почти всегда ставил на своем.

Одна из самых трудных задач для жены политика — да и вообще для жены — критиковать мужа. В политике критикуют всех, и я ничего не имею против объективной и честной оппозиции. Но когда критика несправедлива, бесчестна и просто лжива, она может больно ранить. Ронни всегда был толстоко-

жим по отношению к критике, в то время как я оказалась весьма уязвимой. Сейчас я выносливей, чем прежде, но все еще недостаточно.

Меня до сих пор раздражает масса недоразумений, связанных с Ронни, о которых годами беспрерывно судачили. Настал мой черед поставить все на свои места.

Вопреки тому, что вы слышали или читали, Ронни вовсе не любитель поспать. Во время долгих перелетов на президентском самолете номер один [1] нужно было приложить немало усилий, чтобы заставить его прилечь. И несмотря на все шутки, в том числе и его собственные, Ронни никогда не возвращался после ленча в резиденцию вздремнуть.

Обычно Ронни ложится в одиннадцать и спит спокойно. В тех редких случаях, когда он просыпается среди ночи, вместо того чтобы считать овец, он декламирует про себя стихотворение канадского поэта Роберта Сервиса «Кремация Сэма Макджи».

Многие годы Ронни любил читать другое стихотворение Роберта Сервиса — «Убийство Дэна Макгру». Никогда не забуду одну сцену, произошедшую в Англии во время официального обеда, где Ронни сидел между королевой Елизаветой и королевой-матерью. Оказалось, что королева-мать тоже очень любит «Убийство Дэна Макгру». Не помню уж, с чего началось, но прежде чем я что-либо успела понять, они на пару декламировали это стихотворение — все одиннадцать строф — прямо за столом!

А вот то, что однажды Ронни задремал во время публичной встречи с папой в 1982 году, правда. Мы отправились в Париж 3 июня и прибыли 4, к началу совещания по экономическим проблемам. 5 июня у него были в Версале переговоры с лидерами Японии, Канады, Италии, Западной Германии, Англии и Франции. 6 июня мы присутствовали в Версале на банкете, который затянулся за полночь. Когда же он наконец закончился, Ронни тут же отправился на встречу со своими советниками, чтобы обсудить вторжение Израиля в Ливан, произошедшее несколькими часами раньше. В ту ночь он почти не спал, рано утром мы вылетели в Рим, где из аэропорта нас повезли прямо в Ватикан на встречу с папой.

Она происходила в папской библиотеке, и Ронни сидел рядом с папой. В комнате было очень жарко. Когда Папа начал говорить своим убаюкивающим голосом, я увидела, что у Ронни опускаются веки. Я начала кашлять и шаркать ногами как можно громче, но тщетно. Сейчас это выглядит забавным, но тогда — в присутствии папы и всех этих важных людей — было ужасно. Мне казалось, что сейчас папа наклонится и, подтолкнув Ронни локтем, скажет: «Понимаете, что я имею в виду, Рон?»

Естественно, фотографию Ронни с закрытыми глазами напечатали все. И напрасно Майк Дивер пытался объяснить, что Ронни иногда прикрывает глаза и на заседаниях Кабинета. Ведь у каждого бывают моменты, когда с трудом удается держать глаза открытыми во время заседаний Кабинета.

Я и сейчас натыкаюсь иногда на высказывания о том, что Ронни якобы ничего не читает. Он читает постоянно, и его помощникам и советникам приходится напоминать, чтобы они не давали ему того, что не слишком важно, потому что Ронни имеет обыкновение читать все. Он может так сосредоточиться на чем-то, что порой, если я заговариваю с ним в этот момент, он меня не слышит.

Когда мы жили в Белом доме, на его ночном столике всегда лежала стопка журналов и книг, и по вечерам, лежа в постели, мы оба читали, пока не приходило время спать. Ронни особенно любит историческую литературу, биографии и романы Луи Ламура и Тома Клэнси.

Ронни ведет жизнь уравновешенную. Он спит ночью шесть-семь часов, правильно питается и выкраивает время для ежедневной зарядки. Не курит и только в редких случаях что-нибудь выпивает, обычно стакан вина — или, в Кэмп-Дэвиде, позволяет себе аперитив (для аппетита) перед обедом.

Ронни никогда не был гурманом. Человек, которому, как президенту, подавали самые утонченные и изысканные в мире блюда, предпочитал бифштекс по-гамбургски. Он обожает макароны с сыром и с удовольствием ест их на завтрак. В основном его еда — мясо и картошка. Еще одна его слабость, как всем известно,— конфеты «джелли-бинз» [2]. Сейчас он уже не ест их столько, сколько раньше, и он никогда не съедал их столько, сколько рассказывают. Но он действительно их любит.

---

[1] Существует также президентский самолет номер два, которым могут пользоваться ближайшие помощники президента.

[2] В буквальном переводе с английского — «фасолинки из джема». Очень сладкие мягкие конфеты, сделанные в виде разноцветных фасолин.

Ронни часто включают в список самых элегантных мужчин, но это честь, им не заслуженная. Он мало обращает внимания на одежду и вполне удовлетворился бы одной парой джинсов и рубашкой в клетку. Ему никогда в голову не пришло купить себе что-нибудь новенькое. Мы оба привыкаем к старым вещам и долго носим их, и мне приходится чуть ли не силком заставлять его сшить себе новый костюм.

Однажды, в начале первого президентского срока, я заказала ему костюм у прекрасного английского портного. Ткань в серо-голубую клетку в образце выглядела потрясающе. Но когда костюм прибыл из Лондона, я пришла в ужас. Он оказался кричащим и уродливым, просто оскорбительным для глаза.

По глупости я все же отдала его Ронни, и, конечно же, он стал самым любимым костюмом. Вскоре я уже просто не могла его больше видеть. Однажды Ронни был в нем, когда мы летели на президентском самолете номер один, и я наконец сказала: «Дорогой, пожалуйста, отдай кому-нибудь этот костюм. А то я вынуждена буду его сжечь».

Ронни ушам своим не поверил: «Он тебе не нравится?!»

«Ты знаешь, нет,— ответила я.— И я говорила тебе об этом раз сто».

С нами был Майк Дивер. «Давай спросим Майка,— предложил Ронни.— Майк, как тебе нравится мой костюм?»

«Хочешь, чтобы я сказал честно?» — спросил тот.

«Разумеется».

«Ну, тогда...— ответил Майк.— Между собой мы называем его «Матт и Джефф» [1]. Каждый раз, когда ты его надеваешь, кто-нибудь говорит: «Если он действительно хотел, чтобы его убили, нужно было надеть э т о т костюм».

Словом, у него не самый изысканный в мире вкус в одежде и еде. Но по части галантности он мастер!

Ронни не нужно уезжать далеко, чтобы стать ласковым, иногда он целует меня, даже перед тем как выйти в соседнюю комнату. Он часто повторяет: «Я люблю тебя», и я тоже. Мы физически ощущаем нежность друг к другу, как на людях, так и наедине, и мы всегда держимся за руки. Один репортер когда-то сказал мне, что ему и его коллегам иногда бывает неловко смотреть на нас, особенно когда я встречаю Ронни в аэропорту, потому что вместо того, чтобы клюнуть друг друга в щечку, мы целуемся по-настоящему.

Хотя Ронни никогда не показывает своих чувств, он всегда был романтиком. Он посылал цветы моей матери в день моего рождения — в благодарность за то, что она дала мне жизнь.

Значит ли это, что мы сходимся во всем? Конечно же, нет. Как бы мы ни были близки, каждый из нас — и сам по себе человек. Когда мы были в Белом доме, моя жизнь решительно отличалась от его. Как первая леди я встречалась и беседовала с людьми, о которых он понятия не имел. И мне, конечно, было гораздо проще, чем ему, пойти куда-нибудь на ленч, что я частенько и делала.

Ссоримся мы редко, хотя, естественно, у нас бывали разногласия — особенно по вопросам воспитания детей и из-за денег. «Никогда не злись, ложась в постель»,— говаривала мама, и мы этого не делали.

Но иногда после размолвки мы целовались, желали друг другу спокойной ночи и Ронни тут же проваливался в сон. А я бывала так возбуждена, что сама не могла заснуть и злилась на него снова и снова.

К счастью, наши ссоры бывали недолгими. Когда-то давно, когда мы с родителями проводили отпуск в отеле в Фениксе, мама рассказала нам о молодоженах, которых наблюдала в бассейне. Молодая заплакала, и муж подплыл к ней, чтобы узнать, в чем дело. «Ты был холоден со мной в бассейне»,— объяснила она.

Эта фраза у нас привилась. Когда между нами пробегает кошка, один из нас говорит: «Ты был холоден со мной в бассейне». И тогда мы понимаем, что пора что-то сделать, чтобы не дать маленькому недоразумению вырасти в большую проблему.

Если наш брак был удачным, то потому лишь, что мы с Ронни прилагали к тому большие усилия. Быть может, нам приходилось прилагать даже больше усилий, чем другим, потому что после развода Ронни боялся, как бы в с е э т о не повторилось. А поскольку у меня через развод прошли и мать, и отец, я тоже представляла себе, что это значит.

Как и мама, выйдя замуж, я отказалась от артистического будущего. Времена меняются, и я, конечно, не советую молодым женщинам жертвовать соб-

---

[1] Персонажи когда-то популярного, а ныне забытого комикса. Матт — маленький и толстый, Джефф — длинный и тощий, и оба — страшно нелепо одеты.

ственной карьерой. Но я видела слишком много захлебнувшихся актерских браков, чтобы верить, что мне удалось бы вытянуть и карьеру, и семью. Не сомневаюсь, что-то да страдало бы, и, боюсь, скорее всего это была бы семья — особенно в Голливуде, где все постоянно твердят вам о том, как вы милы и любимы. Поэтому, возвращаясь вечером домой, вы, естественно, ждете такого же льстивого поклонения от мужа и детей. А вместо этого слышите: «Привет, ма, что у нас на обед?»

Ронни не просил меня оставить кино, но позднее признался, что очень обрадовался, когда я сама так решила. И когда он это сказал, я подумала о его первой женитьбе.

Ронни всегда был рядом со мной, даже тогда, когда держал на плечах весь мир. А когда он был ранен, он утешал меня так же, как я утешала его. Когда мне предстояла операция мастэктомии, он сказал: «Это для нас ничего не меняет. Не затем я на тебе женился». Я всегда чувствовала, что со мной не может случиться ничего, с чем бы Ронни не справился.

Он заботится обо мне. Если я уезжаю на пару дней, он точно отсчитывает нужное количество таблеток витаминов и откладывает их в коробочку. После стольких лет, проведенных вместе, он все еще оставляет мне на столе записочки: «Я тебя люблю». В День Святого Валентина, мой день рождения, или в нашу годовщину я нахожу за завтраком с полдюжины записочек от него. Часто в конце их стоит: «Н. В. Б. С.», что означает — «На всем белом свете». Например, «Я люблю тебя больше всего Н. В. Б. С.».

«Знаешь,— сказал он кому-то,— если бы Нэнси Дейвис не появилась тогда, я мог бы потерять душу».

Выходя замуж за Ронни, я думала, что выхожу за актера. Но, оглядываясь в прошлое, понимаю: и тогда уже мне следовало догадаться, что актерской профессии ему недостаточно для ощущения полноты жизни. К тому времени его уже в пятый раз выбирали президентом Гильдии актеров кино, и он всегда участвовал в кампаниях по выборам кандидатов в разные органы власти. Я должна была бы обратить на все это внимание, но не обратила. Честно говоря, я никогда не ожидала, что Рональд Рейган займется политикой.

Я думала, что выхожу не просто за актера, а за преуспевающего актера. Но после войны карьера Ронни пошла на убыль, и вскоре после свадьбы мы столкнулись с денежными трудностями. За некоторые фильмы Ронни очень хорошо платили, но он находился тогда в тисках девяностооднопроцентного налога — что впоследствии сказалось на его отношении к налогам вообще.

Несколько первых месяцев мы жили в моей квартире. А потом устроились в доме в Пэсифик-Пэлисейдз, бывшем тогда тихим и доступным предместьем. Никто не мог понять, зачем нам ездить оттуда — из деревни, как тогда считали.

Но у Ронни не было никаких выгодных предложений в кино, и скоро мы оказались в долгах. В 1953 году, несмотря на решение не становиться работающей женой, я снова пошла сниматься; это была картина об ученом, «Мозг Донована», и бюджет ее был весьма скромен. Но что же делать — мы нуждались в деньгах. Для Ронни это было ударом, но фактам нужно было смотреть в лицо и предпринимать что-то вместе. Мне работу найти удалось, а вот его артистическая карьера была на точке замерзания. Мы не отдавали себе тогда в этом отчета, но голливудская деятельность Рональда Рейгана заканчивалась.

У меня нет сомнений в том, что увлеченность политикой начала мешать его творческому развитию. Ко времени нашего знакомства он уже так много занимался делами Гильдии актеров кино, что руководители студии стали воспринимать его не как актера, а, скорее, как противника. Было, конечно, еще телевидение, но Ронни не хотел подписывать контракт на какой-нибудь телесериал, так как боялся превратиться в актера одной роли.

Тогда Эм-си-эй, агентство, которое представляло его интересы, предложило ему участвовать в ночном шоу в одном из клубов Лас-Вегаса. Идея казалась ему отвратительной, но деньги были хорошие, и мы сдались. Сначала его попросили быть ведущим программы со стриптизом, это он отверг с ходу!

В конце концов сошлись на том, что в течение двух недель Ронни будет выступать с «Солдатами войны за независимость», известной мужской вокальной группой. Несмотря на все опасения, он согласился попробовать.

Ронни мог поехать в Лас-Вегас один, но если когда-нибудь мой муж и нуждался во мне, так именно тогда. Позади был ужасный год, у нас родился первый ребенок, и Ронни пробовал себя в чем-то совершенно новом. Никто не знал,

Нэнси и Рональд Рейган в 1987 году.

что из этого получится. Это чуть не убило меня, но я оставила трехмесячную Пэтти дома с женщиной, которая вела у нас хозяйство.

К счастью, Ронни имел большой успех. Я-то это видела — не пропустила ни одного представления. Еще до истечения двух недель стали поступать предложения от ночных клубов Чикаго, Майами и Нью-Йорка. Но двух недель в Лас-Вегасе было достаточно, чтобы мы поняли то, что и так уже знали: ночные клубы не для нас.

Через несколько недель Эм-си-эй сообщила Ронни, что «Дженерал электрик» хочет субсидировать вечернюю воскресную театральную телепрограмму. Им был нужен «хозяин» программы, который представлял бы номера, а также выступал в качестве посланца корпорации, посещая заводы и заводоуправления «Дженерал электрик».

И снова Ронни сомневался, но это было все же лучше, чем Лас-Вегас! И конечно же, и здесь он имел большой успех. К тому же он о б о ж а л эту работу. Он представлял каждый номер программы «Театр «Дженерал электрик» и заканчивал всегда той самой всем известной фразой — «Самая важная продукция нашей «Дженерал электрик» — прогресс».

К 1956 году, через два года этой работы Ронни, мы смогли построить новый дом, побольше, неподалеку от того места, где жили раньше. Это была идея Ронни — объединить рабочий кабинет, гостиную и столовую, чтобы дом казался гораздо просторнее, чем был на самом деле. Он стоял на высоком фундаменте и смотрелся замечательно.

Если верить, как верит Ронни, что все происходящее в жизни имеет свой смысл, то в его работе на «Дженерал электрик», конечно же, скрытый смысл был. Хотя он не баллотировался ни в какой орган власти, за эти восемь лет он приобрел по существу богатый опыт ведения предвыборных кампаний — встречаясь и разговаривая с людьми, вникая в их проблемы и делясь собственными соображениями о том, как их решить.

Именно тогда стали постепенно меняться его политические убеждения. Он вырос в семье демократов и был — и теперь остается — горячим поклонником Франклина Рузвельта. В 1948 году он участвовал в президентской кампании, поддерживая Гарри Трумэна. Два года спустя Ронни был одним из тех, кто пытался убедить генерала Эйзенхауэра баллотироваться в президенты — по мандату демократов.

Но, путешествуя по стране от «Дженерал электрик», Ронни начал менять свои взгляды. Его все больше беспокоило вмешательство правительства в си-

стему свободного предпринимательства — а также и в частную жизнь граждан. Однажды, вернувшись домой из такой поездки, он сказал, что начинает понимать: демократы, за которых он агитирует во время выборов, несут ответственность за те самые вещи, против которых он выступает в промежутках между выборами.

В 1962 году, когда Ричард Никсон боролся с Пэтом Брауном за пост губернатора Калифорнии, Ронни хотел поддержать Никсона и спросил у него, следует ли ему это делать, оставаясь демократом или став республиканцем.

«Демократом вы принесете больше пользы»,— ответил Никсон.

Чуть позднее, когда Ронни выступал с речью в поддержку Никсона, какая-то женщина подняла руку и спросила: «Мистер Рейган, а вы все еще демократ?»

«Да, мэм, демократ»,— ответил Ронни.

Тогда она сказала: «Я заместитель начальника службы регистрации и хотела бы внести поправку».

С этим она, к восторгу присутствующих, поднялась на сцену и зарегистрировала Ронни как республиканца. Он и сам собирался вскоре изменить партийность, и момент оказался подходящим, не хуже любого другого.

К этому времени «Театр «Дженерал электрик» уже кончался. Но не кончалась телевизионная карьера Ронни. Еще два года он представлял «Дни Долины Смерти» — сериал в жанре вестерна, снимавшийся на деньги компании «Боракс».

Во время президентской кампании 1964 года он произнес речь в поддержку Барри Голдуотера, изменившую всю нашу жизнь. В речи, написанной им самим, он касался тех тем, о которых рассуждал, работая на «Дженерал электрик»: опасности, коими чревато непомерное разбухание аппарата управления, утрата личной свободы, падение традиционной морали. Речь заканчивалась на драматической ноте следующими словами: «Нам с вами предстоит решающая встреча с судьбой. Мы можем либо сохранить для наших детей последнюю прекрасную надежду человека на земле, либо обречь их на первый шаг в тысячелетие мрака. Если даже нам не удастся то, к чему мы стремимся, пусть наши дети и дети наших детей будут иметь основания сказать, что свой краткий миг на земле мы прожили не зря. Мы сделали все, что было возможно».

Хоть Голдуотер и проиграл Линдону Джонсону на выборах, речь Ронни позволила собрать такую сумму денег, какой никогда еще не собирал ни один кандидат,— в общей сложности восемь миллионов долларов. Почти сразу же был организован комитет в поддержку кандидатуры Ронни на пост губернатора Калифорнии.

Ронни считал, что они сошли с ума. «Нет,— говорил он.— Нельзя выдвигать человека в губернаторы на основе одной-единственной произнесенной им речи. Кроме того, я не собираюсь заниматься политикой».

Но они не отставали от него, и после долгих наших сомнений Ронни наконец сказал: «Я подумаю. Дайте мне поездить и посмотреть, есть ли у меня какая-нибудь поддержка».

Он, конечно же, победил в 1966 году. Губернатор Пэт Браун баллотировался на третий срок и не воспринимал Ронни как серьезного соперника. В ходе избирательной кампании его люди сделали ужасный рекламный плакат: на нем губернатор, обращаясь к группе чернокожих детей, говорил: «Мой противник — актер. А вы знаете, что это актер убил Линкольна?»

Когда губернатор Браун обрушился на Ронни за отсутствие политического опыта, Ронни с готовностью признал, что не является профессиональным политиком: «У человека, который работает, опыта больше, чем у кого бы то ни было,— сказал он.— Вот почему я баллотируюсь».

Другое удачное высказывание Ронни периода той кампании касалось щедрости губернатора за счет общественных фондов. «Поступать в соответствии с обещаниями губернатора Брауна,— сказал Ронни,— это все равно, что читать «Плейбой», когда жена переворачивает тебе страницы».

Однако его жена не хотела принимать никакого участия в кампании. Я робела тогда, была испугана, а мне предстояло выступить с речью. Многие недоумевали, почему после стольких лет, проведенных в театре и кино, я так волновалась. Но для меня разница была огромной. Как актриса я играла роль, которую мне написали. Выступать же с политической речью — совсем другое дело. Здесь не спрячешься под маской персонажа, для того же, чтобы играть самое себя, я была слишком скрытна.

И тогда советники Ронни пришли ко мне и сказали: «Нэнси, Калифорния — большой штат. Твой муж не в состоянии побывать во всех маленьких город-

ках. Ты можешь помочь? Было бы прекрасно, если бы ты поехала в некоторые из них и провела там встречи вопросов и ответов».

Они, конечно, знали мое слабое место! Чтобы помочь Ронни, я готова была на что угодно, нужны вопросы и ответы — пусть будут вопросы и ответы. Это не так официально, как произнесение речи, и контакт с аудиторией меня устраивал. Кроме того, это еще и познавательно. Из их вопросов я могла узнать, о чем думают люди, и, вернувшись, рассказать об этом Ронни.

Я начала также кое-что понимать в том, как вести избирательную кампанию. Например, я запомнила, что нельзя упоминать названия города, в котором находишься, потому что, когда посещаешь шесть таких городков в один день, не мудрено где-нибудь и ошибиться. Поэтому вместо того чтобы сказать: «Мне приятно посетить Филмор», следует говорить: «Я рада, что приехала сюда».

Ронни одержал сокрушительную победу над Пэтом Брауном с перевесом почти в миллион голосов. Вечером в день выборов мы ужинали с друзьями и о результатах услышали по радио в машине, когда ехали в штаб избирательной кампании. Я столько раз представляла себе это ожидание и то, как мы всю ночь слушаем отчеты о результатах выборов, но — пусть это покажется глупым — здесь я почувствовала разочарование. Мы приложили столько усилий, что быстрая и ошеломительная победа Ронни вызвала едва ли не упадок сил.

Став губернатором, Ронни должен был переехать в Сакраменто. В течение первых двух месяцев я оставалась в Пэсифик-Пэлисейдз и лишь на выходные приезжала в Сакраменто: мне не хотелось срывать с занятий посреди учебного года нашего сына Рона, которому было тогда восемь лет. (Пэтти к тому времени училась в школе в Аризоне.) Но мне страшно не хотелось и оставлять Ронни одного в губернаторском дворце, весьма унылом сооружении.

За несколько недель до приведения Ронни к присяге миссис Браун провела меня по дворцу. Когда осмотр закончился, представители прессы спросили, как он мне понравился. «Обожаю старые дома»,— ответила я. Но не добавила вслух: и ненавижу аварийно ветхие старые дома! — каковым, несомненно, был этот.

Так называемый дворец, построенный в 1877 году, объявили пожароопасным еще за несколько лет до того, как мы в нем поселились. Это была гнилая коробка, деревянные части которой превратились в сухую труху. Миссис Браун не скрывала этого. Отсутствовало заземление. Дом располагался на шумной улице в деловой части города, напротив него находился мотель, а с другой стороны — заправочная станция.

По дому, кроме того, гуляли сквозняки, и нам не разрешали пользоваться каминами, поскольку это было небезопасно. Проблема безопасности выдвинулась на первый план, когда однажды в пятницу днем сработала пожарная сигнализация. Потом оказалось, что тревога была ложной, но в тот момент — тогда мы уже все там жили — я ворвалась в комнату Рона, схватила его за руку и мы скатились с ним вниз по лестнице. В доме не было аварийных пожарных выходов. В нашей спальне лежала веревка, которую можно было выбросить в окно и спуститься по ней на землю. Смешно!

Я пошла к начальнику пожарной охраны и поинтересовалась, какие инструкции мне следует дать сыну на случай действительного пожара: «Мы ведь не можем даже окна открыть, потому что несколько лет назад рамы были намертво закрашены».

Он ответил: «О, миссис Рейган, это же очень просто. Скажите, чтобы он вытащил ящик из комода и, держа его прямо перед собой, разбежался, разбил окно и выкарабкался наружу».

Какой кошмар, подумала я. Как я объясню *такое* восьмилетнему мальчику?

Когда в тот вечер Ронни вернулся домой, я заявила: «Знаешь что? Мы переезжаем. Я не допущу, чтобы ребенок рос в аварийном доме».

Ронни согласился со мной, но советники его пришли в ярость. Я терпеть не могу идти против подчиненных мужа, но здесь была тверда. «Ничего не могу поделать,— сказала я им.— Я не в состоянии выполнять обязанности жены губернатора и нести ответственность за ребенка в таких условиях. Что-то да пострадает непременно. К тому же я уверена, что жители Калифорнии все поймут».

И они поняли, особенно матери. Моя правота подтвердилась через несколько лет, когда во дворце устроили музей и начальник пожарной команды Сакраменто запретил допускать посетителей на верхний этаж. Значит, нам можно было *спать* там, куда посетителям опасно даже просто подниматься!

В апреле 1967 года мы поселились в предместье, это был загородный дом в английском стиле. Хотя семью губернатора положено обеспечивать жильем, мы сами платили за аренду дома. Позднее несколько наших друзей купили этот дом, и мы продолжали снимать его у них.

Когда Ронни решил баллотироваться в губернаторы, я поняла, что жизнь наша станет совершенно иной. Но я и представить себе не могла, насколько иной она будет, до тех пор пока мы не переехали в Сакраменто. Впервые в жизни нам пришлось столкнуться с прессой, далеко не всегда доброжелательной, и с политической оппозицией, всегда агрессивно враждебной.

Если ваш муж занимает официальный пост, вы не можете позволить себе говорить, что вздумается, и по-своему оценивать события. Поэтому у меня вошло в привычку каждый раз, когда появлялась критическая статья о Ронни, уходить в ванную и там, лежа в воде, вести воображаемый диалог с журналистом или политиком, написавшим или сказавшим о Ронни нечто ужасное. В этих поединках я была великолепна. И, разумеется, не слыша никаких возражений, всегда одерживала победу. Потом это банное честолюбие улеглось. Я прекратила воображаемые устные баталии еще до того, как мы переехали в Вашингтон — и правильно сделала. А то мне пришлось бы провести в ванне полных восемь лет!

Здесь не место спорить о том, чего достиг Ронни за два срока своего губернаторства в Сакраменто. Но я была поражена тем, насколько захватила его политика — отчасти, уверена, из-за того, что он получил возможность каким-то, пусть незначительным, образом помогать людям. Когда некий восьмидесятилетний человек написал ему, что собирается жениться, но у него нет подходящего для свадьбы костюма, Ронни отдал ему один из своих. Когда один солдат, служивший тогда во Вьетнаме, прислал Ронни чек и попросил, чтобы его жене передали цветы в годовщину их свадьбы, Ронни вручил ей их лично, чем потряс молодую женщину.

Одним из самых больших огорчений для него в те годы было то, что он часто не мог найти общего языка со студентами.

Во время избирательной кампании его прекрасно принимали в студенческих городках, потому что он был кандидатом со стороны. Но как только его выбрали, он стал для них частью истеблишмента. Однажды в Университете штата Калифорния какой-то студент вскочил и заявил, что люди поколения Ронни не способны понять нынешнюю молодежь. «Вы росли в другом мире,— продолжал он.— Сегодня для нас обычное дело телевидение, реактивные самолеты, космические путешествия, атомная энергия, компьютеры...»

Когда он на секунду замолчал, чтобы перевести дыхание, Ронни сказал: «Вы правы. Когда мы были молоды, у нас всего этого не было. Мы все это изобрели».

Помню последний час, проведенный мною в доме в Сакраменто в последний день второго губернаторства Ронни. Уже несколько недель я паковала вещи и присматривала за их отправкой. Этот предмет мебели возвращается штату, этот едет на наше новое ранчо близ Санта-Барбары. (Когда Ронни выбрали губернатором, ранчо в Лейк-Малибу мы продали.) Все остальное отправляется обратно в Пэсифик-Пэлисейдз. В этой суете я не нашла минутки, чтобы осознать факт нашего отъезда.

И вдруг оказалась в доме одна. Кроме кровати, всю мебель уже увезли. Садилось солнце, и в ожидании Ронни, который должен был за мной заехать, я присела на кровать и взглянула на сад, который теперь, когда цвели камелии, был так прекрасен. Мы полюбили этот дом.

Опускались сумерки, и я подумала: так вот как это кончается? Восемь лет нашей жизни в политике были позади. Кое-кто из советников Ронни, правда, поговаривал о его участии в борьбе за президентский пост в 1976 году, но я не придавала серьезного значения этим разговорам. Когда мы в тот вечер покидали Сакраменто, я искренне верила, что с политикой покончено навсегда.

(Окончание следует)

РУБЕЖ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

АЛЕКСАНДР ЯКИМОВИЧ

УТРАЧЕННАЯ АРКАДИЯ И РАЗОРВАННЫЙ ОРФЕЙ

Проблемы постмодернизма

Одним из многих симптоматических явлений последнего времени была статья (первоначально — доклад) профессора Ханса Кюнга (ФРГ) «Религия на переломе эпох», опубликованная в «Иностранной литературе» (1990, № 11). Патер Кюнг известен своими выступлениями в пользу новых экуменических отношений между церквами и верующими. Примечательно то, что дух плюрализма и толерантности, защитником которого он выступает, ассоциируется для него с теми парадигмами сознания и культуры, которые именуются сегодня «постмодернистскими».

Это актуальное слово приводит нас, вслед за священником-профессором, в причудливый мир современной философской, социологической, культурологической мысли.

В этом странном мире очень часто под «модернизмом» понимается нечто иное, как господствующее умонастроение Нового времени — условно говоря, умонастроение Декарта — Ньютона — Канта — Маркса. Уверенность в возможностях просвещенного Разума и могущественного Прогресса обозначается у Кюнга, как и у многих других, существительным «модернизм» и его производными. Что же касается пресловутого постмодернизма, то он, с этой точки зрения, является выводом или следствием, неотвратимо заявившим о себе в результате тех неудач, угроз и парадоксов Разума и Прогресса, которыми так обилен XX век.

Отсюда следует, что все, именуемое в искусстве и литературе модернизмом или авангардизмом (то есть начиная с Пикассо, Дюшана, Аполлинера, Джойса), решительно не совпадает с тем, о чем говорят философы, историки, социологи, теологи, пользующиеся этим же термином. С точки зрения литературоведения и искусствознания к «модернизму» причисляют произведения искусства и литературы, основывающиеся на таких парадигмах сознания, которые решительно противостоят классическому рационализму. Если принимать кюнговское словоупотребление, то модернистом придется назвать, например, Пуссена; Пикассо и Кандинский уже будут постмодернистами.

Уже из этих беглых первоначальных наблюдений становится ясно, что в сфере гуманитарных знаний начисто отсутствует консенсус по поводу одного из ключевых понятий конца XX столетия. Интерес же к этому понятию и к стоящим за ним реалиям жизни и культуры поистине огромен. Достаточно сказать, что в этой области активно работают ведущие умы современной философии, социологии, истории, литературоведения и искусствознания.

А вот по каким причинам нужно — если нужно — интересоваться этими спорами и проблемами в Советском Союзе? Я полагаю, что нас подталкивает к изучению проблем постмодернизма не только чисто академический интерес.

Мы начинаем понемногу догадываться к концу столетия, что у нас самих есть некоторые зачатки своеобразной независимой философской мысли, каким-то образом развившейся в стороне от официальной. Достаточно упомянуть книги А. Синявского, А. Зиновьева и М. Мамардашвили[1]. Нетрудно заметить, что их осмысление советского «жизненного мира» (Lebenswelt — очень удачный термин немецкой социальной философии) неотделимо от главного русла развития мировой философской мысли того же времени.

Наши мыслители описывают «новую реальность», которая отличается несколькими необычными свойствами. В ее рамках как бы не действует логический закон противоречий. Поэтому, например, официальные структуры позднего социалистического государства (истребившего в себе поползновения частной собственности) с удивительной легкостью и непосредственностью превращаются в некие подобия акулоподобных монополий раннего капитализма. И дело здесь, скорее всего, вовсе не в «перерождении» КПСС. Партия верна своему курсу.

---

[1] A. Sinyavsky. Soviet Civilization. A Cultural History. N. Y. 1990. А. Зиновьев. Гомо Советикус. М., 1990; М. Мамардашвили. Как я понимаю философию. М., 1990.

Суть дела в том, что ее структуры существуют в таком «жизненном мире», где противоположные вещи акцентируются как вещи идентичные. Например, диктатура рассматривается как «высшая форма демократии».

Серьезная философская мысль, в отличие от крикливой перестроечной публицистики, не предлагает простых и радикальных рецептов улучшения мироустройства. Она предлагает наконец задуматься всерьез о том, в каком же мироустройстве существует советский человек. Она описывает параметры этой «новой реальности». Пересказывать или комментировать идеи нашей независимой философии здесь не место. Речь идет о другом.

Если говорить об аналогиях и параллелях советского «жизненного мира», то, как давно уже понятно историкам, надо прежде всего вспомнить «новый порядок» гитлеровской Германии. Оскар Негт и Александер Клюге точно уловили суть национал-социалистской системы в своих парадоксальных холодноватых заметках: «...человек именовал себя в частной жизни Вольфом, звался Адольфом, целовал женщинам руку, отдавал преступные приказы, был вегетарианцем, заботился о национальной кухне и единстве, чудовищным образом притеснял чужие народы [2]».

Якобы отчужденный взгляд известных публицистов уловил едва ли не самое главное. Перед нами — такая реальность, где теряет смысл наша способность различать противоположности (Unterscheidungsvermögen). Здесь не действует закон исключенного третьего, и потому некий «дядюшка Вольф» — совершенно обычный человек, а вовсе не демон — может заниматься, наряду с целованием дамских ручек, еще и геноцидом, причем в мировом масштабе.

Он не злодей и не сумасшедший, как о нем говорили его политические противники. Он в самом деле хотел человечеству добра (не всему человечеству, а избранному, и не всякого добра, а только определенного, но это уже другое дело). Ради блага своего народа он придумал, например, обновить и усовершенствовать религию путем соединения двух источников: древней, почвенной, истинно народной «Эдды» с Новым Заветом Иисуса Христа. Прямодушный энтузиаст Вольф полагал, что могущество Нового Человека, Сверхчеловека, настолько велико, что может соединить что угодно с чем угодно и превратить что угодно во что угодно. Правда, он не додумался до превращения елки в сосну и до поворота течения Рейна в обратном направлении, поскольку, вероятно, вечная немецкая ограниченность сковывала его фантазию. И все же он был человеком «новой реальности», человеком мощной утопической энергии. Если бы Германия имела своего Андрея Платонова, то в написанном им немецком варианте «Чевенгура» наверняка фигурировал бы подобный же энтузиаст, вегетарианец, мечтатель, галантный мужчина и бич божий.

Утопическая энергия чевенгурцев и национал-социалистов была столь сильна, что она отбрасывала попытки просвещенного разума и нравственного инстинкта сказать о том, что есть на свете вещи непозволительные и есть вещи несоединимые. Буржуазная ложь, расово неполноценные измышления! Пределов нет для нас. Мы соединим «Эдду» с Четвероевангелием, почвенный мистицизм крови (германской или русской) — с атеистическим социализмом и заповедями Христа. Мы можем отчеканить такие формулы, как «социализм с человеческим лицом» или «регулируемый рынок» — то есть фактически провозгласить, что противоречие в определении является основой нашего мышления.

Велика сила утопических энергий, она заставляет верить в то, что несоединимое вот-вот будет соединено, что истина и рай земной совсем близко, только надо идти за теми, кто знает правильный поворот — за харизматиками. Когда корабль утопии гибнет, утописты умеют перепрыгнуть на другой корабль. Бурный старт «перестройки» был именно таким прыжком.

Впрочем, новый корабль не мог далеко уплыть. Нельзя не считаться с тем, что вторая половина XX века оказалась для всего мира главным образом эпохой прощания с иллюзиями и эпохой утраты утопических энергий. В этом смысле Восток и Запад двигались в одном направлении, хотя и в разном ритме. Поэтому неудивительно, что многие формулировки и выводы западных мыслителей обладают поразительной актуальностью для тех, кто пытается осмыслить духовную ситуацию позднего, распадающегося тоталитаризма.

Вера в Человека (с большой буквы) и его способность самостоятельно, с помощью своего просвещенного Разума (тоже с большой буквы), стать властелином бытия и устроить совершенный миропорядок — эта вера основательно подорвана. Ханс Магнус Энценсбергер составил примечательное перечисление достоверных истин конца XX века. Он написал, что ныне любой прохожий уже интуитивно понимает, «что никакого «мирового духа» не существует; что законы истории нам не известны; что даже классовая борьба есть процесс сугубо органический, так что никакой авангард не в состоянии сознательно планировать и направлять его; что общественная (как и природная) эволюция не знает субъекта и потому непредсказуема; что, действуя в политической сфере, мы никогда не достигаем именно тех целей, которые были поставлены, а достигаем чего-то иного, чего мы и вообразить себе не могли; и что именно во всем этом находятся причины кризиса всех позитивных утопий» [3]. В общем, ситуация такова, что, как мрачновато шутил «евромарксист» Петер Глоц, даже самое упорное из всех идеологических страховых обществ — марксисты — вынуждено прекратить платежи.

Один из известнейших социальных мыслителей современного Запада, Юрген Хабермас, читает в 1984 году принципиально важный доклад под названием «Исчерпан-

---

[2] O. Negt, A. Kluge. Die Geschichte von den sieben Geisslein. In: Stichworte zur «Geistigen Situation der Zeit», I Band. Frankfurt/M., 1979, S. 151.

[3] H. M. Enzensberger. Bemerkungen zum Weltuntergang. In: Kursbuch, 5, 2, S. 7.

ность утопических энергий». Хабермас избегает пользоваться громкими и эффектно звучащими словами вроде «постмодернизма» (точнее, он отводит этому термину определенное место, ограничивая его пределами искусства, но не шире того). Приблизительность эссеистических формулировок и пафос проповедничества — это как раз то, чего он хочет избежать. Но когда он описывает состояние «исчерпанности утопических энергий», он говорит, в сущности, о том самом, что именуется другими авторами постмодернизмом. Речь идет о дискредитированности суверенного Разума, о кризисе идентичности современного человека, который как бы потерялся в мире. Оказалось, что в этом мире не так уж много «рациональности». Впрочем, и Макс Вебер говорил о том, что процесс рационализации всех сторон жизни человека не уничтожает иррациональных сил. Эти иррациональные силы выходят наружу в то самое время, когда рациональность, казалось бы, торжествует. «Автономия превращается в зависимость, эмансипация — в подавление, рациональность — в неразумность»,— заявляет Хабермас[4].

По его словам, в конце XX столетия человек обнаруживает, что существует в каком-то тягостном безвременье, в каком-то не-времени. Рациональная ясность мироустройства не достигнута, а «магическая ясность» утеряна. Вероятно, сам автор этих определений не подозревает о том, в какой степени они адекватны ситуации в России: доклад «Исчерпанность утопических энергий» мог бы очень естественно поместиться в какой-нибудь постперестроечной, постутопической книге (вроде «Анатомии застоя», изданной «Прогрессом» в 1991 году).

В конце столетия западная культура, как загипнотизированная, не может оторваться от мысли о своем внутреннем антропологическом кризисе, о своей сомнительности. Мысль о ненадежности и шаткости ценностей европоцентристского мира — одна из постоянных идей 1970 и 1980 годов. Жак Деррида неоднократно развивал мысль о том, что человек поздней западной цивилизации живет в такой действительности, которая полна «неразрешимостей», indecidables. Это действительно так. Человек не знает — и не может знать — устройства тех небывалых механизмов и приборов, которые облегчают его жизнь и труд. Он может не знать и не понимать писателей и философов, но умело цитировать их — потому что компьютер найдет и скомбинирует эти цитаты. Более того. Человек не знает, в сущности, что такое деньги, как действуют банки и как устроена финансовая система. Ему, в сущности, достаточно знать, что красиво сделанный кусочек пластика, именуемый «кредитная карточка», обеспечит ему жизнь и комфорт. Мир состоит из неизвестных величин, о которых необязательно заботиться. О них кто-то заботится. Делай свое дело как следует и не ломай себе голову, или, как сформулировали неоконсерваторы, «поменьше рассуждай». Это не очень интеллигентно, зато удобно.

Однако, как выяснилось, комфортность существования при минимальном количестве рассуждений в мире, который состоит в значительной степени из неизвестных величин («неразрешимостей»),— это очень сложное дело. Какое-то беспричинное смятение поселяется в душах людей. Мир вокруг неясен, а оттого бесприютен (при том что он как будто безмятежен, обилен и благоустроен). Этот мир и стал предметом изображения так называемого постмодернизма в искусстве, архитектуре, литературе.

В постмодернистской архитектуре иногда как будто намечается логика, система координат: глаз различает там то классический ордер, то инженерную металлическую конструкцию в духе Эйфеля, то лапидарный геометризм конструктивизма. Однако все воспоминания об архитектурных системах возникают главным образом ради того, чтобы себя же и опровергнуть. Они сочетаются вызывающе странным образом, они нежданно-негаданно выплывают наружу из хаоса форм и так же внезапно проваливаются в пустоту, в бесстильность и в какое-то Ничто. Здесь масса исторической эрудиции и большое умение играть с цитатами, но принцип этой игры — неуверенность, двусмысленность и парадокс.

Венский «Хаас-хаус» отражает в своем криволинейном, абсолютно зеркальном фасаде противолежащий ему фасад собора Св. Стефана, а причудливыми надстройками над боковыми фасадами перекликается со средневековой застройкой старой Вены. Но, зайдя внутрь, натыкаешься на пульсирующие органически-биоморфные формы, немного в духе позднего Корбюзье, а высоко над головой, как венец всему, виднеется традиционный японский мостик, словно с гравюры Хокусая.

«Храм потребления и досуга» в центре австрийской столицы — здание символическое, знак времени. Его магазины, рестораны, лавочки и места отдыха вполне уютны и дружелюбны. Но здесь возникает ощущение, вообще неотделимое от постмодернизма в искусстве и литературе. Когда в них вживаешься, то становится непонятно, где находишься и что с тобой происходит. Кто мы такие, спим ли мы или бодрствуем, в своем ли мы уме или нет, на каком мы находимся континенте и что это за мир вокруг нас? Постмодернизм заставляет ставить перед собой именно такие или подобные вопросы.

Это было в то самое время, когда социальная мысль и культурология Запада описывали мироощущение человека, который не только «исчерпал утопические энергии», но и утратил вообще уверенность в обоснованности своего бытия, утратил ясность ориентации в мире, состоящем из неясностей и «неразрешимостей».

Человек до сих пор ориентировался в реальности (природной, исторической, социальной) и определял свое положение в ней за счет того, что он противопоставлял друг другу понятия, рассматриваемые как противоположные. От стадии первобытного мифа до стадии философии структурализма человек исходил из того, что друг другу противостоят такие вещи, как небо и земля, мужчина и женщина, жизнь и смерть, добро и зло, истина и ложь, реальное и нереальное, смысл и бессмыслица.

---

[4] J. Habermas. Die neue Unübersichtlichkeit. Frankfurt / M., 1985. S. 144.

Очень трудно представить себе даже гипотетическую возможность такого сознания, в котором эти противоположности не действительны. Можно ли вообще считать его человеческим и земным сознанием? Тем не менее в конце XX столетия — в эпоху самых невероятных вещей, ставших реальностью,— философская мысль начинает всерьез рассматривать такую парадоксальную ситуацию, когда в сознании рушится и исчезает система символических противоположностей, когда сам принцип оппозиции и закон исключенного третьего теряют власть. И это не просто игра ума, а острая актуальная проблема жизни.

Прежде чем приступить к собственно философии, следует закончить краткий экскурс в искусство и литературу постмодернизма. Это тем более оправданно, что и искусство, и искусствознание так же неотделимы от культурологии, как культурология — от общей теории познания. Постмодернизм размывает границы творческих занятий.

В 1971 году вышло фундаментальное литературоведческое исследование И. Хассана, носящее заглавие «Расчленение Орфея. К проблеме постмодернистской литературы»[5]. Для того чтобы определить основное свойство новой постмодернистской литературы, Хассан вспоминает миф об Орфее, разорванном на куски обезумевшими менадами. Само название книги говорит о том, что отсутствие целостности, разорванность смысловых структур — это и есть то самое, что определяет новое искусство и нового человека в конце столетия.

«Расчлененный Орфей» не вызывает сожаления у автора знаменитого исследования. Сочувствие, упрек или поучение — это совсем не то, что нужно американскому ученому, который не выносит «идеологичности» и любит прагматизм. Прагматики и позитивисты американского склада умеют иронизировать и критиковать, и делают это довольно едко, но только в определенном духе. Позитивист хочет избежать впечатления, что он хоть как-то фантазирует насчет того, какой должна была бы быть литература. Его самое большое желание (очень трудное в осуществлении) — отразить положение вещей, как оно есть, без всяких домыслов.

Этого хочет и Хассан, но он хочет добиться еще и стройности изложения. Он строит схему: модернизм с одной стороны, постмодернизм — с другой. Для модернизма характерны «форма», «намерение», «проект», «иерархия» (иными словами, модернизм весьма рационален, разумен, организован). Напротив, постмодернизм отличается такими чертами, как предпочтение «антиформы», «игры», «случайности» и «анархии».

Нет необходимости подробно излагать или обсуждать книгу И. Хассана. Она — часть общего движения мысли об искусстве. Активность авторов книг и статей, оперативность журналов и издательств довольно быстро привели к возникновению целой библиотеки о культуре постмодернизма. Обзорная книга Стивена Коннора «Постмодернистская культура» явилась своего рода проспектом и каталогом этой библиотеки; там приведены довольно обширные списки литературы, изданной до 1990 года[6].

Основные мотивы и идеи этой библиотеки нам уже в какой-то мере известны. Речь идет то и дело о неопределенности и изменчивости темы, сюжета и смысла, о принципиальной и последовательной «деконструкции» смысловых построений («деконструкция» — еще один, и очень знаменитый термин Жака Деррида). Речь идет об отсутствии единого подхода и фиксированной точки зрения, о принципиальной бесконечности подходов и комбинаций, о децентрализованности произведений искусства и литературы, то есть об отсутствии главного героя, главного сюжета, главной идеи. Теоретики говорят, что художники отказываются от самого принципа «смысла», то есть определенного, структурированного, однозначно понимаемого послания.

Особенно часто критики и теоретики искусства и литературы ссылаются на роман Умберто Эко «Имя розы»[7]. Эта книга, написанная в 1980 году, стала как бы символом времени.

Она, в сущности, подвергает сомнению разумность разумного миропорядка, где господствуют смысловые системы. С одной стороны, «Имя розы» наполнено отголосками мистического богословия (причем они вполне серьезны и свидетельствуют о подлинной теологической эрудиции автора). С другой стороны, перед нами детектив, образцовый жанр «массовой культуры» второй половины XX века. Богопознание в форме триллера? Разве одно не опровергает другое, как несовместимые формы в архитектурном сооружении постмодернизма? Речь идет и о поисках мистических связей человека с высшими силами, и о розыске преступника. Сюжет и действие сконцентрированы вокруг тайны, загадки или нескольких загадок. Загадочен монастырский лабиринт, а точнее, закрытая от мира и для мира древняя библиотека, расположенная в лабиринте. Она — и символ культуры, и символ мироздания, и вообще чего угодно. Загадочен и весь монастырь. Его жизнь, его обитатели — тоже своего рода «лабиринты», в которых не так-то просто разобраться,— может быть, еще сложнее, чем в секретах библиотеки. Здесь вдохновенная мысль и святое подвижничество причудливо переплетены с сомнительными тайнами, убийствами и эротическими похождениями. Здесь что угодно оборачивается чем угодно. Истина и ложь, высокое и низкое, добро и зло переворачиваются и меняются местами таким непостижимым образом, что за ними невозможно уследить.

Иррациональное, немыслимое, «безумное» часто служило в мистической мысли доказательством присутствия Бога, который неизмеримо выше человеческого разума. Но это подтверждало системность мироздания, его устроенность по определенному принципу. Книга Умберто Эко о странностях и тайнах средневекового монастыря повествует, скорее, о неустроенности, неясности, «не-

[5] I. Hassan. The Dismemberment of Orpheus. Towards a Postmodern Literature. New York, 1971.

[6] S. Connor. Postmodernist Culture. An Introduction to Theories of the Contemporary. Cambridge/Mass., 1990.

[7] См. «ИЛ», 1988, № 8—10.

разрешимости» мироздания, которое не дает нам возможности быть уверенными в чем-либо.

Характерно и многозначительно то обстоятельство, что в самом начале романа его главный герой (человек тоже странный и загадочный) произносит слова, которые являются, быть может, ключевыми для понимания всей книги. Мысль заключается в том, что сам рай господень, вероятно, есть не что иное, как ад, но только увиденный с другой стороны. Эта причудливая идея естественным образом вытекает из мистической теологии прошлого (например, подобные мысли об аде и рае есть у Якоба Бёме). Но это уже мысль не мистическая, или, если угодно, мистика без Бога. Мистика мироздания, понятого как неразрешимый узел противоречий, как лабиринт.

Примерно то самое, что художники эпохи изображают, мыслители пытаются сформулировать в более или менее строгих определениях — хотя и трудно было разрешить такую проблему, как разумный, рациональный подход к внерациональным закономерностям. Возможно ли описать в логически структурированном тексте неструктурированное, разорванное сознание?

Показательно, что в решении этой противоречивой задачи впереди всех прочих оказались представители французской эссеистически-афористической традиции философского мышления. Наследникам Монтеня и Паскаля было в известном смысле проще иметь дело с комплексом вопросов, связанных с понятием «постмодернизм», нежели последователям Канта или Гуссерля.

Жан-Франсуа Лиотар описывал ментальность конца XX века как сугубо хаотическое состояние души, как потерянность ума [8]. Такому сознанию, которое находится в «постмодернистской кондиции», сама реальность является как что-то сомнительное и неубедительное. Где мы пребываем — на каком вообще свете — и почему и как происходит все то, что происходит, да и происходит ли вообще — все это суть вопросы без ответов. Разумное от безумного отделить невозможно. Подлинно твердых параметров не существует ни в так называемом объективном мире, ни в человеке.

Лиотар назвал такое положение вещей «кризисом легитимности». Он имел в виду то, что всякое знание о реальности и любая интерпретация реальности человеком в определенной точке истории потеряли подлинную убедительность для человека. Все то, что до сих пор помогало осмыслять мир и легитимизировать его, то есть считать его существование оправданным и нужным (наука, искусство и религия), оказалось «необязательным». И не то что появилась сознательная оппозиция. Нет, скорее, чувствуется некое глубокое равнодушие человечества к интерпретациям мира, к системам философии, к идеям о мире, к образам мира. Мир и человек каким-то образом утратили значительную часть своей легитимации.

Такими же или подобными утверждениями изобилует современная мысль о человеке и обществе. Да и трудно было бы ожидать чего-то другого. Исторический опыт XX века дал свои плоды. Неслыханное по масштабности и «глубине» насилие над человеком (физическое, моральное и прочее) в виде тоталитарных режимов и в разных прочих видах показало людям такие истины о них самих, каких прежде они, по-видимому, не знали (достаточно вспомнить описание «дядюшки Вольфа» у Негта и Клюге). Появились такие неслыханные реалии, как возможность конца истории и самоубийства человечества в результате ядерного или экологического (включая ядерный) коллапса. Пароксизмы национализма и фундаментализма оттеняют эти итоги века. Триумфы разума и реальная возможность практически всеобщего благополучия человечества имели дополнение в виде угрозы истребления всего живого на планете.

Права постоянного гражданства в философии приобретает к концу тысячелетия проблема антропологического кризиса. Изучение западного общества — общества потребления, информации и досуга — показало, что «качество человека» в этом обществе не возрастает, а падает. Неутомимый труженик и независимая индивидуальность — то есть тот человек, на плечах которого построена западная цивилизация,— уходит с общественной арены. Одномерный человек и конформист берут верх. Правда, еще тревожнее обстояло дело в «мире социализма». Независимая социальная мысль сталкивалась здесь с таким кризисом ценностей, рядом с которым процессы Запада представлялись совсем не страшными — а ведь эти процессы побудили столь глубокого мыслителя, как Мишель Фуко, еще в 1960-е годы метафорически задавать вопрос: а не умер ли уже сам человек? Фуко не мог найти в современности того человека, каким он был изображен в трудах философов и произведениях художников.

Социальная мысль Запада двигалась при рассмотрении этих вопросов по нескольким направлениям. Пожалуй, нагляднее всего и ярче всего действовали те, кто занимался парадоксальными следствиями развития массовых коммуникаций и «общества информации». Особенно же выделился Жан Бодрийяр.

Его мысль о том, что в конце XX столетия дело дошло до того, что сама реальность «агонизирует», стала крылатой и вездесущей. «Агонию реальности» стали поминать как аксиому современности. Бодрийяр имел в виду, что сама идея реальности как чего-то объективного, независимого от человека и отличного от выдумки или иллюзии пропадает в сознании. Сама реальность «агонизирует» — то есть человеку уже не известно доподлинно, существует ли то, что по традиции именуется «реальностью» или «объектом». Причиной этой трансформации сознания Бодрийяр считает прежде всего средства массовой коммуникации.

Казалось бы, их небывалое развитие во второй половине XX века должно было означать небывалое приближение к реальности. В известном смысле так и было. Каждый мог узнать если не обо всем на свете, то во всяком случае о столь многом, что этому множеству информации нет аналогий в прошлом. Можно мгновенно связаться с любой точкой планеты (правда, «точки» со-

[8] J.-F. Lyotard. The Postmodern Condition. Manchester, 1984.

ветской Евразии были исключением, но это уже особый разговор). Моментально узнать можно не только о том, что происходит везде в мире, но и о том, что хранится в памяти человечества. Одно нажатие клавиши — и факты, сведения, данные любого рода в вашем распоряжении.

Человек таким образом приближает к себе реальность и добивается нового успеха в освоении истины. Но тут случается непредвиденное. Общество тотальной информированности вовсе не есть общество истины, утверждает Бодрийяр. Наоборот. Реальность почему-то уходит тем дальше, чем она казалась ближе. Дело в том, что самая могущественная в истории технология добывания истины начисто лишена способности отличать истину от фикции. Система массовых коммуникаций современного типа прямо-таки провоцирует работающих в ней людей «фабриковать реальность» по своему усмотрению.

Реальность и истина оказались множественными. Единственной реальности как бы и нет вообще. Без всякой лжи можно — с помощью некоторых односторонностей в освещении фактов — создавать разные, равно обоснованные фактами картины реальности. Если же требуется радикально подменить реальность, то и для этого есть великолепные средства. Современная технология коммуникаций позволяет уже «документально воспроизводить» факты, предметы, процессы, явления, которых никогда не существовало в реальности — то есть в той реальности, которая до сих пор считалась таковой. Пока еще есть методы и критерии, позволяющие выяснить «подделку». Но можно быть уверенным, что наука добьется того, что этих критериев не станет. Вероятно, уже в скором будущем можно будет воспроизвести реальность (или «реальность») не на фотографии, не на видеокассете, а в мозгу человека. Причем любую реальность. Человек сможет жить в той реальности, в какой захочет. Будут решены проблемы потребления, политической системы, религии и всего прочего. Все это — за счет полной туманности в одном: а где же «настоящая» реальность?

Озадачивающие рассуждения Бодрийяра о судьбе реальности в «обществе информации» прозвучали на пороге 70-х годов (например, его ранняя работа «Реквием по массовым коммуникациям» появилась в 1972 г.). Шок и разочарование итогами «молодежной революции» 60-х годов обернулись, среди прочего, насмешливыми и безжалостными парадоксами о «гибели реальности». Бодрийяр стал одним из интеллектуальных «гуру» западного мира. Он умел чеканить красивые афоризмы и эффектные пассажи. Те, кому было трудно осилить действительно нелегкие книги Хабермаса или не хватало на это времени, могут прочитать в газетах последние парадоксы Бодрийяра. Серьезные ученые и академическая среда относятся к нему настороженно: какой-то слишком эффектный, газетный, экранный, сенсационный человек. И тем не менее его основные идеи вошли в «корпус» социальной мысли конца века. Противоположность подлинного и неподлинного, истинного и неистинного, реального и нереального — то есть один из краеугольных камней человеческой культуры вообще — ставится под сомнение самим существованием информационного общества.

Разумеется, для России эта проблема «потерянной реальности» первостепенно важна. Проблема «подмены» реальности, исчезновения различий между добром и злом, истиной и фикцией — это едва ли не самая фундаментальная проблема человека, исчерпавшего энергию социалистической утопии советского типа. Как это ни странно для нас, западная мысль практически никогда не имеет в виду сочеловека из Восточной Европы. Молчаливо предполагается, что уровень развития общества там таков, что проблемы Хабермаса — Лиотара — Бодрийяра не актуальны для русских, поляков или чехов. Но откуда тогда признаки постмодернистского мышления в литературе и искусстве «не доросших» до постмодернизма стран? Может быть, они столкнулись с этим общественно-культурным синдромом как-то иначе, на другом витке развития, или выйдя к нему с другой стороны — не со стороны изобилия, потребления, досуга и информации, а со стороны дефицита, недопотребления, не-досуга и недо-информации? Может быть, действовали какие-то особые факторы, которые приводили к «подмене» реальности в сознании?

Феномен «превращенного» сознания, для которого теряет смысл понятие объективной и независимой реальности, крайне занимает и неомарксистскую социологию. Эта традиция не прервалась ни на Франкфуртской школе, ни на «новых левых». Помимо Хабермаса, традицию продолжали в 1970-е и 1980-е годы, например, Эрнест Мандель и Фредерик Джеймсон [9]. Разумеется, их критика «позднего капитализма» не имела ничего общего с официальными советскими разоблачениями язв капитализма, с заранее предрешенным выводом об «историческом поражении» соперника — выводом, который находился в резком противоречии с фактическими данными.

Исследования Манделя и Джеймсона были обращены к реальным проблемам, а не идеологическим постулатам. Что происходит с понятиями и ценностями культуры в условиях сверхпроизводства, сверхпотребления и широчайших возможностей самореализации? Что происходит с отношениями людей в условиях изобилия и демократии? Какую цену приходится платить за существование в благополучном высокоразвитом обществе западного образца?

Карл Маркс не мог (и никто другой также не мог) предвидеть ни живучести капитализма в XX веке, ни его преимуществ в обеспечении научно-технического прогресса, ни его способности создать самый высокий уровень жизни. С другой стороны, Маркс предсказал тот процесс, который действительно имеет место в рамках позднего, «социализованного» капитализма. Последствия процесса очень значительны.

Меняется *качество* человека. Законы товаропроизводства и товарообмена распространяются даже на помыслы людей. Маркс предсказывал, что успешное развитие капи-

---

[9] E. Mandel. Late Capitalism. London, 1975. F. Jameson. Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. New Left Review, 1984, 146, p. 55—92.

тализма должно будет привести к тому, что законы меновой стоимости, спроса и предложения полностью возобладают в области духовных ценностей. Капитализируется внутренний мир. Неомарксисты утверждают, что принципы купли-продажи и ориентация на потребление материальных и престижных благ превратились к концу XX века в способ мышления массы людей. В этом новом сознании не укладывается мысль о том, что может быть значительная творческая личность, у которой нет ни дохода, ни престижа, ни рекламы, ни прочих атрибутов успеха. Утверждение о том, что внутренняя значительность, высота и глубина творчества художника не связаны с внешними признаками успеха и не обусловлены последними, презрительно отметается как нелепая романтическая болтовня прадедовских времен.

В сущности, этот прагматизм одного измерения (успех и общественное вознаграждение как мера художественности) есть признак неверия в объективную реальность. Принцип реальности, в которой господствуют оппозиции (добро и зло, правда и ложь, Бог и дьявол), не нуждается в успехе, признании и вознаграждении. Небывалое благополучие позднего капитализма (притом благополучие перед лицом угрозы полного небытия) куплено ценой трансформации сознания. Человек перестает моделировать реальность, он уже не выстраивает ее картину с помощью разума и духовных усилий. Он смешивает, как уже ненужные игральные карты, все прежние понятия. Для него окружающее — лабиринт (Эко), анархия (Хассан), совокупность «неразрешимостей» (Деррида). Прежний человек, видимо, уже умер, исчез с лица земли (Фуко), новый человек лишен онтологических оснований бытия и переживает кризис легитимации себя самого и своего окружения (Лиотар). Как пишет Бодрийяр, «все великие гуманистические критерии... оказались стертыми в нашей системе образов и знаков» [10].

С этим кругом идей (обрисованных здесь по необходимости кратко и схематично) не может не считаться и философия, и социальная теория, и теория культуры, и критика искусства и литературы. Но, конечно, нельзя сказать, что новая философская антропология и связанная с ней концепция постмодернизма были везде приняты благожелательно. Наоборот, они вызвали массу неудовольствия и множество претензий. Идеалы рационализма и системности мышления прочно укоренились в академических гуманитарных традициях Запада. Неоконсерватизм 70-х и 80-х годов на все лады варьировал тезис: «прочные ценности любой ценой», а мыслители, от Хабермаса до Бодрийяра, указывали на то, что заморозить «прочные ценности» не удастся: не так сейчас сформировано сознание человека. Классический «оксфордский» рационализм решительно возражает против континентального «нигилизма» (особенно в варианте Жака Деррида) и против заокеанской «наивности» в обращении с разлагающим умы марксизмом. Чарльз Тейлор выступает в защиту гуманистических ценностей Европы [11].

Спор продолжается, и его результат не предрешен. Защита разума имеет мощные опоры в традициях европейской культуры. Но, однако же, критика разума тоже не беззащитна. Философская мысль, пошедшая путями Ницше и Фрейда, стоит на ногах крепче, чем когда бы то ни было. Нравится нам это или не нравится, но углубление недоверия к разуму и углубление его критики — это одна из основных тенденций мысли XX века. Фрейдизм и его ответвления показали, что и мир морали, и мир формальной логики не имеют абсолютной власти над человеческим существом — и не по причине его порочности, а потому, что такова его биопсихическая природа.

Даже рационализм XX века оказался весьма своеобразным в том смысле, что чаще всего был лишен пафоса своего всесилия. Например, Витгенштейн считал главной философской проблемой вопрос о языке. Он был энтузиастом изучения знаков и способов их сочетания, но проявлял знаменательное равнодушие к тому, что эти знаки обозначают, то есть к обозначаемому. Для него вопрос о «реальности как она есть» был вопросом весьма сомнительным. Для него существовала реальность высказывания, а что там находится (если находится) позади нее — материя, Бог, социум или еще что-либо — к ведению серьезного позитивного философского знания не относится.

Что же касается «иррационалистов», то характерна такая фигура, как Жорж Батай. Он говорил, что «воля к власти» и «дионисийское начало» в человеке вечно находятся в неразрешимом противоборстве с разумным началом. Поэтому насилие, садизм, сексуальные перегибы и извращения и прочие табуированные развитием культуры вещи не могут не вызывать в человеке подспудного тяготения. Нечеловеческое, дочеловеческое, античеловеческое столь же отталкивающи для нас, сколь и притягательны. Пафос всех моралистов и гуманистов на свете не в состоянии отменить тот простой факт, что, осуждая «дурное» сознательно, человек подспудно и подсознательно восхищается «дурным» — и это доказано вполне точными и убедительными научными методами [12]. Следует ли отсюда, что, как выражался герой Пушкина, «добро и зло — одни мечты»?

Знаменитая книга М. Хоркхаймера и Т. Адорно «Диалектика просвещения», впервые изданная еще в 1947 году и во многом определившая интеллектуальный климат Запада, лаконично и остро сформулировала причины и результаты неверия в разум. Особенно же два тезиса этой книги были внушительными и имели под собой основания. Первый гласил, что именно разумность, сделавшая человека человеком, является и главной угрозой самому существованию человека. Второй тезис указывает на недоказуемость какой-либо связи разума со сферой моральных ценностей. Как сказано в «Диалектике просвещения», именно тот факт, что нашлись умы, заявившие об имморальности разума и о том, что не сущест-

---

[10] J. Baudrillard. Simulations. New York, Semiotext(e), 1984, p. 12.

[11] Ch. Taylor. Sources of the Self. Cambridge/Mass., 1989, p. 489.

[12] G. Bataille. Der heilige Eros. Frankfurt/M., 1982, S. 10 ff.

вует «разумных» аргументов даже против убийства, стал причиной широко распространенной ненависти к де Саду и Фридриху Ницше [13]. Они бесчеловечны и циничны, ибо выдали секрет рода, о котором сами обладатели секрета ничего не хотели знать. Такие вещи не прощают.

* * *

Скандинавский художественно-теоретический журнал «Сикси», пытающийся дать интерпретацию постмодернизма, начал 1991 год со статьи Гертруд Сандквист, где речь идет о том, что в основе современного «неоклассицизма» (постклассицизма) лежит «тоска по Аркадии», по утраченным ценностям и поруганной гармонии. Правда, этот реставраторский синдром не связан сегодня с уверенностью в осуществимости чаемого [14].

Журнал открывается воспроизведением картины современного шведского художника Ларса Андерссона, изображающей сексуальное единение фавна и козы. Итог «тоски по Аркадии» представлен в конце журнала, где можно увидеть иллюстрацию с картины Одда Нердрума, где на фоне идиллического лесного пейзажа испражняется девушка совершенно классических, пуссеновских пропорций. Я не хотел бы ни морализовать, ни опровергать тезисы теоретиков. Я просто хочу закончить вопросами.

Где находятся странные циклопические сооружения, запечатленные в известных картинах знаменитого Ансельма Кифера, одного из самых первых в иерархии сегодняшних живописцев? Знаменуют ли эти заброшенные, мертвые залы «прочные ценности европейской культуры»? Или же речь идет о другом — о действительности, которая утратила критерии своей реальности, лишилась легитимации, наполнилась «неразрешимостями» и отрешилась от смысловых оппозиций разума?

Что же изображено у Андерссона и Нердрума — Аркадия или Анти-Аркадия, Утопия или Анти-Утопия?

---

[13] M. Horkheimer, Th. Adorno. Dialectics of Enlightenment. N. Y., 1972, p. 118.

[14] Gertrud Sandqvist. The Neo-Classical Project. «Siksi», Nordic Art Review. 1991/1, p. 8.

МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ В ИНФОРМАТИКЕ

«ГЕРМЕС»

Предлагает

всем пользователям персональных компьютеров типа IBM PC, а также организациям, занимающимся распространением программного обеспечения и печатной продукции, оригинальные программные средства различного назначения.
Перечисленные в этом разделе программы содержат (а также обеспечивают вывод на экран и печать) самую ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ по наиболее популярным системам и языкам программирования.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Для пользователей и организаций, желающих приобрести наши программы до 1 ноября 1991 г., установлены следующие цены:

программы-справочники:

Парадокс 3.0/Док	3000 руб.
Парадокс Энджин 1.0/Док	1000 руб.
Турбо Ассемблер 2.0/Док	1500 руб.
Турбо-отладчик 2.0/Док	1000 руб.
Турбо С++ 1.01/Док	1800 руб.
Турбо Си 2.0/Док	1000 руб.
Турбо Паскаль 5.5/Док	1000 руб.
Турбо Пролог 2.0/Док	1000 руб.
Турбо Бейсик 1.0/Док	810 руб.
Турбо Профайлер 1.0/Док	1000 руб.
Учебник по Турбо Си / Док	300 руб.
Программирование на Турбо Си / Док	550 руб.
Техника программирования на Турбо Си / Док	300 руб.
Си для профессиональных программистов / Док	300 руб.
Приемы программирования на Турбо Си / Док	500 руб.
Работа на Турбо Паскале / Док	400 руб.
Турбо профешнл 5.0/Док (для Турбо Паскаля 5)	1000 руб.
Краткий курс Обджект профешнл / Док (для ТП 5.5)	1000 руб.
Учебник по Кларион / Док	1500 руб.
Клиппер Лето-87+Клиппер Тулз 1/Док	1000 руб.
Планет / Док для Clipper S'87	1500 руб.
КодБэйз 4/Док	900 руб.
R&R for dBase III+(Формат-Микро) / Док	890 руб.
Си-интерфейс NetWare / Док	3000 руб.
Средство отладки Перископ версии М40 / Док	1000 руб.
«Интерфейс между языками Майкрософт» / Док	500 руб.
МюЛисп-85/Док	780 руб.
Лап-Линк 2/Док (связь между двумя ЭВМ)	500 руб.

Мы ждем Ваши гарантийные письма и предложения по адресу:
123103, Москва, а/я 18, МКФ ЭЦ «Гермес»
Справки по телефону:
(095) 217-50-85 с 14 до 18 часов

ГЕНРИ МИЛЛЕР

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПИСАТЕЛЬСТВЕ

Перевод с английского А. ЗВЕРЕВА

От переводчика

«Размышления о писательстве» включены Генри Миллером в сборник «Мудрость сердца» (1941) — своего рода литературную автобиографию, содержащую также пространные очерки о Бальзаке и Д. Г. Лоуренсе. Однако создано это эссе чуть раньше, через пять лет после появления «Тропика Рака»[1]. Скандал, вызванный романом Миллера, запрещенным сразу вслед за тем, как в 1934 году его выпустило независимое парижское издательство «Обелиск Пресс», по своему резонансу превзошел все опасения и автора, и публикаторов. Но интерес к книге только рос по мере того, как ужесточались преследования ее тайных почитателей. На букинистических развалах у Нотр-Дам за хорошие деньги можно было достать сильно потрепанный зеленый томик, который потом переправляли через Ла-Манш или через Атлантику, положив на самое дно чемодана и понадеявшись на беспечность таможенников. Было несколько случаев, когда таможня оказывалась внимательной; следовали изъятия и штрафы, фамилию провинившегося трепали в газетах, и о хулиганском сочинении Миллера узнавали миллионы обывателей, которые в жизни не прочли ни одного романа, но теперь требовали подробностей об этом одиозном бумагомарателе, заклейменном поборниками приличий.

Миллер оказался в странном положении прозаика, официально изгнанного из литературы, однако известного публике — хотя бы только по имени — гораздо лучше тех, перед кем был распахнут парадный вход в сады изящной словесности. Нам такая ситуация очень хорошо знакома по совсем еще свежей истории литературного «диссидентства», но не сказать, чтобы она была совсем уж внове и для Запада полвека с лишним назад. Различие заключалось только в том, что на Западе причиной гонений никогда не становилась «порочность идеологической тенденции». Преследовали исключительно за «аморальность».

Подвергшемуся травле подобные нюансы, впрочем, не облегчали последствий. «Улисса» запретили за «безнравственность», а не за «клеветнические наветы», но Джойсу все равно предстояло провести последние двадцать лет жизни писателем непечатающимся, хотя почти единодушно признанным всей молодой европейской литературой той поры. «Любовника леди Чаттерли» никто из хулителей (может быть, исключая Горького, назвавшего Лоуренса «бездарным попом», по-видимому за порочный, на взгляд пролетарского классика, проповеднический пафос этого романа) не бичевал за «очернение действительности». Однако шумные возмущения по поводу не произносимых вслух слов и вообще эротизма, к которому в книге будто бы все и сводится, способствовали тому, что после своего шедевра Лоуренс прожил всего два года.

Надо сказать, что схожие сюжеты известны и в отечественной литературной истории — они просто подзабылись. Вот что, например, можно прочесть в постановлении петербургского Комитета по делам печати «О наложении ареста на повесть «На куличках»: автор (Е. Замятин) «рисует самые интимные и для публичного разглашения непристойные стороны супружеской жизни и приводит порнографические выражения, чем оскорбляет чувство благопристойности». И далее: «Рассказ «На куличках» представляется явно противным нравственности», а поэтому номер журнала «Заветы», где он напечатан, надлежит уничтожить. 1914 год, апогей серебряного века, который за давностью лет воспринимается как идиллическое для литературы время. Но механизм запретов исправно работал и тогда, вступая в действие, как только писатель решался заговорить о сокровенном, о неупоминаемом.

Миллер пошел по этому пути намного дальше предшественников, включая даже Лоуренса, и молнии общественного негодования обрушились на него с невиданной силой. И чем выше поднималась ярость, тем — естественно — громче делалась слава изобличаемого. Скандальная, одиозная,— но слава.

Позднее Миллер вспоминал, как в 30-е годы его буквально осаждали журналисты. Главной их целью было получить документальные подтверждения, что эскапады того Генри Миллера, который является дейст-

[1] Опубликован в «ИЛ», 1990, № 7-8.

вующим лицом в романе, на самом деле не выдуманы, а списаны с натуры. Что все это действительно приключилось с дотоле безвестным американским литератором, который почти сорока лет от роду окончательно отказался следовать по стопам отца, владевшего небольшой швейной мастерской, и, прихватив в дорогу свой единственный — тощий и невыразительный — прозаический опыт «Подрезанные крылья» (1922), перебрался в 1930 году на берега Сены, чтобы вести жизнь хаотическую, неустроенную, беспутную, зато подобающую художнику, сыну богемы...

Репортеров разочаровывало, что Миллер относится к себе очень серьезно. Эпатажных интервью и признаний, распаляющих ночные грезы, от него не добились. Уломал Миллера, заставив сформулировать свое понимание литературы, а отчасти и реальности, лишь один его американский друг, когда в 1939 году прозаик ненадолго приезжал на родину. «Размышления о писательстве» были напечатаны сразу в двух престижных литературных журналах — лондонском и чикагском.

Эффект этого эссе был расхолаживающим для широкой публики, уже составившей о Миллере вполне однозначное представление, и завораживающим для тех немногих, кто в «Тропике Рака» сразу ощутил большую литературу, а не похабщину, о которой прокричали на всех углах. «Размышления» многое сказали о книге и авторе, а главное, об определенном умонастроении, которое Миллер выразил, пожалуй, первым, во всяком случае, последовательнее и ярче, чем другие.

Со временем мысли, поразившие читателей этого эссе своей неординарностью, стали расхожим местом в декларациях постмодернистов. Но тогда, на исходе 30-х, они поразили каким-то подчеркнутым несоответствием духу времени: «ангажированность» художника, поглощенного непримиримой схваткой идей, считалась чем-то само собой разумеющимся. Когда вся культурная жизнь политизировалась, кажется, до предела, Миллер, явно двигаясь против течения, провозгласил, что «искусство не учит ничему, кроме понимания того, как значительна жизнь». Что «перегородка, разделяющая положительное и отрицательное», для него, Миллера, не так уж и существенна — можно жить и по ту и по эту ее сторону. Что никакого совершенства в литературе быть не может, если это живое творчество, отразившее несовершенство мира, а не дистиллированный настой из абстракций. И что искусство ничего общего не имеет с полезностями, равно как с морализированием, потому что оно самоценно — вся «целительность» заключается лишь «в его значимости, в его бесцельности, в его незавершимости».

«Тропик Рака» был еще слишком нестершимся в памяти, чтобы кому бы то ни было пришло в голову, будто Миллер не ко времени возмечтал о давно разрушенной башне из слоновой кости. Что-то иное скрывалось за этим вызывающим эстетизмом, и знаменитая башня тут действительно ни при чем. Миллер звал «нырнуть вглубь, уходя с поверхности»,— но не ради уединения среди социальных битв, а только ради честного самопознания, которое невозможно, если в плаванье по бурному, засоренному житейскому морю пускаешься, заботливо обзаведясь спасательным поясом из наперед все объяснивших концепций кабинетного изготовления. Миллер убеждал выбросить как балласт все накопления высокой культуры и не верить ничему, кроме собственного чувства,— но не оттого, что по самонадеянности метил в авангардистские Колумбы, а лишь затем, чтобы обрести свое ви́дение и свой голос, труднее же этого и вправду «нет ничего на свете».

В его эссе не найдешь ни одного американского имени, однако сама установка этого манифеста чисто американская. Вспомним Уитмена с его гимном большой дороге, по которой надо идти в одиночку, жадно вбирая все впечатления жизни — красочные, отталкивающие,— и в одиночку же, без оглядки на великие умы, решая для себя коренные, метафизические проблемы. Вспомним сформулированный Эмерсоном принцип «Верь себе!» — на нем выросло несколько поколений американцев, ценивших личностное, незаемное понимание вещей выше, чем самые авторитетные теории.

Об Америке Миллер всегда писал с пристрастностью, желчно, порой почти не скрывая презрения и недоброжелательства. И все-таки более американского по духу художника трудно вообразить.

Но, помимо крепко им усвоенных духовных традиций родины, была — и проступала на его страницах даже более рельефно — гнетущая, катастрофическая атмосфера той поры, когда созданы и «Тропик Рака», и эссе о писательстве. Достоевский — вовсе не мимоходное упоминание в этом эссе. О Достоевском постоянно заходит речь и в другой главной книге Миллера — «Тропике Козерога», и много где еще. Причем всегда в одном и том же контексте: Достоевский — гений, но «мы уже прошли точку, запечатленную Достоевским,— прошли в том смысле, что дегенерация увлекла нас д а л ь ш е». Настолько дальше, что созданные Достоевским картины теперь кажутся чуть ли не гармоничными. Потому что они одухотворены верой и надеждой. Тогда как сегодняшнему писателю приходится воссоздавать реальность, вообще покончившую с понятием души. Омертвевшую реальность, в которой сохраняются лишь какие-то распавшиеся безжизненные элементы былой духовности, «сор феноменов», лишенных гуманного содержания и ставших немыми для сокрушенного человеческого «я».

Подобные взгляды на Достоевского, конечно, можно оспаривать, но сложнее поставить под сомнение небеспочвенность подобного взгляда на эпоху, одним из памятников которой остался «Тропик Рака». Тогда новизна этого ощущения времени, совсем по-другому истолкованного «ангажированной» литературой, могла выглядеть чистой субъективностью и даже произволом. С дистанции лет очевидно, что созданный в «Тропике Рака» образ агонизирующего мира, где жизненосным остается только акт соития,— как бы вопреки мертвящей реальности, обступившей со всех

сторон,— был заряжен большим смыслом для близкого будущего. Ученики и продолжатели появились у Миллера сразу после войны, давшей достаточные подтверждения, что кажущийся примитивизм его воззрений на действительность был прикосновением к истине. Постмодернизм с его навязчивой идеей всеобщей и неостановимой энтропии признает Миллера провозвестником и больше того — наставником.

Впрочем, значение Миллера было понято и писателями, к постмодернизму никакого отношения не имеющими — уже и по хронологии. В 1937 году Георгий Иванов написал по-своему замечательную прозу — «Распад атома», и, читая ее, трудно сомневаться, что утаиваемый от полиции нравов миллеровский зеленый томик побывал в руках былого петербургского акмеиста. Дело не в обилии эротических мотивов, не без нарочитой откровенности пронизывающих эту прозу, дело в тональности и в самом ощущении мира. «Так болезненно отмирает в душе гармония. Может быть, когда она совсем отомрет, отвалится, как присохшая болячка, душе станет снова первобытно легко. Но переход медлен и мучителен. Душе страшно. Ей кажется, что отсыхает она сама. Она не может молчать и разучилась говорить. И она судорожно мычит, как глухонемая, делает безобразные гримасы. «На холмы Грузии легла ночная мгла» — хочет она звонко, торжественно произнести, славя Творца и себя. И с отвращением, похожим на наслаждение, бормочет матерную брань с метафизического забора, какое-то «дыр бущыл убешур».

А еще три года спустя Джордж Оруэлл опубликовал свое известное эссе «Во чреве кита», где Миллер не просто назван, а сделан главным героем. Оруэллу, воевавшему в Испании и до конца осознававшему себя участником борьбы за выживание демократии в век тоталитаризма, невозможно было принять миллеровскую позицию безразличия к «перегородкам» между добром и злом, вообще миллеровский пассеизм, заставлявший держаться подальше от идейных коллизий времени. Но Оруэлл обладал слишком отточенным художественным слухом, чтобы не почувствовать: как раз в лице Миллера время и обрело более всего ему созвучного художника. Пусть Миллер останется только «создателем одной книги», зато «очень трудно вообразить сегодня более позитивный, конструктивный роман, при этом создающий ощущение эмоциональной подлинности».

По прошествии десятилетий эта подлинность чувствуется еще острее каждым, кто, преодолев первоначальный шок, внимательно прочтет «Тропик Рака». И поэтому Миллер сохраняет место не только в истории литературы XX века, но и среди не столь уж многих литературных сверстников, которые живы и для нынешнего читательского поколения.

Как-то, отвечая на анкету, Кнут Гамсун заметил, что пишет исключительно с целью убить время. Думаю, даже если он был искренен, все равно заблуждался. Писательство, как сама жизнь, есть странствие с целью что-то постичь. Оно — метафизическое приключение: способ косвенного познания реальности, позволяющий обрести целостный, а не ограниченный взгляд на вселенную. Писатель существует между верхним слоем бытия и нижним и ступает на тропу, связывающую их, с тем чтобы в конце концов самому стать этой тропой.

Я начинал в состоянии абсолютной растерянности и недоумения, увязнув в болоте различных идей, переживаний и житейских наблюдений. Даже и сегодня я по-прежнему не считаю себя писателем в принятом значении слова. Я просто человек, рассказывающий историю своей жизни, и чем дальше продвигается этот рассказ, тем более я его чувствую неисчерпаемым. Он бесконечен, как сама эволюция мира. И представляет собой выворачивание всего сокровенного, путешествие в самых немыслимых широтах,— пока в какой-то точке вдруг не начнешь понимать, что рассказываемое далеко не так важно, как сам рассказ. Это вот свойство, неотделимое от искусства, и сообщает ему метафизический оттенок,— оттого оно поднято над временем, над пространством, оно вплетается в целокупный ритм космоса, может быть даже им одним и определяясь. А «целительность» искусства в том одном и состоит: в его значимости, в его бесцельности, в его незавершимости.

Я почти с первых своих шагов хорошо знал, что никакой цели не существует. Менее всего притязаю я объять целое — стремлюсь только донести мое ощущение целого в каждом фрагменте, в каждой книге, возникающее как память о моих скитаниях, поскольку вспахиваю жизнь все глубже: и прошлое, и будущее. И когда вот так ее вспахиваешь день за днем, появляется убеждение, которое намного существеннее веры или догмы. Я становлюсь все более безразличен к своей участи как писателя, но все увереннее в своем человеческом предназначении.

Поначалу я старательно изучал стилистику и приемы тех, кого почитал, кем восхищался,— Ницше, Достоевского, Гамсуна, даже Томаса Манна, на которого теперь смотрю просто как на уверенного ремесленника, этакого поднаторевшего в своем деле каменщика, ломовую лошадь, а может, и осла, тянущего повозку с неистовым старанием. Я подражал самым разным манерам в надежде отыскать ключ к изводившей меня тайне — как писать. И кончилось тем, что я уперся в тупик, пережив надрыв и отчаяние, какое дано испытать не столь многим; а вся суть в том, что не мог я отделить в себе писателя от человека, и провал в творчестве значил для меня провал судьбы. А был провал. Я понял, что представляю собой ничто, хуже того, отрицательную величину. И вот, достигнув этой точки, очутившись как бы среди мертвого Саргас-

сова моря, я начал писать по-настоящему. Начал с нуля, выбросив за борт все свои накопления, даже те, которыми особенно дорожил. Как только я услышал собственный голос, пришел восторг: меня восхищало, что голос этот особенный, ни с чьим другим не схожий, уникальный. Мне было все равно, как оценят написанное мною. «Хорошо», «плохо» — эти слова я исключил из своего лексикона. Я безраздельно ушел в область художественного, в царство искусства, которое с моралью, этикой, утилитарностью ничего общего не имеет. Сама моя жизнь сделалась творением искусства. Я обрел голос, я снова стал цельным существом. Пережил я примерно то же, что, если верить книгам, переживают после своей инициации приобщившиеся к дзэн-буддизму. Для этого мне нужно было пропитаться отвращением к знанию, понять тщету всего и все сокрушить, изведать безнадежность, потом смириться и, так сказать, самому себе поставить летальный диагноз, и лишь тогда я вернул ощущение собственной личности. Мне пришлось подойти к самому краю и прыгнуть — в темноту.

Я упомянул о Реальности, но ведь я знаю, что приблизиться к ней невозможно, иначе как посредством писательства. Я теперь меньше познаю и больше понимаю,— но каким-то особенным, незаконным способом. Все увереннее удается мне овладеть даром непосредственности. Во мне развивается способность постигать, улавливать, анализировать, соединять, давать имя, устанавливать факты, выражать их — причем все сразу. То, что составляет структуру вещей, теперь легче открывается моему глазу. Инстинктивно я избегаю всех четких истолкований: чем они проще, тем глубже настоящая тайна. А то, что мне ведомо, становится все более неизъяснимым. Мною движет убежденность, которая не нуждается в доказательствах, равно как вере. Я живу для одного себя, но себялюбия или эгоизма в этом нет ни следа. Я всего лишь стараюсь прожить то, что мне отпущено, и тем самым помогаю равновесию вещей в мире. Помогаю движению, нарождению, умиранию, изменению, свершающимся в космосе, и делаю это всеми средствами, день за днем. Отдаю все, чем располагаю, отдаю в охотку, но и вбираю сам — все, что способен вместить. Я и венценосец, и пират. Я символ равенства, олицетворение Весов, ставших самостоятельным знаком, когда Дева отделилась от Скорпиона. На мой взгляд, в мире более чем достаточно места для каждого — ведь сколько их, этих бездонных провалов между текущими мгновеньями, и великих вселенных, населенных одним-единственным индивидуумом, и огромных островов, на которых обретшие собственную личность вольны ее совершенствовать как заблагорассудится. Со стороны внешней, когда замечают одни только исторические битвы и все на свете оказывается подчинено схваткам ради богатства и власти, жизнь выглядит как мельтешение толпы, однако по-настоящему она начинается лишь после того, как нырнешь вглубь, уходя с поверхности, и откажешься от борьбы, и исчезнешь из поля зрения остальных. Меня ничто не заставляет писать или не писать, и более не знаю принуждений, и уже не нахожу в своих писательских занятиях ничего целительного. Все, что мною делается, сделано исключительно ради удовольствия — плоды падают на землю сами, дозрев во мне, словно на дереве. Мне решительно безразлично, как станут судить о них критики или обычные читатели. Я не устанавливаю никаких ценностей, просто исторгаю вызревшее, чтобы оно стало пищей. И ничего другого в моем писательстве нет.

Состояние изысканнейшего безразличия — вот логическое следствие эгоцентричной жизни. С проблемой существования в обществе я справился тем, что омертвел; истинная проблема не в том, чтобы выучиться обитать рядом с другими, как и не в том, чтобы способствовать процветанию своей страны, истинная проблема — это познать свое назначение и провести жизнь в согласии со строго организованным ритмом космоса. Выработав в себе способность без трепета мыслить такими понятиями, как космос и душа, овладев искусством постигать «духовное», но при этом избегая всяческих дефиниций, аргументов, доказательств, обязательств. Рай — он повсюду, к нему ведут любые дороги, если только пойти по ним достаточно далеко. Но продвинуться вперед возможно, лишь возвращаясь назад, затем направившись вбок, и вверх, и затем вниз. Нет никакого прогресса, есть только вечное движение и перемещение — оно идет по кругу, спиралеобразно, бесконечно. У каждого человека свое назначение, и единственный наш императив — это следовать своему назначению, приняв его, к чему бы это ни вело.

Не имею ни малейшего понятия, какие книги напишу я в будущем, даже какой окажется моя следующая книга. Мои замыслы, мои планы направляются самым ненадежным стимулом; я просто что-то набрасываю на ходу, выдумываю, уродую, деформирую, измышляю, изобретаю на пустом месте, преувеличиваю, путаю, корежу — и все в зависимости от настроения. Подчиняюсь я одним лишь своим инстинктам, своей интуиции. Наперед мне не известно ничего. Часто я описываю вещи, которых сам не понимаю,— зная, что в дальнейшем они прояснятся и обретут для меня некий смысл. Я верю в человека, который пишет, то есть в себя, в писателя. И не верю в слова, даже если их нанизывает самый искусный мастер, но верю в язык, а он нечто высшее по отношению к слову, поскольку слова создают только искаженную иллюзию, что он такое. Слова не существуют порознь, так они могут существовать только для ученых — этимологов, филологов и прочих. Отделенные от языка слова становятся мертвой шелухой, и из них не извлечь тайны. Человек открывается в своем стиле, в том языке, который он создал для себя. Для того, кто чист сердцем, все на свете — я в этом убежден — обладает прозрачной ясностью, даже если подразумевать самые эзотерические писания. Такому человеку во всем видится тайна, но эта тайна лишена мистичности, она естественна, соразмерна, обладает логикой и приемлема по своему существу. Понимание заключается не в том, чтобы разгадать тайну, но в том, чтобы ее принять, и насладиться жизнью, и жить с нею — жить ею самой, жить благодаря ей. Мне бы хотелось, чтобы мои слова свобод-

но плыли, как плывет, не ведая маршрутов, сам мир, в своем петляющем движении попадая на совершенно непредсказуемые широты и долготы, оказываясь в незнаемых наперед условиях и климатических поясах, сталкиваясь с измерениями, которых никто не исчислит. Заранее признаю свою неспособность осуществить этот идеал. И меня это нисколько не удручает. В некоем высшем смысле сам мир заряжен неудачей, он представляет собой совершенный образ несовершенства, он есть сознание провала. Когда это понимаешь, провал перестает ощущаться. Творец, иными словами художник, подобен первоначалу мира, вековечному Абсолюту, Единому, Всему, и выражает он себя своим несовершенством. Оно — суть жизни, свидетельство ее неомертвелости. Приблизиться к конечной истине, в чем и заключается, по-моему, высшая цель писателя, можно лишь в той степени, насколько по силам отказаться от борьбы, насколько удается подавить в себе волю. Великий писатель — это олицетворение жизни, то есть несовершенного. Он делает свое дело без усилий, создавая видимость, что его труд безупречен, и путь его ведет от какого-то неведомого центра, расположенного, уж разумеется, не среди мозговых извилин, но несомненно являющегося центром, который улавливает ритм целой вселенной и оттого предстает столь же надежным, неизносимым, неистребимым, столь же прочным, независимым, анархичным, столь же бесцельным, как сама вселенная. Искусство не учит ничему, кроме понимания, как значительна жизнь. Великое произведение с неизбежностью должно быть по своему смыслу темно для всех, кроме горстки тех, кто, подобно его создателю, приобщился тайн. Содержащееся в нем сообщение по своей значимости вторично, а главное — это его способность увековечить. А оттого вполне достаточно, чтобы у него нашелся всего лишь один понимающий читатель.

Обо мне говорили, что я революционер, но если так, то произошло это помимо моей воли. Я не восстаю против установлений мира. О себе я мог бы сказать словами Блеза Сандрара: «Я революционизирую». А это не то же самое, что быть революционером. Я мог бы жить и по ту сторону перегородки, разделяющей положительное и отрицательное. В общем-то мне кажется, что я поднялся над такими разделениями и создаю некую гармонию двух этих начал, выраженную — пластически, но не в категориях этики — в том, что я пишу. Считаю, что необходимо стоять вне сферы искусства и вне его воздействия. Искусство — только один из способов жизни, а жизнь щедрее, чем оно. И само по себе оно не является жизнью, превосходящей обычную жизнь. Оно лишь указывает путь, а этого часто не понимают не только зрители, но и сам художник. Становясь целью, оно себя предает. А художники чаще всего предают жизнь своими усилиями взять над ней верх. Они расщепляют то, что должно быть целым, как яйцо. Я совершенно убежден, что когда-нибудь все искусство исчезнет. Но художник останется, а жизнь будет не «областью искусства», но самим искусством, решительно и навсегда заместив собой то, что к искусству относится. Говоря по существу, мы, конечно, еще не начинали жить. Мы уже не животные, но, несомненно, еще не люди. С той поры как возникло искусство, об этом твердил нам каждый великий художник, но сколь мало тех, кто это понял. Как только искусство обретет истинное признание, оно исчезнет. Ведь оно только подмена, язык символов, посредством которого воссоздается то, что мы не в состоянии выразить непосредственно. Но чтобы такое свершилось, нужно, чтобы человек стал по-настоящему религиозным: не прихожанином, а действительно носителем веры, истинным богом — без всяких метафор. И он им в конце концов неизбежно станет. А из всех троп, которые выводят к этой главной дороге, искусство самая важная, проложенная в самом надежном направлении и более всех других вознаграждающая путника. Художник, который и вправду понял свое назначение, по этой причине перестает быть художником. И все клонится к тому, что должно прийти это понимание, это ослепляющее, как вспышка, новое сознание, постигшее, что в сегодняшней жизни ничто, включая даже искусство, не способно к расцвету.

Кто-то сочтет все эти рассуждения мистификацией, но я лишь излагаю то, в чем сейчас действительно убежден. Разумеется, необходимо помнить, что есть неизбежное несоответствие между истинным положением вещей и тем, как мы осознаем это положение, даже наше собственное положение; впрочем, помнить надо и о столь же явном несоответствии между истинным положением вещей и тем, как его представляет себе кто-то другой. Но между субъективным и объективным жизненно важных различий не существует. Все иллюзорно и более или менее эфемерно. Все явления, включая человека с его мыслями о самом себе,— не более чем набор знаков, изменчивый и непостоянный. Твердых фактов, которых можно было бы придерживаться, нет. А оттого и в книге, пусть я осознанно буду стремиться к искажению и деформации, вовсе не обязательно конечный результат окажется дальше от истины, чем было бы в противоположном случае. Можно быть совершенно правдивым и искренним, при этом ничуть не скрывая, что врешь напропалую. Фикция, вымысел — они вплетены в самую ткань жизни. Истину ничуть не колеблют никакие яростные пертурбации духа.

Оттого, каких бы эффектов ни достигал я с помощью того или иного профессионального приема, они ни в коем случае не являются просто кунштюком, но точно передают колебания моего сейсмографа, фиксирующего хаотичный, многомерный, таинственный, непостижимый опыт, которым меня одарила жизнь, и пока я пишу книгу, этот опыт я переживаю наново — по-иному, может быть, еще более хаотично, непостижимо, таинственно. Так называемый пласт бесспорных фактов, являющихся отправным пунктом и все время воссоздаваемых, укоренен во мне очень глубоко, и, сколько ни пытайся, я не могу ни освободиться от него, ни что-то в нем переделать, ни выдать его за нечто иное. Но вместе с тем он *все-таки меняется*, подобно тому как меняется внешний облик мира — каждое мгновенье, с каждым нашим выдохом и вдохом.

А из этого следует, что запечатлевать мир можно, лишь создавая двойную иллюзию,— ты останавливаешь движение и ты же доносишь его непрерывность. И вот этот, скажем, двойной трюк производит впечатление, что перед нами фальсификация, но ведь суть искусства и состоит в такого рода лжи, в том, что оно создает подвижную, метаморфическую маску. Ты бросаешь якорь посреди потока; ты соглашаешься носить маску лжеца, чтобы выразить истину.

Мне часто думалось, что надо бы написать книжку, объяснив, как у меня возникли те или другие страницы, может быть, даже одна какая-нибудь страница. Думаю, я мог бы написать довольно толстую книгу, в которой просто растолковывалась бы наудачу выбранная страница из моих произведений. Растолковывалось бы, как я задумал эту страницу, как она появилась, как менялась, в каких была рождена муках, сколько времени прошло, прежде чем мелькнувшая идея облеклась плотью, и какие мысли роились в голове, пока я это место писал, какой был тогда день недели, как я себя ощущал, как обстояло дело с моими нервами, как меня прерывали или я сам прерывался, какие разные лексические формулы подвертывались под перо, как я черкал и правил, на чем останавливался, с чего возобновлял, изменяя даже исходный импульс, а потом накладывая последний шов, словно хирург, старающийся скрыть, что операция прошла неудачно, и решая для себя, что непременно вернусь еще к этой странице, но никогда не возвращаясь, а если возвращаясь, то лишь к самому импульсу, который вовсе изгладился из памяти, но вдруг опять выплывает, хотя я уже успел написать несколько других книг. А можно было бы поговорить про несколько страниц, сравнив их одну с другой, и взять такие, которые для холодного критика являются олицетворением того или иного, но я бы привел их в замешательство, этих аналитичных критиков, я бы им показал, что страничка, вроде бы написанная с полной непринужденностью, на самом деле далась ценой предельного напряжения, тогда как другая — загадочная, словно лабиринт, и трудно читающаяся — вылилась, подобно тому, как бьет из земли гейзер, и писал я ее, словно подталкиваемый в спину попутным ветерком. Или я бы написал, как вот эту страницу я задумал, еще не встав с постели, и переделывал, одеваясь, а потом переделал еще раз, усевшись за стол. Или воспроизвел бы свой блокнот, чтобы все увидели, как теплые, живые, человечные слова рождаются из самых чужеродных им, самых искусственных стимулов. Воспроизвел бы обрывки фраз, попавшихся на глаза, когда я перелистывал какую-то книгу, и написал бы, что вот эти обрывки разбудили во мне воображение,— однако кто же на свете объяснит, каким образом это происходит, как свершается эта работа? Что бы ни говорили о произведении критики, даже самые лучшие, самые умные, умеющие убедить и доброжелательно, любовно расположенные к автору,— чего почти не бывает,— все равно их рассуждения чистая эфемерность, если знать истинную механику, истинный процесс рождения искусства. То, что написано мною самим, я помню, разумеется, не слово в слово, но достаточно ясно и верно; так вот, мои книги — что-то наподобие поля, которое я обследовал тщательно, как геодезист, и не в кабинете, вооружившись пером и графиками, а физически, ползая на четвереньках и на брюхе, прощупывая сантиметр за сантиметром,— и так долгие недели, все равно какая ни выдалась погода. Короче говоря, работа эта для меня и сейчас столь же буднична, как была в самом начале, и может быть, даже более привычна. Финал книги я всегда воспринимал лишь сугубо физически: нужно переменить позу. Книга могла бы завершаться тысячью других развязок. В ней ни одна часть не была по-настоящему окончена, и я мог бы возобновить рассказ с любого места, продолжить его, прорыть новые каналы и туннели, построить новые дома, фабрики, мосты, населить это пространство новыми обитателями, изменив фауну и флору, причем все это не меньше, чем прежде, отвечало бы фактам, которых я коснулся в произведении. Собственно, ни завязки, ни финала у меня не бывает. Жизнь начинается в любой момент, когда происходит акт понимания; так и книга. Однако всякое начало — книги ли, страницы, абзаца, фразы, предложения — знаменует собой завязавшуюся новую жизненную связь, и вот в эту жизненность, непрерывность, вневременность, неизменность мыслей и событий я каждый раз ныряю заново. Любое слово, любая строка жизненно связаны с моим существованием — только моим, будь то какой-то поступок, случай, факт, какая-то мысль или эмоция, какое-то желание, бегство, томление, мечта, фантазия, причуда, вообще нечто недовершенное и бессмысленное, что застряло у тебя в мозгу и оплетает его вроде рвущейся паутины. Хотя в общем-то не бывает ничего расплывчатого, туманного — даже такие «нечто» жестко очерчены, неразрушимы, определенны и прочны. И сам я вроде паука — все тку и тку, верный своему призванию и сознающий, что эта паутина выткана из вещества, которое есть я сам, а оттого никогда не подстроит мне ловушку и никогда не иссохнет.

Поначалу я мечтал о соперничестве с Достоевским. Надеялся, что раскрою перед миром неистовые и загадочные душевные бо-рения, а мир замрет, пораженный. Но довольно скоро я понял, что мы уже прошли точку, запечатленную Достоевским,— прошли в том смысле, что дегенерация увлекла нас д а л ь ш е. Для нас исчезло само понятие души, верней, оно теперь является в каком-то химически преображенном и до странности исказившемся виде. Мы знаем лишь кристаллические элементы распавшейся и сокрушенной души. Современные художники выражают это состояние, видимо, даже откровеннее, чем писатели: Пикассо — замечательный пример в подтверждение сказанному. Оттого для меня оказалась невозможной сама мысль писать романы и столь же невозможным — примкнуть к разным литературным движениям в Англии, Франции, Америке, потому что все они вели к тупику. Со всей честностью признаюсь, что ощутил себя вынужденным, наблюдая разрозненные, распавшиеся элементы жизни,— я говорю о жизни д у ш и, не о жизни культуры,— соединять их по собст-

венному моему рисунку, используя собственное мое распавшееся и сокрушенное «я» с той же бессердечностью, с той же безоглядностью, с какой готов я был использовать весь сор окружающего мира феноменов. Я никогда не испытывал ни враждебности, ни настороженности по отношению к анархии, воплощенной в преобладающих художественных формах, напротив, всегда радовался исчезновению былых норм. В эпоху, отмеченную распадом, исчезновение представляется мне добродетелью, более того, моральным императивом. Я не только никогда не испытывал ни малейшего желания что-то законсервировать, искусственно оживить или сберечь, оградив стенами, но скажу больше — смолоду считал, что распад — такая же чудесная и творчески заманчивая манифестация жизни, как и ее цветение.

Должен, видимо, признать, что к писательству меня тянуло, поскольку это было единственное, что мне было открыто и заслуживало приложения сил. Я честно испытал все иные пути к свободе. В так называемом реальном мире я был неудачником по собственной воле, а не по неспособности к нему приладиться. Писательство не было для меня «бегством», иначе говоря, способом отгородиться от повседневной реальности; наоборот, оно означало, что я еще глубже ныряю в этот замусоренный пруд — с надеждой добраться до родников, постоянно обновляющих плещущуюся в нем воду, не замирающих, вечно бьющих. Оглядываясь на свой путь, я вижу себя человеком, способным взяться почти за любую задачу, за любое дело. К отчаянию меня привели монотонность и стерильность всего внешнего бытия. Мне нужно было такое царство, в котором я буду одновременно и господином, и рабом, а им могло стать лишь искусство. И я вошел в этот мир, не обладая никакими явными талантами, ничего не умея, ни к чему не годясь,— неловкий новичок, который почти онемел от страха и понимания грандиозности того, за что берется. Мне пришлось строить кирпичик за кирпичиком, изводить миллионы слов, пока на бумаге не появлялось то настоящее, доподлинное слово, которое я вытянул из своего сокровенного нутра. Я умел гладко говорить, и это мне мешало; у меня были все пороки просвещенного человека. Мне предстояло учиться думать, чувствовать, видеть совершенно по-новому, забыв про свое образование, на собственный лад, а труднее этого ничего нет на свете. Надо было броситься в поток, зная, что я, возможно, не выплыву. В большинстве своем художники бросаются в поток, сначала обзаведясь спасательным кругом, и чаще всего этот круг их и губит. Никому не дано странствовать по океану реальности, если отгораживаешься от опыта. Если в жизни что-то меняется к лучшему, то не путем приспособления, а благодаря вызову и способности откликнуться слепому побуждению. «Дерзание не бывает фатальным»,— сказал Рене Кревель, и эту сентенцию я запомнил навсегда. Вся логика, на которой держится вселенная, предуказана дерзанием или же творчеством, основывающимся на самой ненадежной, самой шаткой поддержке. Сначала такое дерзание отождествляют с волевым актом, но проходит время, и воля ослабевает, а остается автоматический процесс, который в свою очередь тоже надо прервать, остановить, чтобы утвердилась новая уверенность, ничего общего не имеющая со знанием, умением, навыком или верой. Дерзание дает возможность приобщиться к этой загадочной — сплошной Икс — позиции художника, которая одна тебя и оберегает в мире, и никому не выразить словами, что она такое, но тем не менее она есть и видна в каждом написанном тобой слове.

Русские символисты — по-итальянски [1]

В последние лет тридцать принципиально изменилось положение новой русской литературы в мире. Оказалось, что изучать ее, не владея европейскими языками,— больше нельзя. Конечно, и прежде было так: не зная в сугубых подчас подробностях, к примеру, французскую словесность XVIII века, как понять многое у Пушкина, тем паче — у меньших русских литераторов, более, чем гений, зависимых от чужеземных источников? Конечно же, и историю восприятия русской литературы за рубежом нельзя было изучать, не читая в оригинале тех, кто осваивал русский опыт. Но с шестидесятых годов уходящего века так быстро стал накапливаться запас интересных, важных и необходимых исследований по русской литературе, что более невозможно ответственное осмысление ее проблем помимо освоения результатов упорной работы западных литературоведов. В каком-то отношении завершился процесс утверждения русской литературы на мировой арене: наше слово не только слышат и делают своим художники, оно признано объектом исторического и теоретического рассмотрения, не просто равным по ценностям всякому другому (тогда бы какая важность — по любой литературе, живой ли, мертвой ли, в мире найдется несколько университетских специалистов), нет — русская словесность осознана и разрабатывается академической наукой в европейских странах с тем прилежанием, с каким занимается она главными своими литературами. Об этом явлении нужно было бы написать большую и внимательную работу, книгу.

Особая глава в ней должна была бы рассказать о том, как итальянская русистика заняла второе место в мире, после немецкой. Когда стоишь перед стеллажами в библиотеке с систематической расстановкой фонда, на которых сотни метров занимают немецкие славистские и русистские *серии,* тебя пробирают невольная горькая зависть и восхищение — таковы упорство ученых и готовность общества это упорство поддержать и обеспечить. Многие серии возникли в самые первые послевоенные годы, голодные, холодные, в побежденной и разгромленной стране: книги напечатаны на бумаге, ныне уже рассыпающейся,— но они *были созданы* и *напечатаны* в свое время! Итальянскую русистику вынесла к ее нынешнему расцвету всемирная волна массификации научной деятельности. Прежде — между двумя войнами, первые десятилетия после второй — она жила энтузиазмом одиночек: был замечательный апологет и просветитель Этторе Ло Гатто, был тонкий, по-моему, неправедно неоцененный историк Ренато Поджоли (единственный, пожалуй, кто русский модернизм умно и императивно рассматривал как ипостась европейского), был несравненный Анджело Мария Рипеллино, себя самого лепивший из глины русского «авангарда». Но были то — одиночки, хотя рядом работали и конкуренты, сотрудники, ученики. В целом итальянская русистика, количественно и методологически, была провинциальною.

Рецензия не может перерасти в обзор, не должна, но и обойтись без этого приступа я не могу, поскольку обзор, скорее всего, писать не буду, а лирический импульс заглушить нет сил, да и ради чего?.. Скольких бы ученых, получивших признание за последние три десятилетия, нужно было бы назвать! Нина Каухчишвили, Анджело Тамборра, Витторио Страда, Эридано Бацца-релли, покойный Марцио Мардзадури, Микеле Колуччи, Чезаре Де Микелис, Фаусто Мальковати. А чего стоит один из лучших в мире журналов «Europa orientalis», который в Риме издают вдвоем, без редакционного коллектива Антонелла Д'Амелиа и Марио Капальдо! Но оставим все это до другого раза и, к сожалению, другому автору...

Среди итальянских русистов среднего поколения Анджела Диолетта Сиклари — один из самых серьезных. Сейчас она — профессор Миланского католического универ-

[1] Simbolisti russi: Belyi — Brjusov — Ivanov — Sologub (A cura di Angela Dioletta Siclari; trad. di A. Aloysio, E. Chilo, P. Dusi, M. C. Ghidini, Parma, Zara, 1990.

ситета Святого Сердца. Фундамент ее профессиональной культуры — многолетняя разработка наследия славянофилов. Диолетта Сиклари дебютировала в 1974 году переводом писем А. С. Хомякова к Ю. Ф. Самарину, снабженным фундаментальным введением (собственно, на восемьдесят страниц перевода пришлось сто двадцать введения — монографического исследования философии Хомякова) [2]. Затем последовала книга переводов И. В. Киреевского [3], за которой — естественным результатом — прекрасная монография «Искусство и культура в русском романтизме: И. В. Киреевский» [4]. Цени мы отечественную культуру, книга Анджелы Диолетта Сиклари давно уже должна была бы продаваться в русском переводе: у итальянцев есть все, за самыми малыми исключениями, научно-значимое, что написано об итальянцах по-английски, французски, немецки и *по-русски,* и нельзя ведь сказать, что итальянский филолог или историк хуже нашего владеют европейскими языками (а мы, прости Господи, едва получили право переводить что хочется, бросились вперегонки публиковать «Анжелику» — Боже, прости, вразуми и просвети «самый читающий в мире народ»!) Закономерно от славянофилов интерес итальянского ученого распространился на их преемников — русских символистов. В 1986 году появилась в свет книга Анджелы Диолетта Сиклари «Этика и культура в символизме Андрея Белого» [5]. И эту работу нужно издавать по-русски: тема у нас еще не поднята, при всей ее первостепенной важности... Потом — ученицы перевели основоположные статьи Андрея Белого, а учитель написала к ним введение [6].

Книга «Русские символисты: Белый — Брюсов — Иванов — Сологуб», послужившая поводом этим, повторяю, лирическим заметкам — тоже антология. В нее вошли четыре статьи Белого из книги «Символизм» (в переводе А. Алоизио и П. Дузи), «Ключи тайн» и фрагменты «Miscellanea» Брюсова (в переводе Э. Кило), статьи «Эстетика и исповедание» и «Манера, лицо и стиль» Вяч. Иванова (перевод М. К. Гидини), «Искусство наших дней» Сологуба (перевод А. Алоизио). Серьезное единство антологии придают пятьдесят страниц (большого формата, опять, считай по-нашему, листов на пять-шесть монография) предисловия Диолетта Сиклари. Она исследует здесь три основные темы символистского самосознания: связь декадентства и символизма, анархии и мистики, мифа и символа. Знакомый с творчеством символистов сразу поймет, что речь здесь идет о путях религиозного самоопределения русских поэтов в их движении от начального постижения личного и эпохального кризиса — рубежа веков.

Огромное достоинство всех работ Диолетта Сиклари для нас в том, что она по образованию не литературовед, а философ, и более того, специалист по немецкой философии.. Поэтому она с такою надежностью вскрывает немецкие источники и параллели как в наследии славянофилов, так и в корпусе символистского теоретизирования.

Разбирать в специальных аспектах последнюю работу итальянской исследовательницы здесь неуместно. Скажу только, что многое из нее останется надолго значимым в литературе о русском символизме (например, строгая констатация того, что преодоление антиномии «декадентства» и «символизма» у Белого-теоретика оказалось лишь «транспозицией опыта противостояния в план выражения и... не действительным примирением противоречий, а всего лишь изображением их вечной и непреодолимой реальности»).

Не буду настаивать и на своих несогласиях, из коих важнейшее имеет в виду не содержание критики, которой Диолетта Сиклари подвергает воззрения символистов, а стиль ее подхода к ним, для меня слишком отвлеченный от дробности исторической картины; для синтезов время еще не пришло, мы еще не овладели разнообразием запечатленных в материале высказываний, действий и их мотивизаций (в этой связи не могу сдержать глубокого сожаления оттого, что тексты во всех названых антологиях лишены комментария — отсылок к источникам прямых и скрытых цитат, к параллелям и т. д.,— итальянская школа, воспитанная дантоведением, петраркистикой, гуманистической школой, должна была бы сказаться тут).

Я выскажу в заключение только восхищение свободой, с какою коллега подает свою эрудицию и труд читателю. Никаких скидок, что итальянец, возьми он в руки эту книгу, не будет знать, кто такие Сологуб с Брюсовым и прочими; нет, либо пусть тут же и отложит ее в сторону, как не свое чтение, либо пусть вгрызается в *этот* текст, а дополнительную (и даже исходную) информацию добирает сам, с помощью заботливо приложенной библиографии. Никакого пустячного, игрушечного культпросвета советского литературного канона (возникшего, даю руку на отсечение, от подыгрывания неграмотности начальственных инстанций, а не из заботы о просвещении той части «масс», которая к специальным видам просвещения не способна, да и не нуждается в них, по чести говоря). Зато и последняя и все предыдущие книги снабжены именными и *предметными* указателями, вот истинная забота о читателе, об удобстве читательской *работы* с текстом.

Стоит ли говорить, что книга напечатана на хорошей бумаге, хорошим шрифтом, в хорошем переплете, если это — необходимое и беспременное условие итальянской академической печати.

Н. КОТРЕЛЕВ

---

[2] A. S. Chomjakov. Saggi di filosofia. Trad., introd., note di A. Dioletta Siclari. Padova, Liviana, 1974.

[3] I. V. Kireevsky. Scritti filosofici (A cura di A. Dioletta Siclari).— Perugia, Benucci, 1978.

[4] A. Dioletta Siclari. Arte e cultura nel romanticismo russo. Milano, Angeli, 1981.

[5] A. Dioletta Siclari. Etica e cultura nel simbolismo di Andrej Belyi. Parma, Zara, 1986.

[6] Andrej Belyi. Saggi sul simbolismo (A cura di A. Dioletta Siclari; trad. di A. Aloysio e P. Dusi). Parma, Zara, 1987.

Владимир Набоков. Автопортрет в эпистолах

Знатоки Набокова делят его творчество на два периода: европейский, когда он писал по-русски, и американский, когда он перешел на английский и продолжал сочинять на нем, переехав после скандального успеха «Лолиты» в Швейцарию, где и скончался в 1977 году. Как это ни прозвучит странно, но смерть писателя, оборвав его жизнь физически, не прервала того потока его новых произведений, которые чуть ли не ежегодно приходят к читателю. За двенадцать лет — десять новых книг, на выходе еще несколько томов, и Вера и Дмитрий Набоковы, его вдова — увы, недавно скончавшаяся,— и сын, не знают, что делать с романом, работа над которым была прервана смертью: уничтожить, как завещал Владимир Владимирович, или сохранить. Соблазн нарушить волю покойного велик — так хороша, по их мнению, эта незаконченная книга. А их мнению доверять можно: Вера Набокова — первый читатель и первый критик большинства книг мужа, а Дмитрий Набоков переводил русские романы отца на английский язык, а английские — на итальянский и французский. Проблема и в самом деле серьезная. Если бы Макс Брод, душеприказчик Кафки, послушался его и сжег рукописи, в литературе XX века было бы одним великим писателем меньше, а их не так уж много, великих.

Вопрос, будет ли сожжен незаконченный шедевр Набокова, так волнует еще и потому, что каждая его посмертная книга вызывает острый интерес читателей. Несколько лет назад я присутствовал на банкете в честь выхода английского перевода — сделанного, естественно, Дмитрием Набоковым — сначала утерянного, а потом чудом найденного русского романа Владимира Набокова «Волшебник», где впервые был нащупан сюжет будущей «Лолиты». Дмитрию Набокову достались лавры и как переводчику и как сыну Мастера, однако мне не показалось, что он был весел. Гости, не успевшие прочесть «Волшебника», живо обсуждали совсем другую, только что вышедшую книгу. Называлась она «VN», а ее подзаголовок был «Жизнь и искусство Владимира Набокова». Казалось бы, что обсуждать, ведь ее автор, австралиец Эндрю Филд, уже до этого выпустил две книги о Набокове, которые вызвали сугубо академический интерес. На этот раз автор пошел ва-банк и написал не академическую, а скандальную книгу о скандальном писателе. Подражая набоковским приемам, но пользуясь ими с куда меньшим блеском, он попытался развенчать своего прежнего кумира, от которого скорее всего просто устал, исписав добрую тысячу страниц. Я много говорил в тот вечер с Дмитрием Набоковым; его огорчало не то, что Э. Филд оттянул часть читательского внимания на себя от книги отца, а то, что Набоков в этой биографии предстал в ложном свете: сноб, гордец, игрок, фокусник, имморалист, эротоман. На банкете был Уильям Бакли, консервативный комментатор и редактор «Нэшнл ревю», где спустя несколько недель было опубликовано протестующее письмо Набокова-младшего.

Мнения читателей тогда разделились — одни обвиняли австралийца, что тот специально бил на эффект и сенсацию и менее всего был озабочен истиной, другие упрекали Веру и Дмитрия Набоковых в попытках монополизировать память о писателе. Я не знаю, когда именно была задумана книга, которую я сегодня представляю читателю, но она выглядит как ответ на биографию Эндрю Филда. Хотите узнать, каким Набоков был на самом деле, загляните в его письма, вот они, целый том избранных «Писем», более четырехсот, которые Набоков на всех известных ему языках — иногда на нескольких сразу — писал с 1940 по 1977 год [1].

Причем этот том — не первый и не последний. Лет десять назад под редакцией Семена Карлинского и с прекрасным его предисловием вышла переписка Владимира Набокова и Эдмунда Уилсона, известного критика, который на первых порах американской жизни Набокова очень ему помог, свел с нужными людьми, порекомендовал его работы в журналы и издательства. Считается, что они в конце концов поссорились из-за четырехтомного издания «Евгения Онегина», на которое Набоков ухлопал много лет — перевод, комментарии — и которое Уилсон оценил отрицательно. Судя по переписке, однако, разрыв между ними назревал давно, рецензия на набоковского «Онегина» была скорее поводом, нежели причиной. Слишком разными они были людьми и слишком разных взглядов придерживались на искусство. Уилсон настаивал на его социальной значимости. Набоков противопоставлял этому художество как таковое. Известен их спор о Чехове: Уилсон его ценил за то, что тот показал «социальный феномен», а Набоков — за художественные детали, за уникальные образы, за ужас, нежность и внезапность его прозы (перевожу с английского — сам Набоков подобрал бы, наверное, более точные слова). И еще — легко и приятно было покровительствовать беспомощному дебютанту, но когда Набоков стал литературным метром и в славе обогнал своего бывшего литературного патрона, Уилсону стало не по себе. Здесь надо добавить, что американец был дико, не по таланту, честолюбив: его не раз разыгрывали, сообщая о присуждении Нобелевской премии, и каждый раз он попадался на удочку и верил...

Несколько лет назад, на этот раз по-русски, издательство «Ардис» выпустило переписку Набокова с сестрой Еленой Сикорской и братом Кириллом (часть из этих писем вошла в нынешний английский том), а Дмитрий уже готовит следующие тома, в том числе переписку с Верой Набоковой — хотя когда им было писать письма, ведь они жили неразлучно?

---

[1] Vladimir Nabokov Letters, 1940—1977. Edited by. Dmitri Nabokov and Matthew J. Bruccoli. Harcourt Brace Iovanovich, San Diego, New York, London, 1989.

Несомненно, Набоков предстает в письмах совсем иным, чем в разоблачительной биографии Эндрю Филда, да и в некоторых воспоминаниях (включая, несомненно, интересные, но «обиженные» мемуары Зинаиды Шаховской). Сам эпистолярный жанр, который в наше время уже на исходе, под пером Набокова приобретает черты, присущие изящной словесности. Недаром Набоков всегда сохранял копии отосланных писем. Ему больше нравилось их писать, чем получать ответы. Даже деловые, меркантильные соображения, из которых многие из них писались, не оттесняют, а скорее оттеняют их несомненные художественные достоинства. Набоков пишет остроумно, изящно, виртуозно, пылко, нежно, литературный талант так и играет в его «эпистолах». Для того чтобы это продемонстрировать, я приведу русские оригиналы, ибо английский язык в моем переводе, конечно же, потускнеет.

«Пополнел, потолстел, обзавелся чудными фальшивыми зубами — но внутри осталась все та же прямая как стрела аллея».

Узнав о смерти брата в концлагере: «Если бы моя ненависть к немцам могла увеличиться (но она достигла предела), то она бы еще разрослась».

«...как ни хочется спрятаться в свою башенку из слоновой кости, есть вещи, которые язвят слишком глубоко, напр., немецкие мерзости, сжигание детей в печах — детей столь же упоительно забавных и любимых, как наши дети. Я ухожу в себя, но там нахожу такую ненависть к немцу, к конц. лагерю, ко всякому тиранству, что как убежище ce n'est pas grand chose» [1].

Жалуясь на усталость и отсутствие времени на литературу: «Я завален всяческой работой, слишком много вещей делаю сразу, хочется уйти в норку и писать там роман. ...муза тянет за полу и скулит».

«У меня брыла, как у старого бульдога».

«Когда образуется новая пустота, туда сразу наплывают воспоминания, и чувствуешь с новой силой вечный напор прошлого».

Получив снимок дома Набоковых на Большой Морской в Петербурге — сейчас ул. Герцена: «Спасибо за душераздирающий снимок. Этих лип, конечно, не было, и все серее, чем живопись памяти, но все очень подробно и узнаваемо».

О Нью-Йорке: «Тут дивный вид из окна на Central Park [2]: гобеленовые купы деревьев, а с боков, оттененные сиреневой гуашью, таинственные небоскребы под пуссеновым небом».

О «Лолите»: «Это моя лучшая книга, мой лучший tour de force» [3].

Брату о стихах: «Рифма должна вызывать у читателя удивление и удовлетворение — удивление от ее неожиданности, удовлетворение от ее точности или музыкальности».

Вольно соглашаться или не соглашаться с Набоковым — многим русским читателям, к примеру, «Дар» ближе, чем «Лолита». Кого-то, несомненно, заденут или смутят его литературные оценки. Он не любил Эзру Паунда, Т. С. Элиота, Хемингуэя, Томаса Манна, Беллоу, Борхеса, полагая их «второклассными писателями»; в «Докторе Живаго» находил «жалкое мастерство и банальную мысль»; Солженицына не считал великим писателем, а Фрейда считал великим шарлатаном; произведения Сартра, с его точки зрения,— «модный вздор», а Генри Миллера — «бездарная похабщина». Достается на орехи многим — от Бертрана Рассела до Романа Якобсона.

Не надо, однако, забывать, что речь идет не о литературной критике, а о частной переписке. Впрочем, вспомним Льва Толстого: он публично отрицал Уильяма Шекспира. В литературных оценках Набокова — сочетание оригинальности и эпатажа. Его упрекают в необъективности, в пристрастиях, в ошибках — можно подумать, что у тех, кто его упрекает, истина в кармане. К примеру, Набоков считал, что лучшая поэзия в двадцатые и тридцатые годы создана на русском языке — и одновременно худшая беллетристика. Смешно напоминать ему о Булгакове, которого он не мог знать в 1941 году, когда написал эти слова,— «Театральный роман», «Мастер и Маргарита», «Мольер», пьесы, полный текст «Белой гвардии» были опубликованы значительно позднее. Вообще каждый из нас — не только Набоков — вправе любить в литературе одно и не любить другое.

Как раз любопытнее узнать, кого он любит, кого перечитывает — Пруста, Джойса, Стивенсона, Кафку. Кого он переводит с русского на английский: «Слово о полку Игореве», «Евгения Онегина», стихи Лермонтова и Тютчева. «Россия должна будет поклониться мне в ножки (когда-нибудь) за все, что я сделал по отношению к ее небольшой, но замечательной по качеству словесности».

Среди переведенных им на английский язык и, очевидно, любимых — знаменитое тютчевское «Silentium». Мне кажется, в этом стихотворении — ключ к загадочной личности самого Набокова, я потому и приведу его полностью, несмотря на всю известность. Естественно, в русском оригинале, хотя набоковский перевод выполнен безукоризненно, с каким-то особым вдохновением.

Тютчев:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои!
Пускай в душевной глубине
И всходят и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи,—
Любуйся ими и молчи!

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи:
Питайся ими и молчи.

Лишь жить в себе самом умей:
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные ослепят лучи,—
Внимай их пенью и молчи!

Что касается литературы, то, судя по письмам и интервью, Набоков тоже считал изреченную мысль ложью, а потому все его произведения представлялись ему далеко не адекватными тем образам, которые сложились в воображении: лист белой бумаги не только вдохновлял, но и расхолаживал его. Что же касается публичной жизни, то там он был и вовсе замкнут и горделив и умел

---

[1] Букв: ничего особенного (франц.).
[2] Центральный парк (англ.)
[3] Трюк, ловкая штука (франц.).

«жить в себе самом» согласно отчаянному постулату Тютчева: молчал, скрывался и таил все, чем обладал и что рвалось наружу. Может быть, отчасти потому он и стал таким прекрасным писателем, что, кроме литературы, никаких других отдушин не признавал.

Дмитрий Набоков не скрывает своих намерений, издавая этот том набоковских писем,— очеловечить образ отца, очистить его от легендарных наносов, опровергнуть приставшие к нему характеристики. Удается ли это ему?

Сказать по правде, только частично.

Более того, рядом с нежным семьянином, непримиримым ненавистником тоталитаризма и антисемитизма, изящным шутником и, конечно же, почти оскаруайльдовского плана литературным денди возникает еще деловой, расчетливый, осмотрительный и озабоченный литератор, понимающий, что одного литературного таланта мало — необходима еще литературная стратегия. И он пользуется ею с не меньшим искусством, чем своим даром, но — и это главное — не в ущерб этому дару. Не нарушая нравственных приличий, не расталкивая литературных коллег. То, что «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», ему известно не хуже, чем Пушкину, и даже лучше, но, продавая рукопись, он не поступается принципами, остается самим собой. Я бы сказал о его безусловной и редкой в литературном мире нравственной чистоплотности.

Конечно, в его письмах легко обнаружить противоречия, непоследовательность. С тем же Эндрю Филдом. Он то отпускает ему комплименты, то жалуется, что в его писаниях он, Набоков, представлен кретином. В переписке с Алфредом Хичкоком Набоков делает несколько заявлений, которые вроде бы противоречат его художественным принципам, что объяснимо понятным желанием сотрудничать с этим прославленным режиссером. Иногда он излишне дидактичен, а иногда, наоборот, чересчур игрив. Не всегда можно понять, пишет ли он серьезно либо разыгрывает респондента. В своем художественном иконоборчестве он не всегда утруждает себя аргументами и скорее страстен, нежели убедителен. Сколько изящных стрел пущено им в основателя психоанализа, но я с трудом себе представляю, что «Лолита», или «Волшебник», или «Дар» написаны без скрупулезного чтения Фрейда. Я верю Набокову, когда он гордится, что четыре бабочки, им пойманные, названы его именем, но я все-таки сомневаюсь, что он хотел бы остаться в истории как энтомолог, а не как писатель.

Однако несомненно — и это просвечивает сквозь его письма,— Набоков был человеком не только эстетических, но и высоких моральных принципов: он ненавидел морализаторство, ханжество и филистерство. Как истинная вера противоположна суеверию, так настоящей нравственности чужды ригоризм и риторика. В конце концов, и «Лолита» — книга о раскаявшемся грешнике, чья нимфетомания превратилась в настоящую любовь, и, по авторской воле, грешник дорого платит за грех своей жизни — если, конечно, воспринимать «Лолиту» как художественное целое, а не судить о ней по пикантным подробностям. Тогда, и только тогда, становится понятным, почему автор «Лолиты» считал автора «Тропика Рака» творцом похабщины.

Не может быть аморальным человек, который, не будучи евреем, приходил в бешенство от любых, самых ничтожных проявлений антисемитизма и лез с кулаками на его адепта, не признавая никаких споров в этой области. Не может быть аполитичным писатель, создавший «Приглашение на казнь» и «Истребление тиранов» и оставшийся на всю жизнь непримиримым как к нацизму, так и к большевизму. Не может быть игроком и снобом человек, так серьезно, страстно и безупречно относившийся к искусству слова — к литературе. Дело вовсе не в том, что гений и злодейство несовместны — увы, совместны, но не в этом случае. Австралийский набоковед возвел на своего героя напраслину, исходя, очевидно, из собственных литературных и моральных представлений.

Да разве в одном австралийце дело! Мне пришлось прочесть и услышать в последнее время несколько высказываний советских критиков о Набокове — как-то больше стали говорить о его успехе, чем о таланте, о его литературной стратегии, а не о художественном подвижничестве и бескорыстии. Я понимаю, всякому бы хотелось достичь той славы, которая была у автора «Дара», «Других берегов», «Лолиты», «Пнина» и «Ады». Но ее можно достичь только с помощью «Дара», «Других берегов», «Лолиты», «Пнина» и «Ады — одной стратегии недостаточно.

Однако кем Набоков никогда не был, так это «хлопотуном». Он мог покривить душой, мог сказать не то, что думает, но никогда ему не приходилось ронять своего достоинства. Он был горд не от спеси, а от уязвимости, потому что слишком долго жизнь его унижала и пинала. Я не стану здесь подробно обсуждать, почему уже прославленный автор «Лолиты» не поклонился старой приятельнице Зинаиде Шаховской на приеме в Париже — не узнав по близорукости либо держа на сердце обиду на нее? Мой друг Гай Даниэлс рассказывал мне, что после его отрицательной рецензии на набоковского «Онегина» Набоков при встречах с ним переходил на немецкий язык — своеобразная демонстрация неудовольствия. С Шаховской, я думаю, было сложнее — вряд ли набоковское мнимое неузнавание (если оно было мнимым, а не действительным: помимо близорукости, столько лет прошло!) объясняется только рецензией Шаховской на роман Набокова, хотя он и не жаловал своих критиков. В воспоминаниях Шаховской проглядывает такое явное желание противопоставить Набокова его жене, что если эта неприязнь к Вере Набоковой существовала и до войны, в «европейский» период, то, думаю, в ней и крылась причина расхождения Набокова с Шаховской. До конца своих дней Набоков был бесконечно привязан к жене, и их соединяли не только любовь и семейные узы.

Легкоранимый человек, Набоков сознательно ограничил себя семейным кругом, где его любили и почитали и где он не мог ни от кого ждать подвоха или обиды. Не только к жене и сыну,— полны удивительной нежности его письма к сестре, которой он много лет помогал материально и испыты-

вал что-то вроде комплекса из-за того, что годы войны он сравнительно безбедно и уж несомненно безопасно провел в Америке, в то время как она жила в оккупированной Европе. Кстати, такое чувство вины тоже не возникает у безнравственных людей.

Впрочем, вряд ли Набоков нуждается в моей защите. Он боялся казаться смешным, а потому всячески избегал высокопарности и сентиментальности, которые, судя по письмам, да и по прозе, были ему вовсе не чужды. Он писал одному из адресатов (перевожу дословно): «...разница между комической стороной вещей и их космической стороной зависит от одной свистящей». Однако он не побоялся сентиментализма как такового, когда в великих традициях русской литературы написал своего Акакия Акакиевича — профессора русской литературы Пнина. Это очень добрый роман [1], может быть, самый добрый у Набокова, поэтому я очень удивился, когда прочел у одного советского писателя, что в «Пнине» Набоков сатирически открещивается от своего чудаковатого и непрактичного героя. Со всем напротив — он приглядывается к нему с нежностью и состраданием, находя в нем родственные черты. Точнее — наделяя его собственными чертами. Хоть у Набокова и была в то время, по его словам, брыла, как у старого бульдога (в самом деле — похож), он оставался тем же человеком, каким был во времена далекой юности и еще более далекого детства. Может быть, именно благодаря этой своей душевной «сохранности» он и писал так воздушно и так прекрасно. «Должен сказать, что я до глупости мало изменился за все эти годы»,— признается он в одном из писем.

«Одомашненный» Набоков, каким он предстает в переписке, зажил третьей, посмертной жизнью в сердцах его читателей. Когда-то он написал скрытый автопортрет в «Даре», спрятавшись за человеком с ужасной фамилией Годунов-Чердынцев. Затем — том автобиографических рассказов «Другие берега», который, кстати, имеет еще три названия: «The House was Here» — «Conclusive Evidence» — «Speak, Memory», из которых самое удачное последнее, даже по-русски: «Говори, Память». А теперь, оказывается, Набоков вдобавок всю жизнь писал автопортрет в эпистолах...

Кстати, будь я на месте Дмитрия Набокова, я бы нарушил волю Владимира Владимировича и ни в коем случае не предавал бы огню рукопись его последнего романа.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

Нью-Йорк

«My style is all I have» [2]

Издавать писательскую переписку всегда рискованно. И частная, и даже деловая, априорно предназначенная для печати, она по сути своей есть невольное сочленение двух плоскостей писательского бытия, которые трудно примирить между собой: они принадлежат разным геометриям.

Если верить тому, что человек — социальное животное, то писатель — животное пишущее, и его художественное слово, если он стóит такого определения, не столько оказывается инструментом писателя, сколько само выбирает писателя в качестве своего инструмента. Отсюда неизбежный момент неосознанного и иррационального в писательском деле, которое принято рассматривать как тайну. Отсюда призрачность писательского образа, проступающего сквозь его произведения.

Но в писательской переписке происходит эксплуатация стиля, известная его профанация. Переписка — жанр по преимуществу корыстный. В этом жанре опытный писатель без труда моделирует свой образ, пользуясь силой своего стиля, и эта модель (или эти модели) пугает навязчивой убедительностью.

Есть вещи, однако, с которыми стоит считаться. Популярность писателя неизбежно влечет читателя к подробностям его частной жизни, а следовательно, не в последнюю очередь, к письмам. Публикация писем — неизбежное зло. С ним нужно смириться, имея в виду не только любопытных читателей, но и «голодных» исследователей, которым вечно недостает информации. Так вот, с подозрительностью относясь к качеству информации, которую можно почерпнуть из писательских писем, я всегда с интересом слежу за тем, какой образ выбирает себе в них писатель — как в гневе, так и в лирических признаниях.

В этом смысле Набоков, всемирно признанный виртуоз слова, конечно же, клад. У него целый запас стилистического оружия, и он пользуется им как фехтовальщик, за выпадами которого приятно наблюдать.

Говоря о переписке писателей, надо учитывать еще одно обстоятельство. Они неизменно много пишут своим издателям и в этой части эпистолярного наследия обычно очень схожи.

Вот и Набоков в письмах к издателям (которыми изобилует солидный том избранной переписки, с очевидной скрупулезностью подготовленный его сыном), как и другие писатели, предельно вежлив, оживлен, шутлив и, разумеется, внутренне напряжен: издателя нужно заинтересовать проектом книги, рассказав о ней как можно доступнее. Понятна опасность судить об истинном замысле книг по таким письмам.

С тем чтобы несколько разнообразить сухость деловой переписки, Дмитрий Набоков включил, даже идя на нарушение хронологических рамок сборника, несколько нежных писем своего отца к жене, брату и сестре, относящихся к доамериканскому периоду и написанных по-русски. Возможно, привлечение этих писем нужно было и для доказательства тезиса, высказанного в предисловии: «В каждодневной жизни Набоков был самым сердечным человеком и обладал поразительным чувством юмора».

Впрочем, переписка в целом не слишком в этом убеждает. Мне больше бросилась в глаза поразительная сдержанность, чопорность писателя, а вместе с тем его интеллектуальная капризность и мощные взрывы гнева, когда что не по нему.

---

[1] Опубликован в «ИЛ», 1989, № 2.

[2] «Мой стиль — это все, что у меня есть» (В. Набоков, *англ.*). Публикуемая статья была напечатана в «Нью-Йорк таймс бук ревью». *(Прим. ред.)*

Переписка Набокова с Эдмундом Уилсоном, отдельно опубликованная в свое время Семеном Карлинским, по-моему, более увлекательна, поскольку сюжетна: речь шла о странной дружбе двух очень разных людей, рассорившихся затем в пух и в прах.

Но и в новом томе есть свой скрытый сюжет. Может быть, внутренняя напряженность Набокова в письмах к издателям более сказывается, чем у других. В этом нет ничего удивительного, ибо, если прочертить общий сюжет изданной переписки, он непосредственно связан с уникальной и драматической метаморфозой, которая происходит с Набоковым, начиная с его приезда в США в 1940 году.

Из русскоязычного, «контраверзивного», но, бесспорно, наиболее талантливого прозаика, развившегося после большевистской революции за пределами России, в эмиграции, Набоков заставляет себя превратиться в американского писателя. Его обращение к английскому языку, который он знал с младенчества, во многом объяснялось безнадежными переводами, тем, что «при переводе на другой язык не только стиль, но и предмет изображения обескровливаются и подвергаются искажениям».

О новом рождении писателя рассказывается в письмах как о чем-то ужасном: «...какой это было мукой в начале 40-х переходить с русского на английский». По тем почти физическим страданиям, с которыми связано для Набокова расставание с родным языком, чувствуешь всю тяжесть этого испытания. Набоков с честью его выдержал.

В первоначальные годы в Америке были и отчаяние, и случайная работа, и вообще возможность ее не иметь: «В последнее время я пребываю в довольно-таки плохом настроении, потому что у меня нет ни малейшего представления о том, что будет дальше с моей семьей и со мной».

Писатель с завидным терпением и целеустремленностью строил свой «американский дом», заводя полезные знакомства в «Нью-Йоркере» и других журналах, но никогда не унижаясь и твердо отстаивая свои интересы. В сущности, он всегда знал, чего хочет, и решительно шел к цели, разрушая трафаретный образ русского обиженного писателя — бессребреника, отдав профессору Пнину из одноименного романа рассеянность и беспомощность в практических делах.

Это было не только языковое, но и ментальное рождение «Иногда мне кажется, что я исчезаю за дальним серо-голубым горизонтом, в то время как мои бывшие соотечественники продолжают цедить клюквенный морс на пляже».

Набоков нашел в Америке вторую родину и скучал, когда уезжал из нее, но парадокс в том, что в конечном счете он эмигрировал и из Америки, остаток жизни прожив в Швейцарии. Письма не дают объяснения этому поразительному явлению.

Боюсь, он был сильно одинок (я говорю не о семейном окружении: после того что он написал в «Других берегах» о своих родителях и своем «совершеннейшем» детстве, трудно представить себе, чтобы он не ценил семейные связи, не гордился сыном) в общественном отношении. В этом одиночестве формировался его характер, его представления о достоинстве. Но одиночество вообще награда за писательский труд, здесь тоталитаризм может протянуть руку демократии, весьма плохо воспринимающей «элитарность» подлинного творчества.

Набоков в последние годы жизни предпочитал относить себя, как видно из переписки, к американским, а не к русским писателям, но, наверное, это скорее единственный удачный русско-американский литературный «гибрид», имеющий право претендовать на роль классика XX века. Он был непреклонен в делах искусства, его презрение к искусству как социополитическому феномену было безгранично. Это можно понять, только беря в расчет безумный гиперморализм русской литературной традиции, ее прямолинейный, порой нравственный пафос. Вместе с тем автор «Лолиты» не был аморалистом, циником или гедонистом. В письме по поводу своей книги о Гоголе, написанной по-английски, Набоков высказывается достаточно твердо о внутренней взаимосвязи искусства и морали: «Я никогда не имел в виду отрицание нравственного воздействия искусства, которым непременно обладает подлинное произведение. Что я в действительности отрицаю и против чего готов бороться до последней капли имеющихся у меня чернил, так это преднамеренное морализаторство, которое, с моей точки зрения, губит произведение, сколь мастерски оно бы ни было написано».

За отсутствие гиперморализма его долго не принимали и в консервативных эмигрантских и в советских кругах, подозревали в том, что он сошел с рельсов русской литературы, но именно в этом схождении было продолжение русской литературы, о чем спонтанно догадывались сотни поклонников Набокова в России еще задолго до перестройки: портреты писателя украшали стены во многих московских «интеллигентных» квартирах.

Если сейчас на Западе, несмотря на множество переизданий Набокова в виде отдельных книг и собраний сочинений, к писателю в целом относятся достаточно спокойно, если не сказать — равнодушно и вяло, не считая, конечно, узких кругов последователей и поклонников, то в России нынче вторично «болеют» Набоковым,— и уже широкий читатель. У набоковской прозы учатся не только прекрасному русскому языку, но и человеческому благородству, стойкости, служению культуре. Это не просто мода на еще вчера полностью запрещенного писателя,— хотя, конечно, запретный плод всегда сладок,— но скорее пробуждение интереса к подлинным литературным ценностям.

Набоков утверждал, что писатель не имеет социальных обязательств; вместе с тем он был бескомпромиссен по отношению к тоталитарному режиму в СССР и отказывался от сотрудничества с Романом Якобсоном по причине его поездок в страны восточного блока.

«Хотя он не считает Солженицына великим писателем» (по словам Веры Набоковой), Набоков пишет ему приветственное письмо, когда автора «Архипелага ГУЛАГ» высылают на Запад, и в этом письме утверждает, что во многих произведениях Сол-

женицын не переставал «высмеивать мещанство советизированной России». Противник публичных деклараций, Владимир Набоков в конце жизни встает на защиту политических и литературных диссидентов, преследуемых в СССР.

К сожалению, иные из его высказываний кажутся не столько «решительными», сколько безапелляционными и порой некомпетентными: «У меня сложилось впечатление, что, несмотря на политическое давление, лучшая поэзия (и худшая проза) за последние двадцать лет была создана в Европе на русском языке...» Это сказано в 1941 году. Набоков внимательно следил за советской литературой, и взгляд его был пристально-критическим. Может быть, это не дало ему возможности разглядеть в соцреалистическом мареве фигуры создателей новой русской прозы — таких, как Платонов, Зощенко, Булгаков, Мандельштам (автор «Шума времени» и «Египетской марки».)

В коненчном счете, писатель не обязан быть последовательным. Но он, возможно, должен отдавать отчет в своей непоследовательности, и хотя в таком случае ослабляются некоторые из его «решительных мнений», это ослабление придает писательским чертам известное обаяние.

Набоков, судя по письмам, был скорее непоследовательно последователен, нежели последовательно непоследователен.

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ

Отклики, встречи, впечатления

Вольфганг Казак: Терпимость — это начало любви

За последние годы мне не раз довелось бывать в вашей стране. И я не устаю радоваться тому, что могу свободно приезжать, общаться с писателями, с литературоведами и филологами. Признаюсь, ни я, ни мои коллеги не ожидали, что все будет меняться так быстро и в сфере литературы, и в сфере общения. Мне нередко приходится выступать с лекциями о процессах демократизации и гласности в вашей стране, отвечать на самые разные вопросы. Некоторые люди на Западе, хорошие люди, упрекают нас, славистов, советологов, в том, что мы переоцениваем перестройку, идеализируем ее. Не скрою, и я подчас многое еще до конца не могу себе объяснить. Но надеюсь, что благодаря возможности видеть все собственными глазами, беседовать с людьми постепенно все прояснится.

Мы часто говорим о том, что человечество находится на грани самоубийства, об экологических, ядерных, космических бедствиях... Разум человеческий ищет выхода, но, видимо, если не изменится духовная природа современного человека, его способность на вражду, жестокость, насилие, разум не поможет. Всем нам, наверное, нужна самая великая из революций — революция духа. Позволю себе процитировать папу Иоанна Павла II: «Торжество мира наступит только тогда, когда все человечество проникнется чувствами сострадания, справедливости и любви». Когда эта мысль дойдет до сознания каждого человека, поможет ему обрести мир в собственной душе, вероятно, только тогда можно будет говорить о спасении человечества, о том, что оно возможно.

Я внимательно слежу за тем, что происходит в Советском Союзе. И если бы меня спросили, чего вам сейчас больше всего не хватает, я бы ответил — терпимости. Мне кажется, что нетерпимость проявляется у вас слишком часто — и в печати, и в повседневной жизни. Терпимости надо учиться — это начало любви. Наверное, самое главное сейчас — отказаться от весьма советской идеи, что на свете существует какое-то одно правильное мнение, и признать право каждого думать по-своему. Говорят, что в Советском Союзе сейчас происходит внутренняя борьба. Это очень опасная вещь. Увы, борьба эта — налицо, и основной ее признак — нетерпимость. На человека, на писателя можно ополчиться, совершенно игнорируя его заслуги в области литературы, в сфере сохранения культурного наследия и т. д. Случайно вырвавшееся слово, может быть и ошибочное,— и художник становится объектом нападок. Это вовсе не дискуссия, а политическая борьба в чистом виде. Не лучше ли оставить это товарищам политикам?

А писатели и литературоведы, на мой взгляд, должны посвятить себя иной миссии — служению читателю. Должны помочь ему найти самого себя. Кажется, Борис Васильев писал о создании нового героя, стремящегося к нравственному совершенствованию. Разговор об этических, моральных, культурных ценностях очень важен сегодня для всей мировой литературы. К сожалению, современные писатели не предлагают читателю нравственный идеал, который необходим каждому отдельному человеку,— без него невозможен духовный прогресс.

Несколько слов о покаянии. В Москве я встречался со многими людьми, которые признавались мне, что у них на душе немало грехов, которые они должны искупить. В чем-то это напоминает простонародный подход к грехам, о которых вспоминают только под Пасху. Я предпочитаю говорить о прощении. И сам готов просить прощения у тех советских писателей, которых, быть может, обидел оценками их творчества в своем «Лексиконе». Работая над ним, я был убежден, что пишу правду, не хотел никого задевать. В конце концов, это всего лишь мое мнение, и не больше. Но все-таки мне горько сознавать, что кто-то мог испытать боль из-за того, что я написал. Все это я говорю, чтобы подчеркнуть главное: терпимость — это путь к широкой демократизации, ее необходимое условие.

Что касается моей литературоведческой деятельности ученого-русиста, то многое в последние годы здесь изменилось. Еще как!

После семнадцати лет запрета на въезд я могу снова посещать СССР. Выступал по советскому телевидению в «Зеленой лампе», на общественных вечерах в Москве, в советской печати.

В Мюнхене я издаю серию «Исследования и тексты по славистике». Раньше включал туда запрещенные в СССР тексты, чтобы сохранить их для русской литературы. Там вышли стихи Айги, Вагинова и Оболдуева, «Мандат» Эрдмана, ранняя проза Булгакова и другие. Эта серия, в том виде, в каком она была задумана, выполнила свою задачу. Но, планируя к выпуску следующие тома, я надеюсь вдохнуть в нее новую жизнь, скажем, пытаясь предварять некоторые публикации в Советском Союзе.

Каждый год я пишу обзор о всех книгах русских писателей XX века, которые появились в ФРГ, Австрии и Швейцарии в переводе на немецкий. В среднем это шестьдесят книг в год. Прежде я вынужден был разделять эти книги на две категории: признаны в СССР, не признаны. Сегодня такого разделения не требуется.

Для нас, западных славистов, появилась возможность публиковать свои труды в СССР. И это просто замечательно. Я, например, составил сборник повестей, рассказов и фельетонов молодого Булгакова, который выйдет в издательстве «Молодая гвардия» с моим предисловием. «Книга» в сотрудничестве с Институтом мировой литературы АН СССР готовит к выпуску мой «Лексикон русской литературы XX века». Этот лексикон впервые появился на немецком языке в 1976 году, а в 1988-м вышел в Англии на английском и русском[1]. Для этого издания я дописал восемьдесят новых статей, которые пополнят семьсот восемь предыдущих; тем самым я надеюсь внести вклад в позитивное развитие свободной русской литературы в ее собственной стране.

Мюнхен Материал подготовил В. Ж.

---

[1] Вольфганг Казак. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года Перевели с немецкого Елена Варгафтик и Игорь Бурихин. London, Overseas Publication, Interchange, 1988.

ВЫХОДИТ В СВЕТ

Девушка в тюрбане. Молодая проза Италии.

Сборник. М., Радуга, 1992.

Мне хотелось бы, чтобы картина... вернулась к Вам. Не знаю, представляете ли Вы себе ее ценность,— это портрет в три четверти: девушка с жемчужной сережкой, в тюрбане.

Марта Мораццони. Девушка в тюрбане

Подзаголовок этой книги во многом условен: ее авторов и по возрасту, и по той немалой известности, какую приобрели их имена в стране и за ее рубежами, трудно назвать молодыми. Давая изданию такую характеристику, «Радуга» основывалась прежде всего на двух моментах: во-первых, все пять авторов практически не знакомы русскоязычному читателю; во-вторых, их произведения представляют собой своеобразный срез сегодняшней итальянской прозы. Как сможет убедиться читатель, произведения эти современны,— пусть историко-фантастические новеллы Марты Мораццони переносят нас в XVI-XVII века — на таинственную виллу, где работает над реквиемом Моцарт; или на корабль голландского купца, везущего к берегам Дании бессмертный шедевр Яна Вермеера; или в монастырь Эстремадуры, где окончил свои дни император Карл V. А Джузеппе Конте в «Осеннем равноденствии» уводит нас еще дальше — в мир северных языческих легенд. Рассказы Антонио Табукки и Джанни Челати, хотя и снабжены приметами времени и места, но разворачиваются в некоем ирреальном измерении; не говоря уж о «Комиках, напуганных воинах» — этой гротескно-пессимистической сатире Стефано Бенни, что приложима и к нашей нынешней действительности.

Писателей объединяет, как убедительно рассказано во вступительной статье А. Веселицкого, концепция «завершающего начала», сформулированная Бенни и так или иначе поддержанная остальными авторами сборника. «Завершающее начало» — это смерть как утверждение бессмертия души, как символ начала новой жизни, как знак того, что ни одно творение природы,— и менее всего человек, не умирает, не исчезает бесследно. Оно неизменно возвращается к людям, подобно «Девушке в тюрбане», запечатленной на полотне голландского живописца, подобно произведениям, собранным под обложкой этой книги.

У книжной витрины

ТАХАР БЕН ДЖЕЛЛУН
Опущенные глаза

Изд-во «Сёй»

Tahar Ben Jelloun. «Les yeux baissés»

В этой книге франкоязычный марокканский писатель, получивший Гонкуровскую премию за роман «Священная ночь», вновь обращается к теме душевного разлада, который испытывает человек, оказавшийся на перекрестке двух культур — европейской и арабской.

Героиня романа — девочка из селения берберских пастухов — оказывается в Париже. Здесь она разучится, подобно всем женщинам Востока, ходить с «опущенными глазами», ощутит свою независимость, но, вернувшись на родину, почувствует себя чужой среди своих сородичей. Рациональному западному миру в книге Бен Джеллуна противопоставлен другой, где явь причудливо переплетается с фантастикой, где живут колдуньи, джинны, а также «торговцы воспоминаниями». Они предлагают свой товар людям, потерявшим память после землетрясения в Агадире. Да и сама героиня способна творить чудеса: она помогает снять проклятие со своей родной деревушки, найдя в горе клад, правда, это не сокровища Али-бабы, а источник чистой воды.

ЭРВЕ ГИБЕР
Последний церемониал

Изд-во «Галлимар»

Hervé Guibert. «Le protocole compassionel»

Хотя перу 35-летнего Эрве Гибера принадлежит более десяти книг, настоящую известность ему принес роман «Другу, который не спас мне жизнь», названный критиками «хроникой объявленной смерти» (читайте его в текущих номерах нашего журнала). Мужество писателя, красивого молодого человека, ведущего борьбу со смертельной болезнью, открыто и честно рассказывающего о том, что другие предпочитают скрывать, привлекло к Эрве Гиберу симпатии читателей, правда, ни одно литературное жюри не решилось присудить этой книге премию.

Считая себя обреченным, Э. Гибер объявил, что у его исповеди продолжения не будет. Однако на прилавках книжных магазинов появился новый роман, где писатель возвращается к рассказу о своей судьбе. Если в основе сюжета предыдущего произведения — попытки пробиться всеми правдами и неправдами в клинику знаменитого профессора, то здесь действие разворачивается с того момента, как в руки Гибера попадает экспериментальное лекарство, еще не разрешенное в США. Из-за ошибок в дозировке уже погибло несколько сот человек, принимавших его. Но писатель решает рискнуть, поскольку это лекарство позволяет ему работать, а значит, жить.

Из первой книги во вторую перешло много персонажей, прежде всего верные друзья Эрве — Жюль и Берта. Есть и новые — например, лечащий врач Гибера «с внешностью фашиста-садиста», две преклонного возраста родственницы, с которыми герой, ощутивший, как в его молодое тело вселился старик, чувствует своеобразную солидарность.

ДЖЕЙМС МИЧЕНЕР
Роман

Изд-во «Рэндом хаус»

James Michener. «The Novel»

Романы-эпопеи популярного американского писателя и путешественника, лауреата Пулицеровской премии Джеймса Миченера давно кочуют по спискам лонгселлеров и бестселлеров. И взрослые и дети зачитываются этими весьма объемными сочинениями, где историческая реальность переплетается с авторским вымыслом. «Иберия», «Гавайи», «Польша», «Аляска», «Техас» — таков далеко не полный перечень страноведческих изысканий Джеймса Миченера. Однако свой очередной роман он посвятил книге, внутренней механике ее создания.

«Роман» (как и в предыдущих произведениях, заглавие книги обозначает ее тему) делится на четыре части, каждая из которых представляет собой отдельную повесть. В начале речь идет о писателе, неожиданно ставшем знаменитостью. Во второй части рассказывается о женщине-редакторе, в третьей — о литературном критике, а четвертая посвящена рядовому читателю.

Любимый персонаж автора — героиня второй повести. Миченер несколько лет проработал в издательствах, так что редакторское дело знает не понаслышке.

В чем же секрет писательского и издательского успеха? На этот вопрос и пытается

найти ответ Джеймс Миченер в новой книге, хотя, может быть, уже ответил на него своим творчеством.

ЖАН Д'ОРМЕССОН
История Вечного жида
Изд-во «Галлимар»

Jean D'Ormesson. «Histoire du juif erront»

Взяв за основу «бродячий сюжет» — притчу об иерусалимском сапожнике Агасфере, отказавшем в глотке воды шедшему на Голгофу Христу и обреченном за это на бесконечные скитания, Жан Д'Ормессон предпринял в своем романе «История Вечного жида» грандиозное путешествие во времени и пространстве. Библейский персонаж возникает на страницах книги то в образе Джованни, нищего, путешествующего по дорогам Италии XII века в обществе богатого торговца, отца будущего святого Франциска Ассизского, то обретает лик генуэзца Хуана, друга великого мореплавателя Христофора Колумба. «Вечный жид» перевоплощается в Исаака Лакдема, фельдъегеря Наполеона, которого император посылает из горящей Москвы в Париж. Благодаря изобретательности Д'Ормессона, читатель оказывается в Древнем Риме, в Китае, на улицах Брюсселя, на поле Ватерлоо. На страницах романа — своеобразной исторической энциклопедии — мелькают имена Понтия Пилата, Нерона, Эразма Роттердамского, Бодлера и Стендаля...

«Жертвой синдрома Шехерезады» назвали французские критики Жана Д'Ормессона. Но как бы то ни было, новый роман писателя оказался в списках бестселлеров.

МАСАХИКО СИМАДА
Царь Армадилл
Изд-во «Синтёся»

Симада Масахико. «Арумадзиро-о»

В июне вышел сборник рассказов и новелл молодого, но уже вполне маститого прозаика Масахико Симады, одного из лидеров новой японской литературы. Еще несколько лет назад книги Симады причислялись к молодежной контркультуре, но сегодня, пожалуй, уже можно сказать, что именно эта писательская генерация определяет нынешнее лицо художественной прозы Японии. Герои произведений, включенных в сборник,— одинокие, неприкаянные души: непризнанные мессии, низвергнутые с небес ангелы, люди-мумии. Симада по образованию филолог-славист, считающий своими учителями Е. Замятина и В. Гомбровича. Целый ряд его повестей и романов посвящен «русской теме». В новелле «Чернодырка» описан странный и симпатичный городок, якобы находящийся недалеко от Ленинграда. Жители городка сумели пронести сквозь семидесятилетние испытания дух свободы и чистоты; это своего рода ностальгия по России, которую сегодня можно встретить разве что на страницах старых книг. Название сборнику дала повесть, действие которой происходит в Нью-Йорке, Никарагуа и Токио. Главный герой — обычный для Симады скиталец-одиночка из «сиротского племени», пытающийся обрести в преуспевающей, холодной Японии спасение, но находящий лишь страшную и нелепую смерть.

ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС
У тебя было время: продолжение исповеди
Изд-во «Гроув/Вайденфельд»

Anthony Burgess. «You've Had Your Time: The Second Part of the Confessions»

В США вышла вторая автобиографическая книга Энтони Бёрджесса. Если в первой («Маленький Уилсон и Большой Бог») он рассказывает в основном о творческих исканиях, то здесь вспоминает свою жизнь.

В 1959 году он вернулся в Англию, приговоренный врачами к смерти. Ему было отпущено меньше года. Бёрджесс начал лихорадочно писать: романы, сценарии, статьи — не важно что, лишь бы успеть гонорарами обеспечить будущее жены. Но судьба распорядилась иначе. Умерла она, оставив ему бремя вины. Последовали годы глубокой депрессии, когда писатель постепенно угасал, поддерживая себя спиртным. Но вдруг — шумный успех «Заводного апельсина». Жизнь вновь обрела смысл. Бёрджесс женился, к нему вернулась жизненная и творческая активность.

Очень откровенно, с блистательным юмором Э. Бёрджесс рассказывает о себе: о своей неприязни к «Битлз», о работе над «Заводным апельсином» — книгой и фильмом, о скитаниях от Сингапура до Манхэттена, о бремени учительской работы. Он раскрывает перед читателем свою душу и свою жизнь.

РАЙНЕР КУНЦЕ
Кличка — Лирик
Изд-во «С. ФИШЕР»

Reiner Kunze. «Deckname «Lyrik»

В объединенной Германии за последнее время появилось довольно много книг, разоблачающих грязные методы работы «штази» — бывшей службы государственной безопасности ГДР. Интересен тот факт, что любой гражданин теперь может получить на руки «досье» на себя, если таковое было заведено. Один из тех, кто сделал из такого «досье» книгу — поэт Райнер Кунце.

Кунце, разумеется, давно знал, что органы безопасности проявляют интерес к его персоне; однако всех масштабов слежки, обернувшейся прямыми преследованиями, которые заставили его в конце концов покинуть ГДР, не мог представить себе ни он, ни кто-либо другой.

Полный объем «дела Кунце», сохранившегося в архивах,— 12 больших томов. Оно было начато в сентябре 1968 года и закончено в декабре 1977-го, восемь месяцев спустя после того, как поэт с женой и дочерью вынуждены были эмигрировать. Однако слежка за ним началась еще в начале 60-х, тогда же «объекту» была присвоена кличка Лирик.

Поэтическим творчеством Лирика пона-